## 

## Рыгалова Любовь Сергеевна

## КНИГА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

## СЕКРЕТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СЧАСТЬЯ

## I. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

## ВРЕМЕНА ГОДА

|  |  |
| --- | --- |
| **ВЕСНА** | |
| **Бунин Иван Алексеевич**    \*\*\*  Вдали еще гремит, но тучи уж свалились,  Как горы дымные, идут они на юг.  Опять лазурь ясна, опять весна вокруг,  И ярким солнцем чащи озарились.  Из-за лесных вершин далекой церкви шпиц  Горячим золотом трепещет и сверкает,  Звенят в низах ручьи, и льется пенье птиц,  А на полянах снова припекает.  Густеет облаков волнистое руно;  Они сдвигаются, спускаются все ниже -  И вот уж солнца нет; опять в лесу темно,  Дождь зашумел - и все слышней и ближе.  Нахохлясь, птицы спят, и тихо лес стоит  И точно чувствует, счастливый и покорный,  Как много свежести и силы благотворной  Весенняя гроза в себе таит! | **Мадзигон Тамара Михайловна**    \*\*\*  Апрель не прошел стороной,  Весенние лужи на месте,  И птиц заграничные вести  Омыты водой снеговой.  Небесный расширился свод –  Ни лжи не таит, ни обиды,  Природа незрелые виды  Дробит на поверхности вод.  Идет на земле маята,  Мир хочет в плодах состояться,  И грезят деревья подняться  Из семени, почки, листа.  И, словно гигантская страсть,  Живое схватила за горло  И зимние признаки стерла,  Над всем учредив свою власть.  Апрель не прошел стороной.  Мир стал обнаженным и чистым,  Резвится мальчишеским свистом –  На то и скворец под рукой. |
| **ЛЕТО** | |
| Фет Афанасий Афанасьевич \*\*\* Как здесь свежо под липою густою –Полдневный зной сюда не проникал,И тысячи висящих надо мноюКачаются душистых опахал.А там, вдали, сверкает воздух жгучий,Колебляся, как будто дремлет он.Так резко-сух снотворный и трескучийКузнечиков неугомонный звон.За мглой ветвей синеют неба своды,Как дымкою подернуты слегка.И, как мечты почиющей природы,Волнистые проходят облака. | Тютчев Федор Иванович \*\*\* Как весел грохот летних бурь,Когда взметая прах летучий,Гроза, нахлынувшая тучей,Смутит небесную лазурьИ опрометчиво-безумноВдруг на дубраву набежит,И вся дубрава задрожитШироколиственно и шумно!..Как под незримою пятойЛесные гнутся исполины;Тревожно ропщут их вершины,Как совещаясь меж собой, -И сквозь внезапную тревогуНемолчно слышен птичий свист,И кой-где первый желтый лист,Крутясь, слетает на дорогу… |
| ОСЕНЬ | |
| Тютчев Федор Иванович \*\*\* Есть в светлости осенних вечеровУмильная таинственная прелесть:Зловещий блеск и пестрота дерев,Багряных листьев темный, легкий шелест,Туманная и тихая лазурьНад грустно-сиротеющей землею,И, как предчувствие, сходящих бурь,Порывистый, холодный ветр порою,Ущерб, изнеможенье – и на всемТакая кроткая улыбка увяданья,Что в существе разумном мы зовемБожественной стыдливостью страданья.Фет Афанасий Афанасьевич \*\*\* Непогода – осень – куришь,Куришь – все как будто мало.Хоть читал бы, - только чтеньеПодвигается так вяло.Серый день ползет лениво,И болтают нестерпимоНа стене часы стенныеЯзыком неутомимо.Сердце стынет понемногу,И у жаркого каминаЛезет в голову больнуюВся такая чертовщина!Над дымящимся стаканомОстывающего чаю,Слава богу, понемногу,Будто вечер, засыпаю… | **Бунин Иван Алексеевич**    \*\*\*  Ветер осенний в лесах подымается,  Шумно по чащам идет,  Мертвые листья срывает и весело  В бешеной пляске несет.  Только замрет, припадет и послушает, -  Снова взмахнет, а за ним  Лес загудит, затрепещет, - и сыплются  Листья дождем золотым.  Веет зимою, морозными вьюгами,  Тучи плывут в небесах...  Пусть же погибнет все мертвое, слабое  И возвратится во прах!  Зимние вьюги - предтечи весенние,  Зимние вьюги должны  Похоронить под снегами холодными  Мертвых к приходу весны.  В темную осень земля укрывается  Желтой листвой, а под ней  Дремлет побегов и трав прозябание,  Сок животворных корней.  Жизнь зарождается в мраке таинственном.  Радость и гибель ея  Служат нетленному и неизменному – Вечной красе Бытия! |
| ЗИМА | |
| Пушкин Александр СергеевичЗИМНЕЕ УТРОМороз и солнце; день чудесный!Еще ты дремлешь, друг прелестный –Пора, красавица, проснись:Открой сомкнуты негой взорыНа встречу северной Авроры,Звездою севера явись!Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,На мутном небе мгла носилась;Луна, как бледное пятно,Сквозь тучи мрачные желтела,А ты печальная сидела –А нынче … погляди в окно:Под голубыми небесамиВеликолепными коврами,Блестя на солнце, снег лежит;Прозрачный лес один чернеет,И ель сквозь иней зеленеет,И речка подо льдом блестит.Вся комната янтарным блескомОзарена. Веселым трескомТрещит затопленная печь.Приятно думать у лежанки.Но знаешь: не велеть ли в санкиКобылку бурую запречь? | Скользя по утреннему снегу,Друг милый, предадимся бегуНетерпеливого коняИ навестим поля пустые,Леса, недавно столь густые,И берег, милый для меня.Фет Афанасий Афанасьевич \*\*\* Какая грусть! Конец аллеиОпять с утра исчез в пыли,Опять серебряные змеиЧерез сугробы поползли.На небе ни клочка лазури,В степи все гладко, все бело,Один лишь ворон против буриКрылами машет тяжело.И на душе не рассветает,В ней тот же холод, что кругом,Лениво дума засыпаетНад умирающим трудом.А все надежда в сердце тлеет,Что, может, быть хоть невзначай,Опять душа помолодеет,Опять родной увидит край,Где бури пролетают мимо,Где дума страстная чиста, -И посвященным только зримоЦветет весна и красота. |
|  | |
| **Сулейменов Олжас Омарович**  \*\*\*  Вы меня любите, горы,  любите, ели,  в голубое и белое одетые  годы  надо мной пролетели,  унося названия трав,  дорогих чрезвычайно,  в свои шумные краски  вобрав  все оттенки молчанья.  Горным рейсфедером  правлю равнинную быль –  я прошел по лавинному склону,  и снежная пыль  опустилась на длинный  извилистый след  моих лет.  Росчерком метеоров –  годы иллюзий.  Вы меня любите, горы!  Любите,  люди!  Вас не исправить,  не превратить в плоскость,  ваши изломы,  горы, -  неизгладимы. | Вы так неправильны,  горы,  правильна – пошлость,  вас не сравнять, горы,  вы – несравнимы.  **Чижевский Александр Леонидович**  \*\*\*  О беспредельном этом мире  В ночной тиши я размышлял,  А Шар Земной в живом эфире  Небесный свод круговращал.  О, как ничтожество земное  Язвило окрыленный дух!  О, как величие родное  Меня охватывало вдруг.  Непостижимое смятенье  Вне широты и долготы.  И свет, и головокруженье,  И воздух горной высоты.  И высота необычайно  Меня держала на весу,  И так была доступна тайна,  Что я весь мир в себе несу. |

## Антуан де Сент-Экзюпери

## МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ

## (фрагменты)

## 

## I

Когда мне было шесть лет, в книге под названием "Правдивые

истории", где рассказывалось про девственные леса, я увидел однажды

удивительную картинку. На картинке огромная змея - удав - глотала

хищного зверя.

В книге говорилось: "Удав заглатывает свою жертву целиком, не

жуя. После этого он уже не может шевельнуться и спит полгода подряд,

пока не переварит пищу".

Я много раздумывал о полной приключений жизни джунглей и тоже

нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Это был мой рисунок

N 1. Вот что я нарисовал. Я показал мое творение взрослым и спросил, не

страшно ли им.

- Разве шляпа страшная? - возразили мне.

А это была совсем не шляпа. Это был удав, который проглотил

слона. Тогда я нарисовал удава изнутри, чтобы взрослым было понятнее.

Им ведь всегда нужно все объяснять. Это мой рисунок N 2.

Взрослые посоветовали мне не рисовать змей ни снаружи, ни изнутри,

а побольше интересоваться географией, историей, арифметикой и

правописанием. Вот как случилось, что шести лет я отказался от

блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу с рисунками N 1 и N 2, я

утратил веру в себя. Взрослые никогда ничего не понимают сами, а для

детей очень утомительно без конца им все объяснять и растолковывать.

Итак, мне пришлось выбирать другую профессию, и я выучился на

летчика. Облетел я чуть ли не весь свет. И география, по правде

сказать, мне очень пригодилась. Я умел с первого взгляда отличить Китай

от Аризоны. Это очень полезно, если ночью собьешься с пути.

На своем веку я много встречал разных серьезных людей. Я долго

жил среди взрослых. Я видел их совсем близко. И от этого, признаться,

не стал думать о них лучше.

Когда я встречал взрослого, который казался мне разумней и

понятливей других, я показывал ему свой рисунок N 1 - я его сохранил и

всегда носил с собою. Я хотел знать, вправду ли этот человек что-то

понимает. Но все они отвечали мне: "Это шляпа". И я уже не говорил с

ними ни об удавах, ни о джунглях, ни о звездах. Я применялся к их

понятиям. Я говорил с ними об игре в бридж и гольф, о политике и о

галстуках. И взрослые были очень довольны, что познакомились с таким

здравомыслящим человеком.

## II

Так я жил в одиночестве, и не с кем было мне поговорить по душам.

И вот шесть лет тому назад пришлось мне сделать вынужденную посадку в

Сахаре. Что-то сломалось в моторе моего самолета. Со мной не было ни

механика, ни пассажиров, и я решил, что попробую сам все починить, хоть

это и очень трудно. Я должен был исправить мотор или погибнуть. Воды у

меня едва хватило бы на неделю.

Итак, в первый вечер я уснул на песке в пустыне, где на тысячи миль

вокруг не было никакого жилья. Человек, потерпевший кораблекрушение и

затерянный на плоту посреди океана, - и тот был бы не так одинок.

Вообразите же мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то

тоненький голосок. Он сказал:

- Пожалуйста... нарисуй мне барашка!

- А?..

- Нарисуй мне барашка...

Я вскочил, точно надо мною грянул гром. Протер глаза. Стал

осматриваться. И увидел забавного маленького человечка, который серьезно

меня разглядывал. Вот самый лучший его портрет, какой мне после удалось

нарисовать. Но на моем рисунке он, конечно, далеко не так хорош, как был

на самом деле. Это не моя вина. Когда мне было шесть лет, взрослые

убедили меня, что художник из меня не выйдет, и я ничего не научился

рисовать, кроме удавов - снаружи и изнутри.

Итак, я во все глаза смотрел на это необычайное явление. Не

забудьте, я находился за тысячи миль от человеческого жилья. А между тем

ничуть не похоже было, чтобы этот малыш заблудился, или до смерти устал

и напуган, или умирает от голода и жажды. По его виду никак нельзя было

сказать, что это ребенок, потерявшийся в необитаемой пустыне, вдалеке от

всякого жилья. Наконец ко мне вернулся дар речи, и я спросил:

- Но... что ты здесь делаешь?

И он опять попросил тихо и очень серьезно:

- Пожалуйста... нарисуй барашка...

Все это было так таинственно и непостижимо, что я не посмел

отказаться. Как ни нелепо это было здесь, в пустыне, на волосок от

смерти, я все-таки достал из кармана лист бумаги и вечное перо. Но тут

же вспомнил, что учился-то я больше географии, истории, арифметике и

правописанию, и сказал малышу (немножко даже сердито сказал), что не

умею рисовать. Он ответил:

- Все равно. Нарисуй барашка.

Так как я никогда в жизни не рисовал баранов, я повторил для него

одну из двух старых картинок, которые я только и умею рисовать - удава

снаружи. И очень изумился, когда малыш воскликнул:

- Нет, нет! Мне не надо слона в удаве! Удав слишком опасен, а

слон слишком большой. У меня дома все очень маленькое. Мне нужен

барашек. Нарисуй барашка.

И я нарисовал.

Он внимательно посмотрел на мой рисунок и сказал:

- Нет, этот барашек уже совсем хилый. Нарисуй другого.

Я нарисовал.

Мой новый друг мягко, снисходительно улыбнулся.

- Ты же сам видишь, - сказал он, - это не барашек. Это большой

баран. У него рога...

Я опять нарисовал по-другому. Но он и от этого рисунка отказался:

- Этот слишком старый. Мне нужен такой барашек, чтобы жил долго.

Тут я потерял терпение - ведь мне надо было поскорей разобрать

мотор - и нацарапал ящик.

И сказал малышу:

- Вот тебе ящик. А в нем сидит такой барашек, какого тебе хочется.

Но как же я удивился, когда мой строгий судья вдруг просиял:

- Вот это хорошо! Как ты думаешь, много этому барашку надо травы?

- А что?

- Ведь у меня дома всего очень мало...

- Ему хватит. Я тебе даю совсем маленького барашка.

- Не такой уж он маленький... - сказал он, наклонив голову и

разглядывая рисунок. - Смотри-ка! Он уснул...

Так я познакомился с Маленьким принцем.

## 

## III

Не скоро я понял, откуда он явился. Маленький принц засыпал меня

вопросами, но когда я спрашивал о чем-нибудь, он словно и не слышал.

Лишь понемногу, из случайных, мимоходом оброненных слов мне все

открылось. Так, когда он впервые увидел мой самолет (самолет я рисовать

не стану, мне все равно не справиться), он спросил:

- Что это за штука?

- Это не штука. Это самолет. Мой самолет. Он летает.

И я с гордостью объяснил ему, что умею летать. Тогда он воскликнул:

- Как! Ты упал с неба?

- Да, - скромно ответил я.

- Вот забавно!..

И Маленький принц звонко засмеялся, так что меня взяла досада: я

люблю, чтобы к моим злоключениям относились серьезно. Потом он прибавил:

- Значит, ты тоже явился с неба. А с какой планеты?

"Так вот разгадка его таинственного появления здесь, в пустыне!" -

подумал я и спросил напрямик:

- Стало быть, ты попал сюда с другой планеты?

Но он не ответил. Он тихо покачал головой, разглядывая мой

самолет:

- Ну, на этом ты не мог прилететь издалека...

И надолго задумался о чем-то. Потом вынул из кармана моего барашка

и погрузился в созерцание этого сокровища.

Можете себе представить, как разгорелось мое любопытство от этого

полупризнания о "других планетах". И я попытался разузнать побольше:

- Откуда же ты прилетел, малыш? Где твой дом? Куда ты хочешь

унести моего барашка?

Он помолчал в раздумье, потом сказал:

- Очень хорошо, что ты дал мне ящик: барашек будет там спать по

ночам.

- Ну конечно. И если ты будешь умницей, я дам тебе веревку, чтобы

днем его привязывать. И колышек.

Маленький принц нахмурился:

- Привязывать? Для чего это?

- Но ведь если ты его не привяжешь, он забредет неведомо куда и

потеряется.

Тут мой друг опять весело рассмеялся:

- Да куда же он пойдет?

- Мало ли куда? Все прямо, прямо, куда глаза глядят.

Тогда Маленький принц сказал серьезно:

- Это не страшно, ведь у меня там очень мало места.

И прибавил не без грусти:

- Если идти все прямо да прямо, далеко не уйдешь...

## 

## IV

Так я сделал еще одно важное открытие: его родная планета вся-то

величиной с дом!

Впрочем, это меня не слишком удивило. Я знал, что, кроме таких

больших планет, как Земля, Юпитер, Марс, Венера, существуют еще сотни

других и среди них такие маленькие, что их даже в телескоп трудно

разглядеть. Когда астроном открывает такую планетку, он дает ей не имя,

а просто номер. Например: астероид 3251.

У меня есть серьезные основания полагать, что Маленький принц

прилетел с планетки, которая называется "астероид В-612". Этот астероид

был замечен в телескоп лишь один раз, в 1909 году, одним турецким

астрономом.

Астроном доложил тогда о своем замечательном открытии на

Международном астрономическом конгрессе. Но никто ему не поверил, а все

потому, что он был одет по-турецки. Уж такой народ эти взрослые!

К счастью для репутации астероида В-612, турецкий султан велел

своим подданным под страхом смерти носить европейское платье. В 1920

году тот астроном снова доложил о своем открытии. На этот раз он был

одет по последней моде, - и все с ним согласились.

Я вам рассказал так подробно об астероиде В-612 и даже сообщил его

номер только из-за взрослых. Взрослые очень любят цифры. Когда

рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не

спросят о самом главном. Никогда они не скажут: "А какой у него голос?

В какие игры он любит играть? Ловит ли он бабочек?" Они спрашивают:

"Сколько ему лет? Сколько у него братьев? Сколько он весит? Сколько

зарабатывает его отец?" И после этого воображают, что узнали человека.

Когда говоришь взрослым: "Я видел красивый дом из розового кирпича, в

окнах у него герань, а на крыше голуби", - они никак не могут

представить себе этот дом. Им надо сказать: "Я видел дом за сто тысяч

франков", - и тогда они восклицают: "Какая красота!"

Точно так же, если им сказать: "Вот доказательства, что Маленький

принц на самом деле существовал: он был очень, очень славный, он

смеялся, и ему хотелось иметь барашка. А кто хочет барашка, тот,

безусловно, существует", - если им сказать так, они только пожмут

плечами и посмотрят на тебя, как на несмышленого младенца. Но если

сказать им: "Он прилетел с планеты, которая называется астероид В-612",

- это их убедит, и они не станут докучать вам расспросами. Уж такой

народ эти взрослые. Не стоит на них сердиться. Дети должны быть очень

снисходительны к взрослым.

Но мы, те, кто понимает, что такое жизнь, мы, конечно, смеемся над

номерами и цифрами! Я охотно начал бы эту повесть как волшебную

сказку. Я хотел бы начать так:

"Жил да был Маленький принц. Он жил на планете, которая была чуть

побольше его самого, и ему очень не хватало друга...". Те, кто понимает,

что такое жизнь, сразу бы увидели, что все это чистая правда.

Ибо я совсем не хочу, чтобы мою книжку читали просто ради забавы.

Сердце мое больно сжимается , когда я вспоминаю моего маленького друга,

и нелегко мне о нем говорить. Прошло уже шесть лет с тех пор, как он

вместе со своим барашком покинул меня. И я пытаюсь рассказать о нем для

того, чтобы его не забыть. Это очень печально, когда забывают друзей. Не

у всякого есть друг. И я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничто

не интересно, кроме цифр. Вот еще и поэтому я купил ящик с красками и

цветные карандаши. Не так это просто - в моем возрасте вновь приниматься

за рисование, если за всю свою жизнь только и нарисовал что удава

снаружи и изнутри, да и то в шесть лет! Конечно, я постараюсь передать

сходство как можно лучше. Но я совсем не уверен, что у меня это

получится. Один портрет выходит удачно, а другой ни капли не похож. Вот

и с ростом тоже: на одном рисунке принц у меня вышел чересчур большой,

на другом - чересчур маленький. И я плохо помню, какого цвета была его

одежда. Я пробую рисовать и так, и эдак, наугад, с грехом пополам.

Наконец, я могу ошибиться и в каких-то важных подробностях. Но вы уж не

взыщите. Мой друг никогда мне ничего не объяснял. Может быть, он думал,

что я такой же, как он. Но я, к сожалению, не умею увидеть барашка

сквозь стенки ящика. Может быть, я немного похож на взрослых. Наверно, я

старею.

## V

Каждый день я узнавал что-нибудь новое о его планете, о том, как

он ее покинул и как странствовал. Он рассказывал об этом понемножку,

когда приходилось к слову. Так, на третий день я узнал о трагедии с

баобабами.

Это тоже вышло из-за барашка. Казалось, Маленьким принцем вдруг

овладели тяжкие сомнения, и он спросил:

- Скажи, ведь, правда, барашки едят кусты?

- Да, правда.

- Вот хорошо!

Я не понял, почему это так важно, что барашки едят кусты. Но

Маленький принц прибавил:

- Значит, они и баобабы тоже едят?

Я возразил, что баобабы - не кусты, а огромные деревья, вышиной с

колокольню, и, если даже он приведет целое стадо слонов, им не съесть и

одного баобаба.

Услыхав про слонов, Маленький принц засмеялся:

- Их пришлось бы поставить друг на друга...

А потом сказал рассудительно:

- Баобабы сперва, пока не вырастут, бывают совсем маленькие.

- Это верно. Но зачем твоему барашку есть маленькие баобабы?

- А как же! - воскликнул он, словно речь шла о самых простых,

азбучных истинах.

И пришлось мне поломать голову, пока я додумался, в чем тут дело.

На планете Маленького принца, как на любой другой планете, растут

травы полезные и вредные. А значит, есть там хорошие семена хороших,

полезных трав и вредные семена дурной, сорной травы. Но ведь семена

невидимы. Они спят глубоко под землей, пока одно из них не вздумает

проснуться. Тогда оно пускает росток; он расправляется и тянется к

солнцу, сперва такой милый и безобидный. Если это будущий редис или

розовый куст, пусть его растет на здоровье. Но если это какая-нибудь

дурная трава, надо вырвать ее с корнем, как только ее узнаешь. И вот

на планете Маленького принца есть ужасные, зловредные семена... это

семена баобабов. Почва планеты вся заражена ими. А если баобаб не

распознать вовремя, потом от него уже не избавишься. Он завладеет всей

планетой. Он пронижет ее насквозь своими корнями. И если планета

очень маленькая, а баобабов много, они разорвут ее на клочки.

- Есть такое твердое правило, - сказал мне позднее Маленький

принц. - Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же

приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день

выпалывать баобабы, как только их уже можно отличить от розовых кустов:

молодые ростки у них почти одинаковые. Это очень скучная работа, но

совсем не трудная.

Однажды он посоветовал мне постараться и нарисовать такую

картинку, чтобы и у нас дети это хорошо поняли.

- Если им когда-нибудь придется путешествовать, - сказал он, - это

им пригодится. Иная работа может и подождать немного, вреда не будет.

Но если дашь волю баобабам, беды не миновать. Я знал одну планету, на

ней жил лентяй. Он не выполол вовремя три кустика...

Маленький принц подробно мне все описал, и я нарисовал эту планету.

Я терпеть не могу читать людям нравоучения. Но мало кто знает, чем

грозят баобабы, а опасность, которой подвергается всякий, кто попадет на

астероид, очень велика - вот почему на сей раз я решаюсь изменить своей

обычной сдержанности. "Дети! - говорю я. - Берегитесь баобабов!" Я хочу

предупредить моих друзей об опасности, которая давно уже их

подстерегает, а они даже не подозревают о ней, как не подозревал прежде

и я. Вот почему я так трудился над этим рисунком, и мне не жаль

потраченного труда. Быть может, вы спросите: отчего в этой книжке нет

больше таких внушительных рисунков, как этот, с баобабами? Ответ очень

прост: я старался, но у меня ничего не вышло. А когда я рисовал баобабы,

меня вдохновляло сознание, что это страшно важно и неотложно.

## 

## VI

О Маленький принц! Понемногу я понял также, как печальна и

однообразна была твоя жизнь. Долгое время у тебя было лишь одно

развлечение: ты любовался закатом. Я узнал об этом наутро четвертого

дня, когда ты сказал:

- Я очень люблю закат. Пойдем посмотрим, как заходит солнце.

- Ну, придется подождать.

- Чего ждать?

- Чтобы солнце зашло.

Сначала ты очень удивился, а потом засмеялся над собою и сказал:

- Мне все кажется, что я у себя дома!

И в самом деле. Все знают, что, когда в Америке полдень, во Франции

солнце уже заходит. И если бы за одну минуту перенестись во Францию,

можно было бы полюбоваться закатом. К несчастью, до Франции очень, очень

далеко. А на твоей планете тебе довольно было передвинуть стул на

несколько шагов. И ты снова и снова смотрел на закатное небо, стоило

только захотеть...

- Однажды я за один день видел заход солнца сорок три раза!

И немного погодя ты прибавил:

- Знаешь... когда станет очень грустно, хорошо поглядеть, как

заходит солнце...

- Значит, в тот день, когда ты видел сорок три заката, тебе было

очень грустно?

Но Маленький принц не ответил.

## 

## VII

На пятый день, опять-таки благодаря барашку, я узнал секрет

Маленького принца. Он спросил неожиданно, без предисловий, точно пришел

к этому выводу после долгих молчаливых раздумий:

- Если барашек есть кусты, он и цветы ест?

- Он есть все, что попадется.

- Даже такие цветы, у которых шипы?

- Да, и те, у которых шипы.

- Тогда зачем шипы?

Этого я не знал. Я был очень занят: в моторе заел один болт, и я

старался его отвернуть. Мне было не по себе, положение становилось

серьезным, воды почти не осталось, и я начал бояться, что моя

вынужденная посадка плохо кончится.

- Зачем нужны шипы?

Задав какой-нибудь вопрос, Маленький принц никогда не отступался,

пока не получал ответа. Неподатливый болт выводил меня из терпенья, и я

ответил наобум:

- Шипы ни зачем не нужны, цветы выпускают их просто от злости.

- Вот как!

Наступило молчание. Потом он сказал почти сердито:

- Не верю я тебе! Цветы слабые. И простодушные. И они стараются

придать себе храбрости. Они думают - если у них шипы, их все боятся...

Я не ответил. В ту минуту я говорил себе: "Если этот болт и сейчас

не поддастся, я так стукну по нему молотком, что он разлетится

вдребезги". Маленький принц снова перебил мои мысли:

- А ты думаешь, что цветы...

- Да нет же! Ничего я не думаю! Я ответил тебе первое, что пришло

в голову. Ты видишь, я занят серьезным делом.

Он посмотрел на меня в изумлении:

- Серьезным делом?!

Он все смотрел на меня: перепачканный смазочным маслом, с

молотком в руках, я наклонился над непонятным предметом, который

казался ему таким уродливым.

- Ты говоришь, как взрослые! - сказал он.

Мне стало совестно. А он беспощадно прибавил:

- Все ты путаешь... ничего не понимаешь!

Да, он не на шутку рассердился. Он тряхнул головой, и ветер

растрепал его золотые волосы.

- Я знаю одну планету, там живет такой господин с багровым лицом.

Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка. Ни разу не поглядел на

звезду. Он никогда никого не любил. И никогда ничего не делал. Он занят

только одним: он складывает цифры. И с утра до ночи твердит одно: "Я

человек серьезный! Я человек серьезный!" - совсем как ты. И прямо

раздувается от гордости. А на самом деле он не человек. Он гриб.

- Что?

- Гриб!

Маленький принц даже побледнел от гнева.

- Миллионы лет у цветов растут шипы. И миллионы лет барашки

все-таки едят цветы. Так неужели же это не серьезное дело - понять,

почему они изо всех сил стараются отрастить шипы, если от шипов нет

никакого толку? Неужели это не важно, что барашки и цветы воюют друг с

другом? Да разве это не серьезнее и не важнее, чем арифметика толстого

господина с багровым лицом? А если я знаю единственный в мире цветок,

он растет только на моей планете, и другого такого больше нигде нет, а

маленький барашек в одно прекрасное утро вдруг возьмет и съест его и

даже не будет знать, что он натворил? И это все, по-твоему, не важно?

Он сильно покраснел. Потом снова заговорил:

- Если любишь цветок - единственный, какого больше нет ни на одной

из многих миллионов звезд, этого довольно: смотришь на небо и

чувствуешь себя счастливым. И говоришь себе: "Где-то там живет мой

цветок..." Но если барашек его съест, это все равно, как если бы все

звезды разом погасли! И это, по-твоему, не важно!

Он больше не мог говорить. Он вдруг разрыдался. Стемнело. Я бросил

работу. Мне смешны были злополучный болт и молоток, жажда и смерть. На

звезде, на планете - на моей планете, по имени Земля - плакал Маленький

принц, и надо было его утешить. Я взял его на руки и стал баюкать. Я

говорил ему: "Цветку, который ты любишь, ничто не грозит... Я нарисую

твоему барашку намордник... Нарисую для твоего цветка броню... Я..." Я

плохо понимал, что говорил. Я чувствовал себя ужасно неловким и

неуклюжим. Я не знал, как позвать, чтобы он услышал, как догнать его

душу, ускользающую от меня... Ведь она такая таинственная и

неизведанная, эта страна слез.

## 

## VIII

Очень скоро я лучше узнал этот цветок. На планете Маленького принца

всегда росли простые, скромные цветы - у них было мало лепестков, они

занимали совсем мало места и никого не беспокоили. Они раскрывались

поутру в траве и под вечер увядали. А этот пророс однажды из зерна,

занесенного неведомо откуда, и Маленький принц не сводил глаз с

крохотного ростка, не похожего на все остальные ростки и былинки. Вдруг

это какая-нибудь новая разновидность баобаба? Но кустик быстро перестал

тянуться ввысь, и на нем появился бутон. Маленький принц никогда еще не

видал таких огромных бутонов и предчувствовал, что увидит чудо. А

неведомая гостья, еще скрытая в стенах своей зеленой комнатки, все

готовилась, все прихорашивалась. Она заботливо подбирала краски. Она

наряжалась неторопливо, один за другим примеряя лепестки. Она не желала

явиться на свет встрепанной, точно какой-нибудь мак. Она хотела

показаться во всем блеске своей красоты. Да, это была ужасная кокетка!

Таинственные приготовления длились день за днем. И вот наконец, однажды

утром, едва взошло солнце, лепестки раскрылись.

И красавица, которая столько трудов положила, готовясь к этой

минуте, сказала, позевывая:

- Ах, я насилу проснулась... Прошу извинить... Я еще совсем

растрепанная...

Маленький принц не мог сдержать восторга:

- Как вы прекрасны!

- Да, правда? - был тихий ответ. - И заметьте, я родилась вместе

с солнцем.

Маленький принц, конечно, догадался, что удивительная гостья не

страдает избытком скромности, зато она была так прекрасна, что дух

захватывало!

А она вскоре заметила:

- Кажется, пора завтракать. Будьте так добры, позаботьтесь обо

мне...

Маленький принц очень смутился, разыскал лейку и полил цветок

ключевой водой.

Скоро оказалось, что красавица горда и обидчива, и Маленький принц

совсем с нею измучился. У нее было четыре шипа, и однажды она сказала

ему:

- Пусть приходят тигры, не боюсь я их когтей!

- На моей планете тигры не водятся, - возразил Маленький принц. -

И потом, тигры не едят траву.

- Я не трава, - обиженно заметил цветок.

- Простите меня...

- Нет, тигры мне не страшны, но я ужасно боюсь сквозняков. У вас

нет ширмы?

"Растение, а боится сквозняков... очень странно... - подумал

Маленький принц. - Какой трудный характер у этого цветка".

- Когда настанет вечер, накройте меня колпаком. У вас тут слишком

холодно. Очень неуютная планета. Там, откуда я прибыла...

Она не договорила. Ведь ее занесло сюда, когда она была еще

зернышком. Она ничего не могла знать о других мирах. Глупо лгать,

когда тебя так легко уличить! Красавица смутилась, потом кашлянула

раз-другой, чтобы Маленький принц почувствовал, как он перед нею

виноват:

- Где же ширма?

- Я хотел пойти за ней, но не мог же я вас не дослушать!

Тогда она закашляла сильнее: пускай его все-таки помучит совесть!

Хотя Маленький принц и полюбил прекрасный цветок и рад был ему

служить, но вскоре в душе его пробудились сомнения. Пустые слова он

принимал близко к сердцу и стал чувствовать себя очень несчастным.

- Напрасно я ее слушал, - доверчиво сказал он мне однажды. -

Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них

и дышать их ароматом. Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету,

а я не умел ему радоваться. Эти разговоры о когтях и тиграх... Они

должны бы меня растрогать, а я разозлился...

И еще он признался:

- Ничего я тогда не понимал! Надо было судить не по словам, а по

делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был

бежать. За этими жалкими хитростями и уловками я должен был угадать

нежность. Цветы так непоследовательны! Но я был слишком молод, я еще

не умел любить.

## 

## IX

Как я понял, он решил странствовать с перелетными птицами. В

последнее утро он старательней обычного прибрал свою планету. Он

заботливо прочистил действующие вулканы. У него было два действующих

вулкана. На них очень удобно по утрам разогревать завтрак. Кроме

того, у него был еще один потухший вулкан. Но, сказал он, мало ли что

может случиться! Поэтому он прочистил и потухший вулкан тоже. Когда

вулканы аккуратно чистишь, они горят ровно и тихо, без всяких

извержений. Извержение вулкана - это все равно, что пожар в печной

трубе, когда там загорится сажа. Конечно, мы, люди на земле, слишком

малы и не можем прочищать наши вулканы. Вот почему они доставляют нам

столько неприятностей.

Не без грусти Маленький принц вырвал также последние ростки

баобабов. Он думал, что никогда не вернется. Но в это утро привычная

работа доставляла ему необыкновенное удовольствие. А когда он в

последний раз полил и собрался накрыть колпаком чудесный цветок, ему

даже захотелось плакать.

- Прощайте, - сказал он.

Красавица не ответила.

- Прощайте, - повторил Маленький принц.

Она кашлянула. Но не от простуды.

- Я была глупая, - сказала она наконец. - Прости меня. И

постарайся быть счастливым.

И ни слова упрека. Маленький принц был очень удивлен. Он застыл,

смущенный и растерянный, со стеклянным колпаком в руках. Откуда эта

тихая нежность?

- Да, да, я люблю тебя, - услышал он. - Моя вина, что ты этого не

знал. Да это и не важно. Но ты был такой же глупый, как и я. Постарайся

быть счастливым... Оставь колпак, он мне больше не нужен.

- Но ветер...

- Не так уж я простужена... Ночная свежесть пойдет мне на пользу.

Ведь я - цветок.

- Но звери, насекомые...

- Должна же я стерпеть двух-трех гусениц, если хочу познакомиться с

бабочками. Они, должно быть, прелестны. А то кто же станет меня

навещать? Ты ведь будешь далеко. А больших зверей я не боюсь. У меня

тоже есть когти.

И она в простоте душевной показала свои четыре шипа. Потом

прибавила:

- Да не тяни же, это невыносимо! Решил уйти - так уходи.

Она не хотела, чтобы Маленький принц видел, как она плачет. Это

был очень гордый цветок...

## XIX

Маленький принц поднялся на высокую гору. Прежде он никогда не

видал гор, кроме своих трех вулканов, которые были ему по колено.

Потухший вулкан служил ему табуретом. И теперь он подумал: "С такой

высокой горы я сразу увижу всю эту планету и всех людей". Но увидел

только скалы, острые и тонкие, как иглы.

- Добрый день, - сказал он на всякий случай.

- Добрый день... день... день... - откликнулось эхо.

- Кто вы? - спросил Маленький принц.

- Кто вы... кто вы... кто вы... - откликнулось эхо.

- Будем друзьями, я совсем один, - сказал он.

- Один... один... один... - откликнулось эхо.

"Какая странная планета! - подумал Маленький принц. - Совсем сухая,

вся в иглах и соленая. И у людей не хватает воображения. Они только

повторяют то, что им скажешь... Дома у меня был цветок, моя краса и

радость, и он всегда заговаривал первым".

## 

## ХX

Долго шел Маленький принц через пески, скалы и снега и, наконец,

набрел на дорогу. А все дороги ведут к людям.

- Добрый день, - сказал он.

Перед ним был сад, полный роз.

- Добрый день, - отозвались розы.

И Маленький принц увидел, что все они похожи на его цветок.

- Кто вы? - спросил он, пораженный.

- Мы - розы, - отвечали розы.

- Вот как... - промолвил Маленький принц.

И почувствовал себя очень-очень несчастным. Его красавица

говорила ему, что подобных ей нет во всей вселенной. И вот перед ним

пять тысяч точно таких же цветов в одном только саду!

"Как бы она рассердилась, если бы увидела их! - подумал Маленький

принц. - Она бы ужасно раскашлялась и сделала вид, что умирает, лишь

бы не показаться смешной. А мне пришлось бы ходить за ней, как за

больной, ведь иначе она и вправду бы умерла, лишь бы унизить и меня

тоже..."

А потом он подумал: "Я-то воображал, что владею единственным в мире

цветком, какого больше ни у кого и нигде нет, а это была самая

обыкновенная роза. Только всего у меня и было что простая роза да три

вулкана ростом мне по колено, и то один из них потух и, может быть,

навсегда... какой же я после этого принц..."

Он лег в траву и заплакал.

## XXI

Вот тут-то и появился Лис.

- Здравствуй, - сказал он.

- Здравствуй, - вежливо ответил Маленький принц и оглянулся, но

никого не увидел.

- Я здесь, - послышался голос. - Под яблоней...

- Кто ты? - спросил Маленький принц. - Какой ты красивый!

- Я - Лис, - сказал Лис.

- Поиграй со мной, - попросил Маленький принц. - Мне так

грустно...

- Не могу я с тобой играть, - сказал Лис. - Я не приручен.

- Ах, извини, - сказал Маленький принц.

Но, подумав, спросил:

- А как это - приручить?

- Ты не здешний, - заметил Лис. - Что ты здесь ищешь?

- Людей ищу, - сказал Маленький принц. - А как это - приручить?

- У людей есть ружья, и они ходят на охоту. Это очень неудобно! И

еще они разводят кур. Только этим они и хороши. Ты ищешь кур?

- Нет, - сказал Маленький принц. - Я ищу друзей. А как это -

приручить?

- Это давно забытое понятие, - объяснил Лис. - Оно означает:

создать узы.

- Узы?

- Вот именно, - сказал Лис. - Ты для меня пока всего лишь маленький

мальчик, точно такой же, как сто тысяч других мальчиков. И ты мне не

нужен. И я тебе тоже не нужен. Я для тебя всего только лисица, точно

такая же, как сто тысяч других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы

станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственным в целом свете.

И я буду для тебя один в целом свете...

- Я начинаю понимать, - сказал Маленький принц. - Была одна

роза... наверно, она меня приручила...

- Очень возможно, - согласился Лис. - На Земле чего только не

бывает.

- Это было не на Земле, - сказал Маленький принц.

Лис очень удивился:

- На другой планете?

- Да.

- А на той планете есть охотники?

- Нет.

- Как интересно! А куры есть?

- Нет.

- Нет в мире совершенства! - вздохнул Лис.

Но потом он вновь заговорил о том же:

- Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за

мною. Все куры одинаковы, и люди все одинаковы. И живется мне

скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем

озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Заслышав

людские шаги, я всегда убегаю и прячусь. Но твоя походка позовет меня,

точно музыка, и я выйду из своего убежища. И потом - смотри! Видишь,

вон там, в полях, зреет пшеница? Я не ем хлеба. Колосья мне не нужны.

Пшеничные поля ни о чем мне не говорят. И это грустно! Но у тебя

золотые волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь! Золотая

пшеница станет напоминать мне тебя. И я полюблю шелест колосьев на

ветру...

Лис замолчал и долго смотрел на Маленького принца. Потом сказал:

- Пожалуйста... приручи меня!

- Я бы рад, - отвечал Маленький принц, - но у меня так мало

времени. Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи.

- Узнать можно только те вещи, которые приручишь, - сказал Лис. -

У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи

готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы

друзьями, и потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у

тебя был друг, приручи меня!

- А что для этого надо делать? - спросил Маленький принц.

- Надо запастись терпеньем, - ответил Лис. - Сперва сядь вон там,

поодаль, на траву - вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты

молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись

немножко ближе...

Назавтра Маленький принц вновь пришел на то же место.

- Лучше приходи всегда в один и тот же час, - попросил Лис. - Вот,

например, если ты будешь приходить в четыре часа, я уже с трех часов

почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем

счастливее. В четыре часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю

цену счастью! А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю,

к какому часу готовить свое сердце... Нужно соблюдать обряды.

- А что такое обряды? - спросил Маленький принц.

- Это тоже нечто давно забытое, - объяснил Лис. - Нечто такое,

отчего один какой-то день становится не похож на все другие дни, один

час - на все другие часы. Вот, например, у моих охотников есть такой

обряд: по четвергам они танцуют с деревенскими девушками. И какой же это

чудесный день - четверг! Я отправляюсь на прогулку и дохожу до самого

виноградника. А если бы охотники танцевали, когда придется, все дни были

бы одинаковы, и я никогда не знал бы отдыха.

Так Маленький принц приручил Лиса. И вот настал час прощанья.

- Я буду плакать о тебе, - вздохнул Лис.

- Ты сам виноват, - сказал Маленький принц. - Я ведь не хотел,

чтобы тебе было больно, ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил...

- Да, конечно, - сказал Лис.

- Но ты будешь плакать!

- Да, конечно.

- Значит, тебе от этого плохо.

- Нет, - возразил Лис, - мне хорошо. Вспомни, что я говорил про

золотые колосья.

Он умолк. Потом прибавил:

- Поди взгляни еще раз на розы. Ты поймешь, что твоя роза -

единственная в мире. А когда вернешься, чтобы проститься со мной, я

открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок.

Маленький принц пошел взглянуть на розы.

- Вы ничуть не похожи на мою розу, - сказал он им. - Вы еще

ничто. Никто вас не приручил, и вы никого не приручили. Таким был

прежде мой Лис. Он ничем не отличался от ста тысяч других лисиц. Но я

с ним подружился, и теперь он - единственный в целом свете.

Розы очень смутились.

- Вы красивые, но пустые, - продолжал Маленький принц. - Ради вас

не захочется умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою

розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она одна дороже

всех вас. Ведь это ее, а не вас я поливал каждый день. Ее, а не вас

накрывал стеклянным колпаком. Ее загораживал ширмой, оберегая от

ветра. Для нее убивал гусениц, только двух или трех оставил, чтобы

вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась и как хвастала, я

прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она - моя.

И Маленький принц возвратился к Лису.

- Прощай... - сказал он.

- Прощай, - сказал Лис. - Вот мой секрет, он очень прост: зорко

одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.

- Самого главного глазами не увидишь, - повторил Маленький принц,

чтобы лучше запомнить.

- Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей всю душу.

- Потому что я отдавал ей всю душу... - повторил Маленький принц,

чтобы лучше запомнить.

- Люди забыли эту истину, - сказал Лис, - но ты не забывай: ты

навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу.

- Я в ответе за мою розу... - повторил Маленький принц, чтобы

лучше запомнить.

**Андреев Леонид Николаевич**

**КУСАКА**

I

Она никому не принадлежала; у нее не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась. От теплых изб ее отгоняли дворовые собаки, такие же голодные, как и она, но гордые и сильные своею принадлежностью к дому; когда, гонимая голодом или инстинктивною потребностью в общении, она показывалась на улице, — ребята бросали в нее камнями и палками, взрослые весело улюлюкали и страшно, пронзительно свистали. Не помня себя от страху, переметываясь со стороны на сторону, натыкаясь на загороди и людей, она мчалась на край поселка и пряталась в глубине большого сада, в одном ей известном месте. Там она зализывала ушибы и раны и в одиночестве копила страх и злобу.

Только один раз ее пожалели и приласкали. Это был пропойца-мужик, возвращавшийся из кабака. Он всех любил и всех жалел и что-то говорил себе под нос о добрых людях и своих надеждах на добрых людей; пожалел он и собаку, грязную и некрасивую, на которую случайно упал его пьяный и бесцельный взгляд.

— Жучка! — позвал он ее именем, общим всем собакам. — Жучка! Пойди сюда, не бойся!

Жучке очень хотелось подойти; она виляла хвостом, но не решалась. Мужик похлопал себя рукой по коленке и убедительно повторил:

— Да пойди, дура! Ей-богу, не трону!

Но, пока собака колебалась, все яростнее размахивая хвостом и маленькими шажками подвигаясь вперед, настроение пьяного человека изменилось. Он вспомнил все обиды, нанесенные ему добрыми людьми, почувствовал скуку и тупую злобу и, когда Жучка легла перед ним на спину, с размаху ткнул ее в бок носком тяжелого сапога.

— У-у, мразь! Тоже лезет!

Собака завизжала, больше от неожиданности и обиды, чем от боли, а мужик, шатаясь, побрел домой, где долго и больно бил жену и на кусочки изорвал новый платок, который на прошлой неделе купил ей в подарок.

С тех пор собака не доверяла людям, которые хотели ее приласкать, и, поджав хвост, убегала, а иногда со злобою набрасывалась на них и пыталась укусить, пока камнями и палкой не удавалось отогнать ее. На одну зиму она поселилась под террасой пустой дачи, у которой не было сторожа, и бескорыстно сторожила ее: выбегала по ночам на дорогу и лаяла до хрипоты. Уже улегшись на свое место, она все еще злобно ворчала, но сквозь злобу проглядывало некоторое довольство собой и даже гордость.

Зимняя ночь тянулась долго-долго, и черные окна пустой дачи угрюмо глядели на обледеневший неподвижный сад. Иногда в них как будто вспыхивал голубоватый огонек: то отражалась на стекле упавшая звезда, или остророгий месяц посылал свой робкий луч.

II

Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колес и грязным топотом людей, переносящих тяжести. Приехали из города дачники, целая веселая ватага взрослых, подростков и детей, опьяненных воздухом, теплом и светом; кто-то кричал, кто-то пел, смеялся высоким женским голосом.

Первой, с кем познакомилась собака, была хорошенькая девушка в коричневом форменном платье, выбежавшая в сад. Жадно и нетерпеливо, желая охватить и сжать в своих объятиях все видимое, она посмотрела на ясное небо, на красноватые сучья вишен и быстро легла на траву, лицом к горячему солнцу. Потом так же внезапно вскочила и, обняв себя руками, целуя свежими устами весенний воздух, выразительно и серьезно сказала:

— Вот весело-то!

Сказала и быстро закружилась. И в ту же минуту беззвучно подкравшаяся собака яростно вцепилась зубами в раздувавшийся подол платья, рванула и так же беззвучно скрылась в густых кустах крыжовника и смородины.

— Ай, злая собака! — убегая, крикнула девушка, и долго еще слышался ее взволнованный голос: — Мама, дети! Не ходите в сад: там собака! Огромная!.. Злюу-щая!..

Ночью собака подкралась к заснувшей даче и бесшумно улеглась на свое место под террасой. Пахло людьми, и в открытые окна приносились тихие звуки короткого дыхания. Люди спали, были беспомощны и не страшны, и собака ревниво сторожила их: спала одним глазом и при каждом шорохе вытягивала голову с двумя неподвижными огоньками фосфорически светящихся глаз. А тревожных звуков было много в чуткой весенней ночи: в траве шуршало что-то невидимое, маленькое и подбиралось к самому лоснящемуся носу собаки; хрустела прошлогодняя ветка под заснувшей птицей, и на близком шоссе грохотала телега и скрипели нагруженные возы. И далеко окрест в неподвижном воздухе расстилался запах душистого, свежего дегтя и манил в светлеющую даль.

Приехавшие дачники были очень добрыми людьми, а то, что они были далеко от города, дышали хорошим воздухом, видели вокруг себя все зеленым, голубым и беззлобным, делало их еще добрее. Теплом входило в них солнце и выходило смехом и расположением ко всему живущему. Сперва они хотели прогнать напугавшую их собаку и даже застрелить ее из револьвера, если не уберется; но потом привыкли к лаю по ночам и иногда по утрам вспоминали:

— А где же наша Кусака?

И это новое имя Кусака так и осталось за ней. Случалось, что и днем замечали в кустах темное тело, бесследно пропадавшее при первом движении руки, бросавшей хлеб, — словно это был не хлеб, а камень, — и скоро все привыкли к Кусаке, называли ее своей собакой и шутили по поводу ее дикости и беспричинного страха. С каждым днем Кусака на один шаг уменьшала пространство, отделявшее ее от людей; присмотрелась к их лицам и усвоила их привычки: за полчаса до обеда уже стояла в кустах и ласково помаргивала. И та же гимназисточка Леля, забывшая обиду, окончательно ввела ее в счастливый круг отдыхающих и веселящихся людей.

— Кусачка, пойди ко мне! — звала она к себе. — Ну, хорошая, ну, милая, пойди! Сахару хочешь?.. Сахару тебе дам, хочешь? Ну, пойди же!

Но Кусака не шла: боялась. И осторожно, похлопывая себя руками и говоря так ласково, как это можно было при красивом голосе и красивом лице, Леля подвигалась к собаке и сама боялась: вдруг укусит.

— Я тебя люблю, Кусачка, я тебя очень люблю. У тебя такой хорошенький носик и такие выразительные глазки. Ты не веришь мне, Кусачка?

Брови Лели поднялись, и у самой у нее был такой хорошенький носик и такие выразительные глаза, что солнце поступило умно, расцеловав горячо, до красноты щек, все ее молоденькое, наивно-прелестное личико.

И Кусачка второй раз в своей жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная наверно, ударят ее или приласкают. Но ее приласкали. Маленькая, теплая рука прикоснулась нерешительно к шершавой голове и, словно это было знаком неотразимой власти, свободно и смело забегала по всему шерстистому телу, тормоша, лаская и щекоча.

— Мама, дети! Глядите: я ласкаю Кусаку! — закричала Леля.

Когда прибежали дети, шумные, звонкоголосые, быстрые и светлые, как капельки разбежавшейся ртути, Кусака замерла от страха и беспомощного ожидания: она знала, что, если теперь кто-нибудь ударит ее, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими острыми зубами: у нее отняли ее непримиримую злобу. И когда все наперерыв стали ласкать ее, она долго еще вздрагивала при каждом прикосновении ласкающей руки, и ей больно было от непривычной ласки, словно от удара.

III

Всею своею собачьей душою расцвела Кусака. У нее было имя, на которое она стремглав неслась из зеленой глубины сада; она принадлежала людям и могла им служить. Разве недостаточно этого для счастья собаки?

С привычкою к умеренности, создавшеюся годами бродячей, голодной жизни, она ела очень мало, но и это малое изменило ее до неузнаваемости: длинная шерсть, прежде висевшая рыжими, сухими космами и на брюхе вечно покрытая засохшею грязью, очистилась, почернела и стала лосниться, как атлас. И когда она от нечего делать выбегала к воротам, становилась у порога и важно осматривала улицу вверх и вниз, никому уже не приходило в голову дразнить ее или бросить камнем.

Но такою гордою и независимою она бывала только наедине. Страх не совсем еще выпарился огнем ласк из ее сердца, и всякий раз при виде людей, при их приближении, она терялась и ждала побоев. И долго еще всякая ласка казалась ей неожиданностью, чудом, которого она не могла понять и на которое она не могла ответить. Она не умела ласкаться. Другие собаки умеют становиться на задние лапки, тереться у ног и даже улыбаться, и тем выражают свои чувства, но она не умела.

Единственное, что могла Кусака, это упасть на спину, закрыть глаза и слегка завизжать. Но этого было мало, это не могло выразить ее восторга, благодарности и любви, — и с внезапным наитием Кусака начала делать то, что, быть может, когда-нибудь она видела у других собак, но уже давно забыла. Она нелепо кувыркалась, неуклюже прыгала и вертелась вокруг самой себя, и ее тело, бывшее всегда таким гибким и ловким, становилось неповоротливым, смешным и жалким.

— Мама, дети! Смотрите, Кусака играет! — кричала Леля и, задыхаясь от смеха, просила: — Еще, Кусачка, еще! Вот так! Вот так…

И все собирались и хохотали, а Кусака вертелась, кувыркалась и падала, и никто не видел в ее глазах странной мольбы. И как прежде на собаку кричали и улюлюкали, чтобы видеть ее отчаянный страх, так теперь нарочно ласкали ее, чтобы вызвать в ней прилив любви, бесконечно смешной в своих неуклюжих и нелепых проявлениях. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь из подростков или детей не кричал:

— Кусачка, милая Кусачка, поиграй!

И Кусачка вертелась, кувыркалась и падала при несмолкаемом веселом хохоте. Ее хвалили при ней и за глаза и жалели только об одном, что при посторонних людях, приходивших в гости, она не хочет показать своих штук и убегает в сад или прячется под террасой.

Постепенно Кусака привыкла к тому, что о пище не нужно заботиться, так как в определенный час кухарка даст ей помоев и костей, уверенно и спокойно ложилась на свое место под террасой и уже искала и просила ласк. И отяжелела она: редко бегала с дачи, и когда маленькие дети звали ее с собою в лес, уклончиво виляла хвостом и незаметно исчезала. Но по ночам все так же громок и бдителен был ее сторожевой лай.

IV

Желтыми огнями загорелась осень, частыми дождями заплакало небо, и быстро стали пустеть дачи и умолкать, как будто непрерывный дождь и ветер гасили их, точно свечи, одну за другой.

— Как же нам быть с Кусакой? — в раздумье спрашивала Леля.

Она сидела, охватив руками колени, и печально глядела в окно, по которому скатывались блестящие капли начавшегося дождя.

— Что у тебя за поза, Леля! Ну кто так сидит? — сказала мать и добавила:

— А Кусаку придется оставить. Бог с ней!

— Жа-а-лко, — протянула Леля.

— Ну что поделаешь? Двора у нас нет, а в комнатах ее держать нельзя, ты сама понимаешь.

— Жа-а-лко, — повторила Леля, готовая заплакать.

Уже приподнялись, как крылья ласточки, ее темные брови и жалко сморщился хорошенький носик, когда мать сказала:

— Догаевы давно уже предлагали мне щеночка. Говорят, очень породистый и уже служит. Ты слышишь меня? А эта что — дворняжка!

— Жа-а-лко, — повторила Леля, но не заплакала.

Снова пришли незнакомые люди, и заскрипели возы, и застонали под тяжелыми шагами половицы, но меньше было говора и совсем не слышно было смеха. Напуганная чужими людьми, смутно предчувствуя беду, Кусака убежала на край сада и оттуда, сквозь поредевшие кусты, неотступно глядела на видимый ей уголок террасы и на сновавшие по нем фигуры в красных рубахах.

— Ты здесь, моя бедная Кусачка, — сказала вышедшая Леля. Она уже была одета по-дорожному — в то коричневое платье, кусок от которого оторвала Кусака, и черную кофточку. — Пойдем со мной!

И они вышли на шоссе. Дождь то принимался идти, то утихал, и все пространство между почерневшею землей и небом было полно клубящимися, быстро идущими облаками. Снизу было видно, как тяжелы они и непроницаемы для света от насытившей их воды и как скучно солнцу за этою плотною стеной.

Налево от шоссе тянулось потемневшее жнивье, и только на бугристом и близком горизонте одинокими купами поднимались невысокие разрозненные деревья и кусты.

Впереди, недалеко, была застава и возле нее трактир с железной красной крышей, а у трактира кучка людей дразнила деревенского дурачка Илюшу.

— Дайте копеечку, — гнусавил протяжно дурачок, и злые, насмешливые голоса наперебой отвечали ему:

— А дрова колоть хочешь?

И Илюша цинично и грязно ругался, а они без веселья хохотали.

Прорвался солнечный луч, желтый и анемичный, как будто солнце было неизлечимо больным; шире и печальнее стала туманная осенняя даль.

— Скучно, Кусака! — тихо проронила Леля и, не оглядываясь, пошла назад.

И только на вокзале она вспомнила, что не простилась с Кусакой.

V

Кусака долго металась по следам уехавших людей, добежала до станции и — промокшая, грязная — вернулась на дачу. Там она проделала еще одну новую штуку, которой никто, однако, не видал: первый раз взошла на террасу и, приподнявшись на задние лапы, заглянула в стеклянную дверь и даже поскребла когтями. Но в комнатах было пусто, и никто не ответил Кусаке.

Поднялся частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней длинной ночи. Быстро и глухо он заполнил пустую дачу; бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождем лился с неприветного неба. На террасе, с которой была снята парусина, отчего она казалась обширной и странно пустой, свет долго еще боролся с тьмою и печально озарял следы грязных ног, но скоро уступил и он.

Наступила ночь.

И когда уже не было сомнений, что она наступила, собака жалобно и громко завыла. Звенящей, острой, как отчаяние, нотой ворвался этот вой в монотонный, угрюмо покорный шум дождя, прорезал тьму и, замирая, понесся над темным и обнаженным полем.

Собака выла — ровно, настойчиво и безнадежно спокойно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвется к свету сама беспросветно-темная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу.

Собака выла.

**Есенин Сергей Александрович**

|  |  |
| --- | --- |
| **Песнь о собаке** | \* \* \* |
| Утром в ржаном закуте,  Где златятся рогожи в ряд,  Семерых ощенила сука,  Рыжих семерых щенят.  До вечера она их ласкала,  Причесывая языком,  И струился снежок подталый  Под теплым ее животом.  А вечером, когда куры  Обсиживают шесток,  Вышел хозяин хмурый,  Семерых всех поклал в мешок.  По сугробам она бежала,  Поспевая за ним бежать...  И так долго, долго дрожала  Воды незамерзшей гладь.  А когда чуть плелась обратно.  Слизывая пот с боков,  Показался ей месяц над хатой  Одним из ее щенков.  В синюю высь звонко  Глядела она, скуля,  А месяц скользил тонкий  И скрылся за холм в полях.  И глухо, как от подачки,  Когда бросят ей камень в смех,  Покатились глаза собачьи  Золотыми звездами в снег. | Я обманывать себя не стану,  Залегла забота в сердце мглистом.  Отчего прослыл я шарлатаном?  Отчего прослыл я скандалистом?  Не злодей я и не грабил лесом,  Не расстреливал несчастных по темницам  Я всего лишь уличный повеса,  Улыбающийся встречным лицам.  Я московский озорной гуляка.  По всему тверскому околотку  В переулках каждая собака  Знает мою легкую походку.  Каждая задрипанная лошадь  Головой кивает мне навстречу.  Для зверей приятель я хороший,  Каждый стих мой душу зверя лечит.  Я хожу в цилиндре не для женщин -  В глупой страсти сердце жить не в силе,  В нем удобней, грусть свою уменьшив,  Золото овса давать кобыле.  Средь людей я дружбы не имею,  Я иному покорился царству.  Каждому здесь кобелю на шею  Я готов отдать мой лучший галстук.  И теперь уж я болеть не стану.  Прояснилась омуть в сердце мглистом.  Оттого прослыл я шарлатаном,  Оттого прослыл я скандалистом. |

**Сулейменов Олжас**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ты собаку ударил** |  |
| Помнишь кошару?  Помнишь отару?  Помнишь, мы долго стреляли в ночи?  Ветер с волками,  темень, как камень,  ты, лицо закрывая,  нашарил нож.  Страх твои руки скрутил  арканом,  клыкастые лапы рвали чапан,  и в это мгновенье  хриплый клубок  ударом  на волчье горло лег.  Конь рванул,  ты зарылся в снег.  Снег, вихрясь,  на лету смотрел,  как кипели в одном котле  волк,  собака  и человек.  … Утром стихло.  Но небо серо.  Снега улеглись,  лишь поземка метет. | У стены кошары поземка присела,  чтобы взглянуть на нее,  на собаку худую, старую –  (приползла из степи домой,  кровь последнюю  в дверь кошарную  в борозде влача за собой).  А когда мы ее добивали,  она руки пыталась лизать,  как щенят,  те, ворочаясь, ждали  в жестком сене  теплую мать.  Ты пришел из степи за ней,  тебя след окровавленный спас,  ты добрел до своих саней  и тотчас же умчал от нас…  А сейчас  ты собаку ударил при мне,  чем собака тебя обидела?  Знай же –  не по моей вине  чабаны твой удар не видели.  Не положено бить  детей  и собак –  по закону степей.  Так поймешь ли,  за что тебе  я, как волку, в глаза гляжу? |

**II. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО**

**Пушкин Александр Сергеевич**

**БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА**

Во всех ты, Душенька, нарядах хороша.

*Богданович.*

В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, [вышел в отставку в начале 1797 года](http://www.rvb.ru/pushkin/02comm/0862.htm#c1), уехал в свою деревню и с тех пор он оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время как он находился в отъезжем поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, утроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околотке, в чем и не прекословили ему соседи, приезжавшие к нему гостить с своими семействами и собаками. В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сертук из сукна домашней работы; сам записывал расход и ничего не читал, кроме «Сенатских ведомостей». Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Этот был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе:

[*Но на чужой манер хлеб русский не родится*](http://www.rvb.ru/pushkin/02comm/0862.htm#c2)*,*

и несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григорья Ивановича не прибавлялись; он и в деревне находил способ входить в новые долги; со всем тем почитался человеком не глупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в Опекунский совет: оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и смелым. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера. Он не мог равнодушно говорить об англомании своего соседа и поминутно находил случай его критиковать. Показывал ли гостю свои владения, в ответ на похвалы его хозяйственным распоряжениям: «Да-с! — говорил он с лукавой усмешкою, — у меня не то, что у соседа Григорья Ивановича. Куда нам по-английски разоряться! Были бы мы по-русски хоть сыты». Сии и подобные шутки, по усердию соседей, доводимы были до сведения Григорья Ивановича с дополнением и объяснениями. Англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего зоила медведем и провинциалом.

Таковы были сношения между сими двумя владельцами, как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в \*\*\* университете и намеревался вступить в военную службу, но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить покамест барином, [отпустив усы на всякий случай](http://www.rvb.ru/pushkin/02comm/0862.htm#c3).

Алексей был в самом деле молодец. Право было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир, и если бы он, вместо того чтобы рисоваться на коне, провел свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Смотря, как он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги, соседи говорили согласно, что из него никогда не выйдет путного столоначальника. Барышни поглядывали на него, а иные и заглядывались; но Алексей мало ими занимался, а они причиной его нечувствительности полагали любовную связь. В самом деле, ходил по рукам список с адреса одного из его писем: *Акулине Петровне Курочкиной, в Москве, напротив Алексеевского монастыря, в доме медника Савельева, а вас покорнейше прошу доставить письмо сие A. H. Р.*

Те из моих читателей, которые не живали в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни! Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знание света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение, поездка в ближний город полагается эпохою в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями, но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главное: *особенность характера, самобытность* (individualité), без чего, по мнению [Жан-Поля](http://www.rvb.ru/pushkin/02comm/0862.htm#c4), не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование; но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Сие да будет сказано не в суд, и не во осуждение, однако ж nota nostra manet, как пишет один старинный комментатор.

Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным, первый говорил им об утраченных радостях, и об увядшей своей юности; сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по нем с ума.

Но всех более занята была им дочь англомана моего, Лиза (или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович). Отцы друг ко другу не ездили, она Алексея еще не видала, между тем как все молодые соседки только об нем и говорили. Ей было семнадцать лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и следственно балованное дитя. Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаянье ее мадам мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурьмила себе брови, [два раза в год перечитывала «Памелу»](http://www.rvb.ru/pushkin/02comm/0862.htm#c5), получала за то две тысячи рублей и умирала со скуки *в этой варварской России*.

За Лизою ходила Настя; она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня. Лиза очень любила ее, открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи; словом, Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии.

— Позвольте мне сегодня пойти в гости, — сказала однажды Настя, одевая барышню.

— Изволь; а куда?

— В Тугилово, к Берестовым. Поварова жена у них именинница и вчера приходила звать нас отобедать.

— Вот! — сказала Лиза, — господа в ссоре, а слуги друг друга угощают.

— А нам какое дело до господ! — возразила Настя, — к тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бранились еще с молодым Берестовым; а старики пускай себе дерутся, коли им это весело.

— Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова, да расскажи мне хорошенько, каков он собою и что он за человек.

Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения. Вечером Настя явилась.

— Ну, Лизавета Григорьевна, — сказала она, входя в комнату, — видела молодого Берестова: нагляделась довольно; целый день были вместе.

— Как это? Расскажи, расскажи по порядку.

— Извольте-с; пошли мы, я, Анисья Егоровна, Ненила, Дунька...

— Хорошо, знаю. Ну потом?

— Позвольте-с, расскажу все по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната полна была народу. Были колбинские, захарьевские, приказчица с дочерьми, хлупинские...

— Ну! а Берестов?

— Погодите-с. Вот мы сели за стол, приказчица на первом месте, я подле нее... а дочери и надулись, да мне наплевать на них...

— Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями!

— Да как же вы нетерпеливы! Ну вот вышли мы из-за стола... а сидели мы часа три, и обед был славный; пирожное бланманже синее, красное и полосатое... Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки, а молодой барин тут и явился.

— Ну что ж? правда ли, что он так хорош собой?

— Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку...

— Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Что же? Каков он тебе показался? Печален, задумчив?

— Что вы? Да этакого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать.

— С вами в горелки бегать! Невозможно!

— Очень возможно! Да что еще выдумал! Поймает, и ну целовать!

— Воля твоя, Настя, ты врешь.

— Воля ваша, не вру. Я насилу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился.

— Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит?

— Не знаю-с, а на меня так уж слишком смотрел, да и на Таню, приказчикову дочь, тоже; да и на Пашу колбинскую, да, грех сказать, никого не обидел, такой баловник!

— Это удивительно! А что в доме про него слышно?

— Барин, сказывают, прекрасный: такой добрый, такой веселый. Одно нехорошо: за девушками слишком любит гоняться. Да, по мне, это еще не беда: со временем остепенится.

— Как бы мне хотелось его видеть! — сказала Лиза со вздохом.

— Да что же тут мудреного? Тугилово от нас недалеко, всего три версты: подите гулять в ту сторону или поезжайте верхом; вы, верно, встретите его. Он же всякой день, рано поутру, ходит с ружьем на охоту.

— Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре, так и мне все же нельзя будет с ним познакомиться... Ах, Настя! Знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою!

— И в самом деле; наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилово; ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает.

— А по-здешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя! Какая славная выдумка! — И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение.

На другой же день приступила она к исполнению своего плана, послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговок, с помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру все было готово. Лиза примерила обнову и призналась пред зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она повторила свою роль, на ходу низко кланялась и несколько раз потом качала головою, наподобие глиняных котов, говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрываясь рукавом, и заслужила полное одобрение Насти. Одно затрудняло ее: она попробовала было пройти по двору босая, но дерн колол ее нежные ноги, а песок и камушки показались ей нестерпимы. Настя и тут ей помогла: она сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке. На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле.

Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя; ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостию; боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему; но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой, перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала... но можно ли с точностию определить, о чем думает семнадцатилетняя барышня, одна, в роще, в шестом часу весеннего утра? Итак, она шла, задумавшись, по дороге, осененной с обеих сторон высокими деревьями, как вдруг прекрасная легавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. В то же время раздался голос: «Tout beau, Sbogar, ici...» — и молодой охотник показался из-за кустарника. «Небось, милая, — сказал он Лизе, собака моя не кусается». Лиза успела уже оправиться от испугу и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. «Да нет, барин, — сказала она, притворяясь полуиспуганной, полузастенчивой, — боюсь: она, вишь, такая злая; опять кинется». Алексей (читатель уже узнал его) между тем пристально глядел на молодую крестьянку. «Я провожу тебя, если ты боишься, — сказал он ей, — ты мне позволишь идти подле себя?» — «А кто те мешает? — отвечала Лиза, — вольному воля, а дорога мирская». — «Откуда ты?» — «Из Прилучина; я дочь Василья кузнеца, иду по грибы» (Лиза несла кузовок на веревочке). — «А ты, барин? Тугиловский, что ли?» — «Так точно, — отвечал Алексей, — я камердинер молодого барина». Алексею хотелось уравнять их отношения. Но Лиза поглядела на него и засмеялась. «А лжешь, — сказала она, — не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин». — «Почему же ты так думаешь?» — «Да по всему». — «Однако ж?» — «Да как же барина с слугой не распознать? И одет-то не так, и баишь иначе, и собаку-то кличешь не по-нашему». Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее; но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений. «Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, — сказала она с важностию, — то не извольте забываться». — «Кто тебя научил этой премудрости? — спросил Алексей, расхохотавшись. — Уж не Настенька ли, моя знакомая, не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение!» Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась. «А что думаешь? — сказала она, — разве я и на барском дворе никогда не бываю? небось: всего наслышалась и нагляделась. Однако, — продолжала она, — болтая с тобою, грибов не наберешь. Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в другую. Прощения просим...» Лиза хотела удалиться, Алексей удержал ее за руку. «Как тебя зовут, душа моя?» — «Акулиной, — отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки Алексеевой, — да пусти ж, барин; мне и домой пора». — «Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василью кузнецу». — «Что ты? — возразила с живостию Лиза, — ради Христа, не приходи. Коли дома узнают, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет: отец мой, Василий кузнец, прибьет меня до смерти». — «Да я непременно хочу с тобою опять видеться». — «Ну я когда-нибудь опять сюда приду за грибами». — «Когда же?» — «Да хоть завтра». — «Милая Акулина, расцеловал бы тебя, да не смею. Так завтра, в это время, не правда ли?» — «Да, да».— «И ты не обманешь меня?» — «Не обману». — «Побожись». — «Ну вот те святая пятница, приду».

Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокралась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала ее. Там она переоделась, рассеянно отвечая на вопросы нетерпеливой наперсницы, и явилась в гостиную. Стол был накрыт, завтрак готов, и мисс Жаксон, уже набеленная и затянутая в рюмочку, нарезывала тоненькие тартинки. Отец похвалил ее за раннюю прогулку. «Нет ничего здоровее, — сказал он, — как просыпаться на заре». Тут он привел несколько примеров человеческого долголетия, почерпнутых из английских журналов, замечая, что все люди, жившие более ста лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом. Лиза его не слушала. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор Акулины с молодым охотником, и совесть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого последствия, совесть ее роптала громче ее разума. Обещание, данное ею на завтрашний день, всего более беспокоило ее: она совсем было решилась не сдержать своей торжественной клятвы. Но Алексей, прождав ее напрасно, мог идти отыскивать в селе дочь Василья кузнеца, настоящую Акулину, толстую, рябую девку, и таким образом догадаться об ее легкомысленной проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решилась на другое утро опять явиться в рощу Акулиной.

С своей стороны, Алексей был в восхищении, целый день думал он о новой своей знакомке; ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле с верным своим Сбогаром и побежал к месту обещанного свидания. Около получаса прошло в несносном для него ожидании; наконец он увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан и бросился навстречу милой Акулины. Она улыбнулась восторгу его благодарности; но Алексей тотчас же заметил на ее лице следы уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину. Лиза призналась, что поступок ее казался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что на сей раз не хотела она не сдержать данного слова, но что это свидание будет уже последним и что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести. Все это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии; но мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, поразили Алексея. Он употребил все свое красноречие, дабы отвратить Акулину от ее намерения; уверял ее в невинности своих желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем, заклинал ее не лишать его одной отрады: видаться с нею наедине, хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти и в эту минуту был точно влюблен. Лиза слушала его молча. «Дай мне слово, — сказала она наконец, — что ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу». Алексей поклялся было ей святою пятницею, но она с улыбкой остановила его. «Мне не нужно клятвы, — сказала Лиза, — довольно одного твоего обещания». После того они дружески разговаривали, гуляя вместе по лесу, до тех пор, пока Лиза сказала ему: пора. Они расстались, и Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два свидания успела взять над ним истинную власть. Его сношения с Акулиной имели для него прелесть новизны, и хотя предписания странной крестьянки казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкий малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждения невинности.

Если бы слушался я одной своей охоты, то непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры; но знаю, что большая часть моих читателей не разделила бы со мною моего удовольствия. Эти подробности вообще должны казаться приторными, итак я пропущу их, сказав вкратце, что не прошло еще и двух месяцев, а мой Алексей был уже влюблен без памяти, и Лиза была не равнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем.

Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная: Алексей, как ни привязан был к милой своей Акулине, все помнил расстояние, существующее между им и бедной крестьянкою; а Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было втайне подстрекаемо темной, романическою надеждою увидеть, наконец, тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие чуть было не переменило их взаимных отношений.

В одно ясное, холодное утро (из тех, какими богата наша русская осень) Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с собою пары три борзых, стремянного и несколько дворовых мальчишек с трещотками. В то же самое время Григорий Иванович Муромский, соблазнясь хорошею погодою, велел оседлать куцую свою кобылку и рысью поехал около своих англизированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом, в чекмене, подбитом лисьим мехом, и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если б Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то конечно б он поворотил в сторону; но он наехал на Берестова вовсе неожиданно и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего. Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется *господам* по приказанию своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал полем. Берестов и стремянный закричали во все горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренне доволен был случаем, избавляющим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскакав до оврага, прежде ею не замеченного, вдруг кинулась в сторону, и Муромский не усидел. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, которая, как будто опомнясь, тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока. Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем стремянный привел виновную лошадь, держа ее под уздцы. Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов пригласил его к себе. Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным, и таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным.

Соседи, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушибу не был он в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде, как взяв с него честное слово на другой же день (и с Алексеем Ивановичем) приехать отобедать по-приятельски в Прилучино. Таким образом, вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости куцой кобылки.

Лиза выбежала навстречу Григорью Ивановичу. «Что это значит, папа? — сказала она с удивлением, — отчего вы хромаете? Где ваша лошадь? Чьи это дрожки?» — «Вот уж не угадаешь, my dear», — отвечал ей Григорий Иванович и рассказал все, что случилось. Лиза не верила своим ушам. Григорий Иванович, не дав ей опомниться, объявил, что завтра будут у него обедать оба Берестовы. «Что вы говорите! — сказала она, побледнев. — Берестовы, отец и сын! Завтра у нас обедать! Нет, папа, как вам угодно: я ни за что не покажусь». — «Что ты, с ума сошла? — возразил отец, — давно ли ты стала так застенчива, или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романическая героиня? Полно, не дурачься...» — «Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми». Григорий Иванович пожал плечами и более с нею не спорил, ибо знал, что противоречием с нее ничего не возьмешь, и пошел отдыхать от своей достопримечательной прогулки.

Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала Настю. Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении. Что подумает Алексей, если узнает в благовоспитанной барышне свою Акулину? Какое мнение будет он иметь о ее поведении и правилах, о ее благоразумии? С другой стороны, Лизе очень хотелось видеть, какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное... Вдруг мелькнула ей мысль. Она тотчас передала ее Насте; обе обрадовались ей как находке и положили исполнить ее непременно.

На другой день за завтраком Григорий Иванович спросил у дочки, все ли намерена она спрятаться от Берестовых. «Папа, — отвечала Лиза, — я приму их, если это вам угодно, только с уговором: как бы я перед ними ни явилась, что б я ни сделала, вы бранить меня не будете и не дадите никакого знака удивления или неудовольствия». — «Опять какие-нибудь проказы! — сказал, смеясь, Григорий Иванович. — Ну, хорошо, хорошо; согласен, делай, что хочешь, черноглазая моя шалунья». С этим словом он поцеловал ее в лоб, и Лиза побежала приготовляться.

В два часа ровно коляска домашней работы, запряженная шестью лошадьми, въехала на двор и покатилась около густо-зеленого дернового круга. Старый Берестов взошел на крыльцо с помощью двух ливрейных лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верхом и вместе с ним вошел в столовую, где стол был уже накрыт. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Берестов внутренно жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезные прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбивого англомана; он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался, и хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение.

Возвратясь в гостиную, они уселись втроем: старики вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность во всяком случае всего приличнее и вследствие сего приготовился. Дверь отворилась, он повернул голову с таким равнодушием, с такою гордою небрежностию, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было бы содрогнуться. К несчастию, вместо Лизы вошла старая мисс Жаксон, набеленная, затянутая, с потупленными глазами и с маленьким книксом, и прекрасное военное движение Алексеево пропало втуне. Не успел он снова собраться с силами, как дверь опять отворилась, и на сей раз вошла Лиза. Все встали; отец начал было представление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы... Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, насурьмлена пуще самой мисс Жаксон; фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика XIV; рукава à l'imbécile торчали, как фижмы у [Madame de Pompadour](http://www.rvb.ru/pushkin/02comm/0862.htm#c6); талия была перетянута, как буква икс, и все бриллианты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах. Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной и блестящей барышне. Отец его подошел к ее ручке, и он с досадою ему последовал; когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку, с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это помирило его несколько с остальным ее нарядом. Что касается до белил и до сурьмы, то в простоте своего сердца, признаться, он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал. Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не показать и виду удивления; но шалость его дочери казалась ему так забавна, что он едва мог удержаться. Не до смеху было чопорной англичанке. Она догадывалась, что сурьма и белила были похищены из ее комода, и багровый румянец досады пробивался сквозь искусственную белизну ее лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их не замечает.

Сели за стол. Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого. Лиза жеманилась, говорила сквозь зубы, нараспев, и только по-французски. Отец поминутно засматривался на нее, не понимая ее цели, но находя все это весьма забавным. Англичанка бесилась и молчала. Один Иван Петрович был как дома: ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему смеху и час от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал.

Наконец встали из-за стола; гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам. «Что тебе вздумалось дурачить их? — спросил он Лизу. — А знаешь ли что? Белилы, право, тебе пристали; не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоем месте я бы стал белиться; разумеется, не слишком, а слегка». Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете и побежала умилостивлять раздраженную мисс Жаксон, которая насилу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать ее оправдания. Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такой чернавкою; она не смела просить... она была уверена, что добрая, милая мисс Жаксон простит ей... и проч., и проч. Мисс Жаксон, удостоверясь, что Лиза не думала поднять ее насмех, успокоилась, поцеловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских белил, которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности.

Читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в роще свиданий. «Ты был, барин, вечор у наших господ? — сказала она тотчас Алексею, — какова показалась тебе барышня?» Алексей отвечал, что он ее не заметил. «Жаль», — возразила Лиза. «А почему же?» — спросил Алексей. «А потому, что я хотела бы спросить у тебя, правда ли, говорят...» — «Что же говорят?» — «Правда ли, говорят, будто бы я на барышню похожа?» — «Какой вздор! Она перед тобой урод уродом». — «Ах, барин, грех тебе это говорить; барышня наша такая беленькая, такая щеголиха! Куда мне с нею равняться!» Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышень и, чтоб успокоить ее совсем, начал описывать ее госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души. «Однако ж, — сказала она со вздохом, — хоть барышня, может, и смешна, все же я перед нею дура безграмотная». — «И! — сказал Алексей, — есть о чем сокрушаться! Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте». — «А взаправду, — сказала Лиза, — не попытаться ли и в самом деле?» — «Изволь, милая; начнем хоть сейчас». Они сели. Алексей вынул из кармана карандаш и записную книжку, и Акулина выучилась азбуке удивительно скоро. Алексей не мог надивиться ее понятливости. На следующее утро она захотела попробовать и писать; сначала карандаш не слушался ее, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно. «Что за чудо! — говорил Алексей. — Да у нас учение идет скорее, чем по [ланкастерской системе](http://www.rvb.ru/pushkin/02comm/0862.htm#c7)». В самом деле, на третьем уроке Акулина разбирала уже по складам [«Наталью, боярскую дочь»](http://www.rvb.ru/pushkin/02comm/0862.htm#c8), прерывая чтение замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении, и круглый лист измарала афоризмами, выбранными из той же повести.

Прошла неделя, и между ними завелась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почтальона. Туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма и там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной. Акулина, видимо, привыкала к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался.

Между тем недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорьем Ивановичем Муромским более и более укреплялось и вскоре превратилось в дружбу, вот по каким обстоятельствам: Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича все его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу; что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии, и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов, с своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство (или, по его выражению, английскую дурь), однако ж не отрицал в нем и многих отличных достоинств, например: редкой оборотливости; Григорий Иванович был близкий родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному; граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский (так думал Иван Петрович), вероятно, обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали все это каждый про себя, что наконец друг с другом и переговорились, обнялись, обещались дело порядком обработать и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение: уговорить свою Бетси познакомиться короче с Алексеем, которого не видала она с самого достопамятного обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились; по крайней мере Алексей уже не возвращался в Прилучино, а Лиза уходила в свою комнату всякий раз, как Иван Петрович удостоивал их своим посещением. Но, думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня всякий день, то Бетси должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время все сладит.

Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку и, немного помолчав, сказал: «Что же ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Иль гусарский мундир уже тебя не прельщает!..» — «Нет, батюшка, — отвечал почтительно Алексей, — я вижу, что вам не угодно, чтоб я шел в гусары; мой долг вам повиноваться». — «Хорошо, — отвечал Иван Петрович, — вижу, что ты послушный сын; это мне утешительно; не хочу ж и я тебя неволить; не понуждаю тебя вступить... тотчас... в статскую службу; а покамест намерен я тебя женить».

— На ком это, батюшка?— спросил изумленный Алексей.

— На Лизавете Григорьевне Муромской, — отвечал Иван Петрович; — невеста хоть куда; не правда ли?

— Батюшка, я о женитьбе еще не думаю.

— Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал.

— Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе не нравится.

— После понравится. Стерпится, слюбится.

— Я не чувствую себя способным сделать ее счастие.

— Не твое горе — ее счастие. Что? так-то ты почитаешь волю родительскую? Добро!

— Как вам угодно, я не хочу жениться и не женюсь.

— Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение, как бог свят! продам и промотаю, и тебе полушки не оставлю! Даю тебе три дня на размышление, а покамест не смей на глаза мне показаться.

Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не вышибешь; но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим и наконец об Акулине. В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен; романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову, и чем более думал он о сем решительном поступке, тем более находил в нем благоразумия. С некоторого времени свидания в роще были прекращены по причине дождливой погоды. Он написал Акулине письмо самым четким почерком и самым бешеным слогом, объявлял ей о грозящей им погибели, и тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнес он письмо на почту, в дупло, и лег спать весьма довольный собою.

На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к Муромскому, дабы откровенно с ним объясниться. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. «Дома ли Григорий Иванович?» — спросил он, останавливая свою лошадь перед крыльцом прилучинского замка. «Никак нет, — отвечал слуга, — Григорий Иванович с утра изволил выехать». — «Как досадно!» — подумал Алексей. «Дома ли по крайней мере Лизавета Григорьевна?» — «Дома-с». И Алексей спрыгнул с лошади, отдал поводья в руки лакею и пошел без доклада.

«Все будет решено, — думал он, подходя к гостиной, — объяснюсь с нею самою». — Он вошел... и остолбенел! Лиза... нет Акулина, милая смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платьице, сидела перед окном и читала его письмо; она так была занята, что не слыхала, как он и вошел. Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. Он бросился ее удерживать. «Акулина, Акулина!..» Лиза старалась от него освободиться... «Mais laissez-moi donc, monsieur; mais êtes-vous fou?» — повторяла она, отворачиваясь. «Акулина! друг мой, Акулина!» — повторял он, целуя ее руки. Мисс Жаксон, свидетельница этой сцены, не знала, что подумать. В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел.

— Ага! — сказал Муромский, — да у вас, кажется, дело совсем уже слажено...

Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку.

**Толстой Лев Николаевич**

**ВОЙНА И МИР (фрагменты)**

Том II, часть III

XV

  Наташа с утра этого дня не имела ни минуты свободы, и ни разу не успела подумать о том, что предстоит ей. В сыром, холодном воздухе, в тесноте и неполной темноте колыхающейся кареты, она в первый раз живо представила себе то, что ожидает ее там, на бале, в освещенных залах - музыка, цветы, танцы, государь, вся блестящая молодежь Петербурга. То, что ее ожидало, было так прекрасно, что она не верила даже тому, что это будет: так это было несообразно с впечатлением холода, тесноты и темноты кареты. Она поняла всё то, что ее ожидает, только тогда, когда, пройдя по красному сукну подъезда, она вошла в сени, сняла шубу и пошла рядом с Соней впереди матери между цветами по освещенной лестнице. Только тогда она вспомнила, как ей надо было себя держать на бале и постаралась принять ту величественную манеру, которую она считала необходимой для девушки на бале. Но к счастью ее она почувствовала, что глаза ее разбегались: она ничего не видела ясно, пульс ее забил сто раз в минуту, и кровь стала стучать у ее сердца. Она не могла принять той манеры, которая бы сделала ее смешною, и шла, замирая от волнения и стараясь всеми силами только скрыть его. И эта-то была та самая манера, которая более всего шла к ней. Впереди и сзади их, так же тихо переговариваясь и так же в бальных платьях, входили гости. Зеркала по лестнице отражали дам в белых, голубых, розовых платьях, с бриллиантами и жемчугами на открытых руках и шеях. /…/ В зале стояли гости, теснясь у входной двери, ожидая государя. Графиня поместилась в первых рядах этой толпы. Наташа слышала и чувствовала, что несколько голосов спросили про нее и смотрели на нее. Она поняла, что она понравилась тем, которые обратили на нее внимание, и это наблюдение несколько успокоило ее.

XVI

Вдруг всё зашевелилось, толпа заговорила, подвинулась, опять раздвинулась, и между двух расступившихся рядов, при звуках заигравшей музыки, вошел государь. За ним шли хозяин и хозяйка. Государь шел быстро, кланяясь направо и налево, как бы стараясь скорее избавиться от этой первой минуты встречи. Музыканты играли Польской, известный тогда по словам, сочиненным на него. Слова эти начинались: "Александр, Елизавета, восхищаете вы нас..." Государь прошел в гостиную, толпа хлынула к дверям; несколько лиц с изменившимися выражениями поспешно прошли туда и назад. Толпа опять отхлынула от дверей гостиной, в которой показался государь, разговаривая с хозяйкой. Какой-то молодой человек с растерянным видом наступал на дам, прося их посторониться. Некоторые дамы с лицами, выражавшими совершенную забывчивость всех условий света, портя свои туалеты, теснились вперед. Мужчины стали подходить к дамам и строиться в пары Польского. Всё расступилось, и государь, улыбаясь и не в такт ведя за руку хозяйку дома, вышел из дверей гостиной. За ним шли хозяин с М. А. Нарышкиной, потом посланники, министры, разные генералы, которых, не умолкая называла Перонская. Больше половины дам имели кавалеров и шли или приготовлялись идти в Польской. Наташа чувствовала, что она оставалась с матерью и Соней в числе меньшей части дам, оттесненных к стене и не взятых в Польской. Она стояла, опустив свои тоненькие руки, и с мерно-поднимающейся, чуть определенной грудью, сдерживая дыхание, блестящими, испуганными глазами глядела перед собой, с выражением готовности на величайшую радость и на величайшее горе. Ее не занимали ни государь, ни все важные лица, на которых указывала Перонская - у ней была одна мысль: "неужели так никто не подойдет ко мне, неужели я не буду танцовать между первыми, неужели меня не заметят все эти мужчины, которые теперь, кажется, и не видят меня, а ежели смотрят на меня, то смотрят с таким выражением, как будто говорят: А! это не она, так и нечего смотреть. Нет, это не может быть!- думала она. - Они должны же знать, как мне хочется танцовать, как я отлично танцую, и как им весело будет танцовать со мною".

Звуки Польского, продолжавшегося довольно долго, уже начинали звучать грустно, - воспоминанием в ушах Наташи. Ей хотелось плакать. Перонская отошла от них. Граф был на другом конце залы, графиня, Соня и она стояли одни как в лесу в этой чуждой толпе, никому неинтересные и ненужные. Князь Андрей прошел с какой-то дамой мимо них, очевидно, их не узнавая. Красавец Анатоль, улыбаясь, что-то говорил даме, которую он вел, и взглянул на лицо Наташе тем взглядом, каким глядят на стены. Борис два раза прошел мимо них и всякий раз отворачивался. Берг с женою, не танцовавшие, подошли к ним. Наташе показалось оскорбительно это семейное сближение здесь, на бале, как будто не было другого места для семейных разговоров, кроме как на бале. Она не слушала и не смотрела на Веру, что-то говорившую ей про свое зеленое платье.

Наконец государь остановился подле своей последней дамы (он танцовал с тремя), музыка замолкла; озабоченный адъютант набежал на Ростовых, прося их еще куда-то посторониться, хотя они стояли у стены, и с хор раздались отчетливые, осторожные и увлекательно-мерные звуки вальса. Государь с улыбкой взглянул на залу. Прошла минута - никто еще не начинал. Адъютант-распорядитель подошел к графине Безуховой и пригласил ее. Она, улыбаясь, подняла руку и положила ее, не глядя на него, на плечо адъютанта. Адъютант-распорядитель, мастер своего дела, уверенно, неторопливо и мерно, крепко обняв свою даму, пустился с ней сначала глиссадом, по краю круга, на углу залы подхватил ее левую руку, повернул ее, и из-за всё убыстряющихся звуков музыки слышны были только мерные щелчки шпор быстрых и ловких ног адъютанта, и через каждые три такта на повороте как бы вспыхивало, развеваясь бархатное платье его дамы. Наташа смотрела на них и готова была плакать, что это не она танцует этот первый тур вальса.

Князь Андрей в своем полковничьем, белом (по кавалерии) мундире, в чулках и башмаках, оживленный и веселый, стоял в первых рядах круга, недалеко от Ростовых. Барон Фиргоф говорил с ним о завтрашнем, предполагаемом первом заседании государственного совета. Князь Андрей, как человек близкий Сперанскому и участвующий в работах законодательной комиссии, мог дать верные сведения о заседании завтрашнего дня, о котором ходили различные толки. Но он не слушал того, что ему говорил Фиргоф, и глядел то на государя, то на сбиравшихся танцовать кавалеров, не решавшихся вступить в круг.

Князь Андрей наблюдал этих робевших при государе кавалеров и дам, замиравших от желания быть приглашенными. Пьер подошел к князю Андрею и схватил его за руку.

- Вы всегда танцуете. Тут есть моя protégée, Ростова молодая, пригласите ее, - сказал он.

- Где? - спросил Болконский. - Виноват, - сказал он, обращаясь к барону, - этот разговор мы в другом месте доведем до конца, а на бале надо танцовать. - Он вышел вперед, по направлению, которое ему указывал Пьер. Отчаянное, замирающее лицо Наташи бросилось в глаза князю Андрею. Он узнал ее, угадал ее чувство, понял, что она была начинающая, вспомнил ее разговор на окне и с веселым выражением лица подошел к графине Ростовой.

- Позвольте вас познакомить с моей дочерью, - сказала графиня, краснея.

- Я имею удовольствие быть знакомым, ежели графиня помнит меня, - сказал князь Андрей с учтивым и низким поклоном, совершенно противоречащим замечаниям Перонской о его грубости, подходя к Наташе, и занося руку, чтобы обнять ее талию еще прежде, чем он договорил приглашение на танец. Он предложил тур вальса. То замирающее выражение лица Наташи, готовое на отчаяние и на восторг, вдруг осветилось счастливой, благодарной, детской улыбкой. "Давно я ждала тебя", как будто сказала эта испуганная и счастливая девочка, своей проявившейся из-за готовых слез улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя Андрея. Они были вторая пара, вошедшая в круг. Князь Андрей был одним из лучших танцоров своего времени. Наташа танцовала превосходно. Ножки ее в бальных атласных башмачках быстро, легко и независимо от нее делали свое дело, а лицо ее сияло восторгом счастия. Ее оголенные шея и руки были худы и некрасивы. В сравнении с плечами Элен, ее плечи были худы, грудь неопределенна, руки тонки; но на Элен был уже как будто лак от всех тысяч взглядов, скользивших по ее телу, а Наташа казалась девочкой, которую в первый раз оголили, и которой бы очень стыдно это было, ежели бы ее не уверили, что это так необходимо надо.

Князь Андрей любил танцовать, и желая поскорее отделаться от политических и умных разговоров, с которыми все обращались к нему, и желая поскорее разорвать этот досадный ему круг смущения, образовавшегося от присутствия государя, пошел танцовать и выбрал Наташу, потому что на нее указал ему Пьер и потому, что она первая из хорошеньких женщин попала ему на глаза; но едва он обнял этот тонкий, подвижной стан, и она зашевелилась так близко от него и улыбнулась так близко ему, вино ее прелести ударило ему в голову: он почувствовал себя ожившим и помолодевшим, когда, переводя дыханье и оставив ее, остановился и стал глядеть на танцующих.

XVII

 После князя Андрея к Наташе подошел Борис, приглашая ее на танцы, подошел и тот танцор-адъютант, начавший бал, и еще молодые люди, и Наташа, передавая своих излишних кавалеров Соне, счастливая и раскрасневшаяся, не переставала танцовать целый вечер. Она ничего не заметила и не видала из того, что занимало всех на этом бале. Она не только не заметила, как государь долго говорил с французским посланником, как он особенно милостиво говорил с такой-то дамой, как принц такой-то и такой-то сделали и сказали то-то, как Элен имела большой успех и удостоилась особенного внимания такого-то; она не видала даже государя и заметила, что он уехал только потому, что после его отъезда бал более оживился. Один из веселых котильонов, перед ужином, князь Андрей опять танцовал с Наташей. Он напомнил ей о их первом свиданьи в отрадненской аллее и о том, как она не могла заснуть в лунную ночь, и как он невольно слышал ее. Наташа покраснела при этом напоминании и старалась оправдаться, как будто было что-то стыдное в том чувстве, в котором невольно подслушал ее князь Андрей.

Князь Андрей, как все люди, выросшие в свете, любил встречать в свете то, что не имело на себе общего светского отпечатка. И такова была Наташа, с ее удивлением, радостью и робостью и даже ошибками во французском языке. Он особенно нежно и бережно обращался и говорил с нею. Сидя подле нее, разговаривая с ней о самых простых и ничтожных предметах, князь Андрей любовался на радостный блеск ее глаз и улыбки, относившейся не к говоренным речам, а к ее внутреннему счастию. В то время, как Наташу выбирали и она с улыбкой вставала и танцовала по зале, князь Андрей любовался в особенности на ее робкую грацию. В середине котильона Наташа, окончив фигуру, еще тяжело дыша, подходила к своему месту. Новый кавалер опять пригласил ее. Она устала и запыхалась, и видимо подумала отказаться, но тотчас опять весело подняла руку на плечо кавалера и улыбнулась князю Андрею. "Я бы рада была отдохнуть и посидеть с вами, я устала; но вы видите, как меня выбирают, и я этому рада, и я счастлива, и я всех люблю, и мы с вами всё это понимаем", и еще многое и многое сказала эта улыбка. Когда кавалер оставил ее, Наташа побежала через залу, чтобы взять двух дам для фигур. "Ежели она подойдет прежде к своей кузине, а потом к другой даме, то она будет моей женой", сказал совершенно неожиданно сам себе князь Андрей, глядя на нее. Она подошла прежде к кузине. "Какой вздор иногда приходит в голову! подумал князь Андрей; но верно только то, что эта девушка так мила, так особенна, что она не протанцует здесь месяца и выйдет замуж... Это здесь редкость", думал он, когда Наташа, поправляя откинувшуюся у корсажа розу, усаживалась подле него.

В конце котильона старый граф подошел в своем синем фраке к танцующим. Он пригласил к себе князя Андрея и спросил у дочери, весело ли ей? Наташа не ответила и только улыбнулась такой улыбкой, которая с упреком говорила: "как можно было спрашивать об этом?"

- Так весело, как никогда в жизни! - сказала она, и князь Андрей заметил, как быстро поднялись было ее худые руки, чтобы обнять отца и тотчас же опустились. Наташа была так счастлива, как никогда еще в жизни. Она была на той высшей ступени счастия, когда человек делается вполне доверчив и не верит в возможность зла, несчастия и горя.

Пьер на этом бале в первый раз почувствовал себя оскорбленным тем положением, которое занимала его жена в высших сферах. Он был угрюм и рассеян. Поперек лба его была широкая складка, и он, стоя у окна, смотрел через очки, никого не видя.

Наташа, направляясь к ужину, прошла мимо его. Мрачное, несчастное лицо Пьера поразило ее. Она остановилась против него. Ей хотелось помочь ему, передать ему излишек своего счастия.

- Как весело, граф, - сказала она, - не правда ли?

Пьер рассеянно улыбнулся, очевидно, не понимая того, что ему говорили.

- Да, я очень рад, - сказал он.

"Как могут они быть недовольны чем-то, думала Наташа. Особенно такой хороший, как этот Безухов?" На глаза Наташи все бывшие на бале были одинаково добрые, милые, прекрасные люди, любящие друг друга: никто не мог обидеть друг друга, и потому все должны были быть счастливы.

Том II, часть IV

VII

 Когда ввечеру Илагин распростился с Николаем, Николай оказался на таком далеком расстоянии от дома, что он принял предложение дядюшки оставить охоту ночевать у него (у дядюшки), в его деревеньке Михайловке.

- И если бы заехали ко мне - чистое дело марш! - сказал дядюшка, еще бы того лучше; видите, погода мокрая, говорил дядюшка, отдохнули бы, графинечку бы отвезли в дрожках. - Предложение дядюшки было принято, за дрожками послали охотника в Отрадное; а Николай с Наташей и Петей поехали к дядюшке.

Человек пять, больших и малых, дворовых мужчин выбежало на парадное крыльцо встречать барина. Десятки женщин, старых, больших и малых, высунулись с заднего крыльца смотреть на подъезжавших охотников. Присутствие Наташи, женщины, барыни верхом, довело любопытство дворовых дядюшки до тех пределов, что многие, не стесняясь ее присутствием, подходили к ней, заглядывали ей в глаза и при ней делали о ней свои замечания, как о показываемом чуде, которое не человек, и не может слышать и понимать, что говорят о нем.

- Аринка, глянь-ка, на бочькю сидит! Сама сидит, а подол болтается... Вишь, рожок!

- Батюшки-светы, ножик-то...

- Вишь татарка!

- Как же ты не перекувыркнулась-то? - говорила самая смелая, прямо уж обращаясь к Наташе.

Дядюшка слез с лошади у крыльца своего деревянного заросшего садом домика и оглянув своих домочадцев, крикнул повелительно, чтобы лишние отошли и чтобы было сделано всё нужное для приема гостей и охоты.

Всё разбежалось. Дядюшка снял Наташу с лошади и за руку провел ее по шатким досчатым ступеням крыльца. В доме, не отштукатуренном, с бревенчатыми стенами, было не очень чисто, - не видно было, чтобы цель живших людей состояла в том, чтобы не было пятен, но не было заметно запущенности.

В сенях пахло свежими яблоками, и висели волчьи и лисьи шкуры. Через переднюю дядюшка провел своих гостей в маленькую залу с складным столом и красными стульями, потом в гостиную с березовым круглым столом и диваном, потом в кабинет с оборванным диваном, истасканным ковром и с портретами Суворова, отца и матери хозяина и его самого в военном мундире. В кабинете слышался сильный запах табаку и собак. В кабинете дядюшка попросил гостей сесть и расположиться как дома, а сам вышел. Ругай с невычистившейся спиной вошел в кабинет и лег на диван, обчищая себя языком и зубами. Из кабинета шел коридор, в котором виднелись ширмы с прорванными занавесками. Из-за ширм слышался женский смех и шепот. Наташа, Николай и Петя разделись и сели на диван. Петя облокотился на руку и тотчас же заснул; Наташа и Николай сидели молча. Лица их горели, они были очень голодны и очень веселы. Они поглядели друг на друга (после охоты, в комнате, Николай уже не считал нужным выказывать свое мужское превосходство перед своей сестрой); Наташа подмигнула брату, и оба удерживались недолго и звонко расхохотались, не успев еще придумать предлога для своего смеха.

Немного погодя, дядюшка вошел в казакине, синих панталонах и маленьких сапогах. И Наташа почувствовала, что этот самый костюм, в котором она с удивлением и насмешкой видала дядюшку в Отрадном, - был настоящий костюм, который был ничем не хуже сюртуков и фраков. Дядюшка был тоже весел; он не только не обиделся смеху брата и сестры (ему в голову не могло придти, чтобы могли смеяться над его жизнию), а сам присоединился к их беспричинному смеху.

- Вот так графиня молодая - чистое дело марш - другой такой не видывал! - сказал он, подавая одну трубку с длинным чубуком Ростову, а другой короткий, обрезанный чубук закладывая привычным жестом между трех пальцев.

- День отъездила, хоть мужчине в пору, и как ни в чем не бывало!

Скоро после дядюшки отворила дверь, по звуку ног очевидно босая девка, и в дверь с большим уставленным подносом в руках вошла толстая, румяная, красивая женщина лет 40, с двойным подбородком, и полными, румяными губами. Она, с гостеприимной представительностью и привлекательностью в глазах и каждом движенье, оглянула гостей и с ласковой улыбкой почтительно поклонилась им. Несмотря на толщину больше чем обыкновенную, заставлявшую ее выставлять вперед грудь и живот и назад держать голову, женщина эта (экономка дядюшки) ступала чрезвычайно легко. Она подошла к столу, поставила поднос и ловко своими белыми, пухлыми руками сняла и расставила по столу бутылки, закуски и угощенья. Окончив это, она отошла и с улыбкой на лице стала у двери. - "Вот она и я! Теперь понимаешь дядюшку?" сказало Ростову ее появление. Как не понимать: не только Ростов, но и Наташа поняла дядюшку и значение нахмуренных бровей, и счастливой, самодовольной улыбки, которая чуть морщила его губы в то время, как входила Анисья Федоровна. На подносе были травник, наливки, грибки, лепешечки черной муки на юраге, сотовой мед, мед вареный и шипучий, яблоки, орехи сырые и каленые и орехи в меду. Потом принесено было Анисьей Федоровной и варенье на меду и на сахаре, и ветчина, и курица, только что зажаренная.

Всё это было хозяйства, сбора и варенья Анисьи Федоровны. Всё это и пахло и отзывалось и имело вкус Анисьи Федоровны. Всё отзывалось сочностью, чистотой, белизной и приятной улыбкой.

- Покушайте, барышня-графинюшка, - приговаривала она, подавая Наташе то то, то другое. Наташа ела все, и ей показалось, что подобных лепешек на юраге, с таким букетом варений, на меду орехов и такой курицы никогда она нигде не видала и не едала. Анисья Федоровна вышла. Ростов с дядюшкой, запивая ужин вишневой наливкой, разговаривали о прошедшей и о будущей охоте, о Ругае и Илагинских собаках. Наташа с блестящими глазами прямо сидела на диване, слушая их. Несколько раз она пыталась разбудить Петю, чтобы дать ему поесть чего-нибудь, но он говорил что-то непонятное, очевидно не просыпаясь. Наташе так весело было на душе, так хорошо в этой новой для нее обстановке, что она только боялась, что слишком скоро за ней приедут дрожки. После наступившего случайно молчания, как это почти всегда бывает у людей в первый раз принимающих в своем доме своих знакомых, дядюшка сказал, отвечая на мысль, которая была у его гостей:

- Так-то вот и доживаю свой век... Умрешь, - чистое дело марш - ничего не останется. Что ж и грешить-то!

Лицо дядюшки было очень значительно и даже красиво, когда он говорил это. Ростов невольно вспомнил при этом всё, что он хорошего слыхал от отца и соседей о дядюшке. Дядюшка во всем околотке губернии имел репутацию благороднейшего и бескорыстнейшего чудака. Его призывали судить семейные дела, его делали душеприказчиком, ему поверяли тайны, его выбирали в судьи и другие должности, но от общественной службы он упорно отказывался, осень и весну проводя в полях на своем кауром мерине, зиму сидя дома, летом лежа в своем заросшем саду.

- Что же вы не служите, дядюшка?

- Служил, да бросил. Не гожусь, чистое дело марш, я ничего не разберу. Это ваше дело, а у меня ума не хватит. Вот насчет охоты другое дело, это чистое дело марш! Отворите-ка дверь-то, - крикнул он. - Что ж затворили! - Дверь в конце коридора (который дядюшка называл колидор) вела в холостую охотническую: так называлась людская для охотников. Босые ноги быстро зашлепали, и невидимая рука отворила дверь в охотническую. Из коридора ясно стали слышны звуки балалайки, на которой играл, очевидно, какой-нибудь мастер этого дела. Наташа уже давно прислушивалась к этим звукам и теперь вышла в коридор, чтобы слышать их яснее.

- Это у меня мой Митька кучер... Я ему купил хорошую балалайку, люблю, - сказал дядюшка. - У дядюшки было заведено, чтобы, когда он приезжает с охоты, в холостой охотнической Митька играл на балалайке. Дядюшка любил слушать эту музыку.

- Как хорошо, право отлично, - сказал Николай с некоторым невольным пренебрежением, как будто ему совестно было признаться в том, что ему очень были приятны эти звуки.

- Как отлично? - с упреком сказала Наташа, чувствуя тон, которым сказал это брат. - Не отлично, а это прелесть, что такое! - Ей так же как и грибки, мед и наливки дядюшки казались лучшими в мире, так и эта песня казалась ей в эту минуту верхом музыкальной прелести.

- Еще, пожалуйста, еще, - сказала Наташа в дверь, как только замолкла балалайка. Митька настроил и опять молодецки задребезжал *Барыню* с переборами и перехватами. Дядюшка сидел и слушал, склонив голову на бок с чуть заметной улыбкой. Мотив *Барыни* повторился раз сто. Несколько раз балалайку настраивали и опять дребезжали те же звуки, и слушателям не наскучивало, а только хотелось еще и еще слышать эту игру. Анисья Федоровна вошла и прислонилась своим тучным телом к притолке.

- Изволите слушать, - сказала она Наташе, с улыбкой чрезвычайно похожей на улыбку дядюшки. - Он у нас славно играет, - сказала она.

- Вот в этом колене не то делает, - вдруг с энергическим жестом сказал дядюшка. - Тут рассыпать надо - чистое дело марш - рассыпать...

- А вы разве умеете? - спросила Наташа. - Дядюшка не отвечая улыбнулся.

- Посмотри-ка, Анисьюшка, что струны-то целы что ль, на гитаре-то? Давно уж в руки не брал, - чистое дело марш! забросил.

Анисья Федоровна охотно пошла своей легкой поступью исполнить поручение своего господина и принесла гитару.

Дядюшка ни на кого не глядя сдунул пыль, костлявыми пальцами стукнул по крышке гитары, настроил и поправился на кресле. Он взял (несколько театральным жестом, отставив локоть левой руки) гитару повыше шейки и подмигнув Анисье Федоровне, начал не Барыню, а взял один звучный, чистый аккорд, и мерно, спокойно, но твердо начал весьма тихим темпом отделывать известную песню: По у-ли-и-ице мостовой. В раз, в такт с тем степенным весельем (тем самым, которым дышало всё существо Анисьи Федоровны), запел в душе у Николая и Наташи мотив песни. Анисья Федоровна закраснелась и закрывшись платочком, смеясь вышла из комнаты. Дядюшка продолжал чисто, старательно и энергически-твердо отделывать песню, изменившимся вдохновенным взглядом глядя на то место, с которого ушла Анисья Федоровна. Чуть-чуть что-то смеялось в его лице с одной стороны под седым усом, особенно смеялось тогда, когда дальше расходилась песня, ускорялся такт и в местах переборов отрывалось что-то.

- Прелесть, прелесть, дядюшка; еще, еще, - закричала Наташа, как только он кончил. Она, вскочивши с места, обняла дядюшку и поцеловала его. - Николенька, Николенька! - говорила она, оглядываясь на брата и как бы спрашивая его: что же это такое?

Николаю тоже очень нравилась игра дядюшки. Дядюшка второй раз заиграл песню. Улыбающееся лицо Анисьи Федоровны явилось опять в дверях и из-за ней еще другие лица... "За холодной ключевой, кричит: девица постой!" играл дядюшка, сделал опять ловкий перебор, оторвал и шевельнул плечами.

- Ну, ну, голубчик, дядюшка, - таким умоляющим голосом застонала Наташа, как будто жизнь ее зависела от этого. Дядюшка встал и как будто в нем было два человека, - один из них серьезно улыбнулся над весельчаком, а весельчак сделал наивную и аккуратную выходку перед пляской.

- Ну, племянница! - крикнул дядюшка взмахнув к Наташе рукой, оторвавшей аккорд.

Наташа сбросила с себя платок, который был накинут на ней, забежала вперед дядюшки и, подперши руки в боки, сделала движение плечами и стала.

Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала - эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые pas de châle давно бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, не изучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка. Как только она стала, улыбнулась торжественно, гордо и хитро-весело, первый страх, который охватил было Николая и всех присутствующих, страх, что она не то сделает, прошел и они уже любовались ею.

Она сделала то самое и так точно, так вполне точно это сделала, что Анисья Федоровна, которая тотчас подала ей необходимый для ее дела платок, сквозь смех прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чужую ей, в шелку и в бархате воспитанную графиню, которая умела понять всё то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке.

- Ну, графинечка - чистое дело марш, - радостно смеясь, сказал дядюшка, окончив пляску. - Ай да племянница! Вот только бы муженька тебе молодца выбрать, - чистое дело марш!

- Уж выбран, - сказал улыбаясь Николай.

- О? - сказал удивленно дядюшка, глядя вопросительно на Наташу. Наташа с счастливой улыбкой утвердительно кивнула головой.

- Еще какой! - сказала она. Но как только она сказала это, другой, новый строй мыслей и чувств поднялся в ней. Что значила улыбка Николая, когда он сказал: "уж выбран"? Рад он этому или не рад? Он как будто думает, что мой Болконский не одобрил бы, не понял бы этой нашей радости. Нет, он бы всё понял. Где он теперь? подумала Наташа, и лицо ее вдруг стало серьезно. Но это продолжалось только одну секунду. - Не думать, не сметь думать об этом, сказала она себе и, улыбаясь, подсела опять к дядюшке, прося его сыграть еще что-нибудь.

Дядюшка сыграл еще песню и вальс; потом, помолчав, прокашлялся и запел свою любимую охотническую песню.

*Как со вечера пороша*

*Выпадала хороша...*

Дядюшка пел так, как поет народ, с тем полным и наивным убеждением, что в песне все значение заключается только в словах, что напев сам собой приходит и что отдельного напева не бывает, а что напев -- так только, для складу. От этого-то этот бессознательный напев, как бывает напев птицы, и у дядюшки был необыкновенно хорош. Наташа была в восторге от пения дядюшки. Она решила, что не будет больше учиться на арфе, а будет играть только на гитаре. Она попросила у дядюшки гитару и тотчас же подобрала аккорды к песне.

В десятом часу за Наташей и Петей приехали линейка, дрожки и трое верховых, посланных отыскивать их. Граф и графиня не знали где они и крепко беспокоились, как сказал посланный.

Петю снесли и положили как мертвое тело в линейку; Наташа с Николаем сели в дрожки. Дядюшка укутывал Наташу и прощался с ней с совершенно новой нежностью. Он пешком проводил их до моста, который надо было объехать в брод, и велел с фонарями ехать вперед охотникам.

- Прощай, племянница дорогая, - крикнул из темноты его голос, не тот, который знала прежде Наташа, а тот, который пел: "Как со вечера пороша".

В деревне, которую проезжали, были красные огоньки и весело пахло дымом.

- Что за прелесть этот дядюшка! - сказала Наташа, когда они выехали на большую дорогу.

- Да, - сказал Николай. - Тебе не холодно?

- Нет, мне отлично, отлично. Мне так хорошо, - с недоумением даже cказала Наташа. Они долго молчали.

Ночь была темная и сырая. Лошади не видны были; только слышно было, как они шлепали по невидной грязи.

Что делалось в этой детской, восприимчивой душе, так жадно ловившей и усвоивавшей все разнообразнейшие впечатления жизни? Как это всё укладывалось в ней? Но она была очень счастлива. Уже подъезжая к дому, она вдруг запела мотив песни: "Как со вечера пороша", мотив, который она ловила всю дорогу и наконец поймала.

- Поймала? - сказал Николай.

- Ты об чем думал теперь, Николенька? - спросила Наташа. - Они любили это спрашивать друг у друга.

- Я? - сказал Николай вспоминая; - вот видишь ли, сначала я думал, что Ругай, красный кобель, похож на дядюшку и что ежели бы он был человек, то он дядюшку всё бы еще держал у себя, ежели не за скачку, так за лады, всё бы держал. Как он ладен, дядюшка! Не правда ли? - Ну а ты?

- Я? Постой, постой. Да, я думала сначала, что вот мы едем и думаем, что мы едем домой, а мы Бог знает куда едем в этой темноте и вдруг приедем и увидим, что мы не в Отрадном, а в волшебном царстве. А потом еще я думала... Нет, ничего больше.

- Знаю, верно, про *него* думала, - сказал Николай улыбаясь, как узнала Наташа по звуку его голоса.

- Нет, - отвечала Наташа, хотя действительно она вместе с тем думала и про князя Андрея, и про то, как бы ему понравился дядюшка. - А еще я всё повторяю, всю дорогу повторяю: как Анисьюшка хорошо выступала, хорошо... - сказала Наташа. И Николай услыхал ее звонкий, беспричинный, счастливый смех.

- А знаешь, - вдруг сказала она, - я знаю, что никогда уже я не буду так счастлива, спокойна, как теперь.

- Вот вздор, глупости, вранье - сказал Николай и подумал: "Что за прелесть эта моя Наташа! Такого другого друга у меня нет и не будет. Зачем ей выходить замуж, всё бы с ней ездили!"

"Экая прелесть этот Николай!" думала Наташа. - А! еще огонь в гостиной, - сказала она, указывая на окна дома, красиво блестевшие в мокрой, бархатной темноте ночи.

Эпилог

**V**

Свадьба Наташи, вышедшей в 13-м году за Безухова, было последнее радостное событие в старой семье Ростовых. В тот же год граф Илья Андреевич умер, и, как это всегда бывает, со смертью его распалась старая семья.

События последнего года: пожар Москвы и бегство из нее, смерть князя Андрея и отчаяние Наташи, смерть Пети, горе графини — все это, как удар за ударом, падало на голову старого графа. Он, казалось, не понимал и чувствовал себя не в силах понять значение всех этих событий и, нравственно согнув свою старую голову, как будто ожидал и просил новых ударов, которые бы его покончили. Он казался то испуганным и растерянным, то неестественно оживленным и предприимчивым.

Свадьба Наташи на время заняла его своей внешней стороной. Он заказывал обеды, ужины и, видимо, хотел казаться веселым; но веселье его не сообщалось, как прежде, а, напротив, возбуждало сострадание в людях, знавших и любивших его.

После отъезда Пьера с женой он затих и стал жаловаться на тоску. Через несколько дней он заболел и слег в постель. С первых дней его болезни, несмотря на утешения докторов, он понял, что ему не вставать. Графиня, не раздеваясь, две недели провела в кресле у его изголовья. Всякий раз, как она давала ему лекарство, он, всхлипывая, молча целовал ее руку. В последний день он, рыдая, просил прощения у жены и заочно у сына за разорение именья — главную вину, которую он за собой чувствовал. Причастившись и особоровавшись, он тихо умер, и на другой день толпа знакомых, приехавших отдать последний долг покойнику, наполняла наемную квартиру Ростовых. Все эти знакомые, столько раз обедавшие и танцевавшие у него, столько раз смеявшиеся над ним, теперь все с одинаковым чувством внутреннего упрека и умиления, как бы оправдываясь перед кем-то, говорили: "Да, там как бы то ни было, а прекраснейший был человек. Таких людей нынче уж не встретишь... А у кого ж нет своих слабостей?.."

Именно в то время, когда дела графа так запутались, что нельзя было себе представить, чем это все кончится, если продолжится еще год, он неожиданно умер.

Николай был с русскими войсками в Париже, когда к нему пришло известие о смерти отца. Он тотчас же подал в отставку и, не дожидаясь ее, взял отпуск и приехал в Москву. Положение денежных дел через месяц после смерти графа совершенно обозначилось, удивив всех громадностию суммы разных мелких долгов, существования которых никто и не подозревал. Долгов было вдвое больше, чем имения.

Родные и друзья советовали Николаю отказаться от наследства. Но Николай в отказе от наследства видел выражение укора священной для него памяти отца и потому не хотел слышать об отказе и принял наследство с обязательством уплаты долгов.

Кредиторы, так долго молчавшие, будучи связаны при жизни графа тем неопределенным, но могучим влиянием, которое имела на них его распущенная доброта, вдруг все подали ко взысканию. Явилось, как это всегда бывает, соревнование - кто прежде получит, - и те самые люди, которые, как Митенька и другие, имели безденежные векселя - подарки, явились теперь самыми требовательными кредиторами. Николаю не давали ни срока, ни отдыха, и те, которые, по-видимому, жалели старика, бывшего виновником их потери (если были потери), теперь безжалостно накинулись на очевидно невинного перед ними молодого наследника, добровольно взявшего на себя уплату.

Ни один из предполагаемых Николаем оборотов не удался; имение с молотка было продано за полцены, а половина долгов оставалась все-таки не уплаченною. Николай взял предложенные ему зятем Безуховым тридцать тысяч для уплаты той части долгов, которые он признавал за денежные, настоящие долги. А чтобы за оставшиеся долги не быть посаженным в яму, чем ему угрожали кредиторы, он снова поступил на службу.

Ехать в армию, где он был на первой вакансии полкового командира, нельзя было потому, что мать теперь держалась за сына, как за последнюю приманку жизни; и потому, несмотря на нежелание оставаться в Москве в кругу людей, знавших его прежде, несмотря на свое отвращение к статской службе, он взял в Москве место по статской части и, сняв любимый им мундир, поселился с матерью и Соней на маленькой квартире, на Сивцевом Вражке.

Наташа и Пьер жили в это время в Петербурге, не имея ясного понятия о положении Николая. Николай, заняв у зятя деньги, старался скрыть от него свое бедственное положение. Положение Николая было особенно дурно потому, что своими тысячью двумястами рублями жалованья он не только должен был содержать себя, Соню и мать, но он должен был содержать мать так, чтобы она не замечала, что они бедны. Графиня не могла понять возможности жизни без привычных ей с детства условий роскоши и беспрестанно, не понимая того, как это трудно было для сына, требовала то экипажа, которого у них не было, чтобы послать за знакомой, то дорогого кушанья для себя и вина для сына, то денег, чтобы сделать подарок-сюрприз Наташе, Соне и тому же Николаю.

Соня вела домашнее хозяйство, ухаживала за теткой, читала ей вслух, переносила ее капризы и затаенное нерасположение и помогала Николаю скрывать от старой графини то положение нужды, в котором они находились. Николай чувствовал себя в неоплатном долгу благодарности перед Соней за все, что она делала для его матери, восхищался ее терпением и преданностью, но старался отдаляться от нее.

Он в душе своей как будто упрекал ее за то, что она была слишком совершенна, и за то, что не в чем было упрекать ее. В ней было все, за что ценят людей; но было мало того, что бы заставило его любить ее. И он чувствовал, что чем больше он ценит, тем меньше любит ее. Он поймал ее на слове, в ее письме, которым она давала ему свободу, и теперь держал себя с нею так, как будто все то, что было между ними, уже давным-давно забыто и ни в каком случае не может повториться.

Положение Николая становилось хуже и хуже. Мысль о том, чтобы откладывать из своего жалованья, оказалась мечтою. Он не только не откладывал, но, удовлетворяя требования матери, должал по мелочам. Выхода из его положения ему не представлялось никакого. Мысль о женитьбе на богатой наследнице, которую ему предлагали его родственницы, была ему противна. Другой выход из его положения -- смерть матери -- никогда не приходила ему в голову. Он ничего не желал, ни на что не надеялся; и в самой глубине души испытывал мрачное и строгое наслаждение в безропотном перенесении своего положения. Он старался избегать прежних знакомых с их соболезнованием и предложениями оскорбительной помощи, избегал всякого рассеяния и развлечения, даже дома ничем не занимался, кроме раскладывания карт с своей матерью, молчаливыми прогулками по комнате и курением трубки за трубкой. Он как будто старательно соблюдал в себе то мрачное настроение духа, в котором одном он чувствовал себя в состоянии переносить свое положение.

VI

В начале зимы княжна Марья приехала в Москву. Из городских слухов она узнала о положении Ростовых и о том, как "сын жертвовал собой для матери", — так говорили в городе.

"Я и не ожидала от него другого", — говорила себе княжна Марья, чувствуя радостное подтверждение своей любви к нему. Вспоминая свои дружеские и почти родственные отношения ко всему семейству, она считала своей обязанностью ехать к ним. Но, вспоминая свои отношения к Николаю в Воронеже, она боялась этого. Сделав над собой большое усилие, она, однако, через несколько недель после своего приезда в город приехала к Ростовым.

Николай первый встретил ее, так как к графине можно было проходить только через его комнату. При первом взгляде на нее лицо Николая вместо выражения радости, которую ожидала увидать на нем княжна Марья, приняло невиданное прежде княжной выражение холодности, сухости и гордости. Николай спросил о ее здоровье, проводил к матери и, посидев минут пять, вышел из комнаты.

Когда княжна выходила от графини, Николай опять встретил ее и особенно торжественно и сухо проводил до передней. Он ни слова не ответил на ее замечания о здоровье графини. "Вам какое дело? Оставьте меня в покое", - говорил его взгляд.

- И что шляется? Чего ей нужно? Терпеть не могу этих барынь и все эти любезности! - сказал он вслух при Соне, видимо не в силах удерживать свою досаду, после того как карета княжны отъехала от дома.

- Ах, как можно так говорить, Nicolas! - сказала Соня, едва скрывая свою радость. - Она такая добрая, и maman так любит ее.

Николай ничего не отвечал и хотел бы вовсе не говорить больше о княжне. Но со времени ее посещения старая графиня всякий день по нескольку раз заговаривала о ней.

Графиня хвалила ее, требовала, чтобы сын съездил к ней, выражала желание видеть ее почаще, но вместе с тем всегда становилась не в духе, когда она о ней говорила.

Николай старался молчать, когда мать говорила о княжне, но молчание его раздражало графиню.

- Она очень достойная и прекрасная девушка, - говорила она, - и тебе надо к ней съездить. Все-таки ты увидишь кого-нибудь; а то тебе скука, я думаю, с нами.

- Да я нисколько не желаю, маменька.

- То хотел видеть, а теперь не желаю. Я тебя, мой милый, право, не понимаю. То тебе скучно, то ты вдруг никого не хочешь видеть.

- Да я не говорил, что мне скучно.

- Как же, ты сам сказал, что ты и видеть ее не желаешь. Она очень достойная девушка и всегда тебе нравилась; а теперь вдруг какие-то резоны. Всё от меня скрывают.

- Да нисколько, маменька.

- Если б я тебя просила сделать что-нибудь неприятное, а то я тебя прошу съездить отдать визит. Кажется, и учтивость требует... Я тебя просила и теперь больше не вмешиваюсь, когда у тебя тайны от матери.

- Да я поеду, если вы хотите.

- Мне все равно; я для тебя желаю.

Николай вздыхал, кусая усы, и раскладывал карты, стараясь отвлечь внимание матери на другой предмет.

На другой, на третий и на четвертый день повторялся тот же и тот же разговор.

После своего посещения Ростовых и того неожиданного, холодного приема, сделанного ей Николаем, княжна Марья призналась себе, что она была права, не желая ехать первая к Ростовым.

"Я ничего и не ожидала другого, - говорила она себе, призывая на помощь свою гордость. - Мне нет никакого дела до него, и я только хотела видеть старушку, которая была всегда добра ко мне и которой я многим обязана".

Но она не могла успокоиться этими рассуждениями: чувство, похожее на раскаяние, мучило ее, когда она вспоминала свое посещение. Несмотря на то, что она твердо решилась не ездить больше к Ростовым и забыть все это, она чувствовала себя беспрестанно в неопределенном положении. И когда она спрашивала себя, что же такое было то, что мучило ее, она должна была признаваться, что это были ее отношения к Ростову. Его холодный, учтивый тон не вытекал из его чувства к ней (она это знала), а тон этот прикрывал что-то. Это что-то ей надо было разъяснить; и до тех пор она чувствовала, что не могла быть покойна.

В середине зимы она сидела в классной, следя за уроками племянника, когда ей пришли доложить о приезде Ростова. С твердым решением не выдавать своей тайны и не выказать своего смущения она пригласила m-lle Bourienne и с ней вместе вышла в гостиную.

При первом взгляде на лицо Николая она увидала, что он приехал только для того, чтобы исполнить долг учтивости, и решилась твердо держаться в том самом тоне, в котором он обратится к ней.

Они заговорили о здоровье графини, об общих знакомых, о последних новостях войны, и когда прошли те требуемые приличием десять минут, после которых гость может встать, Николай поднялся, прощаясь.

Княжна с помощью m-lle Bourienne выдержала разговор очень хорошо; но в самую последнюю минуту, в то время как он поднялся, она так устала говорить о том, до чего ей не было дела, и мысль о том, за что ей одной так мало дано радостей в жизни, так заняла ее, что она в припадке рассеянности, устремив вперед себя свои лучистые глаза, сидела неподвижно, не замечая, что он поднялся.

Николай посмотрел на нее и, желая сделать вид, что он не замечает ее рассеянности, сказал несколько слов m-lle Bourienne и опять взглянул на княжну. Она сидела так же неподвижно, и на нежном лице ее выражалось страдание. Ему вдруг стало жалко ее и смутно представилось, что, может быть, он был причиной той печали, которая выражалась на ее лице. Ему захотелось помочь ей, сказать ей что-нибудь приятное; но он не мог придумать, что бы сказать ей.

- Прощайте, княжна, - сказал он. Она опомнилась, вспыхнула и тяжело вздохнула.

- Ах, виновата, - сказала она, как бы проснувшись. - Вы уже едете, граф; ну, прощайте! А подушку графине?

- Постойте, я сейчас принесу ее, - сказала m-lle Bourienne и вышла из комнаты.

Оба молчали, изредка взглядывая друг на друга.

- Да, княжна, - сказал, наконец, Николай, грустно улыбаясь, - недавно, кажется, а сколько воды утекло с тех пор, как мы с вами в первый раз виделись в Богучарове. Как мы все казались в несчастии, - а я бы дорого дал, чтобы воротить это время... да не воротишь.

Княжна пристально глядела ему в глаза своим лучистым взглядом, когда он говорил это. Она как будто старалась понять тот тайный смысл его слов, который бы объяснил ей его чувство к ней.

- Да, да, - сказала она, - но вам нечего жалеть прошедшего, граф. Как я понимаю вашу жизнь теперь, вы всегда с наслаждением будете вспоминать ее, потому что самоотвержение, которым вы живете теперь...

- Я не принимаю ваших похвал, - перебил он ее поспешно, - напротив, я беспрестанно себя упрекаю; но это совсем неинтересный и невеселый разговор.

И опять взгляд его принял прежнее сухое и холодное выражение. Но княжна уже увидала в нем опять того же человека, которого она знала и любила, и говорила теперь только с этим человеком.

- Я думала, что вы позволите мне сказать вам это, - сказала она. - Мы так сблизились с вами... и с вашим семейством, и я думала, что вы не почтете неуместным мое участие; но я ошиблась, - сказала она. Голос ее вдруг дрогнул. - Я не знаю почему, - продолжала она, оправившись, - вы прежде были другой и...

- Есть тысячи причин *почему* (он сделал особое ударение на слово *почему).* Благодарю вас, княжна, - сказал он тихо. - Иногда тяжело.

"Так вот отчего! Вот отчего! - говорил внутренний голос в душе княжны Марьи. - Нет, я не один этот веселый, добрый и открытый взгляд, не одну красивую внешность полюбила в нем; я угадала его благородную, твердую, самоотверженную душу, - говорила она себе. - Да, он теперь беден, а я богата... Да, только от этого... Да, если б этого не было..." И, вспоминая прежнюю его нежность и теперь глядя на его доброе и грустное лицо, она вдруг поняла причину его холодности.

- Почему же, граф, почему? - вдруг почти вскрикнула она невольно, подвигаясь к нему. - Почему, скажите мне? Вы должны сказать. - Он молчал. - Я не знаю, граф, вашего *почему, -* продолжала она. - Но мне тяжело, мне... Я признаюсь вам в этом. Вы за что-то хотите лишить меня прежней дружбы. И мне это больно. - У нее слезы были в глазах и в голосе. - У меня так мало было счастия в жизни, что мне тяжела всякая потеря... Извините меня, прощайте. - Она вдруг заплакала и пошла из комнаты.

- Княжна! постойте, ради бога, - вскрикнул он, стараясь остановить ее. - Княжна!

Она оглянулась. Несколько секунд они молча смотрели в глаза друг другу, и далекое, невозможное вдруг стало близким, возможным и неизбежным …

VII

Осенью 1814-го года Николай женился на княжне Марье и с женой, матерью и Соней переехал на житье в Лысые Горы.

В три года он, не продавая именья жены, уплатил оставшиеся долги и, получив небольшое наследство после умершей кузины, заплатил и долг Пьеру.

Еще через три года, к 1820-му году, Николай так устроил свои денежные дела, что прикупил небольшое именье подле Лысых Гор и вел переговоры о выкупе отцовского Отрадного, что составляло его любимую мечту.

Начав хозяйничать по необходимости, он скоро так пристрастился к хозяйству, что оно сделалось для него любимым и почти исключительным занятием. Николай был хозяин простой, не любил нововведений, в особенности английских, которые входили тогда в моду, смеялся над теоретическими сочинениями о хозяйстве, не любил заводов, дорогих производств, посевов дорогих хлебов и вообще не занимался отдельно ни одной частью хозяйства. У него перед глазами всегда было только одно *именье,* а не какая-нибудь отдельная часть его. В именье же главным предметом был не азот и не кислород, находящиеся в почве и воздухе, не особенный плуг и назем, а то главное орудие, чрез посредство которого действует и азот, и кислород, и назем, и плуг -- то есть работник-мужик. Когда Николай взялся за хозяйство и стал вникать в различные его части, мужик особенно привлек к себе его внимание; мужик представлялся ему не только орудием, но и целью и судьею. Он сначала всматривался в мужика, стараясь понять, что ему нужно, что он считает дурным и хорошим, и только притворялся, что распоряжается и приказывает, в сущности же только учился у мужиков и приемам, и речам, и суждениям о том, что хорошо и что дурно. И только тогда, когда понял вкусы и стремления мужика, научился говорить его речью и понимать тайный смысл его речи, когда почувствовал себя сроднившимся с ним, только тогда стал он смело управлять им, то есть исполнять по отношению к мужикам ту самую должность, исполнение которой от него требовалось. И хозяйство Николая приносило самые блестящие результаты.

Принимая в управление имение, Николай сразу, без ошибки, по какому-то дару прозрения, назначал бурмистром, старостой, выборным тех самых людей, которые были бы выбраны самими мужиками, если б они могли выбирать, и начальники его никогда не переменялись. Прежде чем исследовать химические свойства навоза, прежде чем вдаваться в *дебет* и *кредит* (как он любил насмешливо говорить), он узнавал количество скота у крестьян и увеличивал это количество всеми возможными средствами. Семьи крестьян он поддерживал в самых больших размерах, не позволяя делиться. Ленивых, развратных и слабых он одинаково преследовал и старался изгонять из общества.

При посевах и уборке сена и хлебов он совершенно одинаково следил за своими и мужицкими полями. И у редких хозяев были так рано и хорошо посеяны и убраны поля и так много дохода, как у Николая.

С дворовыми он не любил иметь никакого дела, называл их *дармоедами* и, как все говорили, распустил и избаловал их; когда надо было сделать какое-нибудь распоряжение насчет дворового, в особенности когда надо было наказывать, он бывал в нерешительности и советовался со всеми в доме; только когда возможно было отдать в солдаты вместо мужика дворового, он делал это без малейшего колебания. Во всех же распоряжениях, касавшихся мужиков, он никогда не испытывал ни малейшего сомнения. Всякое распоряжение его - он это знал - будет одобрено всеми против одного или нескольких.

Он одинаково не позволял себе утруждать или казнить человека потому только, что ему этого так хотелось, как и облегчать и награждать человека потому, что в этом состояло его личное желание. Он не умел бы сказать, в чем состояло это мерило того, что должно и чего не должно; но мерило это в его душе было твердо и непоколебимо.

Он часто говаривал с досадой о какой-нибудь неудаче или беспорядке: *"С нашим русским народом", -* и воображал себе, что он терпеть не может мужика.

Но он всеми силами души любил этот *наш русский народ* и его быт и потому только понял и усвоил себе тот единственный путь и прием хозяйства, которые приносили хорошие результаты.

Графиня Марья ревновала своего мужа к этой любви его и жалела, что не могла в ней участвовать, но не могла понять радостей и огорчений, доставляемых ему этим отдельным, чуждым для нее миром. Она не могла понять, отчего он бывал так особенно оживлен и счастлив, когда он, встав на заре и проведя все утро в поле или на гумне, возвращался к ее чаю с посева, покоса или уборки. Она не понимала, чем он восхищался, рассказывая с восторгом про богатого хозяйственного мужика Матвея Ермишина, который всю ночь с семьей возил снопы, и еще ни у кого ничего не было убрано, а у него уже стояли одонья. Она не понимала, отчего он так радостно, переходя от окна к балкону, улыбался под усами и подмигивал, когда на засыхающие всходы овса выпадал теплый частый дождик, или отчего, когда в покос или уборку угрожающая туча уносилась ветром, он, красный, загорелый и в поту, с запахом полыни и горчавки в волосах, приходя с гумна, радостно потирая руки, говорил: "Ну еще денек, и мое и крестьянское все будет в гумне".

Еще менее могла она понять, почему он, с его добрым сердцем, с его всегдашнею готовностью предупредить ее желания, приходил почти в отчаяние, когда она передавала ему просьбы каких-нибудь баб или мужиков, обращавшихся к ней, чтобы освободить их от работ, почему он, добрый Nicolas, упорно отказывал ей, сердито прося ее не вмешиваться не в свое дело. Она чувствовала, что у него был особый мир, страстно им любимый, с какими-то законами, которых она не понимала.

Когда она иногда, стараясь понять его, говорила ему о его заслуге, состоящей в том, что он делает добро своих подданных, он сердился и отвечал: "Вот уж нисколько: никогда и в голову мне не приходит; и для их блага вот чего не сделаю. Все это поэзия и бабьи сказки, - все это благо ближнего. Мне нужно, чтобы наши дети не пошли по миру; мне надо устроить наше состояние, пока я жив; вот и все. Для этого нужен порядок, нужна строгость...Вот что!" - говорил он, сжимая свой сангвинический кулак. "И справедливость, разумеется, - прибавлял он, - потому что если крестьянин гол и голоден, и лошаденка у него одна, так он ни на себя, ни на меня не сработает".

И, должно быть, потому, что Николай не позволял себе мысли о том, что он делает что-нибудь для других, для добродетели, - все, что он делал, было плодотворно: состояние его быстро увеличивалось; соседние мужики приходили просить его, чтобы он купил их, и долго после его смерти в народе хранилась набожная память об его управлении. "Хозяин был... Наперед мужицкое, а потом свое. Ну и потачки не давал. Одно слово - хозяин!"

X

Наташа вышла замуж ранней весной 1813 года, и у ней в 1820 году было уже три дочери и один сын, которого она страстно желала и теперь сама кормила. Она пополнела и поширела, так что трудно было узнать в этой сильной матери прежнюю тонкую, подвижную Наташу. Черты лица ее определились и имели выражение спокойной мягкости и ясности. В ее лице не было, как прежде, этого непрестанно горевшего огня оживления, составлявшего ее прелесть. Теперь часто видно было одно ее лицо и тело, а души вовсе не было видно. Видна была одна сильная, красивая и плодовитая самка. Очень редко зажигался в ней теперь прежний огонь. Это бывало только тогда, когда, как теперь, возвращался муж, когда выздоравливал ребенок или когда она с графиней Марьей вспоминала о князе Андрее (с мужем она, предполагая, что он ревнует ее к памяти князя Андрея, никогда не говорила о нем), и очень редко, когда что-нибудь случайно вовлекало ее в пение, которое она совершенно оставила после замужества. И в те редкие минуты, когда прежний огонь зажигался в ее развившемся красивом теле, она бывала еще более привлекательна, чем прежде.

Со времени своего замужества Наташа жила с мужем в Москве, в Петербурге, и в подмосковной деревне, и у матери, то есть у Николая. В обществе молодую графиню Безухову видели мало, и те, которые видели, остались ею недовольны. Она не была ни мила, ни любезна. Наташа не то что любила уединение (она не знала, любила ли она или нет; ей даже казалось, что нет), но она, нося, рожая, кормя детей и принимая участие в каждой минуте жизни мужа, не могла удовлетворить этим потребностям иначе, как отказавшись от света. Все, знавшие Наташу до замужества, удивлялись происшедшей в ней перемене, как чему-то необыкновенному. Одна старая графиня, материнским чутьем понявшая, что все порывы Наташи имели началом только потребность иметь семью, иметь мужа, как она, не столько шутя, сколько взаправду, кричала в Отрадном. Мать удивлялась удивлению людей, не понимавших Наташи, и повторяла, что она всегда знала, что Наташа будет примерной женой и матерью.

— Она только до крайности доводит свою любовь к мужу и детям, — говорила графиня, — так что это даже глупо.

Наташа не следовала тому золотому правилу, проповедоваемому умными людьми, в особенности французами, и состоящему в том, что девушка, выходя замуж, не должна опускаться, не должна бросать свои таланты, должна еще более, чем в девушках, заниматься своей внешностью, должна прельщать мужа так же, как она прежде прельщала не мужа. Наташа, напротив, бросила сразу все свои очарованья, из которых у ней было одно необычайно сильное — пение. Она оттого и бросила его, что это было сильное очарованье. Она, то, что называют, опустилась. Наташа не заботилась ни о своих манерах, ни о деликатности речей, ни о том, чтобы показываться мужу в самых выгодных позах, ни о своем туалете, ни о том, чтобы не стеснять мужа своей требовательностью. Она делала все противное этим правилам. Она чувствовала, что те очарования, которые инстинкт ее научал употреблять прежде, теперь только были бы смешны в глазах ее мужа, которому она с первой минуты отдалась вся — то есть всей душой, не оставив ни одного уголка не открытым для него. Она чувствовала, что связь ее с мужем держалась не теми поэтическими чувствами, которые привлекали его к ней, а держалась чем-то другим, неопределенным, но твердым, как связь ее собственной души с ее телом.

Взбивать локоны, надевать роброны и петь романсы, для того чтобы привлечь к себе своего мужа, показалось бы ей так же странным, как украшать себя для того, чтобы быть самой собою довольной. Украшать же себя для того, чтобы нравиться другим, — может быть, теперь это и было бы приятно ей, — она не знала, — но было совершенно некогда. Главная же причина, по которой она не занималась ни пением, ни туалетом, ни обдумыванием своих слов, состояла в том, что ей было совершенно некогда заниматься этим.

Известно, что человек имеет способность погрузиться весь в один предмет, какой бы он ни казался ничтожный. И известно, что нет такого ничтожного предмета, который бы при сосредоточенном внимании, обращенном на него, не разросся до бесконечности.

Предмет, в который погрузилась вполне Наташа, — была семья, то есть муж, которого надо было держать так, чтобы он нераздельно принадлежал ей, дому, — и дети, которых надо было носить, рожать, кормить, воспитывать.

И чем больше она вникала, не умом, а всей душой, всем существом своим в занимавший ее предмет, тем более предмет этот разрастался под ее вниманием, и тем слабее и ничтожнее казались ей ее силы, так что она их все сосредоточивала на одно и то же, и все-таки не успевала сделать всего того, что ей казалось нужно.

Толки и рассуждения о правах женщин, об отношениях супругов, о свободе и правах их, хотя и не назывались еще, как теперь, *вопросами,* были тогда точно такие же, как и теперь; но эти вопросы не только не интересовали Наташу, но она решительно не понимала их.

Вопросы эти и тогда, как и теперь, существовали только для тех людей, которые в браке видят одно удовольствие, получаемое супругами друг от друга, то есть одно начало брака, а не все его значение, состоящее в семье.

Рассуждения эти и теперешние вопросы, подобные вопросам о том, каким образом получить как можно более удовольствия от обеда, тогда, как и теперь, не существуют для людей, для которых цель обеда есть питание и цель супружества — семья.

Если цель обеда — питание тела, то тот, кто съест вдруг два обеда, достигнет, может быть, большего удовольствия, но не достигнет цели, ибо оба обеда не переварятся желудком.

Если цель брака есть семья, то тот, кто захочет иметь много жен и мужей, может быть, получит много удовольствия, но ни в каком случае не будет иметь семьи.

Весь вопрос, ежели цель обеда есть питание, а цель брака — семья, разрешается только тем, чтобы не есть больше того, что может переварить желудок, и не иметь больше жен и мужей, чем столько, сколько нужно для семьи, то есть одной и одного. Наташе нужен был муж. Муж был дан ей. И муж дал ей семью. И в другом, лучшем муже она не только не видела надобности, но, так как все силы душевные ее были устремлены на то, чтобы служить этому мужу и семье, она и не могла себе представить и не видела никакого интереса в представлении о том, что бы было, если б было другое.

Наташа не любила общества вообще, но она тем более дорожила обществом родных — графини Марьи, брата, матери и Сони. Она дорожила обществом тех людей, к которым она, растрепанная, в халате, могла выйти большими шагами из детской с радостным лицом и показать пеленку с желтым вместо зеленого пятна, и выслушать утешения о том, что теперь ребенку гораздо лучше.

Наташа до такой степени опустилась, что ее костюмы, ее прическа, ее невпопад сказанные слова, ее ревность — она ревновала к Соне, к гувернантке, ко всякой красивой и некрасивой женщине — были обычным предметом шуток всех ее близких. Общее мнение было то, что Пьер был под башмаком своей жены, и действительно это было так. С самых первых дней их супружества Наташа заявила свои требования. Пьер удивился очень этому совершенно новому для него воззрению жены, состоящему в том, что каждая минута его жизни принадлежит ей и семье; Пьер удивился требованиям своей жены, но был польщен ими и подчинился им.

Подвластность Пьера заключалась в том, что он не смел не только ухаживать, но не смел с улыбкой говорить с другой женщиной, не смел ездить в клубы на обеды *так*, для того чтобы провести время, не смел расходовать деньги для прихоти, не смел уезжать на долгие сроки, исключая как по делам, в число которых жена включала и его занятия науками, в которых она ничего не понимала, но которым она приписывала большую важность. Взамен этого Пьер имел полное право у себя в доме располагать не только самим собой, как он хотел, но и всей семьею. Наташа у себя в доме ставила себя на ногу рабы мужа; и весь дом ходил на цыпочках, когда Пьер занимался — читал или писал в своем кабинете. Стоило Пьеру показать какое-нибудь пристрастие, чтобы то, что он любил, постоянно исполнялось. Стоило ему выразить желание, чтобы Наташа вскакивала и бежала исполнять его.

Весь дом руководился только мнимыми повелениями мужа, то есть пожеланиями Пьера, которые Наташа старалась угадывать. Образ, место жизни, знакомства, связи, занятия Наташи, воспитание детей — не только все делалось по выраженной воле Пьера, но Наташа стремилась угадать то, что могло вытекать из высказанных в разговорах мыслей Пьера. И она верно угадывала то, в чем состояла сущность желаний Пьера, и, раз угадав ее, она уже твердо держалась раз избранного. Когда Пьер сам уже хотел изменить своему желанию, она боролась против него его же оружием.

Так, в тяжелое время, навсегда памятное Пьеру, Наташа, после родов первого слабого ребенка, когда им пришлось переменить трех кормилиц и Наташа заболела от отчаяния, Пьер однажды сообщил ей мысли Руссо, с которыми он был совершенно согласен, о неестественности и вреде кормилиц. Следующим ребенком, несмотря на противудействие матери, докторов и самого мужа, восстававших против ее кормления, как против вещи тогда неслыханной и вредной, она настояла на своем, и с тех пор всех детей кормила сама.

Весьма часто, в минуты раздражения, случалось, что муж с женой спорили подолгу, потом после спора Пьер, к радости и удивлению своему, находил не только в словах, но и в действиях жены свою ту самую мысль, против которой она спорила. И не только он находил ту же мысль, но он находил ее очищенною от всего того, что было лишнего, вызванного увлечением и спором, в выражении мысли Пьера.

После семи лет супружества Пьер чувствовал радостное, твердое сознание того, что он не дурной человек, и чувствовал он это потому, что он видел себя отраженным в своей жене. В себе он чувствовал все хорошее и дурное смешанным и затемнявшим одно другое. Но на жене его отражалось только то, что было истинно хорошо: все не совсем хорошее было откинуто. И отражение это произошло не путем логической мысли, а другим — таинственным, непосредственным отражением.

**Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович**

**ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ**

## Семейный суд

Однажды бурмистр из дальней вотчины, Антон Васильев, окончив барыне Арине Петровне Головлевой доклад о своей поездке в Москву для сбора оброков с проживающих по паспортам крестьян и уже получив от нее разрешение идти в людскую, вдруг как-то таинственно замялся на месте, словно бы за ним было еще какое-то слово и дело, о котором он и решался и не решался доложить. Арина Петровна, которая насквозь понимала не только малейшие телодвижения, но и тайные помыслы своих

приближенных людей, немедленно обеспокоилась.

- Что еще? - спросила она, смотря на бурмистра в упор.

- Все-с, - попробовал было отвернуть Антон Васильев.

- Не ври! еще есть! по глазам вижу!

Антон Васильев, однако ж, не решался ответить и продолжал переступать с ноги на ногу.

- Сказывай, какое еще дело за тобой есть? - решительным голосом прикрикнула на него Арина Петровна, - говори! не виляй хвостом... сума переметная!

Арина Петровна любила давать прозвища людям, составлявшим ее

административный и домашний персонал. Антона Васильева она прозвала

"переметной сумой" не за то, чтоб он в самом деле был когда-нибудь замечен

в предательстве, а за то, что был слаб на язык. Имение, в котором он управлял, имело своим центром значительное торговое село, в котором было большое число трактиров. Антон Васильев любил попить чайку в трактире, похвастаться всемогуществом своей барыни и во время этого хвастовства незаметным образом провирался. А так как у Арины Петровны постоянно были в ходу различные тяжбы, то частенько случалось, что болтливость доверенного человека выводила наружу барынины военные хитрости прежде, нежели они могли быть приведены в исполнение.

- Есть, действительно... - пробормотал наконец Антон Васильев.

- Что? что такое? - взволновалась Арина Петровна.

Как женщина властная и притом в сильной степени одаренная творчеством, она в одну минуту нарисовала себе картину всевозможных противоречий и противодействий и сразу так усвоила себе эту мысль, что даже побледнела и вскочила с кресла.

- Степан Владимирыч дом-то в Москве продали... - доложил бурмистр с

расстановкой.

- Ну?

- Продали-с.

- Почему? как? не мни! сказывай!

- За долги... так нужно полагать! Известно, за хорошие дела продавать

не станут.

- Стало быть, полиция продала? суд?

- Стало быть, что так. Сказывают, в восьми тысячах с аукциона дом-то

пошел.

Арина Петровна грузно опустилась в кресло и уставилась глазами в окно. В первые минуты известие это, по-видимому, отняло у нее сознание. Если б ей сказали, что Степан Владимирыч кого-нибудь убил, что головлевские мужики взбунтовались и отказываются идти на барщину или что крепостное право рушилось, - и тут она не была бы до такой степени поражена. Губы ее шевелились, глаза смотрели куда-то вдаль, но ничего не видели. Она не приметила даже, что в это самое время девчонка Дуняшка ринулась было с разбега мимо окна, закрывая что-то передником, и вдруг, завидев барыню, на

мгновение закружилась на одном месте и тихим шагом поворотила назад (в другое время этот поступок вызвал бы целое следствие). Наконец она, однако, опамятовалась и произнесла:

- Какова потеха!

После чего опять последовало несколько минут грозового молчания.

- Так ты говоришь, полиция за восемь тысяч дом-то продала? -

переспросила она.

- Так точно.

- Это - родительское-то благословение! Хорош... мерзавец!

Арина Петровна чувствовала, что, ввиду полученного известия, ей

необходимо принять немедленное решение, но ничего придумать не могла, потому

ч о мысли ее путались в совершенно противоположных направлениях. С одной

стороны, думалось: "Полиция продала! ведь не в одну же минуту она продала!

чай, опись была, оценка, вызовы к торгам? Продала за восемь тысяч, тогда как

она за этот самый дом, два года тому назад, собственными руками двенадцать

тысяч, как одну копейку, выложила! Кабы знать да ведать, можно бы и самой за

восемь-то тысяч с аукциона приобрести!" С другой стороны, приходило на мысль

и то: "Полиция за восемь тысяч продала! Это - родительское-то благословение!

Мерзавец! за восемь тысяч родительское благословение спустил!"

- От кого слышал? - спросила наконец она, окончательно остановившись на

мысли, что дом уже продан и что, следовательно, надежда приобрести его за

дешевую цену утрачена для нее навсегда.

- Иван Михайлов, трактирщик, сказывал.

- А почему он вовремя меня не предупредил?

- Поопасился, стало быть.

- Поопасился! вот я ему покажу: "поопасился"! Вызвать его из Москвы, и

как явится - сейчас же в рекрутское присутствие и лоб забрить! "Поопасился"!

Хотя крепостное право было уже на исходе, но еще существовало. Не раз

случалось Антону Васильеву выслушивать от барыни самые своеобразные

приказания, но настоящее ее решение было до того неожиданно, что даже и ему

сделалось не совсем ловко. Прозвище "сума переметная" невольно ему при этом

вспомнилось. Иван Михайлов был мужик обстоятельный, об котором и в голову не

могло прийти, чтобы над ним могла стрястись какая-нибудь беда. Сверх того,

это был его приятель душевный и кум - и вдруг его в солдаты, ради того

только, что он, Антон Васильев, как сума переметная, не сумел язык за зубами

попридержать!

- Простите... Ивана-то Михайлыча! - заступился было он.

- Ступай... - потатчик. - прикрикнула на него Арина Петровна, но таким

голосом, что он и не подумал упорствовать в дальнейшей защите Ивана

Михайлова.

Но прежде, нежели продолжать мой рассказ, я попрошу читателя поближе

познакомиться с Ариной Петровной Головлевой и семейным ее положением.

Арина Петровна - женщина лет шестидесяти, но еще бодрая и привыкшая

жить на всей своей воле. Держит она себя грозно: единолично и бесконтрольно

управляет обширным головлевским имением, живет уединенно, расчетливо, почти

скупо, с соседями дружбы не водит, местным властям доброхотствует, а от

детей требует, чтоб они были в таком у нее послушании, чтобы при каждом

поступке спрашивали себя: что-то об этом маменька скажет? Вообще имеет

характер самостоятельный, непреклонный и отчасти строптивый, чему, впрочем,

немало способствует и то, что во всем головлевском семействе нет ни одного

человека. со стороны которого она могла бы встретить себе противодействие.

Муж у нее - человек легкомысленный и пьяненький (Арина Петровна охотно

говорит об себе, что она - ни вдова, ни мужняя жена); дети частью служат в

Петербурге, частью - пошли в отца и, в качестве "постылых", не допускаются

ни до каких семейных дел. При этих условиях Арина Петровна рано

почувствовала себя одинокою, так что, говоря по правде, даже от семейной

жизни совсем отвыкла, хотя слово "семья" не сходит с ее языка и, по

наружности, всеми ее действиями исключительно руководят непрестанные заботы

об устройстве семейных дел.

Глава семейства, Владимир Михайлыч Головлев, еще смолоду был известен

своим безалаберным и озорным характером, и для Арины Петровны, всегда

отличавшейся серьезностью и деловитостью, никогда ничего симпатичного не

представлял. Он вел жизнь праздную и бездельную, чаще всего запирался у себя

в кабинете, подражал пению скворцов, петухов и т. д. и занимался сочинением

так называемых "вольных стихов". В минуты откровенных излияний он хвастался

тем, что был другом Баркова и что последний будто 6ы даже благословил его на

одре смерти. Арина Петровна сразу не залюбила стихов своего мужа, называла

их паскудством и паясничаньем, а так как Владимир Михайлыч собственно для

того и женился, чтобы иметь всегда под рукой слушателя для своих стихов, то

понятно, что размолвки не заставили долго ждать себя. Постепенно разрастаясь

и ожесточаясь, размолвки эти кончились, со стороны жены, полным и

презрительным равнодушием к мужу-шуту, со стороны мужа - искреннею

ненавистью к жене, ненавистью, в которую, однако ж, входила значительная

доля трусости. Муж называл жену "ведьмою" и "чертом", жена называла мужа -

"ветряною мельницей" и "бесструнной балалайкой". Находясь в таких

отношениях, они пользовались совместною жизнью в продолжение с лишком сорока

лет, и никогда ни тому, ни другой не приходило в голову, чтобы подобная

жизнь заключала в себе что-либо противоестественное. С течением времени

озорливость Владимира Михайлыча не только не уменьшилась, но даже приобрела

еще более злостный характер. Независимо от стихотворных упражнений в

барковском духе, он начал попивать и охотно подкарауливал в коридоре

горничных девок. Сначала Арина Петровна отнеслась к этому новому занятию

своего мужа брезгливо и даже с волнением (в котором, однако ж, больше играла

роль привычка властности, нежели прямая ревность), но потом махнула рукой и

наблюдала только за тем, чтоб девки-поганки не носили барину ерофеича. С тех

пор, сказавши себе раз навсегда, что муж ей не товарищ, она все внимание

свое устремила исключительно на один предмет: на округление головлевского

имения, и действительно, в течение сорокалетней супружеской жизни, успела

удесятерить свое состояние. С изумительным терпением и зоркостью

подкарауливала она дальние и ближние деревни, разузнавала по секрету об

отношениях их владельцев к опекунскому совету и всегда, как снег на голову,

являлась на аукционах. В круговороте этой фанатической погони за

благоприобретением Владимир Михайлыч все дальше и дальше уходил на задний

план, а наконец и совсем одичал. В минуту, когда начинается этот рассказ,

это был уже дряхлый старик, который почти не оставлял постели, а ежели

изредка и выходил из спальной, то единственно для того, чтоб просунуть

голову в полурастворенную дверь жениной комнаты, крикнуть: "Черт!" - и опять

скрыться.

Немного более счастлива была Арина Петровна и в детях. У нее была

слишком независимая, так сказать, холостая натура, чтобы она могла видеть в

детях что-нибудь, кроме лишней обузы. Она только тогда дышала свободно,

когда была одна со своими счетами и хозяйственными предприятиями, когда

никто не мешал ее деловым разговорам с бурмистрами, старостами, ключницами и

т. д. В ее глазах дети были одною из тех фаталистических жизненных

обстановок, против совокупности которых она не считала себя вправе

протестовать, но которые тем не менее не затрогивали ни одной струны ее

внутреннего существа, всецело отдавшегося бесчисленным подробностям

жизнестроительства. Детей было четверо: три сына и дочь. О старшем ныне и об

дочери она даже говорить не любила; к младшему сыну была более или менее

равнодушна и только среднего, Порфишу, не то чтоб любила, а словно

побаивалась.

Степан Владимирыч, старший сын, об котором преимущественно идет речь в

настоящем рассказе, слыл в семействе под именем Степки-балбеса и

Степки-озорника. Он очень рано попал в число "постылых" и с детских лет

играл в доме роль не то парии, не то шута. К несчастию, это был даровитый

малый, слишком охотно и быстро воспринимавший впечатления, которые

вырабатывала окружающая среда. От отца он перенял неистощимую проказливость,

от матери - способность быстро угадывать слабые стороны людей. Благодаря

первому качеству, он скоро сделался любимцем отца, что еще больше усилило

нелюбовь к нему матери. Часто, во время отлучек Арины Петровны по хозяйству,

отец и подросток-сын удалялись в кабинет, украшенный портретом Баркова,

читали стихи вольного содержания и судачили, причем в особенности

доставалось "ведьме", то есть Арине Петровне. Но "ведьма" словно чутьем

угадывала их занятия; неслышно подъезжала она к крыльцу, подходила на

цыпочках к кабинетной двери и подслушивала веселые речи. Затем следовало

немедленное и жестокое избиение Степки-балбеса. Но Степка не унимался; он

был нечувствителен ни к побоям, ни к увещаниям и через полчаса опять

принимался куролесить. То косынку у девки Анютки изрежет в куски, то сонной

Васютке мух в рот напустит, то заберется на кухню и стянет там пирог (Арина

Петровна, из экономии, держала детей впроголодь), который, впрочем, тут же

разделит с братьями.

- Убить тебя надо! - постоянно твердила ему Арина Петровна, - убью - и

не отвечу! И царь меня не накажет за это!

Такое постоянное принижение, встречая почву мягкую, легко забывающую,

не прошло даром. Оно имело в результате не озлобление, не протест, а

образовало характер рабский, повадливый до буффонства, не знающий чувства

меры и лишенный всякой предусмотрительности. Такие личности охотно поддаются

всякому влиянию и могут сделаться чем угодно: пропойцами, попрошайками,

шутами и даже преступниками.

Двадцати лет, Степан Головлев кончил курс в одной из московских

гимназий и поступил в университет. Но студенчество его было горькое.

Во-первых, мать давала ему денег ровно столько, сколько требовалось, чтоб не

пропасть с голода; во-вторых, в нем не оказывалось ни малейшего позыва к

труду, а взамен того гнездилась проклятая талантливость, выражавшаяся

преимущественно в способности к передразниванью; в-третьих, он постоянно

страдал потребностью общества и ни на минуту не мог оставаться наедине с

самим собой. Поэтому он остановился на легкой роли приживальщика и

pique-assiette'а {нахлебника (фр.).} и, благодаря своей податливости на

всякую штуку, скоро сделался фаворитом богатеньких студентов. Но

богатенькие, допуская его в свою среду, все-таки разумели, что он им не

пара, что он только шут, и в этом именно смысле установилась его репутация.

Ставши однажды на эту почву, он естественно тяготел все ниже и ниже, так что

к концу 4-го курса вышутился окончательно. Тем не меньше, благодаря

способности быстро схватывать и запоминать слышанное, он выдержал экзамен с

успехом и получил степень кандидата.

Когда он явился к матери с дипломом, Арина Петровна только пожала

плечами и промолвила: дивлюсь! Затем, продержав с месяц в деревне, отправила

его в Петербург, назначив на прожиток по сту рублей ассигнациями в месяц.

Начались скитания по департаментам и канцеляриям. Протекции у него не было,

охоты пробить дорогу личным трудом - никакой. Праздная мысль молодого

человека до того отвыкла сосредоточиваться, что даже бюрократические

испытания, вроде докладных записок и экстрактов из дел, оказывались для нее

непосильными. Четыре года бился Головлев в Петербурге и наконец должен был

сказать себе, что надежда устроиться когда-нибудь выше канцелярского

чиновника для него не существует. В ответ на его сетования Арина Петровна

написала грозное письмо, начинавшееся словами: "я зараньше в сем была

уверена" и кончавшееся приказанием явиться в Москву. Там, в совете

излюбленных крестьян, было решено определить Степку-балбеса в надворный суд,

поручив его надзору подьячего, который исстари ходатайствовал по

головлевским делам. Что делал и как вел себя Степан Владимирыч в надворном

суде - неизвестно, но через три года его уж там не было. Тогда Арина

Петровна решилась на крайнюю меру: она "выбросила сыну кусок", который,

впрочем, в то же время должен был изображать собою и "родительское

благословение". Кусок этот состоял из дома в Москве, за который Арина

Петровна заплатила двенадцать тысяч рублей.

В первый раз в жизни Степан Головлев вздохнул свободно. Дом обещал

давать тысячу рублей серебром дохода, и сравнительно с прежним эта сумма

представлялась ему чем-то вроде заправского благосостояния. Он с увлечением

поцеловал у маменьки ручку ("то-то же, смотри у меня, балбес! не жди больше

ничего!" - молвила при этом Арина Петровна) и обещал оправдать оказанную ему

милость. Но, увы! он так мало привык обращаться с деньгами, так нелепо

понимал размеры действительной жизни, что сказочной годовой тысячи рублей

достало очень ненадолго. В какие-нибудь четыре-пять лет он прогорел

окончательно и был рад-радехонек поступить, в качестве заместителя, в

ополчение, которое в это время формировалось. Ополчение, впрочем, дошло

только до Харькова, как был заключен мир, и Головлев опять вернулся в

Москву. Его дом был уже в это время продан. На нем был ополченский мундир,

довольно, однако ж, потертый, на ногах - сапоги навыпуск и в кармане - сто

рублей денег. С этим капиталом он поднялся было на спекуляцию, то есть стал

играть в карты, и невдолге проиграл все. Тогда он принялся ходить по

зажиточным крестьянам матери, жившим в Москве своим хозяйством; у кого

обедал, у кого выпрашивал четвертку табаку, у кого по мелочи занимал. Но,

наконец, наступила минута, когда он, так сказать, очутился лицом к лицу с

глухой стеной. Ему было уже под сорок, и он вынужден был сознаться, что

дальнейшее бродячее существование для него не по силам. Оставался один путь

- в Головлево.

После Степана Владимирыча, старшим членом головлевского семейства была

дочь, Анна Владимировна, о которой Арина Петровна тоже не любила говорить.

Дело в том, что на Аннушку Арина Петровна имела виды, а Аннушка не

только не оправдала ее надежд, но вместо того на весь уезд учинила скандал.

Когда дочь вышла из института, Арина Петровна поселила ее в деревне, в

чаянье сделать из нее дарового домашнего секретаря и бухгалтера, а вместо

того Аннушка, в одну прекрасную ночь, бежала из Головлева с корнетом

Улановым и повенчалась с ним.

- Так, без родительского благословения, как собаки, и

повенчались!сетовала по этому случаю Арина Петровна. - Да хорошо еще, что

кругом налоя-то муженек обвел! Другой бы попользовался - да и был таков! Ищи

его потом да свищи!

И с дочерью Арина Петровна поступила столь же решительно, как и с

постылым сыном: взяла и "выбросила ей кусок". Она отделила ей капитал в пять

тысяч и деревнюшку в тридцать душ с упалою усадьбой, в которой изо всех окон

дуло и не было ни одной живой половицы. Года через два молодые капитал

прожили, и корнет неизвестно куда бежал, оставив Анну Владимировну с двумя

дочерьми-близнецами: Аннинькой и Любинькой. Затем и сама Анна Владимировна

через три месяца скончалась, и Арина Петровна волей-неволей должна была

приютить круглых сирот у себя. Что она и исполнила, поместив малюток во

флигеле и приставив к ним кривую старуху Палашку.

- У бога милостей много, - говорила она при этом, - сиротки хлеба не

бог знает что съедят, а мне на старости лет - утешение! Одну дочку бог взял

- двух дал!

И в то же время писала к сыну Порфирию Владимирычу: "Как жила твоя

сестрица беспутно, так и умерла, покинув мне на шею своих двух щенков..."

Вообще, как ни циничным может показаться это замечание, но

справедливость требует сознаться, что оба эти случая, по поводу которых

произошло "выбрасывание кусков", не только не произвели ущерба в финансах

Арины Петровны, но косвенным образом даже способствовали округлению

головлевского имения, сокращая число пайщиков в нем. Ибо Арина Петровна была

женщина строгих правил и, раз "выбросивши кусок", уже считала поконченными

все свои обязанности относительно постылых детей. Даже при мысли о

сиротах-внучках ей никогда не представлялось, что со временем придется

что-нибудь уделить им. Она старалась только как можно больше выжать из

маленького имения, отделенного покойной Анне Владимировне, и откладывать

выжатое в опекунский совет. Причем говорила:

- Вот и для сирот денежки прикапливаю, а что они прокормлением да

уходом стоят - ничего уж с них не беру! За мою хлеб-соль, видно, бог мне

заплатит!

Наконец младшие дети, Порфирий и Павел Владимирычи, находились на

службе в Петербурге: первый - по гражданской части, второй - по военной.

Порфирий был женат, Павел - холостой.

Порфирий Владимирыч известен был в семействе под тремя именами:

Иудушки, кровопивушки и откровенного мальчика, каковые прозвища еще в

детстве были ему даны Степкой-балбесом. С младенческих лет любил он

приласкаться к милому другу маменьке, украдкой поцеловать ее в плечико, а

иногда и слегка понаушничать. Неслышно отворит, бывало, дверь маменькиной

комнаты, неслышно прокрадется в уголок, сядет и, словно очарованный, не

сводит глаз с маменьки, покуда она пишет или возится со счетами. Но Арина

Петровна уже и тогда с какою-то подозрительностью относилась к этим сыновним

заискиваньям. И тогда этот пристально устремленный на нее взгляд казался ей

загадочным, и тогда она не могла определить себе, что именно он источает из

себя: яд или сыновнюю почтительность.

- И сама понять не могу, что у него за глаза такие, - рассуждала она

иногда сама с собою, - взглянет - ну, словно вот петлю закидывает. Так вот и

поливает ядом, так и подманивает!

И припомнились ей при этом многознаменательные подробности того

времени, когда она еще была "тяжела" Порфишей. Жил у них тогда в доме

некоторый благочестивый и прозорливый старик, которого называли

Порфишей-блаженненьким и к которому она всегда обращалась, когда желала

что-либо провидеть в будущем. И вот этот-то самый старец, когда она спросила

его, скоро ли последуют роды и кого-то бог даст ей, сына или дочь - ничего

прямо ей не ответил, но три раза прокричал петухом и вслед за тем

пробормотал:

- Петушок, петушок! востер ноготок! Петух кричит, наседке грозит;

наседка - кудах-тах-тах, да поздно будет!

И только. Но через три дня (вот оно - три раза-то прокричал!) она

родила сына (вот оно - петушок-петушок!), которого и назвали Порфирием, в

честь старца-провидца...

Первая половина пророчества исполнилась; но что могли означать

таинственные слова: "наседка - кудах-тах-тах, да поздно будет"? - вот об

этом-то и задумывалась Арина Петровна, взглядывая из-под руки на Порфишу,

покуда тот сидел в своем углу и смотрел на нее своим загадочным взглядом.

А Порфиша продолжал себе сидеть кротко и бесшумно и все смотрел на нее,

смотрел до того пристально, что широко раскрытые и неподвижные глаза его

подергивались слезою. Он как бы провидел сомнения, шевелившиеся в душе

матери, и вел себя с таким расчетом, что самая придирчивая подозрительность

- и та должна была признать себя безоружною перед его кротостью. Даже рискуя

надоесть матери, он постоянно вертелся у ней на глазах, словно говорил:

"Смотри на меня! Я ничего не утаиваю! Я весь послушливость и преданность, и

притом послушливость не токмо за страх, но и за совесть". И как ни сильно

говорила в ней уверенность, что Порфишка-подлец только хвостом лебезит, а

глазами все-таки петлю накидывает, но ввиду такой беззаветности и ее сердце

не выдерживало. И невольно рука ее искала лучшего куска на блюде, чтоб

передать его ласковому сыну, несмотря на то, что один вид этого сына

поднимал в ее сердце смутную тревогу чего-то загадочного, недоброго.

Совершенную противоположность с Порфирием Владимирычем представлял брат

его, Павел Владимирыч. Это было полнейшее олицетворение человека, лишенного

каких бы то ни было поступков. Еще мальчиком, он не выказывал ни малейшей

склонности ни к ученью, ни к играм, ни к общительности, но любил жить

особняком, в отчуждении от людей. Забьется, бывало, в угол, надуется и

начнет фантазировать. Представляется ему, что он толокна наелся, что от

этого ноги сделались у него тоненькие, и он не учится. Или - что он не

Павел-дворянский сын, а Давыдка-пастух, что на лбу у него выросла болона,

как и у Давыдки, что он арапником щелкает и не учится. Поглядит-поглядит,

бывало, на него Арина Петровна, и так и раскипятится ее материнское сердце.

- Ты что, как мышь на крупу, надулся! - не утерпит, прикрикнет она на

него, - или уж с этих пор в тебе яд-то действует! нет того, чтобы к матери

подойти: маменька, мол, приласкайте меня, душенька!

Павлуша покидал свои угол и медленными шагами, словно его в спину

толкали, приближался к матери.

- Маменька, мол,- повторял он каким-то неестественным для ребенка

басом, - приласкайте меня, душенька!

- Пошел с моих глаз... тихоня! ты думаешь, что забьешься в угол, так я

и не понимаю? Насквозь тебя понимаю, голубчик! все твои планы-проспекты как

на ладони вижу!

И Павел тем же медленным шагом отправлялся назад и забивался опять в

свой угол.

Шли годы, и из Павла Владимирыча постепенно образовывалась та апатичная

и загадочно-угрюмая личность, из которой, в конечном результате, получается

человек, лишенный поступков. Может быть, он был добр, но никому добра не

сделал; может быть, был и не глуп, но во всю жизнь ни одного умного поступка

не совершил. Он был гостеприимен, но никто не льстился на его

гостеприимство; он охотно тратил деньги, но ни полезного, ни приятного

результата от этих трат ни для кого никогда не происходило; он никого

никогда не обидел, но никто этого не вменял ему в достоинство; он был

честен, но не слыхали, чтоб кто-нибудь сказал: как честно поступил в

таком-то случае Павел Головлев! В довершение всего он нередко огрызался

против матери и в то же время боялся ее, как огня. Повторяю: это был человек

угрюмый, но за его угрюмостью скрывалось отсутствие поступков - и ничего

больше.

В зрелом возрасте различие характеров обоих братьев всего резче

высказалось в их отношениях к матери. Иудушка каждую неделю аккуратно слал к

маменьке обширное послание, в котором пространно уведомлял ее о всех

подробностях петербургской жизни и в самых изысканных выражениях уверял в

бескорыстной сыновней преданности. Павел писал редко и кратко, а иногда даже

загадочно, словно клещами вытаскивал из себя каждое слово. "Деньги

столько-то и на такой-то срок, бесценный друг маменька, от доверенного

вашего, крестьянина Ерофеева, получил, - уведомлял, например, Порфирий

Владимирыч, - а за присылку оных, для употребления на мое содержание,

согласно вашему, милая маменька, соизволению, приношу чувствительнейшую

благодарность и с нелицемерною сыновнею преданностью целую ваши ручки. Об

одном только грущу и сомнением мучусь: не слишком ли утруждаете вы

драгоценное ваше здоровье непрерывными заботами об удовлетворении не только

нужд, но и прихотей наших?! Не знаю, как брат, а я"... и т. д. А Павел, по

тому же поводу, выражался: "Деньги столько-то на такой-то срок, дражайшая

родительница, получил, и, по моему расчету, следует мне еще шесть с полтиной

дополучить, в чем и прошу вас меня почтеннейше извинить". Когда Арина

Петровна посылала детям выговоры за мотовство (это случалось нередко, хотя

серьезных поводов и не было), то Порфиша всегда с смирением покорялся этим

замечаниям и писал: "Знаю, милый дружок маменька, что вы несете непосильные

тяготы ради нас, недостойных детей ваших; знаю, что мы очень часто своим

поведением не оправдываем ваших материнских об нас попечений, и, что всего

хуже, по свойственному человекам заблуждению, даже забываем о сем, в чем и

приношу вам искреннее сыновнее извинение, надеясь со временем от порока сего

избавиться и быть, в употреблении присылаемых вами, бесценный друг маменька,

на содержание и прочие расходы денег осмотрительным". А Павел отвечал так:

"Дражайшая родительница! хотя вы долгов за меня еще не платили, но выговор в

названии меня мотом беспрепятственно принимаю, в чем и прошу

чувствительнейше принять уверение". Даже на письмо Арины Петровны, с

извещением о смерти сестрицы Анны Владимировны, оба брата отозвались

различно. Порфирий Владимирыч писал: "Известие о кончине любезной сестрицы и

доброй подруги детства Анны Владимировны поразило мое сердце скорбию,

каковая скорбь еще более усилилась при мысли, что вам, милый друг маменька,

посылается еще новый крест, в лице двух сирот-малюток. Ужели еще

недостаточно, что вы, общая наша благодетельница, во всем себе отказываете

и, не щадя своего здоровья, все силы к тому направляете, дабы обеспечить

свое семейство не только нужным, но и излишним? Право, хоть и грешно, но

иногда невольно поропщешь. И единственное, по моему мнению, для вас, родная

моя, в настоящем случае, убежище - это сколь можно чаще припоминать. что

вытерпел сам Христос". Павел же писал: "Известие о кончине сестры, погибшей

жертвою, получил. Впрочем, надеюсь, что всевышний успокоит ее в своих сенях,

хотя сие и неизвестно".

Перечитывала Арина Петровна эти письма сыновей и все старалась угадать,

который из них ей злодеем будет. Прочтет письмо Порфирия Владимирыча, и

кажется, что вот он-то и есть самый злодей.

- Ишь ведь как пишет! ишь как языком-то вертит! - восклицала она, -

недаром Степка-балбес Иудушкой его прозвал! Ни одного-то ведь слова верного

нет! все-то он лжет! и "милый дружок маменька", и про тягости-то мои, и про

крест-то мой... ничего он этого не чувствует!

Потом примется за письмо Павла Владимирыча, и опять чудится, что вот

он-то и есть ее будущий злодей.

- Глуп-глуп, а смотри, как исподтишка мать козыряет! "В чем и прошу

чувствительнейше принять уверение...", милости просим! Вот я тебе покажу,

что значит "чувствительнейше принимать уверение"! Выброшу тебе кусок, как

Степке-балбесу - вот ты и узнаешь тогда, как я понимаю твои "уверения"!

И в заключение из ее материнской груди вырывался поистине трагический

вопль:

- И для кого я всю эту прорву коплю! для кого я припасаю! ночей

недосыпаю, куска недоедаю... для кого?!

Таково было семейное положение Головлевых в ту минуту, когда бурмистр

Антон Васильев доложил Арине Петровне о промотании Степкой-балбесом

"выброшенного куска", который, ввиду дешевой его продажи, получал уже

сугубое значение "родительского благословения".

Арина Петровна сидела в спальной и не могла прийти в себя. Что-то такое

шевелилось у нее внутри, в чем она не могла отдать себе ясного отчета.

Участвовала ли тут каким-то чудом явившаяся жалость к постылому, но все-таки

сыну или говорило одно нагое чувство оскорбленного самовластия - этого не

мог бы определить самый опытный психолог: до такой степени перепутывались и

быстро сменялись в ней все чувства и ощущения. Наконец из общей массы

накопившихся представлений яснее других выделилось опасение, что "постылый"

опять сядет ей на шею.

"Анютка щенков своих навязала, да вот еще балбес..." - рассчитывала она

мысленно.

Долго просидела она таким образом, не молвив ни слова и смотря в окно в

одну точку. Принесли обед, до которого она почти не коснулась; пришли

сказать: барину водки пожалуйте! - она, не глядя, швырнула ключ от кладовой.

После обеда она ушла в образную, велела засветить все лампадки и

затворилась, предварительно заказав истопить баню. Все это были признаки,

которые несомненно доказывали, что барыня "гневается", и потому в доме все

вдруг смолкло, словно умерло. Горничные ходили на цыпочках; ключница Акулина

совалась, как помешанная: назначено было после обеда варенье варить, и вот

пришло время, ягоды вычищены, готовы, а от барыни ни приказу, ни отказу нет;

садовник Матвей пришел было с вопросом, не пора ли персики обирать, но в

девичьей так на него цыкнули, что он немедленно отретировался.

Помолившись богу и вымывшись в баньке, Арина Петровна почувствовала

себя несколько умиротворенною и вновь потребовала Антона Васильева к ответу.

- Ну, а что же балбес делает? - спросила она.

- Москва велика - и в год ее всю не исходить!

- Да ведь, чай, пить, есть надо?

- Около своих мужичков прокармливаются. У кого пообедают, у кого на

табак гривенничек выпросят.

- А кто позволил давать?

- Помилуйте, сударыня! Мужички разве обижаются! Чужим неимущим подают,

а уж своим господам отказать!

- Вот я им ужо... подавальщикам! Сошлю балбеса к тебе в вотчину, и

содержите его всем обществом на свой счет!

- Вся ваша власть, сударыня.

- Что? что ты такое сказал?

- Вся, мол, ваша власть, сударыня. Прикажете, так и прокормим!

- То-то... прокормим! ты у меня говори, да не заговаривайся!

Молчание. Но Антон Васильев недаром получил от барыни прозвище

переметной сумы. Он не вытерпливает и вновь начинает топтаться на месте,

сгорая желанием нечто доложить.

- Да еще какой прокурат! - наконец произносит он, - сказывают, как из

похода-то воротился, сто рублей денег с собой принес. Не велики деньги сто

рублей, а и на них бы сколько-нибудь прожить можно...

- Ну?

- Поправиться, вишь, полагал, в аферу пустился...

- Говори, не мни!

- В немецкое, чу, собрание свез. Думал дурака найти в карты обыграть,

ан, заместо того, сам на умного попался. Он было и наутек, да в прихожей,

сказывают, задержали. Что было денег - все обрали!

- Чай, и бокам досталось?

- Было всего. На другой день приходит к Ивану Михайлычу, да сам же и

рассказывает. И даже удивительно это: смеется... веселый! словно бы его по

головке погладили!

- Ништо ему! лишь бы ко мне на глаза не показывался!

- А надо полагать, что так будет.

- Что ты! да я его на порог к себе не пущу!

- Не иначе, что так будет! - повторяет Антон Васильев, - и Иван

Михайлыч сказывал, что он проговаривался: шабаш! говорит, пойду к старухе

хлеб всухомятку есть! Да ему, сударыня, коли по правде сказать, и

деваться-то, окроме здешнего места, некуда. По своим мужичкам долго в Москве

не находится. Одежа тоже нужна, спокой...

Вот этого-то именно и боялась Арина Петровна, это-то именно и

составляло суть того неясного представления, которое бессознательно

тревожило ее. "Да, он явится, ему некуда больше идти - этого не миновать! Он

будет здесь, вечно у нее на глазах, клятой, постылый, забытый! Для чего же

она выбросила ему в то время "кусок"? Она думала, что, получивши "что

следует", он канул в вечность - ан он возрождается! Он придет, будет

требовать, будет всем мозолить глаза своим нищенским видом. И надо будет

удовлетворять его требованиям, потому что он человек наглый, готовый на

всякое буйство. "Его" не спрячешь под замок; "он" способен и при чужих

явиться в отребье, способен произвести дебош, бежать к соседям и рассказать

им вся сокровенная головлевских дел. Сослать его разве в Суздаль-монастырь?

- Но кто ж его знает, полно, если ли еще этот Суздаль-монастырь, и в самом

ли деле он для того существует, чтоб освобождать огорченных родителей от

лицезрения строптивых детей? Сказывают еще, что смирительный дом есть... да

ведь смирительный дом - ну, как ты его туда, экого сорокалетнего жеребца,

приведешь?" Одним словом, Арина Петровна совсем растерялась при одной мысли

о тех невзгодах, которые грозят взбудоражить ее мирное существование с

приходом Степки-балбеса.

- Я его к тебе в вотчину пришлю! корми на свой счет! - пригрозилась она

бурмистру, - не на вотчинный счет, а на собственный свой!

- За что так, сударыня?

- А за то, что не каркай. Кра! кра! "не иначе, что так будете"... пошел

с моих глаз долой... ворона!

Антон Васильев повернул было налево кругом, но Арина Петровна вновь

остановила его.

- Стой! погоди! так это верно, что он в Головлево лыжни навострил? -

спросила она.

- Стану ли я, сударыня, лгать! Верно говорил: к старухе пойду хлеб

всухомятку есть!

- Вот я ему покажу ужо, какой для него у старухи хлеб припасен!

- Да что, сударыня, недолго он у вас наживет!

- А что такое?

- Да, кашляет оченно сильно... за левую грудь все хватается... Не

заживется!

- Этакие-то, любезный, еще дольше живут! и нас всех переживет! Кашляет

да кашляет - что ему, жеребцу долговязому, делается! Ну, да там посмотрим.

Ступай теперь: мне нужно распоряжение сделать.

Весь вечер Арина Петровна думала и наконец-таки надумала: созвать

семейный совет для решения балбесовой участи. Подобные конституционные

замашки не были в ее нравах, но на этот раз она решилась отступить от

преданий самодержавия, дабы решением всей семьи оградить себя от нареканий

добрых людей. В исходе предстоящего совещания она, впрочем, не сомневалась,

и потому с легким духом села за письма, которыми предписывалось Порфирию и

Павлу Владимирычам немедленно прибыть в Головлево. …

**Чехов Антон Павлович**

## ДОМ С МЕЗОНИНОМ

*Рассказ художника*   
  
**I**

Это было 6-7 лет тому назад, когда я жил в одном из уездов Т-ой губернии, в имении помещика Белокурова, молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил вино и все жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. Он жил в саду во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да еще стола, на котором я раскладывал пасьянс. Тут всегда, даже в тихую погоду, что-то гудело в старых [амосовских печах](http://public-library.narod.ru/Chekhov.Anton/domsmezo.html#amosov#amosov), а во время грозы весь дом дрожал и, казалось, трескался на части, и было немножко страшно, особенно ночью, когда все десять больших окон вдруг освещались молнией.

Обреченный судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего. По целым часам я смотрел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал все, что привозили мне с почты, спал. Иногда я уходил из дому и до позднего вечера бродил где-нибудь.

Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную, красивую аллею. Я легко перелез через изгородь и пошел по этой аллее, скользя по еловым иглам, которые тут на вершок покрывали землю. Было тихо, темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука. Сильно, до духоты, пахло хвоей. Потом я повернул на длинную липовую аллею. И тут тоже запустение и старость; прошлогодняя листва печально шелестела под ногами, и в сумерках между деревьями прятались тени. Направо, в старом фруктовом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга, должно быть, тоже старушка. Но вот и липы кончились; я прошел мимо белого дома с террасой и с мезонином, и передо мною неожиданно развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней, с толпой зеленых ив, с деревней на том берегу, с высокой узкой колокольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее солнце. На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве.

А у белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у старинных крепких ворот со львами, стояли две девушки. Одна из них, постарше, тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом, имела строгое выражение и на меня едва обратила внимание; другая же, совсем еще молоденькая - ей было 17 - 18 лет, не больше - тоже тонкая и бледная, с большим ртом и с большими глазами, с удивлением посмотрела на меня, когда я проходил мимо, сказала что-то по-английски и сконфузилась, и мне показалось, что и эти два милых лица мне давно уже знакомы. И я вернулся домой с таким чувством, как будто видел хороший сон.

Вскоре после этого, как-то в полдень, когда я и Белокуров гуляли около дома, неожиданно, шурша по траве, въехала во двор рессорная коляска, в которой сидела одна из тех девушек. Это была старшая. Она приехала с подписным листом просить на погорельцев. Не глядя на нас, она очень серьезно и обстоятельно рассказала нам, сколько сгорело домов в селе Сиянове, сколько мужчин, женщин и детей осталось без крова и что намерен предпринять на первых порах погорельческий комитет, членом которого она теперь была. Давши нам подписаться, она спрятала лист и тотчас же стала прощаться.

- Вы совсем забыли нас, Петр Петрович, - сказала она Белокурову, подавая ему руку. - Приезжайте, и если monsieur N. (она назвала мою фамилию) захочет взглянуть, как живут почитатели его таланта, и пожалует к нам, то мама и я будем очень рады.

Я поклонился.

Когда она уехала, Петр Петрович стал рассказывать. Эта девушка, по его словам, была из хорошей семьи, и звали ее Лидией Волчаниновой, а имение, в котором она жила с матерью и сестрой, так же как и село на другом берегу пруда, называлось Шелковкой. Отец ее когда-то занимал видное место в Москве и умер в чине тайного советника. Несмотря на хорошие средства, Волчаниновы жили в деревне безвыездно, лето и зиму, и Лидия была учительницей в земской школе у себя в Шелковке и получала 25 рублей в месяц. Она тратила на себя только эти деньги и гордилась, что живет на собственный счет.

- Интересная семья, - сказал Белокуров. - Пожалуй, сходим к ним как-нибудь. Они будут вам очень рады.

Как-то после обеда, в один из праздников, мы вспомнили про Волчаниновых и отправились к ним в Шелковку. Они, мать и обе дочери, были дома. Мать, Екатерина Павловна, когда-то, по-видимому, красивая, теперь же сырая не по летам, больная одышкой, грустная, рассеянная, старалась занять меня разговором о живописи. Узнав от дочери, что я, быть может, приеду в Шелковку, она торопливо припомнила два-три моих пейзажа, какие видела на выставках в Москве, и теперь спрашивала, что я хотел в них выразить. Лидия, или, как ее звали дома, Лида, говорила больше с Белокуровым, чем со мной. Серьезная, не улыбаясь, она спрашивала его, почему он не служит в земстве и почему до сих пор не был ни на одном земском собрании.

- Не хорошо, Петр Петрович, - говорила она укоризненно. - Не хорошо. Стыдно.

- Правда, Лида, правда, - соглашалась мать. - Не хорошо.

- Весь наш уезд находится в руках Балагина, - продолжала Лида, обращаясь ко мне. - Сам он председатель управы, и все должности в уезде роздал своим племянникам и зятьям и делает, что хочет. Надо бороться. Молодежь должна составить из себя сильную партию, но вы видите, какая у нас молодежь. Стыдно, Петр Петрович!

Младшая сестра, Женя, пока говорили о земстве, молчала. Она не принимала участия в серьезных разговорах, ее в семье еще не считали взрослой и, как маленькую, называли Мисюсь, потому что в детстве она называла так *мисс*, свою гувернантку. Все время она смотрела на меня с любопытством и, когда я осматривал в альбоме фотографии, объясняла мне: "Это дядя... Это крёстный папа", - и водила пальчиком по портретам и в это время по-детски касалась меня своим плечом, и я близко видел ее слабую, неразвитую грудь, тонкие плечи, косу и худенькое тело, туго стянутое поясом.

Мы играли в [крокет и lawn-tennis](http://public-library.narod.ru/Chekhov.Anton/domsmezo.html#kroket#kroket), гуляли по саду, пили чай, потом долго ужинали. После громадной пустой залы с колоннами мне было как-то по себе в этом небольшом уютном доме, в котором не было на стенах [олеографий](http://public-library.narod.ru/Chekhov.Anton/domsmezo.html#oleo#oleo) и прислуге говорили вы, и всё мне казалось молодым и чистым благодаря присутствию Лиды и Мисюсь, и всё дышало порядочностью. За ужином Лида опять говорила с Белокуровым о земстве, о Балагине, о школьных библиотеках. Это была живая, искренняя, убежденная девушка, и слушать ее было интересно, хотя говорила она много и громко - быть может, оттого, что привыкла говорить в школе. Зато мой Петр Петрович, у которого еще со студенчества осталась манера всякий разговор сводить на спор, говорил скучно, вяло и длинно, с явным желанием казаться умным и передовым человеком. Жестикулируя, он опрокинул рукавом соусник, и на скатерти образовалась большая лужа, но, кроме меня, казалось, никто не заметил этого.

Когда мы возвращались домой, было темно и тихо.

- Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой, - сказал Белокуров и вздохнул. - Да, прекрасная, интеллигентная семья. Отстал я от хороших людей, ах как отстал! А всё дела, дела! Дела!

Он говорил о том, как много приходится работать, когда хочешь стать образцовым сельским хозяином. А я думал: какой это тяжелый и ленивый малый! Он, когда говорил о чем-нибудь серьезно, то с напряжением тянул "э-э-э-э", и работал так же, как говорил, - медленно, всегда опаздывая, пропуская сроки. В его деловитость я плохо верил уже потому, что письма, которые я поручал ему отправлять на почту, он по целым неделям таскал у себя в кармане.

- Тяжелее всего, - бормотал он, идя рядом со мной, - тяжелее всего, что работаешь и ни в ком не встречаешь сочувствия. Никакого сочувствия!

**II**

Я стал бывать у Волчаниновых. Обыкновенно я сидел на нижней ступени террасы; меня томило недовольство собой, было жаль своей жизни, которая протекала так быстро и неинтересно, и я всё думал о том, как хорошо было бы вырвать из своей груди сердце, которое стало у меня таким тяжелым. А в это время на террасе говорили, слышался шорох платьев, перелистывали книгу. Я скоро привык к тому, что днем Лида принимала больных, раздавала книжки и часто уходила в деревню с непокрытой головой, под зонтиком, а вечером громко говорила о земстве, о школах. Эта тонкая, красивая, неизменно строгая девушка с маленьким, изящно очерченным ртом всякий раз, когда начинался деловой разговор, говорила мне сухо:

- Это для вас не интересно.

Я был ей не симпатичен. Она не любила меня за то, что я пейзажист и в своих картинах не изображаю народных нужд, и что я, как ей казалось, был равнодушен к тому, во что она так крепко верила. Помнится, когда я ехал по берегу Байкала, мне встретилась девушка-бурятка, в рубахе и в штанах из синей [дабы](http://public-library.narod.ru/Chekhov.Anton/domsmezo.html#daba#daba), верхом на лошади; я спросил у нее, не продаст ли она мне свою трубку, и, пока мы говорили, она с презрением смотрела на мое европейское лицо и на мою шляпу, и в одну минуту ей надоело говорить со мной, она гикнула и поскакала прочь. И Лида точно так же презирала во мне чужого. Внешним образом она никак не выражала своего нерасположения ко мне, но я чувствовал его и, сидя на нижней ступени террасы, испытывал раздражение и говорил, что лечить мужиков, не будучи врачом, значит обманывать их и что легко быть благодетелем, когда имеешь две тысячи десятин.

А ее сестра, Мисюсь, не имела никаких забот и проводила свою жизнь в полной праздности, как я. Вставши утром, она тотчас же бралась за книгу и читала, сидя на террасе в глубоком кресле, так что ножки ее едва касались земли, или пряталась с книгой в липовой аллее, или шла за ворота в поле. Она читала целый день, с жадностью глядя в книгу, и только потому, что взгляд ее иногда становился усталым, ошеломленным и лицо сильно бледнело, можно было догадаться, как это чтение утомляло ее мозг. Когда я приходил, она, увидев меня, слегка краснела, оставляла книгу и с оживлением, глядя мне в лицо своими большими глазами, рассказывала о том, что случилось, например, о том, что в людской загорелась сажа или что работник поймал в пруде большую рыбу. В будни она ходила обыкновенно в светлой рубашечке и в темно-синей юбке. Мы гуляли вместе, рвали вишни для варенья, катались в лодке, и когда она прыгала, чтобы достать вишню, или работала веслами, сквозь широкие рукава просвечивали ее тонкие, слабые руки. Или я писал этюд, а она стояла возле и смотрела с восхищением.

В одно из воскресений, в конце июля, я пришел к Волчаниновым утром, часов в девять. Я ходил по парку, держась подальше от дома, и отыскивал белые грибы, которых в то лето было очень много, и ставил около них метки, чтобы потом подобрать их вместе с Женей. Дул теплый ветер. Я видел, как Женя и ее мать, обе в светлых праздничных платьях, прошли из церкви домой, и Женя придерживала от ветра шляпу. Потом я слышал, как на террасе пили чай.

Для меня, человека беззаботного, ищущего оправдания для своей постоянной праздности, эти летние праздничные утра в наших усадьбах всегда были необыкновенно привлекательны. Когда зеленый сад, еще влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым, когда около дома пахнет резедой и олеандром, молодежь только что вернулась из церкви и пьет чай в саду, и когда все так мило одеты и веселы, и когда знаешь, что все эти здоровые, сытые, красивые люди весь длинный день ничего не будут делать, то хочется, чтобы вся жизнь была такою. И теперь я думал то же самое и ходил по саду, готовый ходить так без дела и без цели весь день, все лето.

Пришла Женя с корзиной; у нее было такое выражение, как будто она знала или предчувствовала, что найдет меня в саду. Мы подбирали грибы и говорили, и когда она спрашивала о чем-нибудь, то заходила вперед, чтобы видеть мое лицо.

- Вчера у нас в деревне произошло чудо, - сказала она. - Хромая Пелагея была больна целый год, никакие доктора и лекарства не помогали, а вчера старуха пошептала, и прошло.

- Это неважно, - сказал я. - Не следует искать чудес только около больных и старух. Разве здоровье не чудо? А сама жизнь? Что непонятно, то и есть чудо.

- А вам не страшно то, что непонятно?

- Нет. К явлениям, которых я не понимаю, я подхожу бодро и не подчиняюсь им. Я выше их. Человек должен сознавать себя выше львов, тигров, звезд, выше всего в природе, даже выше того, что непонятно и кажется чудесным, иначе он не человек, а мышь, которая всего боится.

Женя думала, что я, как художник, знаю очень многое и могу верно угадывать то, чего не знаю. Ей хотелось, чтобы я ввел ее в область вечного и прекрасного, в этот высший свет, в котором, по ее мнению, я был своим человеком, и она говорила со мной о боге, о вечной жизни, о чудесном. И я, не допускавший, что я и мое воображение после смерти погибнем навеки, отвечал: "да, люди бессмертны", "да, нас ожидает вечная жизнь". А она слушала, верила и не требовала доказательств.

Когда мы шли к дому, она вдруг остановилась и сказала:

- Наша Лида замечательный человек. Не правда ли? Я ее горячо люблю и могла бы каждую минуту пожертвовать для нее жизнью. Но скажите, - Женя дотронулась до моего рукава пальцем, - скажите, почему вы с ней всё спорите? Почему вы раздражены?

- Потому что она неправа.

Женя отрицательно покачала головой, и слезы показались у нее на глазах.

- Как это непонятно! - проговорила она.

В это время Лида только что вернулась откуда-то и, стоя около крыльца с хлыстом в руках, стройная, красивая, освещенная солнцем, приказывала что-то работнику. Торопясь и громко разговаривая, она приняла двух-трех больных, потом с деловым, озабоченным видом ходила по комнатам, отворяя то один шкап, то другой, уходила в мезонин; ее долго искали и звали обедать, и пришла она, когда мы уже съели суп. Все эти мелкие подробности я почему-то помню и люблю, и весь этот день живо помню, хотя не произошло ничего особенного. После обеда Женя читала, лежа в глубоком кресле, а я сидел на нижней ступени террасы. Мы молчали. Все небо заволокло облаками, и стал накрапывать редкий, мелкий дождь. Было жарко, ветер давно уже стих, и казалось, что этот день никогда не кончится. К нам на террасу вышла Екатерина Павловна, заспанная, с веером.

- О, мама, - сказала Женя, целуя у нее руку, - тебе вредно спать днем.

Они обожали друг друга. Когда одна уходила в сад, то другая уже стояла на террасе и, глядя на деревья, окликала: "ау, Женя!" или "мамочка, где ты?". Они всегда вместе молились, и обе одинаково верили, и хорошо понимали друг друга, даже когда молчали. И к людям они относились одинаково. Екатерина Павловна также скоро привыкла и привязалась ко мне, и когда я не появлялся два-три дня, присылала узнать, здоров ли я. На мои этюды она смотрела тоже с восхищением, и с такою же болтливостью и так же откровенно, как Мисюсь, рассказывала мне, что случилось, и часто поверяла мне свои домашние тайны.

Она благоговела перед своей старшей дочерью. Лида никогда не ласкалась, говорила только о серьезном; она жила своею особенною жизнью и для матери и для сестры была такою же священной, немного загадочной особой, как для матросов адмирал, который всё сидит у себя в каюте.

- Наша Лида замечательный человек, - говорила часто мать. - Не правда ли?

И теперь, пока накрапывал дождь, мы говорили о Лиде.

- Она замечательный человек, - сказала мать и прибавила вполголоса тоном заговорщицы, испуганно оглядываясь: - Таких днем с огнем поискать, хотя, знаете ли, я начинаю немножко беспокоиться. Школа, аптечки, книжки - всё это хорошо, но зачем крайности? Ведь ей уже двадцать четвертый год, пора о себе серьезно подумать. Этак за книжками и аптечками и не увидишь, как жизнь пройдет... Замуж нужно.

Женя, бледная от чтения, с помятою прической, приподняла голову и сказала как бы про себя, глядя на мать:

- Мамочка, всё зависит от воли божией!

И опять погрузилась в чтение.

Пришел Белокуров в поддевке и в вышитой сорочке. Мы играли в крокет и lawn-tennis, потом, когда потемнело, долго ужинали, и Лида опять говорила о школах и о Балагине, который забрал в свои руки весь уезд. Уходя в этот вечер от Волчаниновых, я уносил впечатление длинного-длинного, праздного дня, с грустным сознанием, что всё кончается на этом свете, как бы ни было длинно. Нас до ворот провожала Женя, и оттого, быть может, что она провела со мной весь день от утра до вечера, я почувствовал, что без нее мне как будто скучно и что вся эта милая семья близка мне; и в первый раз за всё лето мне захотелось писать.

- Скажите, отчего вы живете так скучно, так не колоритно? - спросил я у Белокурова, идя с ним домой. - Моя жизнь скучна, тяжела, однообразна, потому что я художник, я странный человек, я издерган с юных дней завистью, недовольством собой, неверием в свое дело, я всегда беден, я бродяга, но вы-то, вы, здоровый, нормальный человек, помещик, барин, - отчего вы живете так неинтересно, так мало берете от жизни? Отчего, например, вы до сих пор не влюбились в Лиду или Женю?

- Вы забываете, что я люблю другую женщину, - ответил Белокуров.

Это он говорил про свою подругу, Любовь Ивановну, жившую с ним вместе во флигеле. Я каждый день видел, как эта дама, очень полная, пухлая, важная, похожая на откормленную гусыню, гуляла по саду, в русском костюме с бусами, всегда под зонтиком, и прислуга то и дело звала ее то кушать, то чай пить. Года три назад она наняла один из флигелей под дачу, да так и осталась жить у Белокурова, по-видимому, навсегда. Она была старше его лет на десять и управляла им строго, так что, отлучаясь из дому, он должен был спрашивать у нее позволения. Она часто рыдала мужским голосом, и тогда я посылал сказать ей, что если она не перестанет, то я съеду с квартиры; и она переставала.

Когда мы пришли домой, Белокуров сел на диван и нахмурился в раздумье, а я стал ходить по зале, испытывая тихое волнение, точно влюбленный. Мне хотелось говорить про Волчаниновых.

- Лида может полюбить только земца, увлеченного так же, как она, больницами и школами, - сказал я. - О, ради такой девушки можно не только стать земцем, но даже истаскать, как в сказке, железные башмаки. А Мисюсь? Какая прелесть эта Мисюсь!

Белокуров длинно, растягивая "э-э-э-э...", заговорил о болезни века - пессимизме. Говорил он уверенно и таким тоном, как будто я спорил с ним. Сотни верст пустынной, однообразной, выгоревшей степи не могут нагнать такого уныния, как один человек, когда он сидит, говорит и неизвестно, когда он уйдет.

- Дело не в пессимизме и не в оптимизме, - сказал я раздраженно, - а в том, что у девяноста девяти из ста нет ума.

Белокуров принял это на свой счет, обиделся и ушел.

**III**

- В Малозёмове гостит князь, тебе кланяется, - говорила Лида матери, вернувшись откуда-то и снимая перчатки. - Рассказывал много интересного... Обещал опять поднять в губернском собрании вопрос о медицинском пункте в Малозёмове, но говорит: мало надежды. - И, обратясь ко мне, она сказала: - Извините, я всё забываю, что для вас это не может быть интересно.

Я почувствовал раздражение.

- Почему же неинтересно? - спросил я и пожал плечами. - Вам неугодно знать мое мнение, но уверяю вас, этот вопрос меня живо интересует.

- Да?

- Да. По моему мнению, медицинский пункт в Малоземове вовсе не нужен.

Мое раздражение передалось и ей; она посмотрела на меня, прищурив глаза, и спросила:

- Что же нужно? Пейзажи?

- И пейзажи не нужны. Ничего там не нужно.

Она кончила снимать перчатки и развернула газету, которую только что привезли с почты; через минуту она сказала тихо, очевидно, сдерживая себя:

- На прошлой неделе умерла от родов Анна, а если бы поблизости был медицинский пункт, то она осталась бы жива. И господа пейзажисты, мне кажется, должны бы иметь какие-нибудь убеждения на этот счет.

- Я имею на этот счет очень определенное убеждение, уверяю вас, - ответил я, а она закрылась от меня газетой, как бы не желая слушать. - По-моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки, при существующих условиях, служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья - вот вам мое убеждение.

Она подняла на меня глаза и насмешливо улыбнулась, а я продолжал, стараясь уловить свою главную мысль:

- Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потемок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и в вони; их дети, подрастая, начинают ту же музыку, и так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных - только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх. Весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своем образе и подобии; голод, холод, животный страх, масса труда, точно снеговые обвалы, загородили им все пути к духовной деятельности, именно к тому самому, что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить. Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, но этим не освобождаете их от пут, а, напротив, еще больше порабощаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки, вы увеличиваете число их потребностей, не говоря уже о том, что за мушки и за книжки они должны платить земству и, значит, сильнее гнуть спину.

- Я спорить с вами не стану, - сказала Лида, опуская газету. - Я уже это слышала. Скажу вам только одно: нельзя сидеть сложа руки. Правда, мы не спасаем человечества и, быть может, во многом ошибаемся, но мы делаем то, что можем, и мы - правы. Самая высокая и святая задача культурного человека - это служить ближним, и мы пытаемся служить, как умеем. Вам не нравится, но ведь на всех не угодишь.

- Правда, Лида, правда, - сказала мать.

В присутствии Лиды она всегда робела и, разговаривая, тревожно поглядывала на нее, боясь сказать что-нибудь лишнее или неуместное; и никогда она не противоречила ей, а всегда соглашалась: правда, Лида, правда.

- Мужицкая грамотность, книжки с жалкими наставлениями и прибаутками и медицинские пункты не могут уменьшить ни невежества, ни смертности, так же, как свет из ваших окон не может осветить этого громадного сада, - сказал я. - Вы не даете ничего, вы своим вмешательством в жизнь этих людей создаете лишь новые потребности, новый повод к труду.

- Ах, боже мой, но ведь нужно же делать что-нибудь! - сказала Лида с досадой, и по ее тону было заметно, что мои рассуждения она считает ничтожными и презирает их.

- Нужно освободить людей от тяжкого физического труда, - сказал я. - Нужно облегчить их ярмо, дать им передышку, чтобы они не всю свою жизнь проводили у печей, корыт и в поле, но имели бы также время подумать о душе, о боге, могли бы пошире проявить свои духовные способности. Призвание всякого человека в духовной деятельности - в постоянном искании правды и смысла жизни. Сделайте же для них ненужным грубый животный труд, дайте им почувствовать себя на свободе, и тогда увидите, какая в сущности насмешка эти книжки и аптечки. Раз человек сознает свое истинное призвание, то удовлетворять его могут только религия, науки, искусства, а не эти пустяки.

- Освободить от труда! - усмехнулась Лида. - Разве это возможно?

- Да. Возьмите на себя долю их труда. Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собою труд, который затрачивается вообще человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более двух-трех часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только три часа в день, а остальное время у нас свободно. Представьте еще, что мы, чтобы еще менее зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд, мы стараемся сократить число наших потребностей до минимума. Мы закаляем себя, наших детей, чтобы они не боялись голода, холода и мы не дрожали бы постоянно за их здоровье, как дрожат Анна, Мавра и Пелагея. Представьте, что мы не лечимся, не держим аптек, табачных фабрик, винокуренных заводов, - сколько свободного времени у нас остается в конце концов! Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром починяют дорогу, так и все мы сообща, миром, искали бы правды и смысла жизни, и - я уверен в этом - правда была бы открыта очень скоро, человек избавился бы от этого постоянного мучительного, угнетающего страха смерти, и даже от самой смерти.

- Вы, однако, себе противоречите, - сказала Лида. - Вы говорите - наука, наука, а сами отрицаете грамотность.

- Грамотность, когда человек имеет возможность читать только вывески на кабаках да изредка книжки, которых не понимает, - такая грамотность держится у нас со времен Рюрика, [гоголевский Петрушка давно уже читает](http://public-library.narod.ru/Chekhov.Anton/domsmezo.html#gogol#gogol), между тем деревня, какая была при Рюрике, такая и осталась до сих пор. Не грамотность нужна, а свобода для широкого проявления духовных способностей. Нужны не школы, а университеты.

- Вы и медицину отрицаете.

- Да. Она была бы нужна только для изучения болезней как явлений природы, а не для лечения их. Если уж лечить, то не болезни, а причины их. Устраните главную причину - физический труд - и тогда не будет болезней. Не признаю я науки, которая лечит, - продолжал я возбужденно. - Науки и искусства, когда они настоящие, стремятся не к временным, не к частным целям, а к вечному и общему, - они ищут правды и смысла жизни, ищут бога, душу, а когда их пристегивают к нуждам и злобам дня, к аптечкам и библиотечкам, то они только осложняют, загромождают жизнь. У нас много медиков, фармацевтов, юристов, стало много грамотных, но совсем нет биологов, математиков, философов, поэтов. Весь ум, вся душевная энергия ушли на удовлетворение временных, преходящих нужд... У ученых, писателей и художников кипит работа, по их милости удобства жизни растут с каждым днем, потребности тела множатся, между тем до правды еще далеко, и человек по-прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным, и все клонится к тому, чтобы человечество в своем большинстве выродилось и утеряло навсегда всякую жизнеспособность. При таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок. И я не хочу работать, и не буду... Ничего не нужно, пусть земля провалится в тартарары!

- Мисюська, выйди, - сказала Лида сестре, очевидно находя мои слова вредными для такой молодой девушки.

Женя грустно посмотрела на сестру и на мать и вышла.

- Подобные милые вещи говорят обыкновенно, когда хотят оправдать свое равнодушие, - сказала Лида. - Отрицать больницы и школы легче, чем лечить и учить.

- Правда, Лида, правда, - согласилась мать.

- Вы угрожаете, что не станете работать, - продолжала Лида. - Очевидно, вы высоко цените ваши работы. Перестанем же спорить, мы никогда не споемся, так как самую несовершенную из всех библиотечек и аптечек, о которых вы только что отзывались так презрительно, я ставлю выше всех пейзажей в свете. - И тотчас же, обратясь к матери, она заговорила совсем другим тоном: - Князь очень похудел и сильно изменился с тех пор, как был у нас. Его посылают в Виши.

Она рассказывала матери про князя, чтобы не говорить со мной. Лицо у нее горело, и, чтобы скрыть свое волнение, она низко, точно близорукая, нагнулась к столу и делала вид, что читает газету. Мое присутствие было неприятно. Я простился и пошел домой.

**IV**

На дворе было тихо; деревня по ту сторону пруда уже спала, не было видно ни одного огонька, и только на пруде едва светились бледные отражения звезд. У ворот со львами стояла Женя неподвижно, поджидая меня, чтобы проводить.

- В деревне все спят, - сказал я ей, стараясь разглядеть в темноте ее лицо, и увидел устремленные на меня темные печальные глаза. - И кабатчик и конокрады покойно спят, а мы, порядочные люди, раздражаем друг друга и спорим.

Была грустная августовская ночь, - грустная, потому, что уже пахло осенью; покрытая багровым облаком, восходила луна и еле-еле освещала дорогу и по сторонам ее темные озимые поля. Часто падали звезды. Женя шла со мной рядом по дороге и старалась не глядеть на небо, чтобы не видеть падающих звезд, которые почему-то пугали её.

- Мне кажется, вы правы, - сказала она, дрожа от ночной сырости. - Если бы люди, все сообща, могли отдаться духовной деятельности, то они скоро узнали бы всё.

- Конечно. Мы высшие существа, и если бы в самом деле мы сознали всю силу человеческого гения и жили бы только для высших целей, то в конце концов мы стали бы как боги. Но этого никогда не будет - человечество выродится, и от гения не останется и следа.

Когда не стало видно ворот, Женя остановилась и торопливо пожала мне руку.

- Спокойной ночи, - проговорила она, дрожа; плечи ее были покрыты только одною рубашечкой, и она сжалась от холода. - Приходите завтра.

Мне стало жутко от мысли, что я останусь один, раздраженный, недовольный собой и людьми; и я сам уже старался не глядеть на падающие звезды.

- Побудьте со мной еще минуту, - сказал я. - Прошу вас.

Я любил Женю. Должно быть, я любил ее за то, что она встречала и провожала меня, за то, что смотрела на меня нежно и с восхищением. Как трогательно прекрасны были ее бледное лицо, тонкая шея, тонкие руки, ее слабость, праздность, ее книги. А ум? Я подозревал у нее недюжинный ум, меня восхищала широта ее воззрений, быть может, потому что она мыслила иначе, чем строгая, красивая Лида, которая не любила меня. Я нравился Жене как художник, я победил ее сердце своим талантом, и мне страстно хотелось писать только для нее, и я мечтал о ней, как о своей маленькой королеве, которая вместе со мною будет владеть этими деревьями, полями, туманом, зарею, этою природой, чудесной, очаровательной, но среди которой я до сих пор чувствовал себя безнадежно одиноким и ненужным.

- Останьтесь еще минуту, - попросил я. - Умоляю вас.

Я снял с себя пальто и прикрыл ее озябшие плечи; она, боясь показаться в мужском пальто смешной и некрасивой, засмеялась и сбросила его, и в это время я обнял ее и стал осыпать поцелуями ее лицо, плечи, руки.

- До завтра! - прошептала она и осторожно, точно боясь нарушить ночную тишину, обняла меня. - Мы не имеем тайн друг от друга, я должна сейчас рассказать всё маме и сестре... Это так страшно! Мама ничего, мама любит вас, но Лида!

Она побежала к воротам.

- Прощайте! - крикнула она.

И потом минуты две я слышал, как она бежала. Мне не хотелось домой, да и незачем было идти туда. Я постоял немного в раздумье и тихо поплелся назад, чтобы еще взглянуть на дом, в котором она жила, милый, наивный, старый дом, который, казалось, окнами своего мезонина глядел на меня, как глазами, и понимал все. Я прошел мимо террасы, сел на скамье около площадки для lawn-tennis, в темноте под старым вязом, и отсюда смотрел на дом. В окнах мезонина, в котором жила Мисюсь, блеснул яркий свет, потом покойный зеленый - это лампу накрыли абажуром. Задвигались тени... Я был полон нежности, тишины и довольства собою, довольства, что сумел увлечься и полюбить, и в то же время я чувствовал неудобство от мысли, что в это же самое время, в нескольких шагах от меня, в одной из комнат этого дома живет Лида, которая не любит, быть может, ненавидит меня. Я сидел и все ждал, не выйдет ли Женя, прислушивался, и мне казалось, будто в мезонине говорят.

Прошло около часа. Зеленый огонь погас, и не стало видно теней. Луна уже стояла высоко над домом и освещала спящий сад, дорожки; георгины и розы в цветнике перед домом были отчетливо видны и казались все одного цвета. Становилось очень холодно. Я вышел из сада, подобрал на дороге свое пальто и не спеша побрел домой.

Когда на другой день после обеда я пришел к Волчаниновым, стеклянная дверь в сад была открыта настежь. Я посидел на террасе, поджидая, что вот-вот за цветником на площадке или на одной из аллей покажется Женя или донесется ее голос из комнат; потом я прошел в гостиную, в столовую. Не было ни души. Из столовой я прошел длинным коридором в переднюю, потом назад. Тут в коридоре было несколько дверей, и за одной из них раздавался голос Лиды.

- Вороне где-то... бог... - говорила она громко и протяжно, вероятно, диктуя. - Бог послал кусочек сыру... Вороне... где-то... Кто там? - окликнула она вдруг, услышав мои шаги.

- Это я.

- А! Простите, я не могу сейчас выйти к вам, я занимаюсь с Дашей.

- Екатерина Павловна в саду?

- Нет, она с сестрой уехала сегодня утром к тете, в Пензенскую губернию. А зимой, вероятно, они поедут за границу... - добавила она, помолчав. - Вороне где-то... бо-ог послал ку-усочек сыру... Написала?

Я вышел в переднюю и, ни о чем не думая, стоял и смотрел оттуда на пруд и на деревню, а до меня доносилось:

- Кусочек сыру... Вороне где-то бог послал кусочек сыру...

И я ушел из усадьбы тою же дорогой, какой пришел сюда в первый раз, только в обратном порядке: сначала со двора в сад, мимо дома, потом по липовой аллее... Тут догнал меня мальчишка и подал записку. "Я рассказала всё сестре, и она требует, чтобы я рассталась с вами, - прочел я. - Я была бы не в силах огорчить ее своим неповиновением. Бог даст вам счастья, простите меня. Если бы вы знали, как я и мама горько плачем!"

Потом темная еловая аллея, обвалившаяся изгородь... На том поле, где тогда цвела рожь и кричали перепела, теперь бродили коровы и спутанные лошади. Кое-где на холмах ярко зеленела озимь. Трезвое, будничное настроение овладело мной, и мне стало стыдно всего, что я говорил у Волчаниновых, и по-прежнему стало скучно жить. Придя домой, я уложился и вечером уехал в Петербург.

Больше я уже не видел Волчаниновых. Как-то недавно, едучи в Крым, я встретил в вагоне Белокурова. Он по-прежнему был в поддевке и в вышитой сорочке и, когда я спросил его о здоровье, ответил: "Вашими молитвами". Мы разговорились. Имение свое он продал и купил другое, поменьше, на имя Любови Ивановны. Про Волчаниновых сообщил он немного. Лида, по его словам, жила по-прежнему в Шелковке и учила в школе детей; мало-помалу ей удалось собрать около себя кружок симпатичных ей людей, которые составили из себя сильную партию и на последних земских выборах "прокатили" Балагина, державшего до того времени в своих руках весь уезд. Про Женю же Белокуров сообщил только, что она не жила дома и была неизвестно где.

Я уже начинаю забывать про дом с мезонином, и лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того, ни с сего припомнится мне то зеленый огонь в окне, то звук моих шагов, раздававшихся в поле ночью, когда я, влюбленный, возвращался домой и потирал руки от холода. А еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня жду, т и что мы встретимся...

Мисюсь, где ты?

**О. Генри**

**ДАРЫ ВОЛХВОВ**

Один доллар восемьдесят семь центов. Это было все. Из них шестьдесят центов монетками по одному центу. За каждую из этих монеток пришлось торговаться с бакалейщиком, зеленщиком, мясником так, что даже уши горели от безмолвного неодобрения, которое вызывала подобная бережливость. Делла пересчитала три раза. Один доллар восемьдесят семь центов. А завтра Рождество.

Единственное, что тут можно было сделать, это хлопнуться на старенькую кушетку и зареветь. Именно так Делла и поступила. Откуда напрашивается философский вывод, что жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок, причем вздохи преобладают.

Пока хозяйка дома проходит все эти стадии, оглядим самый дом. Меблированная квартирка за восемь долларов в неделю. В обстановке не то чтобы вопиющая нищета, но скорее красноречиво молчащая бедность. Внизу, на парадной двери, ящик для писем, в щель которого не протиснулось бы ни одно письмо, и кнопка электрического звонка, из которой ни одному смертному не удалось бы выдавить ни звука. К сему присовокуплялась карточка с надписью: «М-р Джеймс Диллингем Юнг». «Диллингем» развернулось во всю длину в недавний период благосостояния, когда обладатель указанного имени получал тридцать долларов в неделю. Теперь, после того, как этот доход понизился до двадцати долларов, буквы в слове «Диллингем» потускнели, словно не на шутку задумавшись: а не сократиться ли им в скромное и непритязательное «Д»? Но когда мистер Джеймс Диллингем Юнг приходил домой и поднимался к себе на верхний этаж, его неизменно встречал возглас: «Джим!» — и нежные объятия миссис Джеймс Диллингем Юнг, уже представленной вам под именем Деллы. А это, право же, очень мило.

Делла кончила плакать и прошлась пуховкой по щекам. Она теперь стояла у окна и уныло глядела на серую кошку, прогуливавшуюся по серому забору вдоль серого двора. Завтра Рождество, а у нее только один доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Долгие месяцы она выгадывала буквально каждый цент, и вот все, чего она достигла. На двадцать долларов в неделю далеко не уедешь. Расходы оказались больше, чем она рассчитывала. С расходами всегда так бывает. Только доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Ее Джиму! Сколько радостных часов она провела, придумывая, что бы такое ему подарить к Рождеству. Что-нибудь совсем особенное, редкостное, драгоценное, что-нибудь, хоть чуть-чуть достойное высокой чести принадлежать Джиму.

В простенке между окнами стояло трюмо. Вам никогда не приходилось смотреться в трюмо восьмидолларовой меблированной квартиры? Очень худой и очень подвижной человек может, наблюдая последовательную смену отражений в его узких створках, составить себе довольно точное представление о собственной внешности. Делле, которая была хрупкого сложения, удалось овладеть этим искусством.

Она вдруг отскочила от окна и бросилась к зеркалу. Глаза ее сверкали, но с лица за двадцать секунд сбежали краски. Быстрым движением она вытащила шпильки и распустила волосы.

Надо вам сказать, что у четы Джеймс Диллингем Юнг было два сокровища, составлявших предмет их гордости. Одно — золотые часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду, другое — волосы Деллы. Если бы царица Савская проживала в доме напротив, Делла, помыв голову, непременно просушивала бы у окна распущенные волосы — специально для того, чтобы заставить померкнуть все наряди и украшения ее величества. Если бы царь Соломон служил в том же доме швейцаром и хранил в подвале все свои богатства, Джим, проходя мимо, всякий раз доставал бы часы из кармана — специально для того, чтобы увидеть, как он рвет на себе бороду от зависти.

И вот прекрасные волосы Деллы рассыпались, блестя и переливаясь, точно струи каштанового водопада. Они спускались ниже колен и плащом окутывали почти всю ее фигуру. Но она тотчас же, нервничая и торопясь, принялась снова подбирать их. Потом, словно заколебавшись, с минуту стояла неподвижно, и две или три слезинки упали на ветхий красный ковер.

Старенький коричневый жакет на плечи, старенькую коричневую шляпку на голову — и, взметнув юбками, сверкнув невысохшими блестками в глазах, она уже мчалась вниз, на улицу.

Вывеска, у которой она остановилась, гласила: «M-me Sophronie. Всевозможные изделия из волос». Делла взбежала на второй этаж и остановилась, с трудом переводя дух.

— Не купите ли вы мои волосы? — спросила она у мадам.

— Я покупаю волосы, — ответила мадам. — Снимите шляпку, надо посмотреть товар.

Снова заструился каштановый водопад.

— Двадцать долларов, — сказала мадам, привычно взвешивая на руке густую массу.

— Давайте скорее, — сказала Делла.

Следующие два часа пролетели на розовых крыльях — прошу прощенья за избитую метафору. Делла рыскала по магазинам в поисках подарка для Джима.

Наконец она нашла. Без сомнения, это было создано для Джима, и только для него. Ничего подобного не нашлось в других магазинах, а уж она все в них перевернула вверх дном. Это была платиновая цепочка для карманных часов, простого и строгого рисунка, пленявшая истинными своими качествами, а не показным блеском, — такими и должны быть все хорошие вещи. Ее, пожалуй, даже можно было признать достойной часов. Как только Делла увидела ее, она поняла, что цепочка должна принадлежать Джиму. Она была такая же, как сам Джим. Скромность и достоинство — эти качества отличали обоих. Двадцать один доллар пришлось уплатить в кассу, и Делла поспешила домой с восемьюдесятью семью центами в кармане. При такой цепочке Джиму в любом обществе не зазорно будет поинтересоваться, который час. Как ни великолепны были его часы, а смотрел он на них часто украдкой, потому что они висели на дрянном кожаном ремешке.

Дома оживление Деллы поулеглось и уступило место предусмотрительности и расчету. Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась исправлять разрушения, причиненные великодушием в сочетании с любовью. А это всегда тягчайший труд, друзья мои, исполинский труд.

Не прошло и сорока минут, как ее голова покрылась крутыми мелкими локончиками, которые сделали ее удивительно похожей на мальчишку, удравшего с уроков. Она посмотрела на себя в зеркало долгим, внимательным и критическим взглядом.

«Ну, — сказала она себе, — если Джим не убьет меня сразу, как только взглянет, он решит, что я похожа на хористку с Кони-Айленда. Но что же мне было делать, ах, что же мне было делать, раз у меня был только доллар и восемьдесят семь центов!»

В семь часов кофе был сварен, и раскаленная сковорода стояла на газовой плите, дожидаясь бараньих котлеток.

Джим никогда не запаздывал. Делла зажала платиновую цепочку в руке и уселась на краешек стола поближе к входной двери. Вскоре она услышала его шаги внизу на лестнице и на мгновение побледнела. У нее была привычка обращаться к богу с коротенькими молитвами по поводу всяких житейских мелочей, и она торопливо зашептала:

— Господи, сделай так, чтобы я ему не разонравилась!

Дверь отворилась, Джим вошел и закрыл ее за собой. У него было худое, озабоченное лицо. Нелегкое дело в двадцать два года быть обремененным семьей! Ему уже давно нужно было новое пальто, и руки мерзли без перчаток.

Джим неподвижно замер у дверей, точно сеттер, учуявший перепела. Его глаза остановились на Делле с выражением, которого она не могла понять, и ей стало страшно. Это не был ни гнев, ни удивление, ни упрек, ни ужас — ни одного из тех чувств, которых можно было бы ожидать. Он просто смотрел на нее, не отрывая взгляда, и лицо его не меняло своего странного выражения.

Делла соскочила со стола и бросилась к нему.

— Джим, милый, — закричала она, — не смотри на меня так! Я остригла волосы и продала их, потому что я не пережила бы, если б мне нечего было подарить тебе к Рождеству. Они опять отрастут. Ты ведь не сердишься, правда? Я не могла иначе. У меня очень быстро растут волосы. Ну, поздравь меня с Рождеством, Джим, и давай радоваться празднику. Если б ты знал, какой я тебе подарок приготовила, какой замечательный, чудесный подарок!

— Ты остригла волосы? — спросил Джим с напряжением, как будто, несмотря на усиленную работу мозга, он все еще не мог осознать этот факт.

— Да, остригла и продала, — сказала Делла. — Но ведь ты меня все равно будешь любить? Я ведь все та же, хоть и с короткими волосами.

Джим недоуменно оглядел комнату.

— Так, значит, твоих кос уже нет? — спросил он с бессмысленной настойчивостью.

— Не ищи, ты их не найдешь, — сказала Делла. — Я же тебе говорю: я их продала — остригла и продала. Сегодня сочельник, Джим. Будь со мной поласковее, потому что я это сделала для тебя. Может быть, волосы на моей голове и можно пересчитать, — продолжала она, и ее нежный голос вдруг зазвучал серьезно, — но никто, никто не мог бы измерить мою любовь к тебе! Жарить котлеты, Джим?

И Джим вышел из оцепенения. Он заключил свою Деллу в объятия. Будем скромны и на несколько секунд займемся рассмотрением какого-нибудь постороннего предмета. Что больше — восемь долларов в неделю или миллион в год? Математик или мудрец дадут вам неправильный ответ. Волхвы принесли драгоценные дары, но среди них не было одного. Впрочем, эти туманные намеки будут разъяснены далее.

Джим достал из кармана пальто сверток и бросил его на стол.

— Не пойми меня ложно, Делл, — сказал он. — Никакая прическа и стрижка не могут заставить меня разлюбить мою девочку. Но разверни этот сверток, и тогда ты поймешь, почему я в первую минуту немножко оторопел.

Белые проворные пальчики рванули бечевку и бумагу. Последовал крик восторга, тотчас же — увы! — чисто по женски сменившийся потоком слез и стонов, так что потребовалось немедленно применить все успокоительные средства, имевшиеся в распоряжении хозяина дома.

Ибо на столе лежали гребни, тот самый набор гребней — один задний и два боковых, — которым Делла давно уже благоговейно любовалась в одной витрине Бродвея. Чудесные гребни, настоящие черепаховые, с вделанными в края блестящими камешками, и как раз под цвет ее каштановых волос. Они стоили дорого — Делла знала это, — и сердце ее долго изнывало и томилось от несбыточного желания обладать ими. И вот теперь они принадлежали ей, но нет уже прекрасных кос, которые украсил бы их вожделенный блеск.

Все же она прижала гребни к груди и, когда, наконец, нашла в себе силы поднять голову и улыбнуться сквозь слезы, сказала:

— У меня очень быстро растут волосы, Джим!

Тут она вдруг подскочила, как ошпаренный котенок, и воскликнула:

— Ах, боже мой!

Ведь Джим еще не видел ее замечательного подарка. Она поспешно протянула ему цепочку на раскрытой ладони. Матовый драгоценный металл, казалось, заиграл в лучах ее бурной и искренней радости.

— Разве не прелесть, Джим? Я весь город обегала, покуда нашла это. Теперь можешь хоть сто раз в день смотреть, который час. Дай-ка мне часы. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть все вместе.

Но Джим, вместо того чтобы послушаться, лег на кушетку, подложил обе руки под голову и улыбнулся.

— Делл, — сказал он, — придется нам пока спрятать наши подарки, пусть полежат немножко. Они для нас сейчас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты.

Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они-то и завели моду делать рождественские подарки. И так как они были мудры, то и дары их были мудры, может быть, даже с оговоренным правом обмена в случае непригодности. А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей из восьмидолларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду. Они и есть волхвы.

Грин Александр Степанович

**СТО ВЕРСТ ПО РЕКЕ**

I

      Взрыв котла произошел ночью. Пароход немедленно повернул к берегу, где погрузился килем в песок, вдали от населенных мест. К счастью, человеческих жертв не было. Пассажиры, проволновавшиеся всю ночь и весь день в ожидании следующего парохода, который мог бы взять их и везти дальше, выходили из себя. Ни вверх, ни вниз по течению не показывалось никакого судна. По реке этой работало только одно пароходство и только четырьмя пароходами, отходившими каждый раз по особому назначению, в зависимости от настроения хозяев и состояния воды: капризное песчаное русло после продолжительного бездождия часто загромождалось мелями.  
      По мере того как вечер спешил к реке, розовея от ходьбы, порывисто дыша туманными испарениями густых лесов и спокойной воды, Нок незаметно приходил в нервное, тревожное настроение. Тем, кто с ним заговаривал, он не отвечал или бросал отрывисто «нет», «да», «не знаю». Он беспрерывно переходил с места на место, появляясь на корме, на носу, в буфете, на верхней палубе или, сходя на берег, где, сделав небольшую прогулку в пышном кустарнике, возвращался обратно, переполненный тяжелыми размышлениями. Раза три он спускался в свою каюту, где, подержав в руках собранный чемодан, бросал его на койку, пожимая плечами. В одно из этих посещений каюты он долго сидел на складном стуле, закрыв лицо руками, и, когда опустил их, взгляд его выражал крайнее угнетение.  
      В таком же, но, так сказать, более откровенном и разговорчивом состоянии была молодая девушка, лет двадцати — двадцати двух, ехавшая одна. Встревоженное печальное ее лицо сотни раз обращалось к речным далям в поисках благодетельного пароходного дыма. Она была худощава, но стройного и здорового сложения, с тонкой талией, тяжелыми темными волосами бронзового оттенка, свежим цветом ясного, простодушного лица и непередаваемым выражением слабого знания жизни, которое восхитительно, когда человек не подозревает об этом, и весьма противно, когда, учитывая свою неопытность, придает ей вид жеманной наивности. Вглядевшись пристальнее в лицо девушки, в особенности в ее сосредоточенные, задумчивые глаза, наблюдатель заметил бы давно утраченную нами свежесть и остроту впечатлений, сдерживаемых воспитанием и перевариваемых в душе с доверчивым аппетитом ребенка, не разбирающегося в вишнях и волчьих ягодах. Серая шляпа с голубыми цветами, дорожное простое пальто, такое же, с глухим воротником, платье и потертая сумочка, висевшая через плечо, придавали молодой особе оттенок деловитости, чего она, конечно, не замечала.  
      Занятая одной мыслью, одной целью — скорее попасть в город, молодая девушка, с свойственной ее характеру деликатной настойчивостью, тотчас после аварии приняла все меры к выяснению положения. Она говорила с капитаном, его помощником и пароходными агентами; все они твердили одно: «„Муху” не починить здесь; надо ждать следующего парохода, а когда он заблагорассудит явиться — сказать трудно, даже подумав».  
      Когда молодая девушка сошла на берег погулять в зелени и размыслить, что предпринять дальше, ее брови были огорченно сдвинуты, и она, не переставая внутренне кипеть, нервно потирала руки движениями умывающегося человека. Нок в это время сидел в каюте; перед ним на койке лежал раскрытый чемодан и револьвер. Раздраженное, потемневшее от волнения лицо пассажира показывало, что задержка в пути сильно ошеломила его. Он долго сидел, сгорбившись и посвистывая; наконец не торопясь встал, захлопнул чемодан и глубоко засунул его под койку, а револьвер опустил в карман брюк. Затем он прошел на берег, где, держась в стороне от групп расхаживающих по лесу пассажиров, направился глухой тропинкой вниз по течению.  
      Он шел бы так очень долго — день, два и три, если бы, удалившись от парохода шагов на двести, не увидел за песчаной косой лодку, почти приникшую к береговому обрыву. В лодке, гребя одним веслом, стоял человек почтенного возраста, подвыпивший, в вязаной куртке, драных штанах, босой и без шапки. У ног его лежала мокрая сеть, на носу лодки торчали удочки.  
      Нок остановился, подумав:  
      «Не надо ему говорить о пароходе и взрыве».  
      — Здравствуй, старикан! — сказал он, — много ли рыбы поймал?  
      Старик поднял голову, ухватился за береговой куст и осмотрел Нока пронзительно-смекалистым взглядом.  
      — Это вы здесь откуда? — развязно спросил он. — Какое явление!  
      — Простая штука, — пояснил Нок. — Я с компанией приехал из Л. (он назвал город, лежащий далеко в сторону). Мы неделю охотились и теперь скоро вернемся.  
      Нок очень непринужденно сказал это; старик с минуту обдумывал слышанное.  
      — Мне какое дело, — заявил он, раскачивая ногами лодку. — Рыбы не купите ли?  
      — Рыбы... нет, не хочу. — Нок вдруг рассмеялся, как бы придумав забавную вещь. — Вот что, послушай-ка: продай лодку!  
      — Я их не сам делаю, — прищурившись, возразил старик. — Мне другую лодку взять негде... К чему же вам эта посудина?  
      — Так, нужно выкинуть одну штуку, очень веселую. Я хочу подшутить над приятелем; вот тут нам лодка и нужна. Я говорю серьезно, а за деньгами не постою.  
      Рыбак протрезвел. Он хмуро смотрел на приличный костюм Нока, думая — «и все вот так, сразу: никак не дадут подумать, обсудить неторопливо, дельно...» Он не любил, если даже рыбу покупали с двух слов, без торга. Здесь отлетал дух его хозяйственной самостоятельности, так как не на что было возражать и не о чем кипятиться.  
      «А вот назначу столько, что заскрипишь, — думал старик. — Если богат, заплатит. Назад я, видимо, отправлюсь пешком, а о моей второй лодке тебе, идиоту, знать нечего. Допустим! Деньги штука приятная».  
      — Пожалуй, лодку я вам за пятьдесят рублей отдам (она стоила вчетверо меньше), так уж и быть, — сказал рыболов.  
      — Хорошо, беру. Получай деньги.  
      «Я дурак, — подумал старик. — Собственно, что же это такое? Является какой-то неизвестный сумасшедший... „Пятьдесят?” — „Пятьдесят!” — он кивнул, а я вылезай из лодки, как из чужой, в ту же минуту. Нет, пятьдесят мало».  
      — Я, того, раздумал, — нахально сказал он. — Мне так невыгодно... Вот сто рублей — дело другого рода.  
      У Нока было всего семьдесят — восемьдесят рублей.  
      — Мошенник! — сказал молодой человек. — Мне денег не жалко, противна только твоя жадность; бери семьдесят пять и вылазь.  
      — Ну, если вы еще с дерзостями, — никакой уступки, ни одной копейки, поняли? Я, милый мой, старше вас!  
      Гелли в эту минуту расхаживала по берегу и случайно проходила мимо кустов, где стоял Нок. Она слышала, что кто-то торгует лодку, и сообразила, в чем дело. Обособленность положения была такова, что покупать лодку имело смысл только для продолжения пути. У девушки появилась тоскливая надежда. Человек, взявший лодку, мог бы довезти и ее, Гелли.  
      Решившись, наконец, высказать свою просьбу, она направилась к воде в тот момент, когда торг, подогретый, с одной стороны, вином, с другой — раздражением, принял подобие взаимных наскоков. Нок, услышав легкие шаги сзади, мгновенно оборвал разговор: старик, увидев еще людей, мог задуматься вообще над будущим лодки, а человек, шедший к воде, одной случайной фразой мог выдать пьянице всю остроту положения множества пассажиров, среди которых старик нашел бы, разумеется, людей сговорчивых и богатых.  
      Нок сказал:  
      — Подожди-ка здесь, я скоро вернусь.  
      Он торопливо скрылся, желая перехватить идущего как можно далее от воды. При выходе из кустов Нок встретился с Гелли, застенчиво отводящей рукой влажные ветви.  
      «Да, женщина, — бросил он себе с горечью, но и с самодовольством опытного человека, глубоко изучившего жизнь. — Чему удивляться? Ведь это их миссия... — становиться поперек дороги. Сейчас я ее сплавлю».  
      Гелли растерянно, с слабой улыбкой смотрела на его неприязненное сухое лицо.  
      — Очень прошу вас, — прошептал Нок с оттенком приказания, — не говорите громко, если у вас есть что-нибудь сказать мне. Я вынужден заявить это в силу моих причин, притом никто не обязан выказывать любопытства.  
      — Извините, — потерявшись, тихо заговорила Гелли. — Это вы говорили так громко о лодке? Я не знаю с кем. Но я подумала, что могла бы заплатить недостающую сумму. Если бы вы купили сами, я все равно обратилась бы к вам с просьбой взять меня. Я очень тороплюсь в Зурбаган.  
      — Вы очень самонадеянны... — начал Нок; девушка мучительно покраснела, но по-прежнему смотрела прямо в глаза, — если вам кажется...  
      — Ни любопытство, ни грубость не обязательны, — глухо сказала Гелли, гордо удерживая слезы и поворачиваясь уйти.  
      Нок остыл.  
      — Простите, прошу вас, — шепнул он, соображая, что может лишиться лодки, — подождите, пожалуйста. Я сейчас, сию минуту скажу вам.  
      Гелли остановилась. Самолюбие ее сильно страдало, но слово «простите», по ее простодушному мнению, все-таки обязывало выслушать виноватого. Может быть, он употребил не те выражения, потому что торопился уехать.  
      Нок стоял опустив руки и глаза вниз, словно искал в траве потерянную монету. Он наскоро соображал положение. Присутствие Гелли толкнуло его к новым выводам и новой оценке случая, помимо доплаты денег за лодку.  
      — Хорошо, — сказал Нок. — Вы можете ехать со мной. В таком разе, — он слегка покраснел, — доплатите недостающие двадцать рублей. У меня не хватает. Но, предупреждаю вас, не взыщите, я человек мрачный и не кавалер. Со мной едва ли вам будет весело.  
      — Уверяю вас, я не думала об этом, — возразила девушка послушным, едва слышным шепотом, — вот деньги, а вещи...  
      — Не берите их.  
      — Как же быть с ними?  
      — Пошлите письмо в контору пароходства с описанием вещей и требуйте их наложенным платежом. Все будет цело.  
      — Но плед...  
      — Бегите же скорее за пледом, и никому ни слова, — слышите? — ни четверти слова о лодке. Так нужно. Если не согласны — прощайте!  
      — О нет, благодарю, благодарю вас... Я скоро!  
      Она скрылась, не чувствуя земли под ногами от радости. Конспиративную обстановку отъезда она объяснила нежеланием Нока перегружать лодку лишними пассажирами. Она знала также, что оставаться наедине с мужчиной, и еще при таких исключительных обстоятельствах, как пустыня и ночь, считается опасным в известном смысле, теоретически ей ясном, но в душе она глубоко не верила этому. Случаи подобного рода она считала возможными лишь где-то очень далеко, за невидимым ей кругом текущей жизни.  
      Рыбак, боясь, что сделка не состоится, крикнул:  
      — Эй, господин охотник! Я-то тут, а вы-то где?  
      — Тут же, — сказал Нок, выходя к лодке. — Получай денежки. Я ходил только к нашему становищу взять из пальто твою мзду.  
      Взяв деньги, старик пересчитал их, сунул за пазуху и умиленно проговорил:  
      — Ну, и один же стаканчик водки был старому папе Юсу!.. Вытряхнули старика из лодки, да еще с больными ногами, да еще...  
      Нок тотчас смекнул, как удалить рыбака, чтобы тот не заметил женщину.  
      — Хочешь, ступай по лужайке, что за кустами, — сказал он, — пересеки ее и подайся от берега прямо в лес, там скоро увидишь костер и наших. Скажи, что я велел дать тебе не один, а два и три стаканчика водки.  
      Действие этого небрежного предложения оказалось чудесным. Старик, помолодев вдвое, поспешно свернул сеть, взвалил ее с сумкой и удочками на плечо и бойко прыгнул в кусты.  
      — Так вот пряменько идти мне?  
      — Пряменько, очень пряменько. Водка хорошая, старая, холодная.  
      — А вы, — старик подмигнул, — шутки свои шутить приметесь?  
      — Да.  
      — И великолепно. А я вот чирикну водочки, да и домой.  
      «Убирайся же», — подумал Нок.  
      Рыбак, еще раз подмигнув, скрылся. Нок стал на том месте, где говорил с Гелли. Минуты через три, задыхаясь от поспешной ходьбы, она явилась; плечи и голову ее окутывал серый плед.  
      — Садитесь же, садитесь, — торопил Нок. — Вам руль, мне весла. Умеете?  
      — Да.  
      Они уселись.  
      «Романтично! — съязвил про себя Нок, отталкивая веслом лодку. — Моему мертвому сердцу безопасны были бы даже полчища Клеопатры, — прибавил он, — и вообще о сердце следовало бы забыть всем».  
      Стемнело, когда эти двое молодых людей тронулись в путь. Только у далекого поворота еще блестела рассыпанным ожерельем стрежь, просвет неба над ней, уступая облачной тьме, медленно потухая, напоминая дремлющий глаз. Блеск стрежи скоро исчез. Крякнула утка; тишину осенил быстрый свист крыльев; а затем ровный, значительный в темноте плеск весел стал единственным, одиноким звуком речной ночи.

II

      Нок несколько повеселел от того, что едет, удаляется от парохода и вероятной опасности. С присутствием женщины Нока примиряло его господствующее положение; пассажирка была в полной его власти, и хотя власть эту он и не помышлял употребить на что-нибудь скверное, все-таки видеть возможность единоличного распоряжения отношениями было приятно. Это слегка сглаживало обычную холодную враждебность Нока к прекрасному полу. У него совсем не было желания говорить с Гелли, однако, сознав, что надо же выяснить кое-что, неясное для обоих, Нок сказал:  
      — Как вас зовут?  
      — Гелли Сод.  
      — Допустим. Не надо так дергать рулем. Вы различаете берег?  
      — Очень хорошо.  
      — Держите, Гелли, все время саженях в двадцати от берега, параллельно его извивам. Если понадобится иначе, я скажу... Хех!  
      Он вскрикнул так, потому что зацепил веслом о подводный древесный лом. Но в резкости вскрика девушке почудилось вдруг нечто затаенное души незнакомца, что вырвалось невольно и, может быть, по отношению к ней. Она оробела, почти испугалась. Десятки страшных историй ожили в ее напряженном воображении. Кто этот молодой человек? Как могла она довериться ему, хотя бы ради отца? Она даже не знает его имени! Жуток был не столько момент испуга, сколько боязнь пугаться все время, быть тоскливо настороже. В это время Нок, выпустив весла, зажег спичку и засопел трубкой; в свете огня его лицо с опущенными на трубку глазами, жадно рассмотренное Гелли, показалось молодой девушке, к великому ее облегчению, совсем не страшным, — лицо как лицо. И даже красивое, простое лицо... Она тихонько вздохнула, почти успокоенная, тем более что Нок, закурив, сказал:  
      — Мое имя — Трумвик. — Имя это он сочинил теперь и, боясь сам забыть его, повторил раза два: — Да, Трумвик, так меня зовут; Трумвик.  
      Про себя, вспомнив мнемонику, Нок добавил:  
      — Трубка, вика [1](http://www.prosv.ru/ebooks/lib/57_Grin_Izbrannoe/10.html" \l "_ftn1#_ftn1" \o ").  
      — Долго ли мы проедем? — спросила Гелли. — Меня заставляет торопиться болезнь отца... — Она смутилась, вспомнив, что Трумвик гребет и может принять это за понукание. — Я говорю вообще, приблизительно...  
      — Так как я тоже тороплюсь, — значительно сказал Нок, — то знайте, что в моих интересах увидеть Зурбаган не позднее как послезавтра утром. Так и будет. Отсюда до города не больше ста верст.  
      — Благодарю вас. — Она, боязливо рассмеявшись, сообщила: — У меня есть несколько бутербродов и немного сыру... так как достать негде, вы...  
      — Я тоже взял коробку сардин и кусок хлеба. С меня достаточно.  
      «Все они материалистки, — подумал Нок. — Разве я сейчас думал о бутербродах? Нет, я думал о вечности; река, ее течение — символ вечности... и — что еще?»  
      Но он забыл — что, хотя настроение продолжало оставаться подавленно-возвышенным, Нок принялся думать о своем диком, тяжелом прошлом: грязном романе, тюрьме, о решении упиваться гордым озлоблением против людей, покинуть их навсегда если не телом, то душой; о любви только к мечте, верной и нежной спутнице исковерканных жизней. Волнение мысли передалось его мускулам, и он греб, как на гонках. Лодка, сильно опережая течение, шумно вспахивала темную воду.  
      Гелли благодаря странности положения испытывала подъем духа, возбуждение исполненного решения. Отец с интересом выслушает рассказ о ее похождениях. Ей представилось, что она не плывет, а читает о женщине со своим именем в некоей книге, где описываются леса, охоты, опасности. Вспомнив отца, Гелли приуныла. Вспомнив небрежного и глупого доктора, пользующего отца, она соображала, как заменит его другим, наведет порядки, осмотрит лекарства, постель — все. Ее деятельной душе требовалось, хотя бы мысленно, делать что-то. Стараясь избежать новых замечаний Нока, она до утомления добросовестно водила рулем, не выпуская глазами темный завал берега. Ей хотелось есть, но она стеснялась. Они плыли молча минут пятнадцать; затем Нок, тоже проголодавшись, угрюмо сказал:  
      — Закусим. Оставьте руль. — Он выпустил весла. — Мои сардинки еще не высохли... так что берите.  
      — Нет, благодарю, вы сами.  
      Девушка, кутаясь в плед, тихонько ела. Несмотря на темноту, ей казалось, что этот странный Трумвик насмешливо следит за ней, и бутерброды, хотя Гелли проголодалась, стали невкусными. Она поторопилась кончить есть. Нок продолжал еще мрачно ковырять в коробке складным ножом, и Гелли слышала, как скребет железо по жести. В их разъединенности, ночном молчании реки и этом полуголодном скрипе неуютно подкрепляющегося человека было что-то сиротское, и Гелли сделалось грустно.  
      — Ночь, кажется, не будет очень холодной, — сказала, слегка все же вздрагивая от свежести, девушка.  
      Она сказала первое, что пришло в голову, чтобы Нок не думал, что она думает: «Вот он ест».  
      — Пароход теперь остался отсюда далеко.  
      Нок что-то промычал, поперхнулся и бросил коробку в воду.  
      — Час ночи, — сказал он, подставив к спичке часы. — Вы, если хотите, спите.  
      — Но как же руль?  
      — Я умею управлять веслами, — настоятельно заговорил Нок, — а от вашего сонного правления рулем часа через два мы сядем на мель. Вообще я хотел бы, — с раздражением прибавил он, — чтобы вы меня слушались. Я гораздо старше и опытнее вас и знаю, что делать. Можете прикорнуть и спать.  
      — Вы... очень добры, — нерешительно ответила девушка, не зная, что это: раздражение или снисхождение. — Хорошо, я усну. Если нужно будет, пожалуйста, разбудите меня.  
      Нок, ничего не сказав, сплюнул.  
      «Неужели вы думаете, что не разбужу? Ясно, что разбужу. Здесь не гостиная, здесь... Как они умеют окутывать паутиной! „Вы очень добры...”, „Благодарю вас”, „Не находите ли вы...” Это все инстинкт пола, — решил Нок, — бессознательное к мужчине. Да».  
      Потом он стал соображать, ехать ли в Зурбаган на лодке или высадиться верст за пять до города — ради безопасности. Сведения о покупке лодки за бешеные деньги, об иллюзорной Юсовой водке и приметы Нока вполне могли за двое суток стать известны в окрестностях. Попутно он еще раз похвалил себя за то, что догадался взять Гелли, а не отказал ей. Путешествие благодаря этому принимало семейный характер, и кто подумал бы, видя Нока в обществе молодой девушки, что это недавний каторжник? Гелли невольно помогала ему. Он решил быть терпимым.  
      — Вы спите? — спросил Нок, вглядываясь в темный оплыв кормы.  
      Ответом ему было нечто среднее между вздохом и сонным шепотом. Корма на фоне менее темном, чем лодка, казалась пустой; Гелли, видимо, спала, и Нок, чтобы посмотреть, как она устроилась, зажег спичку. Девушка, завернувшись в плед, положила голову на руки а руки, на дек кормы; видны были только закрытый глаз, лоб и висок; все вместе представлялось пушистым комком.  
      — Ну и довольно с ней, — сказал Нок, бросая спичку. — Когда женщина спит, она не вредит.  
      Поддерживая нужное направление веслами, он согласно величавой хмурости ночи вновь задумался о печальном прошлом. Ему хотелось зажить, если он уцелеет, так, чтоб не было места самообманам, влечениям и раскаяниям. Прежде всего — нужно быть одиноким. Думая, что прекрасно изучил людей (а женщин в особенности), Нок, разгорячившись, решил, внешне оставаясь с людьми, внутренно не сливаться с ними и так, приказав сердцу молчать всегда, встретить конец дней. Возвышенной грустью мудреца, знающего все земные тщеты.  
      Не так ли увенчанный славой и сединами доктор обходит палату безнадежно больных, сдержанно улыбаясь всем взирающим на него со страхом и ропотом?.. «Да, да, — говорит бодрый вид доктора, — конечно, вы находитесь здесь по недоразумению и все вообще обстоит прекрасно...» Однако доктор не дурак: он видит все язвы, все сокрушения, принесенные недугом, и мало думает о больных. Думать о приговоренных, так сказать, бесполезно. Они ему не компания.  
      Сравнение себя с доктором весьма понравилось Ноку. Он выпрямился, нахмурился и печально вздохнул. В таком настроении прошла ночь, и когда Нок стал ясно различать фигуру все еще спящей Гелли, — до Зурбагана оставалось сорок с небольшим верст. Верхние листья береговых кустов затлелись тихими искрами, река яснела, влажный ветерок разливал запах травы, рыбы и мокрой земли. Нок посмотрел на деревеневшие руки: пальцы распухли, а ладони, испещренные водяными мозолями, едко горели.  
      — Однако пора будить этого будуарного человека, — сказал Нок о Гелли. — Занялся день, и я не рискну ехать далее, пока не стемнеет.  
      Он направил лодку к песчаному заливчику, лодка, толкнувшись, остановилась, и девушка, нервно вскочив, растерянно осмотрелась еще слипающимися глазами.

III

      — Это вы, — успокаиваясь, сказала она. — Всю ночь я спала. Я не сразу поняла, что мы едем.  
      Ее волосы растрепались, воротник блузы смялся, приняв взъерошенный вид. Плед спустился к ногам. Одна щека была румяной, другая бледной.  
      Нок сказал:  
      — Ну, нам, видите ли, осталось проехать не более того, что позади нас. Теперь мы остановились и не тронемся, пока не стемнеет. Надо же отдохнуть. Вылезайте, Гелли. Умывайтесь или причесывайтесь, как знаете, а мне позвольте булавку, если у вас есть. Я хочу поймать рыбу. В этой дикой реке рыбы достаточно.  
      Гелли погладила рукой грудь; булавка нашлась как раз на месте одной потерянной пуговицы. Она вынула булавку, и края кофточки слегка разошлись, приоткрыв край белой рубашки. Заметив это, Гелли смутилась — она вспомнила, что на нее, спящую, всю ночь смотрел мужчина, а так как спать одетой не приходилось ей никогда, то девушка бессознательно представила себя спавшей, как обычно, под одеялом. Просвет рубашки увеличил смущение. Все, что инстинктивно чувствовалось ей в положении мужчины и женщины, которых никто не видит, неудержимо перевело смущение в смятение; Гелли уронила булавку, и когда, отыскав ее, выпрямилась, лицо ее было совсем красным и жалким.  
      — Хорошо, что булавка железная, — сказал Нок. — Ее легко гнуть; стальная сломалась бы.  
      Простодушная близорукость этого замечания вернула Гелли душевное равновесие. Она вышла из лодки, за ней Нок. Сказав, что пойдет вырезать удочку, он потерялся в кустах, и Гелли в продолжение нескольких минут оставалась одна. Плеснув из горсточки на лицо воды, девушка утерлась платком и, поправив прическу над речным вздрагивающим зеркалом, поднялась к вершине берегового холма. Здесь она решила «собраться с мыслями». Но мысли вдруг разбежались, потому что занялось и блеснуло перед ней такое жизнерадостное, великолепное утро, когда зелень кажется садом, а мы в нем детьми, прощенными за какую-то гадость. Солнечный шар плавился над синей рекой, играя с пространством легкими, дрожащими блестками, рассыпанными везде, куда направлялся взгляд. Крепкий густой запах зелени волновал сердце, прозрачность далей казалась широко раскинутыми, смеющимися объятиями; синие тени множили тонкость утренних красок, и кое-где в кудрявых ослепительных просветах блистала лучистая паутина.  
      Нок вышел из кустов с длинным прутом в руках. Гелли, переполненная восхищением, громко сказала:  
      — Какое дивное утро!  
      Нок опасливо посмотрел на нее. Она хотела быть, как всегда, сдержанной, но против воли сияла бессознательным оживлением.  
      «Ну, что же, — враждебно подумал он, — не воображаешь ли ты, что я попался на эту нехитрую удочку? Что я буду ахать и восхищаться? Что я раскисну под твоим взглядом? Девчонка, не мудри! Ничего не выйдет из этого».  
      — Извините, — холодно сказал он. — Ваши восторги мне скучноваты. И затем, пожалуйста, не кричите. Я хорошо слышу.  
      — Я не кричала, — ответила Гелли, сжавшись.  
      Незаслуженная, явная грубость Нока сразу расстроила и замутила ее. Желая пересилить обиду, она спустилась к воде, тихо напевая что-то, но, опасаясь нового замечания, умолкла совсем.  
      «Он положительно меня ненавидит; должно быть, за то, что я напросилась ехать».  
      Эта мысль вызвала припадок виноватости, которую она постаралась, смотря на удившего с лодки Нока, рассеять сознанием необходимости ехать, что нашла нужным тотчас же сообщить Ноку.  
      — Вы напрасно сердитесь, Трумвик, — сказала Гелли, — не будь отец болен, я не просила бы вас взять меня с собой. Поэтому представьте себя на моем месте и в моем положении... Я ухватилась за вас поневоле.  
      — Это о чем? — рассеянно спросил Нок, поглощенный движением лесы, скрученной из похищенных в бортах пиджака конских волос. — Отойдите, Гелли, ваша тень ложится на воду и пугает рыбу. Не я, впрочем, виноват, что ваш отец захворал... И вообще, моя манера обращения одинакова со всеми... Клюет!  
      Гелли, покорно отступив в глубину берега, видела, как серебряный блеск, вырвавшись из воды, запрыгал в воздухе и, закружившись вокруг Нока наподобие карусели, шлепнулся в воду.  
      — Рыба! Большая! — воскликнула Гелли.  
      Нок, гордый удачей, ответил так же азартно, оглушая скачущую в руках рыбу концом удилища.  
      — Да, не маленькая. Фунта три. Рыба, знаете, толстая и тяжелая: мы ее зажарим сейчас. — Он подтолкнул лодку к берегу и бросил на песок рыбу; затем, осмотревшись, стал собирать валежник и обкладывать его кучей, но валежника набралось немного. Гелли, стесняясь стоять без дела, тоже отыскала две-три сухих ветки. Порывисто, с напряжением и усердием, стоящим тяжелой работы, совала она Ноку наломанные ее исколотыми руками крошечные прутики, величиной в спичку. Нок, выпотрошив рыбу, поджег хворост. Огонь разгорался неохотно; повалил густой дым. Став на колени, Нок раздувал хилый огонь, не жалея легких, и скоро, поблизости уха, услышал второе, очень старательное, прерывистое: «фу-у-у! ф-у-у!» Гелли, упираясь в землю кулачками c сжатыми в них щепочками, усердно вкладывала свою долю труда; дым ел глаза, но, храбро прослезившись, она не оставила своего занятия даже и тогда, когда огонь, окрепнув и заворчав, крепко схватил хворост.  
      — Ну, будет! — сказал Нок. — Принесите рыбу, вон она!  
      Гелли повиновалась.  
      Выждав, когда набралось побольше углей, Нок разгреб их на песке ровным слоем и аккуратно уложил рыбу. Жаркое зашипело. Скоро оно, сгоревшее с одной стороны, но доброкачественное с другой, было извлечено Ноком и перенесено на блюдо из листьев.  
      Разделив его прутиком, Нок сказал:  
      — Ешьте, Гелли, хотя оно и без соли. Голодными мы недалеко уедем.  
      — Я знаю это, — задумчиво произнесла девушка.  
      Съев кое-как свою порцию, она, став полусытой, затосковала по дому. Ослепительно, но дико и пустынно было вокруг; бесстрастная тишина берега, державшая ее в вынужденном обстоятельствами плену, начинала действовать угнетающе. Как сто, тысячу лет назад — такими же были река, песок, камни; утрачивалось представление о времени. Она молча смотрела, как Нок, спрятав лодку под свесившимися над водой кустами, набил и закурил трубку; как, мельком взглядывая на путницу, хмуро и тягостно улыбался, и странное недоверие к реальности окружающего моментами просыпалось в ее возбужденном мозгу. Ей хотелось, чтобы Трумвик поскорее уснул; это казалось ей все-таки делом, приближающим час отплытия.  
      — Вы хотели заснуть, — сказала Гелли, — по-моему, вам это прямо необходимо.  
      — Я вам мешаю?  
      — В чем? — раздосадованная его постоянно придирчивым тоном, Гелли сердито пожала плечами. — Я, кажется, ничего не собираюсь делать, да и не могу, раз вы заявили, что поедете в сумерки.  
      — Я ведь не женщина, — торжественно заявил Нок, — меньше сна или больше — для меня безразлично. Если я вам мешаю...  
      — Я уже сказала, что нет! — вспыхнула, тяжело дыша от кроткого гнева, Гелли. — Это я, должно быть, — позвольте вам сказать прямо, — мешаю вам в чем-то... Тогда не надо было ехать со мной. Потому что вы все нападаете на меня!  
      Ее глаза стали круглыми и блестящими, а детский рот обиженно вздрагивал. Нок изумленно вынул изо рта трубку и осмотрелся, как бы призывая свидетелями небо, реку и лес в том, что не ожидал такого отпора. Боясь, что Гелли расплачется, отняв у него тем самым — и безвозвратно — превосходную позицию сильного, презрительного мужчины, Нок понял необходимость придать этому препирательству «серьезную и глубокую» подкладку — немедленно; к тому же он хотел, наконец, высказаться, как хочет этого большинство искренне, но недавно убежденных в чем-либо людей, ища слушателя, убежденного в противном; здесь дело обстояло проще: самый пол Гелли был отрицанием житейского мировоззрения Нока. Нок сначала нахмурился, как бы проявляя этим осуждение горячности спутницы, а затем придал лицу скорбное, горькое выражение.  
      — Может быть, — сказал он, веско посылая слова, — я вас и задел чем-нибудь, Гелли, даже наверное задел, допустим, но задевать вас, именно вас, я, поверьте, не собирался. Скажу откровенно, я отношусь к женщинам весьма отрицательно; вы — женщина; если невольно я перешел границы вежливости, то только поэтому. Личность, отдельное лицо, вы ли, другая ли кто, — для меня все равно, в каждой из вас я вижу, не могу не видеть, представительницу мирового зла. Да! Женщины — мировое зло!  
      — Женщины? — несколько оторопев, но успокаиваясь, спросила Гелли. — И вы думаете, что все женщины...  
      — Решительно все!  
      — А мужчины?  
      — Вот чисто женский вопрос! — Нок подложил табаку в трубку и покачал головой. — Что «а мужчины»?.. Мужчины, могу сказать без хвастовства, — начало творческое, положительное. Вы же начало разрушительное!  
      «Разрушительное начало», взбудораженное до глубины сердца, с минуту, изумленно, подняв тонкие брови, смотрело на Нока с упреком и вызовом.  
      — Но... Послушайте, Трумвик! — Нок заговорил языком людей ее круга, и она сама стала выражаться более легко и свободно, чем до этой минуты. — Послушайте, это дерзость, но — думаю, что вы говорите серьезно. Это обидно, но интересно. В чем же показали себя с такой черной стороны мы?  
      — Вы неорганизованная стихия, злое начало.  
      — Какая стихия?  
      — Хоть вы, по-видимому, еще девушка, — Гелли побагровела от волнения, — я могу вам сказать, — продолжал, помолчав, Нок, — что... значит... половая стихия. Физиологическое половое начало переполняет вас и увлекает нас в свою пропасть.  
      — Об этом я говорить не буду, — звонко сказала Гелли, — я не судья в этом.  
      — Почему?  
      — Глупо спрашивать.  
      — Вы отказываетесь продолжать этот разговор?  
      Она отвернулась, смотря в сторону, ища понятного объяснения своему смущению, которое не могло, как она хорошо знала, вытекать ни из жеманности, ни из чопорности потому просто, что эти черты отсутствовали в ее характере. Наконец, потребность быть всегда искренней взяла верх; посмотрев прямо в глаза Ноку чистым и твердым взглядом, Гелли храбро сказала:  
      — Я сама еще не женщина; поэтому, наверное, было бы много фальши, если бы я пустилась рассуждать о... физической стороне. Говорите, я, может быть, пойму все-таки и скажу, согласна с вами или нет!  
      — Так знайте, — раздраженно заговорил Нок, — что, так как все интересы женщины лежат в половой сфере, они уже по тому самому ограничены. Женщины мелки, лживы, суетны, тщеславны, хищны, жестоки и жадны.  
      Он потревожил Гартмана, Шопенгауэра, Ницше и в продолжение получаса рисовал перед присмиревшей Гелли мрачность картины будущего человечества, если оно, наконец, не предаст проклятью любовь. Любовь, по его мнению, — вечный обман природы, — следовало бы давно сдать в архив, а романы сжечь на кострах.  
      — Вы, Гелли, — сказал он, — еще молоды, но когда в вас проснется женщина, она будет ничем не лучше остальных розовых хищников вашей породы, высасывающих мозг, кровь, сердце мужчины и часто доводящих его до преступления.  
      Гелли вздохнула. Если Нок прав хоть наполовину, — жизнь впереди ужасна. Она, Гелли, против воли сделается змеей, ехидной, носительницей мирового зла.  
      — У Шекспира есть, правда, леди Макбет, — возразила она, — но есть также Юлия и Офелия...  
      — Неврастенические самки, — коротко срезал Нок.  
      Гелли прикусила язык. Она чуть было не сказала: «Я познакомила бы вас с мамой, не умри она четыре года назад»; теперь благодарила судьбу, что злобный ярлык «самок» миновал дорогой образ. У нее пропала всякая охота разговаривать. Нок, не заметив хмурой натянутости в ее лице, сказал, разумея себя под переменою «я» на «он»:  
      — У меня был приятель. Он безумно полюбил одну женщину. Он верил в людей и женщин. Но эта пустая особа любила роскошь и мотовство. Она уговорила моего приятеля совершить кражу... этот молодой человек был так уверен, что его возлюбленная тоже сошла с ума от любви, что взломал кассу патрона и деньги передал той — дьяволу в человеческом образе. И она уехала от мужа одна, а я...  
      Вся кровь ударила ему в голову, когда, проговорившись в запальчивости так опрометчиво, он понял, что рассказ все-таки необходимо закончить, чтобы не вызвать еще большего подозрения. Но Гелли, казалось, не сообразила, в чем дело. Обычная слабая улыбка вежливого внимания освещала ее осунувшееся за ночь лицо.  
      — Что же, — вполголоса договорил Нок, — он попал на каторгу.  
      Наступило внимательное молчание.  
      — Он и теперь там? — принужденно спросила Гелли.  
      — Да.  
      — Вам его жалко, конечно... и мне жалко, — поспешно прибавила она, — но поверьте, Трумвик, человек этот не виноват!  
      — Кто же виноват?  
      Нок затаил дыхание.  
      — Конечно, она.  
      — А он?  
      — Он сильно любил, и я бы не осудила его.  
      Нок смотрел на нее так пристально, что она опустила глаза.  
      «Догадалась или не догадалась? Э, черт! — решил он, — мне в сущности все равно. Она, конечно, подозревает теперь, но не посмеет выспрашивать, а мне более ничего не нужно».  
      — Я засну. — Он встал, потягиваясь и зевая.  
      — Да, засните, — сказала Гелли, — солнце высоко.  
      Нок, не отвечая, улегся в тени явора, закрыв голову от комаров пиджаком, и скоро уснул. Во сне, — как ни странно, как это ни противно его мнениям, но как согласно с человеческой природой, — он видел, что Гелли подходит к нему, сидящему, сзади и нежно прижимает теплую ладонь к его глазам. Его чувства при этом были странной смесью горькой обиды и нежности. Сон, вероятно, принял бы еще более сложный характер, если бы Нок не проснулся от нерешительного мягкого расталкивания. Открыв глаза, он увидел будившую его Гелли, и последнее прикосновение ее руки слилось с наивностью сна. Стемнело. Красное веко солнца скрывалось за черным берегом; сырость, тяжесть в голове и грозное настоящее вернули Нока к его постоянному за последние дни состоянию угрюмой настороженности.  
      — Простите, я разбудила вас, — сказала Гелли, — нам пора ехать.  
      Они сели в лодку; снова зашумела вода; около часа они плыли не разговаривая; затем, слыша, как Нок часто и хрипло дышит (подул порывистый, встречный ветер, и вода взволновалась), Гелли сказала:  
      — Передайте мне весла, Трумвик, вы отдохнете.  
      — Весла тяжелые.  
      — Ну, что за беда! — Она засмеялась. — Если окажусь неспособной, прошу прощения. Дайте весла.  
      — Как хотите, — ответил Нок.  
      «Пускай гребет, в самом деле, — подумал он, — голосок-то у нее стал потверже, это сбить надо».  
      Они пересели. Нок услышал медленные, неверные всплески, ставшие постепенно более правильными и частыми. Гелли еле удерживала весла, толстые концы которых ежеминутно грозили вырваться из ее рук. Откидываясь назад, она тянулась всем телом, и, что хуже всего, ее ногам не было точки опоры, они не доставали до вделанного в дно лодки, специально для упора ногам, деревянного возвышения. Ноги Гелли беспомощно скользили по дну, и с каждым взмахом весел тело почти съезжало с сиденья. Отгребаемая вода казалась тяжелой и неподвижной, как если бы весла погружались в зерно. Руки и плечи девушки заболели сразу, но ни это, ни болезненное сердцебиение, вызвавшее холодный пот, ни тяжесть и мучительность судорожного дыхания не принудили бы ее сознаться в невольной слабости. Она скорее умерла бы, чем оставила весла. Не менее получаса Гелли выносила эту острую пытку и под конец двигала веслами машинально, как бы не своими руками. Нок, мрачно думавший о жестоком прошлом, встрепенулся и прислушался: весла ударяли вразброд, слабыми, растерянными всплесками, почти не двигая лодку.  
      — Ага! Гелли! — сказал он. — Возвращайтесь на свое место, довольно!  
      Она не могла даже ответить. Нок, выпустив руль, подошел к ней. Слабые отсветы воды позволили ему, нагнувшись, рассмотреть бледное с крепко зажмуренными глазами и болезненно раскрывшимся ртом лицо девушки. Он схватил весла, желая отнять их. Гелли не сразу выпустила их, но и выпуская, все еще пыталась взмахнуть ими, как заведенная. Она открыла глаза и выпрямилась, полусознательно улыбаясь.  
      — Ну, что? — с внезапной жалостью спросил Нок.  
      — Нет, ничего, — через силу ответила она, стараясь отдышаться сразу. Затем боязнь насмешки или укола заставила ее гордо выпалить довольно смелое заявление: — Я могла бы долго грести, так как весла не очень тяжелы... Только ручки у них толстые, — наивно прибавила она.  
      Они пересели снова, и Нок задумался. Он был несколько сконфужен и тронут. Но он постарался придать иное направление мыслям, готовым пристально остановиться на этом гордом и добром существе. Однако у него осталось такое впечатление, как будто он шел и вот зачем-то остановился.  
      Тучи сгустились, ветер стал ударять сильными густыми рывками. На руку Нока упала капля дождя, и в отдаленном углу земной тьмы блеснул короткий голубой свет. Лодку покачивало, вода зловеще всплескивала. Нок посмотрел вверх, затем, перестав грести, сказал:  
      — Гелли, надо пристать к берегу. Будет гроза. Переждать ее на воде немыслимо; лодку затопит ливнем или опрокинет ветром. Держите руль к берегу.

IV

      Место, куда пристали они, было рядом невысоких песчаных бугров. Путешественники сошли на берег. Нок, опасаясь, что вода от ливня сильно поднимется, с большими усилиями втянул лодку меж буграми в естественное песчаное углубление. По берегу тянулся редкий, высокий лес, являющийся плохой защитой от грозовой бури, и Нок нашел нужным предупредить девушку об этом.  
      — Мы вымокнем, — сказал он, — с чем примиритесь заранее — некуда скрыться. Вы боитесь?  
      — Нет, но неприятно останавливаться.  
      — Ужасно неприятно.  
      Они встали под деревом, с тоской прислушиваясь к шуму его листвы, по которой защелкал дождь. Ветер, затихая на мгновение, ударял снова, как бы набравшись сил, еще резче и неистовее. Тучи, спустившиеся над лесом с решительной мрачностью нападения, задавили, наконец, единственный густо-синий просвет неба, и тьма стала полной. Было сиротливо и холодно; птицы, вспархивая без крика, летели низом вихляющим трусливым полетом. Свет молнии, вспыхивавший пока редко, без грома, показал Ноку, за обрывом, лису, нюхавшую воздух; острая ее морда и поджатая передняя лапа исчезли мгновенно, как появились.  
      Междуцарствие тишины и грозы кончилось весьма решительным шквалом, сразу взявшим быстроту курьерского поезда; в его стремительном напряжении деревья склонились под углом тридцати градусов, а мелкая поросль затрепетала как в лихорадке. Листья, сучья, разный древесный сор понесся меж стволов, ударяя в лицо. Наконец, скакнула жутким синим огнем гигантская молния, по земле яростно хлестнуло дождем, и взрывы неистового грома огласили пустыню.  
      Мокрые, как губки в воде, Гелли и Нок стояли в ошеломлении, прижавшись спинами и затылками к стволу. Они задыхались. Ветер душил их; ему помогал ливень такой чудовищной щедрости, что лес быстро наполнился шумом ручьев, рожденных грозой. Гром и молния чередовались в диком соперничестве, заливающем землю приступами небесного грохота и непрерывным, режущим глаз, холодным, как дождь, светом, в дрожи которого деревья, казалось, шатаются и подскакивают.  
      — Гелли! — закричал Нок. — Мы все равно больше не смокнем. Выйдем на открытое место! Опасно стоять под деревом. Дайте руку, чтобы не потеряться; видите, что творится кругом.  
      Держа девушку за руку, ежеминутно расползаясь ногами в скользкой грязи и высматривая, пользуясь молнией, свободное от деревьев место, Нок одолел некоторое расстояние, но, убедившись, что далее лес становится гуще, остановился. Вдруг он заметил огненную неподвижную точку. Обойдя куст, мешавший внимательно рассмотреть это явление, Нок различил огромный переплет, находившийся так близко от него, что виден был огарок свечи, воткнутой в бутылку, поставленную на стол.  
      — Гелли! — сказал Нок, — окно, жилье, люди! Вот-вот! Смотрите!  
      Ее рука крепче оперлась о его руку, девушка радостно повторила:  
      — Окно, люди! Да, я вижу теперь. О Трумвик, бежим скорей под крышу! Ну!  
      Нок приуныл, охваченный сомнением. Именно жилья и людей следовало ему избегать в своем положении. Наконец, сам измученный и озябший, рассчитывая, что в подобной глуши мало шансов знать кому-либо его приметы и бегство, а в крайнем случае положившись на судьбу и револьвер, Нок сказал:  
      — Мы пойдем, только, ради бога, слушайтесь меня, Гелли: не объясняйте сами ничего, если вас спросят, как мы очутились здесь. Неизвестно, кто живет здесь; неизвестно также, поверят ли нам, если мы скажем правду, и не будет ли от этого неприятностей. Если это понадобится, я расскажу выдумку, более правдоподобную, чем истина; согласитесь, что истина нашего положения все-таки исключительная.  
      Гелли плохо понимала его; вода под платьем струилась по ее телу, поддерживая одно желание — скорее попасть в сухое, крытое место.  
      — Да, да, — поспешно сказала девушка, — но, пожалуйста, Трумвик, идем!..  
      Через минуту они стояли у низкой двери бревенчатой, без изгороди и двора хижины.  
      Нок потряс дверь.  
      — Кто стучит? — воскликнул голос за дверью.  
      — Застигнутые грозой, — сказал Нок, — они просят временно укрыть их.  
      — Что за дьявол! — с выражением изумления, даже пораженности, откликнулся голос. — Медор, иди-ка сюда, эй ты, лохматый лентяй!  
      Послышался хриплый, глухой лай.  
      Неизвестный, все еще не открывая дверей, спросил:  
      — Сколько вас?  
      — Двое.  
      — Кто же вы, наконец?  
      — Мужчина и женщина.  
      — Откуда здесь женщина, любезнейший?  
      — Скучно объясняться через дверь, — заявил Нок, — пустите, мы устали и смокли.  
      Наступила короткая тишина; затем обитатель хижины, внушительно стуча чем-то об пол, крикнул:  
      — Я вас пущу, но помните, что Медор без намордника, а в руках я держу двуствольный штуцер. Входите по одному; первой пусть войдет женщина.  
      Встревоженная Гелли еще раз за время этого разговора почувствовала силу обстоятельств, бросивших ее в необычайные, никогда не испытанные условия. Впрочем, она уже несколько притерпелась. Звякнул отодвигаемый засов, и в низком, грязном, но светлом помещении появилась совсем мокрая, тяжело дышащая, бледная, слегка оробевшая девушка, в шляпе, изуродованной и сбитой набок дождем. Гелли стояла в луже, мгновенно образовавшейся на полу от липнущей к ногам юбки. Затем появился Нок, в не менее жалком виде. Оба одновременно сказали «уф» и стали осматриваться.

V

      Хозяин хижины, оттянув собаку за ошейник от ног посетителей, на которых она обратила чрезмерное внимание и продолжала взволнованно ворчать, загнал ее двумя пинками в угол, где, покружившись и зевнув, волкодав лег, устремив беспокойные глаза на Гелли и Нока. Хозяин был в цветной шерстяной рубахе с засученными рукавами, плисовых штанах и войлочных туфлях. Длинные, жидкие волосы, веером спускаясь к плечам, придавали неизвестному вид бабий и неопрятный. Костлявый, невысокого роста, лет сорока — сорока пяти, человек этот, с румяным, неприятно открытым лицом, с маленькими ясными глазами, окруженными сеткой морщин и вздернутой верхней губой, открывавшей крепкие желтоватые зубы, производил смутное и мутное впечатление. В очаге, сложенном из дикого камня, горели дрова, над огнем кипел черный котелок, а над ним, шипя и лопаясь, пеклось что-то из теста. У засаленного бурого стола, кроме скамьи, торчали два табурета. Жалкое ложе в углу, отдаленно напоминающее постель, и осколок зеркала на гвозде доканчивали скудную меблировку. Под окнами с небольшим количеством необходимой посуды висели ружья, капканы, лыжи, сетки и штук пятнадцать клеток с певчими птицами, возбужденно голосившими свои нехитрые партии. На полу стоял граммофон в куче сваленных старых пластинок. Все это было достаточно густо испещрено птичьим пометом.  
      — Так вот, дорогие гости, — сказал, несколько нараспев и в нос, неизвестный, — садитесь, садитесь. Вас, вижу я, хорошо выстирало. Садитесь, грейтесь.  
      Гелли села к огню, выжимая рукава и подол юбки. Нок ограничился тем, что, сняв мокрый пиджак, сильно закрутил его над железным ведром и снова надел. Стекла окна, озаряемые молнией, звенели от грома.  
      — Давайте знакомиться, — добродушно продолжал хозяин, отставляя ружье в угол. — Ах, бедная барышня! Я предложу вам, господа, кофею. Вот вскипел котелок, — а, барышня?  
      Гелли поблагодарила очень сдержанно, но так тихо и ровно, что трудно было усомниться в ее желании съесть и выпить чего-нибудь. Злосчастная рыба давно потеряла свое подкрепляющее действие. Нок тоже был голоден.  
      Он сказал:  
      — Я заплачу. Есть и пить, правда, необходимо. Дайте нам то, что есть.  
      — Разве берут деньги в таком положении? — обиженно возразил охотник. — Чего там! Ешьте, пейте, отдыхайте — я всегда рад услужить чем могу.  
      Все это произносил он раздельно, открыто, радушно, как заученное. На столе появились хлеб, холодное мясо, горячая, с огня, масляная лепешка и котелок, полный густым кофе. Собирая все это, охотник тотчас же заговорил о себе. Больше всего он зарабатывает продажей птиц, обученных граммофоном всевозможным мелодиям. Он даже предложил показать, как птицы подражают музыке, и бросился было к граммофону, но удержался, покачав головой.  
      — Ах, я дурак, — сказал он, — молодые люди проголодались, а я вздумал забавлять их!  
      — Кстати, — он повернулся к Ноку и посмотрел на него в упор, — вверху тоже дожди?  
      — Мы едем снизу, — сказал Нок, — в Зурбагане отличная погода... Как вас зовут?  
      — Гутан.  
      — Милая, — нежно обратился Нок к девушке, — что, если Трумвик и Гелли попросят этого доброго человека указать где-нибудь поблизости сговорчивого священника? Как ты думаешь?  
      Гутан поставил кружку так осторожно, словно малейший стук мог заглушить ответ Гелли. Она сидела против Нока, рядом с охотником.  
      Девушка опустила глаза. Резкая бледность мгновенно изменила ее лицо. Ее руки дрожали, а голос был не совсем бодр, когда она, отбросив, наконец, опасное колебание, тихо сказала:  
      — Делай как знаешь.  
      Гроза стихала.  
      Гутан опустил глаза, затем отечески покачал головой.  
      — Конечно, я на вашей стороне, — сочувственно сказал он, — семейный деспотизм штука ужасная. Только как мне ни жаль вас, господа, а должен я сказать, что вы проехали. Деревня лежит ниже, верст десять назад. Там есть отличный священник, в полчаса он соединит вас и возьмет, честное слово, сущие пустяки...  
      — Что ж, беда не велика, — спокойно сказал Нок, — все, видите ли, вышло очень поспешно, толком расспросить было некого, и мы, купив лодку, отправились из Зурбагана, рассчитывая, что встретим же какое-нибудь селение. Виноваты, конечно, сумерки, а нам с Гелли много было о чем поговорить. Вот заговорились — и просмотрели деревню.  
      — Поедем, — сказала Гелли, вставая. — Дождя нет.  
      Нок пристально посмотрел в ее блестящие, замкнутые глаза.  
      — Ты волнуешься и торопишься, — медленно произнес он, — не беспокойся: все устроится. Садись.  
      Истинный смысл этой фразы казался непонятным Гутану и был очень недоверчиво встречен девушкой, однако ей не оставалось ничего другого, как сесть. Она постаралась улыбнуться.  
      Охотник подошел к очагу. Неторопливо поправив дрова, он, стоя спиной к Ноку, сказал:  
      — Смешные вы, господа, люди. Молодость, впрочем, имеет свои права. Скажу я вам вот что: опасайтесь подозрительных встреч. Два каторжника бежали на прошлой неделе из тюрьмы; одного поймали вблизи Варда, а другой...  
      Он повернулся как на пружинах, с приятной улыбкой на разгоревшемся румяном лице, и быстро, но непринужденно уселся за стол. Его прямой, неподвижный взгляд, обращенный прямо в лицо Нока, был бы оглушителен для слабой души, но молодой человек, захлебнувшись кофе, разразился таким кашлем, что побагровел и согнулся.  
      — ...другой, — продолжал охотник, терпеливо выждав конца припадка, — бродит в окрестностях, как я полагаю. О бегстве мошенников было, видите ли, напечатано в газете, и приметы их там указаны.  
      — Да? — весело сказала Гелли. — Но нас, знаете, грабить не стоит, мы почти без денег... Как называется эта желтая птичка?  
      — Это певчий дрозд, барышня. Премилое создание.  
      Нок рассмеялся.  
      — Гелли трудно напугать, милый Гутан! — вскричал он. — Что касается меня, я — совершенный фаталист во всем.  
      — Вы, может быть, правы, — согласился охотник. — Советую вам посмотреть лодку, — вода прибыла, лодку может умчать разливом.  
      — Да, правильно. — Нок встал. — Гелли, — громко и нежно сказал он, — я скоро вернусь. Ты же посмотри птичек, развлекись разговором. Вероятно, тебя угостят и граммофоном. Не беспокойся, я помню, где лодка, и не заплутаюсь.  
      Он вышел. Гелли знала, что этот человек ее не оставит. Острота положения пробудила в ней всю силу и мужественность ее сердца, способного замереть в испуге от словесной обиды, но твердого и бесстрашного в опасности. Она жалела и уважала своего спутника, потому что он на ее глазах боролся, не отступая до конца, как мог, с опасной судьбой.  
      Гутан подошел к двери, плотно прикрыл ее, говоря:  
      — Это певчие дрозды, барышня, чудаки, страшные обжоры, во-первых, и...  
      Но эта бесцельная болтовня, видимо, стесняла его. Подойдя к Гелли вплотную, он, перестав улыбаться, быстро и резко сказал:  
      — Будем вести дело начистоту, барышня. Клянусь, я вам желаю добра. Знаете ли вы, кто этот господин, с которым вам так хочется обвенчаться?  
      Даже чрезвычайное возбуждение с трудом удержало Гелли от улыбки, — так ясно было, что охотник поддался заблуждению. Впрочем, присутствие Гелли трудно было истолковать в ином смысле — ее наружность отвечала самому требовательному представлению о девушке хорошего круга.  
      — Мне кажется, да, знаю, — холодно ответила Гелли, вставая и выпрямляясь. — Объясните ваш истинный вопрос.  
      Гутан взял с полки газету, протянул Гелли истрепанный номер.  
      — Читайте здесь, барышня. Я знаю, что говорю.  
      Пропустив официальный заголовок объявления, а также то, что относилось ко второму каторжнику, Гелли прочла:  
      «...и Нок, двадцати пяти лет, среднего роста, правильного и крепкого сложения, волосы вьющиеся, рыжеватые, глаза карие; лицо смуглое, под левым ухом большое родимое пятно, величиной с боб; маленькие руки и ноги; брови короткие; других примет не имеет. Каждый, обнаруживший местонахождение указанных лиц или одного из них, обязан принять все меры к их задержанию или же, в случае невозможности этого, поставить местную власть в известность относительно поименованных преступников, за что будет выдана установленная законом награда».  
      Гелли машинально провела рукой по глазам. Прочитанное не было для нее новостью, но отнимало — и окончательно — самые смелые надежды на то, что она могла крупно, фантастически ошибиться.  
      Вздохнув, она возобновила игру.  
      — Боже мой! Какой ужас!  
      — Да, — с грубой торопливостью подхватил Гутан, не замечая, что отчаянное восклицание слишком подозрительно скоро прозвучало из уст любящей женщины. — Не мое дело допытываться, как он, и так скоро, обошел вас. Но вот с кем вы хотели связать судьбу.  
      — Я очень обязана вам, — сказала Гелли с чувством глубокого отвращения к этому человеку. Она, естественно, тяжело дышала; не зная, чем кончится мрачная история вечера, Гелли допускала всякие ужасы. — Как видите, я потрясена, растеряна. Что делать?  
      — Помогите задержать его, — сказал Гутан, — и, клянусь вам, я не только доставлю вас обратно в город, но я уделю еще четвертую часть награды. Молодые барышни любят принарядиться... — Он пренебрежительно окинул взглядом жалкий костюм Гелли. — Жизнь дорожает, а я хозяин своему слову!  
      Рука Гелли невольно качнулась по направлению к пышащей здоровьем щеке охотника, но девушка перемогла оскорбление, не изменившись в лице.  
      — Хорошо, согласна! — твердо произнесла она. — Я не умею прощать. Он скоро придет. Вы не боитесь, что отпустили его?  
      — Нет. Он ушел спокойно. Даже если и догадывается, что маска сорвана, — одного меня он, конечно, не побоится. У него — револьвер. Оттянутый карман в мокром пиджаке заметно выдает форму предмета. Я должен его связать, схватить его сзади. Вы подведите его к клетке и займите какой-нибудь птицей. В это время возьмите у него из кармана револьвер. Иначе, — Гутан угрожающе понизил голос, — я осрамлю вас на весь город.  
      — Хорошо, — едва слышно сказала Гели. Она говорила и двигалась как бы в ярком сне, где все решения мгновенны, полны кошмарной тоски и тайны. — Да, вы сообразили хорошо. Я так и сделаю.  
      — Улыбайтесь же! Улыбайтесь! — вдруг крикнул Гутан. — Вы побелели! Он идет, слышите?!  
      Звук медленных, за дверью, шагов, приближающихся как бы в раздумье, был слышен и Гелли. Она придвинулась к двери. Нок, широко распахнув дверь, прежде всего посмотрел на девушку.  
      — Нок, — громко сказала она; охотник не догадался сразу, что внезапная перемена имени выдает положение, но беглец понял. Револьвер был уже в его руке. Это произошло так быстро, что, поспешно переступая порог, чтобы не видеть свалки, Гелли успела только проговорить: — Защищайтесь, — это я хотела сказать.  
      Последним воспоминанием ее были два мгновенно преображенных мужских лица.  
      Она отбежала шагов десять в мокрую тьму кустов и остановилась, слушая всем своим существом. Неистовый лай; выстрел; второй, третий; два крика; сердце Гелли стучало, как швейная машина в полном ходу: в полуоткрытую дверь выбрасывались тени, быстро меняющие место и очертания; спустя несколько секунд звонко вылетело наружу оконное стекло и наступила несомненная, но удивительная в такой момент тишина. Наконец кто-то, черный от падающего сзади света, вышел из хижины.  
      — Гелли! — тихо позвал Нок.  
      — Я здесь.  
      — Пойдемте. — Он хрипло дышал, зажимая ладонью нижнюю, разбитую губу.  
      — Вы... убили?  
      — Собаку.  
      — А тот?  
      — Я связал его. Он сильнее меня, но мне посчастливилось запутать его в скамейках и клетках. Там все опрокинуто. Я также заткнул ему рот, пригрозив пулей, если он не согласится на это... Самому разжимать рот...  
      — О, бросьте это! — брезгливо сказала Гелли.  
      Так тяжело, как теперь, ей не было еще никогда. На долгие часы померкла вся казовая сторона жизни. Лесная тьма, борьба, кровь, предательство, жесткость, трусость и грубость подарили новую тень молодой душе Гелли. Уму было все ясно и непреложно, а сердцу — противно.  
      Нок, приподняв лодку, освободил ее этим от дождевой воды и столкнул на воду. Они двигались в полной тьме. Вода сильно поднялась, более внятный шум ускоренного течения звучал тревожно и властно.  
      Несколькими ударами весел Нок вывел лодку на середину реки и приналег в гребле. Тогда, почувствовав, что связанный и застреленная собака отрезаны, наконец, от нее расстоянием и водой, Гелли заплакала. Иного выхода не было ее потрясенным нервам; она не могла ни гневаться, ни быть безучастной к только что происшедшему, — особенно теперь, когда от нее не требовалось более того крайнего самообладания, какое пришлось выказать у Гутана.  
      — Ради бога, не плачьте, Гелли! — сказал, сильно страдая, Нок. — Я виноват, я один.  
      Гелли, чувствуя, что голос сорвется, молчала. Слезы утихли. Она ответила:  
      — Мне можно было сказать все, все сразу. Мне можно довериться, или вы не понимаете этого? Вероятно, я не пустила бы вас в эту проклятую хижину.  
      — Да, но я теперь только узнал вас, — с грустной прямолинейностью сообщил Нок. — Моя сказка о священнике и браке не помогла: он знал, кто я. А помогла бы... Как и что сказал вам Гутан, Гелли?  
      Гелли коротко передала главное, умолчав о четверти награды за поимку.  
      «Нет, ты не стоишь этого, и я тебе не скажу, — подумала она, но тут же отечески пожалела уныло молчавшего Нока. — Вот и присмирел».  
      И Гелли рассмеялась сквозь необсохшие слезы.  
      — Что вы? — испуганно спросил Нок.  
      — Ничего; это — нервное.  
      — Завтра утром вы будете дома, Гелли. Течение хорошо мчит нас. — Помолчав, он решительно спросил: — Так вы догадались?  
      — Мужчине вы не рискнули бы рассказать историю с вашим приятелем?! Пока вы спали, у меня вначале было смутное подозрение. Голое почти. Затем я долго бродила по берегу; купалась, чтобы стряхнуть усталость. Я вернулась; вы спали, и здесь, почему-то снова увидев, как вы спите, так странно и как бы привычно закрыв пиджаком голову, я сразу сказала себе: «Его приятель — он сам»; плохим другом были вы себе, Нок! И, право, за эти две ночи я постарела не на один год.  
      — Вы поддержали меня, — сказал Нок, — хорошо, по-человечески поддержали. Такой поддержки я не встречал.  
      — А другие?  
      — Другие? Вот...  
      Он начал рассказ о жизни. Возбуждение чувств помогло памяти. Не желая трогать всего, он остановился на детстве, работе, мрачном своем романе и каторге. Его мать умерла скоро после его рождения, отец бил и тридцать раз выгонял его из дому, но, напиваясь, прощал. Неоконченный университет, работа в транспортной конторе и встреча в парке при подкупающих звуках оркестра с прекрасной молодой женщиной были переданы Ноком весьма сжато; он хотел рассказать главное — историю отношений с Темезой. Насколько поняла Гелли, — крайняя идеализация Ноком Темезы и была причиной несчастья. Он слепо воображал, что она совершенна, как произведение гения, — так сильно и пылко хотелось ему сразу обрести все, чем безыскусственные, но ненасытные души наделяют образ любимой.  
      Но он-то был для своей избранницы всего пятой по счету прихотью. Благоговейная любовь Нока сначала приподняла ее — немного, затем надоела. Когда понадобилось бежать от терпеливого, но раздраженного в конце концов мужа с новым любовником, Темеза — отчасти искренне, отчасти из подражания героиням уголовных романов — стала в позу обольстительной, но преступной натуры. К тому же весьма крупная сумма, добытая Ноком ценой преступления, стоила, в ее глазах, безвыездного житья за границей.  
      Нок был так подавлен и ошеломлен вероломством скрывшейся от него — к новой любви — Темезы, что остался глубоко равнодушным к аресту и суду. Лишь впоследствии, два года спустя, в удушливом каторжном застенке он понял, к чему пришел.  
      — Что вы намерены делать? — спросила Гелли. — Вам хочется разыскать ее?  
      — Зачем?  
      Она молчала.  
      Нок сказал:  
      — Никакая любовь не выдержит такого огня. Теперь, если удастся, я переплыву океан. Усните.  
      — Какой сон!  
      «Однако я ведь ничего не могу для него сделать, — огорченно думала Гелли. — Может быть, в городе... но что? Прятать? Ему нужно покинуть Зурбаган как можно скорее. В таком случае я выпрошу у отца денег».  
      Она успокоилась.  
      — Нок, — равнодушно сказала девушка, — вы зайдете со мной к нам?  
      — Нет, — твердо сказал он, — и даже больше. Я высажу вас у станции, а сам поеду немного дальше.  
      Но — мысленно — он зашел к ней. Это взволновало и рассердило его. Нок смолк, умолкла и девушка. Оба, подавленные пережитым и высказанным, находились в том состоянии свободного, невынужденного молчания, когда родственность настроений заменяет слова.  
      Когда в бледном рассвете, насквозь продрогшая, с синевой вокруг глаз, пошатывающаяся от слабости, Гелли услышала отрывистый свисток паровоза, — звук этот показался ей замечательным по силе и красоте. Она ободрилась, порозовела. Низкий слева берег был ровным лугом; невдалеке от реки виднелись черепичные станционные крыши.  
      Нок высадил Гелли.  
      — Ну вот, — угрюмо сказал он, — вы через час дома... Все.  
      Вдруг он вспомнил свой сон под явором, но не это предстояло ему.  
      — Так мы расстаемся, Нок? — сердечно спросила Гелли. — Слушайте, — она, достав карандаш и покоробленную дождем записную книжку, поспешно исписала листок и протянула его Ноку. — Это мой адрес. В крайнем случае — запомните это. Поверьте этому — я помогу вам.  
      Она подала руку.  
      — Прощайте, Гелли, — сказал Нок, — и... простите меня.  
      Она улыбнулась, примиренно кивнула головой и отошла. Но часть ее осталась в неуклюжей рыбачьей лодке, и эта-то часть заставила Гелли обернуться через немного шагов. Не зная, какой более крепкий привет оставить покинутому, она подняла обе руки, быстро вытянув их, ладонями вперед, к Ноку. Затем, полная противоречивых, смутных мыслей, девушка быстро направилась к станции, и скоро легкая женская фигура скрылась в зеленых волнах луга.  
      Нок прочитал адрес: «Трамвайная ул., 14—16».  
      — Так, — сказал он, разрывая бумажку, — ты не подумала даже, как предосудительно оставлять в моих руках адрес. Но теперь никто не прочитает его. И я к тебе не приду, потому что... о, Господи!.. люблю!..

VI

      Нок рассчитывал миновать станцию, но когда стемнело и он направился в Зурбаган, предварительно утопив лодку, голодное изнурение двух суток настолько помрачило инстинкт самосохранения, что он, соблазненный полосой света станционного фонаря, тупо и вместе с тем радостно повернул к нему. Рассудок не колебался, он строго кричал об опасности, но воспоминание о Гелли, безотносительно к ее приглашению, почему-то явилось ободряющим, как будто лишь знать ее было само по себе защитой и утешением — не против внешнего, но того внутреннего, самого оскорбительного, что неизменно ранит даже самые крепкие души в столкновении их с насилием.  
      Косой отсвет фонаря напоминал о жилом месте и, главное, об еде. От крайнего угла здания отделяли кусты пространством сорока — пятидесяти шагов. На смутно различаемом перроне двигались тени. Нок не хотел идти в здание станции; на такое безумство — еще в нормальном, сравнительно, состоянии — он не был способен, но стремился, побродив меж запасных путей, найти будку или сторожку, с человеком, настолько заработавшимся и прозаическим, который, по недалекости и добродушию, приняв беглеца за обыкновенного городского бродягу, даст за деньги перекусить.  
      Нок пересек главную линию холодно блестящих рельс саженях в десяти от перрона и, нырнув под запасный поезд, очутился в тесной улице товарных вагонов. Они тянулись вправо и влево; нельзя было угадать в темноте, где концы этих нагромождений. В любом направлении — окажись здесь десятки вагонов — Нока могла ждать неприятная или роковая встреча. Он пролез еще под одним составом и снова, выпрямившись, увидел неподвижный глухой поезд. По-видимому, тут, на запасных путях, стояло их множество. Отдохнув, Нок пополз дальше. Почти не разгибаясь даже там, где по пути оказывались тормозные площадки, — так болела спина, — он выбрался в конце концов на пустое, в широком расхождении рельс, место, здесь, близко перед собой, увидел он маленькую, без дверей, будку, внутри ее горел свечной огарок; сторожа не было; над грубой койкой, на полках, лежал завернутый в тряпку хлеб рядом с бутылкой молока и жестянкой с маслом. Нок осмотрелся.  
      Действительно, кругом никого не было; ни звука, ни вздоха не слышалось в этом уединенном месте, но неотразимое ощущение опасности повисло над душой беглеца, когда, решившись взять хлеб, он протянул, наконец, осторожную руку. Ему казалось, что первый же его шаг прочь от будки обнаружит притаившихся наблюдателей. Однако тряпка из-под хлеба упала на пол без сотрясения окружающего, и Нок уходил спокойно, с пустой, легкой, шумной от напряжения головой, едва удерживаясь, чтобы тотчас же не набить рот влажным мякишем. Он шел по направлению к Зурбагану, удаляясь от станции. Справа тянулся ряд угрюмых вагонов, слева — песчаная дорожка и за ней выступы палисадов; верхи деревьев уныло чернели в полутьме неба.  
      Внезапно, как во сне, из-за вагона упал на песок, быстро побежав к Ноку, огонь ручного фонаря; некто, остановившись, хмуро спросил:  
      — Зачем вы ходите здесь?  
      Нок отшатнулся.  
      — Я... — сказал он и, вдруг потеряв самообладание, зная, что растерялся, вскочил на первую попавшуюся подножку. Нога Нока, крепко и молча схваченная внизу сильной рукой, выдернулась быстрее щелчка.  
      — Стой, стой! — оглушительно крикнул человек с фонарем.  
      Нок спрыгнул между вагонов. Затем он помнил только, что, вскакивая, пролезая, толкаясь коленями и плечами о рельсы и цепи, спрыгивал и бежал в предательски тесных местах, пьяный от страха и тьмы, потеряв хлеб и шляпу. Вскочив на грузовую платформу, он увидел, как впереди скользнул вниз прыгающий красный фонарь, за ним второй, третий; сзади, куда обернулся Нок, тоже прыгали с тормозных площадок настойчивые красные фонари, шаря и светя во всех направлениях.  
      Нок тихо скользнул вниз, под платформу. Единственным его спасением в этом прямолинейном лесу огромных, глухих ящиков было держаться одного направления — куда бы оно ни вело, — кружиться и путаться означало гибель. Сжав зубы, с замокшей душой и судорожно хлопающим сердцем, прополз он под несколькими рядами вагонов, бесшумно и быстро, среди криков, скрипа шагов и мелькающего по рельсам света. В одном месте Нок толкнулся головой о нижний край вагона; от силы удара молодой человек чуть не свалился навзничь, но, пересилив боль, пополз дальше. Боль, одолев страх, прояснила сознание. Им, видимо, руководил инстинкт направления, иногда действующий — в случаях обострения чувств. Шатаясь, Нок встал на свободном месте — то была покинутая им в момент встречи фонаря песчаная дорожка, окаймленная палисадами; перепрыгнув забор, Нок мчался по садовым кустам и клумбам к следующему забору. За забором и небольшим пустырем лежал лес, примыкающий к Зурбагану; Нок бросился в защиту деревьев, как в родной дом.  
      Бежать в точном смысле этого слова не было никакой возможности среди тонущих во тьме преград — стволов, сплетений чащи, бурелома и ям. Нок падал, вставал, кидался вперед, опять падал, но скорость его отчаянных движений, в их совокупности, равнялась, пожалуй, бегу. Единственной его целью — пока — было отдалиться, как можно недостижимее, от преследователей. Однако через пятнадцать — двадцать минут наступила реакция. Тело отказалось работать, оно было разбито и исцарапано. Ноги согнулись сами, и обожженные легкие дергались болезненными усилиями, почти не хватая воздуха. Покорность изнеможению заставила Нока сесть; сев, он уронил голову на руки и стих; невольная слабость вздоха несколько облегчила нервы, подавленные молчанием.  
      «Гелли теперь дома, — подумал он, — да, она уже давно дома. У нее хорошо, тепло. Там светлые комнаты; отец, сестра; лампа, книга, картина. Милая Гелли! ты, может быть, думаешь обо мне. Она приглашала меня зайти. Дурак! Я сам буду там; я хочу быть там. Хочу тепла и света; страшно, нестерпимо хочу! Не вешай голову, Нок, приходи в город и отыщи ад... Впрочем, я разорвал его...»  
      Он вздрогнул, вспомнив об этом, но, покачав головой, застыл в горькой радости и темном покое. Он был бы настоящим преступником, вздумав идти к этой не виноватой ни в чьей судьбе девушке. За что она должна возиться с бродягой, рискуя сплетнями, допросами, обидой? Он снова утвердился в своей шаткой, болезненной озлобленности против всех, кроме Гелли, бывшей опять-таки, по крайнему его мнению, диковинным, совершенно фантастическим исключением. Теперь он жалел, что прочитал адрес, но, попытавшись вспомнить его, убедился в полной неспособности памяти воспроизвести пару легко начертанных строк. Он смутился, но тотчас дал себе за это пощечину. Все оборвалось, исчез всякий след к прошлому — и дом, и улица, и номер квартиры — от этого страдало самолюбие Нока. Он все-таки хотел сам не пойти; теперь воля его была ни при чем; им распорядилась, без принуждения, его память. Она же сделала его одиноким; он как бы проснулся. Гелли и Зурбаган внезапно отодвинулись на тысячу верст; город, пожалуй, скоро вернулся на свое место, но это был уже не тот город.  
      Когда возбуждение улеглось, Нок вспомнил о потерянном хлебе. К удивлению беглеца, это воспоминание не вызвало приступа голода; но озноб и сухость во рту, принятые им как случайные последствия треволнений, — усилились. Колени ударяли о подбородок, а руки, сложенные в обхват колен, судорожно сводило лихорадочными, неудержимыми спазмами.  
      — Я не должен спать, — сказал Нок, — если засну, то завтра, совсем обессилевшего, меня может поймать не только здоровенный мужчина в мундире, а простая кошка.  
      Он встал, спросил у леса: «В какую же сторону я пойду, господа?» — и прислонился головой к дереву. Так, трясясь, выждал он момента, когда озноб сменился жаром; легкое возбуждение казалось наркотически приятным, как кофе или чай после работы. В это время со стороны Зурбагана всплыли из глубины молчания — тишины и шорохов леса — фабричные гудки ночной смены. Нок тронулся в разнотонно-певучую сторону. Высокие, нервные, и средние, покладистые, гудки давно уже стихли, но долго еще держался низкий, как рев бычьей страсти, вой пушечного завода, и Нок слабо кивнул ему.  
      — Ты, старина, не смолкай, — сказал он, — мне говорить не с кем и — помилуй Бог — идти не к кому...  
      Но стих и этот гудок.  
      Нок машинально, придерживаясь одного направления, брел, разговаривая вслух то с Гутаном, то с Гелли, то с воображаемым, неизвестным спутником, шагающим рядом. Временами он принимался петь арестантские песни или подражать звукам разных предметов, говоря стеклу: «ззинь!», дереву — «туп!», камню — «кокк!», но все это без намерения развлечься. Сравнительно скоро после того, как залился первый гудок, он очутился на ровном, просторном месте и сквозь дремотную возбужденность жара понял, что близок к городу.  
      Потому, что нащупывать вокруг было более нечего — ни стволов, ни кустов, Нок впал в апатию. Сев, он растянулся и задремал; затем погрузился в больной сон и проспал около двух часов. Сверкающий дым труб, солнце и постройки городского предместья предстали его глазам, когда, подняв голову, вошел он ослабевшей душой в яркий свет дня, требующего настойчивости и осторожности, сил и трудов. Как показалось ему, — он окреп; встав, Нок вырвал у пиджака подкладку и наскоро устроил из кусков черной материи род головного убора — вернее, повязку, о форме и удачности которой ему не хотелось думать.  
      Приближаясь к городу, Нок у первого переулка внезапно остановился с полным соображением того, что на городских улицах показываться опасно. Однако идти назад не было смысла. Покачав головой, поджав губы и улыбнувшись, он открыл дверь первого попавшегося трактира, сел и попросил есть.  
      — Еще папирос, — прибавил он, механически водя ложкой по немытой тарелке с супом.  
      Подняв глаза, он с беспокойством и тоской увидел, что глаза всех посетителей, слуг и хозяина молчаливо обращены на него. Он с трудом закурил, с трудом проглотил ложку соленого, горячего супа. Ложку и папиросу он, не замечая этого, держал в одной руке. Есть ему не хотелось. Положив на стол серебряную монету, Нок сказал:  
      — Не обращайте, господа, никакого внимания. Рано я вышел из больницы, вот что.  
      Выйдя на улицу, он очень тихо, бесцельно, сосредоточенно думал о преимуществах пишущей машины «Ундервуд» перед такой же «Ремингтон», пересек несколько пустырей, усыпанных угольным и кирпичным щебнем, и поднялся по старым каменным лестницам Ангрской дороги на мост, а оттуда прошел к улицам, ведущим в центр города. Здесь, неподалеку от площади Светлый Шар, он посидел несколько минут на бульварной скамейке, соображая, стоит ли идти в порт днем, дабы спрятаться в угольном ящике одного из пароходов, готовых к отплытию. Но порт, как и вокзал, разумеется, набит сыщиками; Нат Пинкертон расплодил их по всему свету в тройном против обычного количестве.  
      «Опасно двигаться; опасно сидеть; все опасно после Гутана и вчерашней скачки с препятствиями, — сказал Нок, тупо рассматривая прохожих, в свою очередь даривших его взглядом минутного любопытства благодаря черной повязке на голове. В остальном он не отличался от присущего большому городу типа бродяг. Вдруг он почувствовал, что упадет, если посидит еще хоть минуту. Он встал, маленькими неверными шагами одолел приличное расстояние от площади до Центрального Рынка и сел снова, на краю маленького фонтана, среди детей, прежде всего солидно положивших в рот пальцы, чтобы достойным образом воззриться на «дядю», а затем презрительно возвратившихся к своей песочной стряпне.  
      Здесь на Нока бросился человек.  
      Он выскочил неизвестно откуда, может быть, он шел по пятам, присматриваясь к спрятанной в рукаве фотографии. Он был в черном костюме, черном галстуке и черной шаблонной «джонке».  
      — Стой! — и крикнул и сказал он.  
      Нок побежал, и это были последние его силы, которые тратил он, — вне себя, — содрогнувшись в тоске и ужасе.  
      За ним гнались, гнались так же быстро, как бежал он, кидаясь от угла к углу улиц, сворачивая и увертываясь, как безумный. И вдруг, с чугунной дощечки одного из домов, сорвавшись, ударила его в сердце надпись забытой улицы, где жила Гелли. Теперь казалось — он всегда помнил номера квартиры и дома. Лишенный способности рассуждать, с ощущением счастья, которое вот-вот оторвут, вырвут из рук, а самого его отбросят далеко назад, в тяжелую тьму страдания, Нок повернулся и разрядил весь револьвер в побежавших назад людей. Улица шла вниз, крутыми зелеными поворотами, узкая, как труба. Увидев спасительный номер, Нок остановился на четвертом этаже крутой лестницы, сначала позвонил, а затем рванул дверь, и ее быстро открыли. Потом он увидел Гелли, а она — жалкое подобие человека, хватающегося за стену и грудь.  
      — Гелли, милая Гелли! — сказал он, падая к ее ногам. — Я... весь; все тут!  
      Последним воспоминанием его были странные, прямые, доверчивые глаза — с выражением защиты и жалости.  
      — Анна! — сказала Гелли сестре, смотревшей на бесчувственного человека с высоты своих пятнадцати лет, причастных отныне строгой и опасной тайне, — запри дверь; позови садовника и Филиппа. Немедленно сейчас же перенесем его черным ходом, через сад к доктору. Потом позвони дяде.  
      Минут через пятнадцать указания почтенных прохожих надоумили полицию позвонить в эту квартиру. Чины исполнительной власти застали оживленную игру в четыре руки двух девушек. Обе фальшивили, были несколько бледны и кратки в ответах. Впрочем, визит полиции не вызывает улыбки.  
      — Мы не слыхали, бежал кто по лестнице или нет, — мягко сказала Гелли.  
      И кому в голову пришло бы спросить барышню почтенной семьи:  
      — Не вы ли спрятали каторжника?  
      С сожалением оканчиваем мы эту историю, тем более что далее она лучше и интереснее. Но дальнейшее составило бы материал для целого романа, а не коротенькой повести. А главное вот что. Нок благополучно переплыл море и там, за границей, через год обвенчался с Гелли. Они жили долго и умерли в один день.

**Симашко Морис Давидович**

**ИСКУШЕНИЕ ФРАГИ**

Начало формы

      Нет, он был совсем не такой... Голова - вполоборота, сжатые губы... Да, он был горд, но никогда не держал так голову. Ведь он был очень умен.   
      А каменная властность в очертании губ... Он знал свою власть над людьми. Но это была не та власть, от которой так презрительно и брезгливо складываются губы.   
      И непреклонность - полная, не признающая возражений... Разве мог быть таким поэт, который всегда мучается, сомневается? А он был настоящим поэтом. Иначе не пели бы уже двести лет его песни. …  
 Глаза его стали обычными, как у всех сидящих на огромном гокленском ковре в доме Сеид-хана. Сейчас поэт уже не был тем глупцом, которому так много доставалось в молодости. Долгие годы гонений и скитаний сделали его мудрым. Что ж, таков мир, где сильный гнетет слабого. Человек рождается для страданий. Так было и будет. Как он не мог понять такой простой мудрости жизни! Ведь многие его друзья поняли это уже в двадцать лет, другие к тридцати, а ему...   
      Ему скоро пятьдесят. И песни поэта давно полны тем, за что через много лет умные осторожные люди назовут его творчество "противоречивым".   
      Поэт снова обвел взглядом сидящих. Сейчас они уже не казались ему такими плохими. Видно, они лучше его понимают смысл жизни. Где-то в глубине души поэту было приятно, что его пригласили на совет правителей.   
      Он быстро отогнал от себя эту мысль и с достоинством выпрямился. Тонкие губы наблюдавшего за ним Мухамеда скривились в нехорошей усмешке...   
      Хивинский хан обрушил свой гнев на йомудов. Так было всегда, когда они за воду не платили кровью. Йомуды снова не дали всадников для большой ханской войны на Севере. Тогда хан закрыл каналы. Йомуды открыли воду силой, и хан наказал их. Все хивинское войско прошло по их землям, и сейчас живые бегут сюда. По дороге хивинцы напали и на балханских теке. Хан сказал, чтобы между Бешеной рекой - Джейхуном и землями шаха не осталось ничего живого.   
      Это рассказывал Дурды-хан, и голос его был спокойным. Он понимал хана Хивы.   
      Как принять беглецов? Голодные и жадные, они ничего не принесут с собой. И, пройдя Черные Пески, остановятся ли хивинские всадники на виду у Хорасана?   
      Каждый говорил, наклонив голову к Сеид-хану... Пусть идут на Мангышлак. Пропустить, пусть идут в земли курдов. А хан Хивы не посмеет тронуть людей, которые служат льву Ирана. Молчал лишь Дурды-хан. Поэт слышал, что в горах уже тайно перехвачены две сотни номудских кибиток. Снова на невольничьих рынках Измира и Дамаска появятся бритые туркменские головы.   
      Жизнь темная, жуткая, и не видно в ней просвета. Аллах проклял эту землю. И поэту можно петь лишь о воле рока. Нечего волновать людей несбыточными мечтами. Все на свете преходяще. Рабом или шахом родится человек - его ждет могила. Она ждет и поэта. Все чаще думал он теперь о смерти, и губы его шептали красивые и безнадежные слова.   
      Такие слова из века в век повторяли здешние поэты. А когда им становилось невыносимо тяжело, они начинали петь о радости минуты, о счастье быть с любимой, пить запретное вино и погружаться в мрак пьяного небытия...   
      Сеид-хан по установившемуся обычаю выслушал всех. Потом принял решение. Да, пусть идут куда хотят. Не пускать йомудов в гокленские селения, под страхом смерти не давать им ни воды, ни лошадей. Объявить об этом во всех аулах. Пусть видит хан Хивы, что нет у нас с ними ничего общего.   
      Сеид-хан не успел закончить, как его перебили.   
      -- О, мудрый повелитель! -- вскричал Караджа-шахир.   
      Поэт, уйдя в свои думы, не заметил его прихода. Круглый, гладкий, с жирным холеным лицом и черными глазами, Караджа-шахир был похож на бойкого преуспевающего купца из Тавриза. Он и занимался самой постыдной торговлей -- торговлей словом. Поэт помнил его еще красивым мальчиком, который умел петь хорошие песни. Но Караджа-шахир еще в пятнадцать лет понял мудрость жизни, которую до седых волос в бороде не мог понять он. Сейчас у Караджа-шахира три дома в городе и добрых пять или шесть тысяч овец в горах. Правда, он совсем разучился владеть словом. Но зачем это ему: за кусок хлеба и крышу над головой сочиняют для него хорошие песни другие люди. И на советы правителей и вождей родов его зовут уже много лет. А поэта, чье слово знают в Хиве и в Багдаде, позвали только сейчас.   
      Почему же они наконец позвали его? Нет, неправда, он ведь, как и раньше, пишет прекрасные стихи. Но писать почему-то стало труднее, он долго не может найти слово, злится на себя, на всех. Все чаще он уже не ищет этого слова, а пишет обычное.   
      Может быть, это старость. Но не такой уж он старый. Или... мешает, что он понял наконец простую мудрость жизни? Рано или поздно ее начинают понимать все, даже поэты... Почему же его стал звать Сеид-хан на свои советы?!   
      Ели плов из розового ханского риса. Потом слушали песни Караджа-шахира. В них было много одинаковых женщин с тугими толстыми ногами, розовым телом и длинными змеями-косами. Пел он, смачно причмокивая, как будто расхваливал этих женщин для продажи. У старого Хошгельды-хана изо рта капали слюни;   
      Сеид-хан на прощание милостиво пошутил с поэтом. И поэту снова стало приятно...

Он шел к своему дому и думал об этом. Да, ему стало приятно. Как все же слаб человек!   
      На улицах было людно. Город готовился к завтрашнему базару: ехали груженые арбы, гнали скот. У городского водоема дорогу поэту пересекла красивая армянка с кувшином на голове. Он посмотрел ей вслед и вздохнул. Раньше, видя красивую женщину, он расправлял плечи и ловил ее взгляд. Ему нравилась жизнь. Он считал, что аллах поступил мудро, создав ее такой. Теперь при виде женщины он как-то сразу ощущал грузность своего тела, седину бороды и стыдился самого себя. В молодости он привык к быстрым женским взглядам, внезапно вспыхивающему румянцу на их лицах, ответным улыбкам...   
      Пройдя вверх по улице, поэт остановился передохнуть. Тяжело поднималась и опускалась грудь, сжималось и ныло сердце. Уже два или три года чувствовал он эту тупую боль в груди.   
      Жил он на окраине, в ауле, где всегда селились туркмены. Узкие, пыльные улицы города не нравились им. Там жили тюркские, иранские, армянские купцы, сборщики пошлин, писцы, менялы. Лишь совсем обедневшие или изгнанные из своих родов туркмены шли в город. Сдавленные высокими дувалами, оглушенные непривычным шумом и суетой, они быстро чахли, начинали кашлять кровью и умирали, тоскуя по тишине песков.   
      Зато здесь, на окраине, им было легче. Отсюда видны были голые красные горы, а через ущелья ветер приносил родные запахи емшана, горькой колючки и раскаленного песка. Да и дома здесь строились дальше друг от друга. Они были сделаны из вязкой каменной глины, с узкими щелями для света. Но возле каждого дома стояла крытая шерстью легкая кибитка. Огромные желтые собаки с квадратными мордами стерегли покой семьи.   
      Каждую осень кибитки разбирали, грузили на верблюдов и уходили на север, в Черные Пески. Оставались лишь самые бедные в роду, кому не нужно было заботиться об овцах и верблюдах. Они уже навеки связали себя с землей и копались в ней, как черные жуки.   
      Таким был сосед поэта -- Сахатдурды. Он и сейчас работал возле своего дома. Поэт остановился и долго смотрел на земледельца. Стоя по колено в воде, тот выбрасывал лопатой мокрую серую землю, перекрывая в нужных местах арык... Это был совсем другой мир, ничем не похожий на мир Сеид-хана. Сахатдурды нисколько не интересовало, кто будет правителем города: Какабай-ага или Сапарли-хан, который хочет занять его место. Он знал только, что, когда едет правитель, лучше убираться с дороги.   
      Но при этом он родственно связан с Ходжамурад-агой. Ведь Сахатдурды тоже принадлежит к этому святому роду. Но он не купец и не ишан. У него нет даже лошади. Когда надо защищать интересы рода, ему дают коня богатые родственники. Но скоро сосед выбьется из беды. Сам Ходжамурад-ага берет его дочь в жены.   
      А вот и девочка. Ловкими движениями выгребает она горячую золу из тамдыра. Как красивы и быстры ее движения! Поэт и не заметил, как выросла дочь соседа. Она повернулась и глянула в его сторону такими глубокими черными глазами, что страшно смотреть в них. И какая-то неженская смелость в ее взгляде. Нет, не у газели такие глаза. У газели они красивые, но пугливые и бездумные.   
      Уже много лет самых красивых женщин забирает себе род Ходжамурад. И никогда еще ни одна женщина не ушла из этого святого рода.   
      Девушка прошла к дому, и он заметил на шее у нее кольцо из серебряной проволоки. Значит, она уже обручена. Никто, кроме Ходжамурад-аги, не станет теперь ее мужем...

…   Это случилось внезапно, как удар грома в горах. Был праздничный солнечный день. Спокойным, размеренным шагом шел поэт к дому Сеид-хана. В руках его был тугой свиток со стихами. А другой, поменьше, в котором славился хан -- правитель людей, он спрятал под халатом. Но достать его можно было сразу.   
      И вдруг наступила тишина. Такая тишина, что перестало биться сердце. Поэт медленно повернулся и увидел их... Они ехали посередине улицы, ряд за рядом. Осторожно опускались в мягкую дорожную пыль конские копыта. И на каждой лошади, по одному и по двое, сидели мальчики без рук.   
      Это было до того противоестественно, что крик замер в горле. А они все ехали, безмолвные йомудские мальчики. Там, где у всех кончаются запястья, у них краснели клочья ваты. Всадники хана Хивы обрубили им руки, чтобы никогда не смогли они держать кривые сабли.   
      Сколько их было: десять или сто?.. Кто мог пересчитать их! Ему казалось, что всем детям на земле отрубили руки, и они едут сейчас перед ним по этой пыльной улице нескончаемыми рядами... Как всегда, высоко несли свои головы измученные до смерти благородные кони. А дети сидели на них тихо, с сухими, широко открытыми глазами...   
      Вел их высокий, совсем юный текинец. Он тихо ехал впереди на черном ахалском коне. Красный полосатый халат его сверху донизу вспороли страшные сабельные удары. Он весь был залит кровью, своей и чужой. В крови было лицо, и даже белый высокий тельпек был в красных пятнах. Но ехал он ровно и спокойно. Только горели черные глаза.   
      Один из всего рода отбился он от хивинских всадников. На старом заброшенном колодце нашел умирающих детей, перевязал их раны и повел за собой. По дороге к ним пристало несколько уцелевших от хивинцев човдурских и текинских семей. Днем они лежали в горячей пыли барханов. Когда становилось темно, текинец по очереди усаживал мальчиков на коней. Ночь за ночью в призрачном свете луны двигались через Черные Пески скорбные молчаливые тени. И сейчас они пришли к людям...   
      Молча стояли люди вдоль дороги. И ни одна рука не притронулась к сердцу, чтобы произнести слова приглашения. Они знали, что значит нарушить приказ наместника Каджаров.   
      Вот дрогнул и зашатался конь, на котором сидел безрукий мальчик. Другие лошади остановились. Они беспокойно поводили ушами, не понимая, что происходит. Лошади не помнили случая, чтобы после тяжелой дороги в песках их не поили и не кормили в зеленых селениях. Лишь безрукие дети ничему не удивлялись и напряженно смотрели куда-то вдаль.   
      Как будто легкий ветер прошел по толпе. Сотни твердых мужских рук, не спросясь разума, потянулись к падающему калеке - ребенку. Но тут же рванулись обратно:   
      каждый вспомнил, что рядом, за спиной, стоят свои дети. Прямо перед людьми горячили свежих, сытых коней Сеид-хан и его гости. С праздничного тоя прискакали они сюда, прослышав об этих мальчиках. В высоких бархатных седлах сидели маленький Дурды-хан, налитый тяжелой кровью огромный Какабай, синегубый старый Хош-гельды-хан...   
      Лошади постояли и медленно тронулись с места. В душной тишине едва слышно захлопали мягкие удары копыт по теплой пыли. Падающая лошадь последними отчаянными усилиями пыталась оторвать колени от земли. Она билась на пыльной дороге, и в кротких безумных глазах ее стояли слезы.   
      И вдруг прямо через дорогу прошел человек. Он подошел к лошади и снял с нее больного ребенка. Потом, не обращая внимания на Сеид-хана, повернулся и посмотрел на людей. И люди сразу бросились к детям. По двое, по трое они уводили их в разные стороны. Живое, яркой солнце светило над землей!..   
      Сеид-хан молчал и только, сощурившись, смотрел на поэта. А поэт просто забыл про него. На руках у поэта, запрокинув голову, лежал больной ребенок. И что по сравнению с этим безруким мальчиком все остальное в мире!   
      Сеид-хан и его гости, не зная, что делать, не трогались с места. Лишь Дурды-хан не спускал с поэта глаз. Но он не смел ничего сделать. Когда последнего безрукого ребенка увели с дороги, Дурды-хан начал яростно хлестать камчой собственного коня. Он рвал страшными ударами гладкую лошадиную спину и не отпускал поводья. Обезумевший конь храпел и крутился на одном месте. Клочья кожи и кровь падали в мягкую пыль. Белая пена закипала на лошадиной морде.

Мальчик тихо плакал и метался в тяжелом сне. Но какой сон мог присниться ему страшнее жизни? Поэт не помнил, сколько времени сидел он так и молча смотрел на спящего ребенка. Неслышной тенью входила и выходила его жена. Женщина с помутившимся разумом, она досталась ему после смерти старшего брата. Когда его любимую, его Менгли, отдали другому, он не представлял себе, что может быть на земле большее горе. Сколько жгучих стихов написал он об этом страшном горе! Но разве мог он себе представить тогда настоящее человеческое горе? То, что явилось сейчас к нему в дом с безруким йомудским мальчиком?   
      После многих лет скитаний он снова встретил Менгли. В груди шевельнулось что-то, заныло сладкой болью. Но не эта самая обычная женщина с узким лбом и широкими скулами была тому причиной. Просто он вспомнил молодость. А потом он каждый день встречал Менгли, и в груди его было пусто. Где-то в юности затерялась стройная темноглазая гокленка, единственная на свете...   
      А вот это горе не пройдет даже с его жизнью. Мальчик плакал и водил во сне руками. Ему казалось, что он хватает ими что-то.   
      Комок подкатил к самому горлу поэта. Он поднес руку к глазам и увидел, что они влажные. Но на этот раз поэт не вскочил с места и не сжал кулаки. Он медленно придвинул светильник и взял перо. Глухая ночь была вокруг. Прямо перед ним горел и метался на одеяле больной ребенок. А он писал, и казалось, само его сердце исходило словами. И он понял, что никогда еще не был откровеннее с аллахом.   
      Слезы и кровь текут по земле. И Фраги плачет с вами, люди. Это слезы Фраги и кровь Фраги. Потому что он-- человек...   
      Он сам не заметил, откуда пришло это слово: Фраги -- Разлученный со счастьем. Но никаким другим не назовет он себя отныне. Ведь рядом был безрукий мальчик.   
      И Фраги не только плакал. В раскаленных словах обнажал он ужас жизни... Поэт не мог с ним мириться...   
      Повеял утренний ветер. Ребенок успокоился и дышал ровнее. Откинув руку с пером, Фраги смотрел на пробуждающийся мир.   
      Что-то твердое давно уже давило ему в бок. Он сунул руку под халат и вытащил свиток со стихами в честь Сеид-хана. Какими маленькими и ничтожными показались ему сейчас мысли и сомнения, мучившие его в последние дни! Да, высокий дар аллаха для человека одновременно и наказание, Как бы низко ни хотел он согнуть голову, талант выдаст его. Дар аллаха сильнее слабого человека. В этом проклятие таланта... Ив чистое утро, сидя на простой белой кошме возле безрукого ребенка, Фраги всей душой возблагодарил аллаха за это его наказание.   
      Дрожа и давясь, ел мальчик теплую лепешку из его рук. Он далеко вытягивал тонкую шею и старался откусить побольше. За дверью послышался стук копыт. Зарычала собака. Мальчик сжался. Фраги вышел и увидел молодого текинца. Он почему-то был уверен, что текинец придет к нему, и не удивился.   
      Сейчас, когда джигит обмыл свои раны, он казался совсем юным, почти мальчиком. Но он был громадного роста, могучий и статный. В спокойных глазах его чувствовались сила и решимость. Это был мужчина, настоящий юный батыр. Фраги протянул ему руку и пригласил в дом.   
      Они почти не говорили друг с другом в эту первую их встречу. Текинец сказал, что будет пока жить у одного знакомого их семьи. Молча пили чай. Потом Фраги взял свиток и начал читать то, что написал этой ночью. Только ему, юному батыру, и мог он сейчас читать свои стихи. Гость никак не выражал своего отношения к ним. Но Фраги верил его спокойным глазам. Люди с такими глазами понимают поэзию...   
      Когда гость уходил, мальчик вдруг всхлипнул и прижался головой к его халату. И то, что сейчас увидел Фраги в глазах молодого текинца, огромной радостью отозвалось в сердце. Значит, есть на земле большие, сильные люди, которые могут любить и жалеть!.. А ведь он уже перестал верить в людей.   
      А когда они вышли во двор, случилось то, что каждый миг случается на земле. Молодой джигит и дочь его соседа Сахатдурды увидели друг друга. Фраги почувствовал это сразу. Лишь на одно мгновение встретились они глазами: юный батыр и девушка. Но могучая таинственная сила сразу связала их. Разве не самим аллахом была предуготована их встреча!   
      Девушка только на мгновение взглянула на джигита и сразу же быстро отвернулась. Она продолжала ломать сухие ветки саксаула, но движения, поворот плеч, вся она стали совсем другими. В спокойных до сих пор глазах   
      текинца застыло удивление. Даже рот был по-мальчишески приоткрыт. Как всякая женщина, она была мудрее его и поняла все сразу. А он еще ничего не понял...   
      Текинец сел на коня и еще раз растерянно оглянулся. А она посмотрела на него лишь тогда, когда он поскакал по пыльной дороге...   
      Ему вдруг до боли в груди захотелось увидеть Менгли. Она вспомнилась ему такой, какой была в их первую встречу. Неужели этот больной ребенок разбудил дремавшую в нем жизнь?! Все сегодня было не так, как в последние годы.   
      Мальчик снова заснул. Фраги погладил его по голове и вышел. Он не знал точно, куда и зачем идет. Но мысль рисовала глухой темный дувал, узкую калитку, дом, где живет она уже много лет.   
      Люди и раньше почтительно здоровались с поэтом. Но сегодня Фраги, оторвавшись от своих дум, увидел в глазах людей что-то необычное, давно забытое. Какое-то особенное уважение было в их приветствиях. Что же случилось? Или все просто кажется ему не таким, как всегда? И вдруг он все вспомнил: падающего ребенка, сощуренные глаза Сеид-хана, пену на губах Дурды-хана... До сих пор он не думал о том, что сделал.   
      Несколько раз проходил он мимо калитки в дувале. Никто оттуда не выходил. Обругав самого себя, Фраги решительно повернулся и пошел домой.   
      Идя через город, он встретил Мухамеда Порсы. Тот сделал вид, что не заметил поэта. Лишь по тонким губам его скользнула улыбка. Так, наверно, улыбались бы змеи, если бы могли.   
      Святой Ходжамурад-ага стоял возле лавки, где продавались женские украшения. Он ответил на слова привета, но тут же холодно отвернулся. Это был совсем плохой знак. Ходжамурад-ага считал для себя обязательным вежливо улыбнуться каждому человеку.   
      Да, теперь его не оставят в покое. Они не посмотрят на то, что он мулла. Но Фраги почему-то совсем не боялся сейчас их гонений.   
      Когда он переходил мост над мутной речкой, сзади послышался лошадиный храп. Конь прижал его к перилам. Он должен был ухватиться за них, чтобы не упасть   
      в воду. Прямо над собой он увидел бешеные глаза Дурды-хана. Маленький хан выругался и, чуть не задев его гибкой камчой, ускакал.   
      И тут Фраги испугался. Холодным потом залило спину. Но испугался не за себя. Ему вспомнились молодой текинец и девушка. Он вдруг ясно увидел весь ужас их положения. Гокленка и текинец, да еще из презренного рода бывших рабов. А она из самого рода Ходжамурал. И обручена! Ни на миг не появилась мысль у Фраги, что они могут забыть друг друга. Ведь он был поэт...   
      Текинец пришел на следующий день. Так же молча слушал он поэта.   
      И поэт забыл в эти дни обо всем на свете. Мальчик и стихи, которые он писал ночами, сидя возле него, были жизнью Фраги. Ребенок кричал по ночам.   
      Каждый вечер читал Фраги свои стихи юному батыру...   
      Вот лежат они, Черные Пески. Открытые всем ветрам, перемешанные с горькой солью, опаленные неистовым солнцем, как проклятие аллаха посланы они людям.   
      Самый несчастный народ на свете живет в этих песках. Рвут друг друга на части коварная Хива, хитрая Бухара и свирепый Иран. А самые страшные раны остаются на теле этого народа. За право пить воду его всадники идут впереди хивинских, бухарских и шахских отрядов. Чтобы не умереть от жажды, брат убивает брата. Текинцы, йомуды, гоклены, салоры на одном родном языке проклинают друг друга. И на том же языке плачут по мертвым сыновьям туркменские матери.   
      Не от ханов ждать спасения. Потерявшие облик человеческий, жадные и похотливые, они продадут отца за один милостивый кивок шаха или эмира. Слава тому батыру, который поднимет меч объединения!   
      Втянув голову в худенькие плечи, слушал стихи безрукий мальчик. Фраги увидел, что губы его повторяют слова. И в один из вечеров, когда они сидели так втроем, Фраги взял дутар, и мальчик тихо запел его песню.   
      Горло сжалось у обоих мужчин. Чистый, слабый голос ребенка пел горькие слова поэта. Казалось, сама эта бедная, измученная земля, такая неприветливая и родная, плачет в песне безрукого мальчика.   
      Но вот голос его стал крепнуть. В нем слышались железо и ярость мужественных стихов Фраги. И сабли сами вырывались из ножен, от грозного топота коней сотрясались Черные Пески, мщение и смерть настигали врагов!

А жизнь шла путями, намеченными аллахом. Ночью, выйдя к арыку, Фраги увидел две тени.   
      Маленькая яркая луна лила свой чистый свет. В белой таинственной мгле лежала спокойная земля. Бесшумно переливалась вода в арыке. Для чего-то прекрасного создал аллах эту лунную тревожную тишину.   
      Не таясь, в тени дерева, стояли и смотрели друг на друга текинец и девушка. Поэт знал, что они пришли сюда, не договариваясь. Ни одного слова в жизни не сказали еще они. Просто им нельзя было не встретиться.   
      Так и стояли они молча, боясь бога и всем своим существом благодаря его за дарованную жизнь. Какая молитва аллаха сильнее той, которую излучали их глаза?.. Было так тихо на земле, что он ясно слышал, как бьются их сердца. А может быть, это билось собственное сердце Фраги...   
      Кто имеет право мешать им? Поэт повернулся и медленно пошел к дому...   
      А днем он снова ходил у глухого дувала, и тревожной болью отдавался в сердце каждый стук калитки.   
      Фраги совсем забросил свое узорное серебро и только писал. И мальчик повторял во сне певучие слова.   
      В городе знакомые прятали глаза. А если останавливались для разговора, испуганно озирались по сторонам. Лишь простые люди окраины заходили сейчас в его дом.   
      Он снова пошел к арыку. Сидя на покатом берегу, текинец держал руки девушки в своих и говорил прекрасные, волнующие слова. Сердце поэта дрогнуло. Эти слова шептал он своей Менгли. Юноша не знал, чьи это стихи. Все влюбленные уже много лет считали их своими.   
      Сейчас луну закрывали синие тучи. Когда она на миг показалась, девушка подняла кверху глаза. В лунном свете блеснула вокруг ее смуглой шеи тонкая белая полоса. Это было кольцо обручения...   
      Спать он не мог. Со своей вечной Менгли, с самой юностью виделся Фраги в эту ночь там, у арыка. Он снова переживал горечь разлуки, безумно ревновал ее к другому, сильному и богатому. Рыдания душили ему горло, как и тогда, перед вынужденной поездкой в Хиву. Лихорадочно вспоминая, повторял он забытые строки.   
      Нет, что-то не так сделали люди. Не рукою аллаха были написаны слова корана о женщине. Любовь, мир, жалость--все это олицетворено в ней богом. И пока будет она молчать в присутствии мужчины, не будет в мире добра и справедливости.   
      В этот раз он встретил Менгли. Она спокойно смотрела на него: обыкновенная, измученная заботами сорокалетняя женщина. Нос, рот с закушенным платком молчания, тяжелый борык на голове - все такое же, как у тысяч других.   
      Но что это? Увидев его глаза, юные глаза Фраги, она вздрогнула. Рука ее прижалась к сердцу. Знакомые припухлые губы выпустили платок. Широко открылись и чудесно заблестели большие глаза. Перед ним стояла его Менгли! Ничего, что возле дорогих глаз морщины, что щеки не горят молодым румянцем, что волосы стали серыми. Это была она. Они стояли и смотрели друг на друга, как двадцать пять лет назад. Потом, не сказав ничего, разошлись. Слова им были ни к чему.

Время бежало незаметно, как в юности. Фраги знал, что черные тучи сходятся над его головой, но не хотел думать об этом. Что для мира его маленькая судьба!   
      Он писал, читал написанное, слушал, как наливается оно живой болью и слезами в голосе маленького безрукого певца. Ему казалось, что они вечно знали друг друга:   
      поэт, мальчик и батыр. Мальчик как-то вытянулся за эти дни, печать глубокого страдания сделала его старше. А батыр, большой и сильный, был спокоен. Но кто лучше Фраги знал, что скрывается под этим спокойствием!   
      Выходя к арыку, он не видел их в лунном сиянии. Они уходили в тень дерева. Так и должно было быть...   
      В последний раз Фраги показалось, что не один он наблюдает за влюбленными. Когда он шел обратно, от кустов с этой стороны арыка метнулась чья-то тень. Люди снова вмешивались в дела бога...   
      Впервые юный батыр опустил глаза. Уши его горели, и он не знал, куда деть свои руки: большие, железные руки воина. Но вот он посмотрел прямо в глаза поэта и попросил выслушать его просьбу. Фраги знаком остановил его и молча кивнул головой.   
      Долго сидел он так, глядя в огонь светильника, а текинец, сдерживая дыхание, ждал. Наконец Фраги спросил, есть ли у него поручитель. Юноша открыл рот. Откуда этот человек знал, о чем он будет просить его? Наверно, он святой. Но Фраги был только поэтом...   
      У текинца был поручитель, лихой човдур, приставший к нему в пустыне после хивинского разгрома. Но где найти поручительницу краденой невесты? Какая женщина решится на это?! Фраги молчал и смотрел в огонь светильника. Он знал такую женщину.

Они сидели перед ним на праздничном ковре, смущенно отвернувшись друг от друга. Рядом с юным текинцем присел човдур, рослый мужчина со смелыми глазами. А со стороны девушки сидела Менгли. Не колеблясь, пришла она по зову поэта.   
      Фраги надел свой самый лучший зеленый халат. На голове его была ровно закручена снежно-белая чалма. С серьезной торжественностью задавал он положенные вопросы. Кто этот юный джигит? Кто был его отец? Кто был дед? Из какого он рода, и не было ли в этом роду недостойных? Не совершал ли сам он чего-либо недостойного мужчины?   
      Отвечал свидетель-поручитель. Он не скрыл ничего. Дед текинца был рабом. И до седьмого колена в его роду не было свободных. Сам же он достоин называться мужчиной. Фраги поднял руку и сказал, что труд раба так же угоден богу, как и труд свободного.   
      Потом отвечала Менгли. Да, отец, и дед, и прадед этой девушки из святого рода Ходжамурад. К самому пророку уходят его корни. Но девушка сорвала со своей шеи кольцо обручения... Фраги увидел, что тонкая серебряная проволока оставила на шее девушки розоватую полоску. Он сказал, что так было угодно аллаху.   
      Три раза обращался он по очереди к ней и к нему. Хотят ли они жить вместе по всем законам, установленным богом? И все три раза, как и следовало по закону, за них отвечали поручители. Тогда Фраги соединил их мизинцы и обратился к аллаху.   
      Никогда еще не делал он этого с таким самозабвением. Немало в жизни соединял он супружеской нитью стариков с молодыми, красивых с уродами, да и молодых с молодыми. Но делал это без вдохновения. Даже пика, молитву о браке, читал поэт скороговоркой, пропуская целые строфы...   
      Но сейчас он почему-то волновался. Пропустить одно слово в молитве казалось ему кощунством. Каждое слово бога, соединяющего этих двух влюбленных, хранило свой глубокий смысл.   
      Ровно горел светильник. Затаив дыхание, сидели люди. Лишь Фраги вполголоса говорил с небом. Именем своего доброго, мудрого человеческого бога утверждал он вечную связь этих двух жизней. Как никогда, был Фраги чист перед ним.   
      Люди перевели дыхание. Протянув вперед руки, он разъединил пальцы и объявил их мужем и женой. Теперь и безрукий мальчик был допущен в комнату. Човдур внес плоский казан жареного мяса. Из середины его достал он полусырое сердце барана. Оно было разрезано на две равные половины. Одну из них дали текинцу, другую-- девушке. И, скрепляя свой союз по древнему обычаю Черных Песков, они съели это сердце, которое только что было живым.   
      Они вышли из дому. Дул осенний порывистый ветер. Тревожное небо было закрыто тучами. Два оседланных коня с курджумами у высоких степных седел стояли возле кибитки. Текинец и девушка поблагодарили всех, сели на коней и, стараясь не шуметь, уехали в ночь.   
      Човдур попрощался с поэтом, сел на своего коня и поскакал в другую сторону. Фраги повернулся и прижал руки к груди. Так же молча ответила ему Менгли. Потом она погладила по голове мальчика и, закрыв рот платком молчания, пошла к своему дому.   
      Долго еще стоял Фраги, прислушиваясь. Где-то в предгорьях плакали шакалы. Он привлек к себе мальчика и вошел в опустевшую кибитку.   
      Утром на улице послышался глухой шум. Фраги вышел и увидел всадников. Человек сорок горячили коней возле дома Сахатдурды. Это был весь род Ходжамурад.   
      Степным растянутым строем помчались они к горам мимо его дома. Ни один не повернул головы в сторону поэта. Фраги стоял и молча смотрел им вслед. Он знал, на что идет. Ни с ним, ни с его детьми и внуками не заговорит теперь человек из святого рода. Никому не прощал этот род своих обид. И никто никогда еще не наносил такого страшного оскорбления роду Ходжамурад!   
      Но что же они хотят делать? Ведь все уже знают, что слово бога связало текинца с девушкой...   
      Не легла еще пыль на дорогу, как новый отряд пронесся в сторону гор. У Фраги сжалось сердце. Он узнал гуламов -- собственных стражников Сеид-хана, настоящих зверей в человеческом облике.   
      В городе встревоженно перешептывались. Когда он приближался, замолкали. На него смотрели с тайным ужасом. Люди не представляли себе, как можно совершить то, что он сделал. Теперь уже никто не подходил к нему. Молча проходил Фраги через город, не глядя на людей. Он понимал их и прощал.   
      На третий день весь город вышел к мосту. Люди смотрели вдаль и ждали. Мутная, пыльная мгла стояла в холодном осеннем воздухе. Плотной колючей стеной несло ее из Черных Песков. Туркменским дождем называли в городе этот слепой песчаный ветер.   
      Всадники появились из темной пыли, как будто их несло вместе с нею. Сейчас они ехали сплошной массой, конь к коню. У людей были злые, оскаленные лица. Они везли шесть трупов.   
      Мертвых положили возле чайханы, прямо на дощатый настил. Широкими красными полосами были иссечены их халаты. У старшего брата Сахатдурды чернело разорванное горло...   
      Они догнали беглецов к вечеру, на выходе из ущелья. Текинец повернул к ним коня. В страшном клубке сбились на горной тропе всадники. Когда они разъехались, двое остались на камнях. Снова бросились они к текинцу, и опять один остался лежать, разрубленный пополам.   
      Лишь в третий раз сумели они избежать его руки.   
      Старший брат Сахатдурды набросил на текинца тонкий ременный аркан. Все, кто был там, навалились на него. А он, опутанный, бился на земле, подминая их своим могучим телом.   
      И вдруг ослабел тонкий ремень. Поднялись на дыбы испуганные кони. Та, о которой совсем забыли, молча бросилась к державшему аркан. Это был брат ее отца. Он свалился уже на землю, а она все била его маленьким широким ножом.   
      Но в этот миг с звериным гиканьем налетели на них гуламы Сеид-хана...   
      Черный соленый песок мчался над землей. Их привезли к месту, где сходились дороги. Его отвязали от спины лошади, и он упал в пыль. Толстыми шерстяными канатами было опутано сильное тело текинца. Он молчал и смотрел вверх.   
      Потом раскатали плотную серую кошму и выбросили оттуда ее. Девушка сразу забилась, пытаясь разорвать, перегрызть веревку. Она каталась в пыли, и кровь текла из растертых веревками ран. Но когда их привязали спина к спине, она сразу успокоилась.   
      Сангсар-даш, Камень Проклятия, древний закон пустыни, осуждал их на это. Раз ею, обрученной, овладел другой, земля и небо отвернутся от них обоих. А людям остается одно: связать виновных и бросить на большую дорогу. И каждый, кто пройдет по ней, обязан во имя справедливости Черных Песков поднять самый большой камень и швырнуть в них. Так и умрут они, засыпанные камнями. И проклята будет самая память о них.   
      Но ведь эти двое были связаны словом бога! Не сильнее ли оно самых старых людских законов? Кому, как не роду Ходжамурад, знать это!   
      Сотни людей стояли в напряженном ожидании. Подъезжали и слезали с коней все новые люди из окрестных аулов. Толпа молчала. Только оборванный сумасшедший Мамед проклинал текинца. Он кричал, что всех этих теке и йомудов надо вырезать до одного, и нечеловеческие глаза его не могли на чем-нибудь остановиться. Люди слышали хриплый вой терьякеша и ждали.   
      Но вот толпа заволновалась. Через мост от города рысью шли всадники. Это был Сеид-хан со своими людьми, Рядом с ним ехал сам святой Ходжамурад-ага. Они подъехали и остановились. Ходжамурад-ага неторопливо слез с лошади и сделал знак Сахатдурды.   
      Медленно вышел из толпы отец девушки, поднял круглый гладкий камень, размахнулся и бросил. Дочь смотрела прямо на него. Камень ударился в маленькую девичью грудь. Сахатдурды, не поворачиваясь, сделал несколько шагов назад и опустил руки... Ходжамурад-ага сдвинул брови, и уже несколько камней с разных сторон полетело в связанных. Сумасшедший Мамед подскакивал и радостно смеялся при каждом удачном ударе. Большинство камней не попадало в лежащих.   
      Вдруг те, кто уже размахнулся, застыли с камнями в отведенных руках. Толпа раздвинулась. Прямо напротив связанных стоял Фраги. На нем был все тот же зеленый халат и белая чалма на голове.   
      Люди пятились от него... Как он посмел прийти сюда?! Или этот неудачный мулла надеется, что белая чалма защитит его голову?   
      Но Фраги не надеялся ни на что. Он должен был прийти сюда с безруким мальчиком и видеть все с начала до конца.   
      Что для них слово бога! И что это за слово, которое так послушно воле этих людей!.. Все они смотрели на него: надменный Сеид-хан, тупой Какабай, слюнявый Хошгельды-хан, огромный Ходжамурад-ага. И со всех сторон глядели на него люди. Разные были у них глаза:   
      злые и добрые, тупые и умные, мутные и честные. Прямо перед ним, как две черные звезды, блестели огромные девичьи глаза.   
      Только ровный гул холодного ветра стоял в воздухе. Чего они ждали от него? Чтобы он начал кричать, просить их, заклинать именем бога? Он знал, что все это бесполезно. Что им любые законы! Они не признали связанного им брака. Так они захотели. И мысли не должно появиться у людей, что можно безнаказанно нарушить их закон. И бог, их бог, всегда будет на их стороне. Ну, а его бог, добрый, человеческий?   
      Сам святой Ходжамурад-ага наклонился и поднял большой камень. Тяжело ступая, подошел он почти вплотную к ним и с силой ударил камнем в лицо текинца. Тот даже не посмотрел на святого. А Ходжамурад-ага зашел с другой стороны, снова взял большой камень и бросил его в лицо девушки. Дикий вопль пронесся над толпой. Десятки, сотни камней полетели в связанных. Текинец бешено заметался, головой и ногами загребая глубокую дорожную пыль. Своим огромным телом он стремился прикрыть, защитить девушку от этих ударов. Но камни сыпались со всех сторон. Люди сразу озверели при виде крови. Пьяный от терьяка Мамед плясал и кривлялся. Он, кого не пускали на порог самого последнего дома, вдруг получил власть над жизнью и смертью двух людей. И он убивал их, как убивала бы связанного льва грязная, вонючая гиена. Рыча, вырывали друг у друга камни гуламы Сеид-хана.   
      Спокоен, как всегда, был лишь святой Ходжамурал-ага. Он поднимал камень за камнем и бил теперь одну лишь девушку. Громадный, злой, подлый старик убивал ее за то, что она не захотела его объятий.   
      Ветер усиливался. Все больше мутной соленой пыли нес он с собой. Фраги стоял и поверх этих беснующихся людей смотрел в грязное небо. Дрожа, прижимался к нему безрукий мальчик.   
      Связанные уже не двигались. А их все били и били камнями. Глухо ударялись они в неподвижные тела. Серая дорожная пыль слипалась от теплой человеческий крови. Только открытые глаза юноши были еще живыми.   
      Опрокидывая встречных, влетел в толпу маленький всадник. Это был опоздавший Дурды-хан. Человеческая кровь притягивала его. Раздавая удары камчой, он пробился к связанным и начал дико хлестать неподвижные тела. Тяжелый ременный конец камчи попал в открытый глаз текинца. Фраги опустил глаза и посмотрел на людей. И вдруг он увидел, что все они смотрят на него. Прищурившись, смотрел на него Сеид-хан, гаденько улыбались глаза Хошгсльды-хана, непримиримым был взгляд Ходжамурад-агн. Даже Дурды-хан, избивая мертвых, глядел на него. Но самой лютой, открытой, всепоглощающей ненавистью горели глаза Мухамеда Порсы! Да, ведь он был неглупым человеком, этот Мухамед. И никто лучше его не мог чувствовать сейчас свое ничтожество...   
      Но вот ускакал Сеид-хан со своими людьми. Толпа быстро начала расходиться. Те, кто бросал камни, как будто очнулись от пьяного сна. Теперь они не смотрели друг на друга и не знали, куда деть руки. Люди искали своих коней, спеша поскорее покинуть место убийства.   
      Скоро лишь четверо гуламов, присланных Сеид-ханом, остались на дороге. Они развели огонь и поставили на него чугунный кумган для чая. Один из них пнул ногой сумасшедшего Мамеда, который мешал им своими криками, и тот, жалобно воя, побежал к городу.   
      Заслонившись от ветра черными бурками, грелись у огня бородатые гуламы. Время от времени они поглядывали на поэта. А Фраги по-прежнему стоял, прижав к себе мальчика. Оба они не спускали глаз с высокой груды камней на дороге... Он так верил в спокойные молодые глаза юного батыра, что не мог поверить в смерть. Мысли гудели в голове, как этот холодный, свирепый ветер. Но ни разу не обратились они к небу.   
      Время от времени на дороге показывалась одинокая арба или всадник. Проезжий останавливал лошадей, искал камень и бросал его в кучу. С твердым стуком ударялся камень о камень.   
      Три раза еще в течение этого дня гуламы расстилали в пыли молитвенные коврики. Повернувшись лицом к Мекке, они стояли неподвижно, потом падали на колени и, выбросив вперед руки, прижимались лицом к земле. Фраги молча смотрел на них.   
      Холодная ночь накрыла землю. Ветер стал еще сильнее. Мальчик дрожал от холода, прикрывшись полой халата. Фраги еле стоял на ногах. Но они не уходили.   
      Когда потухли последние далекие костры в городе, Старший из гуламов плюнул на груду камней. Все четверо сели на коней и уехали.   
      Затих грохот копыт по деревянному мосту, и они подошли к каменной груде. Камень за камнем начал Фраги сбрасывать с огромной кучи. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Мальчик, как мог, помогал ему обрубками рук. Неверный, мятущийся свет догоравшего костра заставлял прыгать их тени: большую и маленькую...   
      Руки их стали липкими. Но вот рука Фраги почувствовала тепло! Большое, мощное плечо текинца было еще теплым. С невероятной силой дернул его к себе Фраги, и последние камни посыпались на дорогу. Он перерезал веревки, но холодное тело девушки нельзя было оторвать от живого. Рукояткой ножа пришлось разжимать ему пальцы текинца...   
      Немного прошло времени, пока догорели последние угли. Ночь стала еще глуше. Смазанные колеса не скрипели. Холодная лупа то показывалась желтым пятном сквозь несущийся песок, то совсем исчезала. Когда Фраги поднимал на арбу текинца, он увидел в трех шагах человека. Лунное пятно посветлело, и он узнал своего соседа Сахатдурды. Но Фраги поднял на арбу и тело девушки.   
      Фраги взял лошадь под уздцы и повел прочь от города. Сидящий на арбе мальчик все время оглядывался. Не догоняя и не отставая, шел за ними человек.   
      Долго ехали они так. Потом Фраги остановил лошадь и лопатой начал рыть землю. Он посадил в яму мертвую девушку, засыпал и воткнул в холм палку с белой тряпкой. Они поехали дальше, но человек уже не шел за ними. Он остался у холма.   
      Когда они поднимались в гору, мальчик тронул за плечо Фраги и показал назад. Там рвался и качался на ветру яркий огонь. И хотя было очень далеко, Фраги узнал свой дом...   
      Долго стоял и смотрел он па дальний пожар. Потом снова тронул коня и, не оглядываясь, пошел вперед.

Эпилог  
  
      Кончилась холодная зима. Старики не помнили столько ветра и снега. Бешено крутил мокрым песком Новруз, день, когда тепло приходит на смену холоду. Зато никогда еще не было в Черных Песках такой зеленой травы, таких красных маков, такого синего неба...   
      И этой буйной весной по кровавому морю маков ехали от аула к аулу три всадника. Быстрая молва летела по пустыне. Когда они приезжали, люди уже ждали их. Один из них играл на дутаре, а безрукий мальчик пел. И столько боли, гнева и человеческой ярости было в его песнях, что сердца людей уже не могли биться спокойно. А пока они пели, третий -- молчаливый одноглазый батыр со шрамами -- только переглядывался с молодыми джигитами. И такой был у него взгляд, что после их отъезда мужчины, не сговариваясь, проверяли оружие.   
      Да, это были они: самый великий поэт, самый лучший певец и самый большой воин, которые когда-нибудь рождались в Черных Песках. Меч объединения везли они с собой. И ножны этого меча были украшены чудесными, как стихи, узорами.   
      Фраги всей грудью вдыхал чистый, свежий ветер пустыни и уже не чувствовал боли. Он расправлял плечи и открыто улыбался женщинам. А они отвечали ему быстрыми взглядами, ответными улыбками, и яркий румянец вспыхивал на их лицах. Он был мудр безумной мудростью юности, Фраги, самой высокой мудростью на земле!   
      В груди и в голове его каждый миг рождались новые образы. И слова текли свободно и просто, как эти белые тучи над головой. Именно в эти годы и написал он свои самые прекрасные стихи.

**Айтматов Чингиз Торекулович**

Начало формы

Конец формы

**ДЖАМИЛЯ**

Сверстникам моим,

выросшим в шинелях отцов

и старших братьев

Вот опять стою я перед этой небольшой картиной в простенькой рамке.

Завтра с утра мне надо ехать в аил, и я смотрю на картину долго и

пристально, словно она может дать мне доброе напутствие.

Эту картину я еще никогда не выставлял на выставках. Больше того,

когда приезжают ко мне из аила родственники, я стараюсь запрятать ее

подальше. В ней нет ничего стыдного, но это далеко не образец искусства.

Она проста, как проста земля, изображенная на ней.

В глубине картины - край осеннего поблекшего неба. Ветер гонит над

далекой горной грядой быстрые пегие тучки. На первом плане - красно-бурая

полынная степь. И дорога черная, еще не просохшая после недавних дождей.

Теснятся у обочины сухие, обломанные кусты чия. Вдоль размытой колеи

тянутся следы двух путников. Чем дальше, тем слабее проступают они на

дороге, а сами путники, кажется, сделают еще шаг - и уйдут за рамку. Один

из них... Впрочем, я забегаю немного вперед.

Это было в пору моей ранней юности. Шел третий год войны. На далеких

фронтах, где-то под Курском и Орлом, бились наши отцы и братья, а мы, тогда

еще подростки лет по пятнадцати, работали в колхозе. Тяжелый повседневный

мужицкий труд лег на наши неокрепшие плечи. Особенно жарко приходилось нам

в дни жатвы. По целым неделям не бывали мы дома и дни и ночи пропадали в

поле, на току или в пути на станцию, куда свозили зерно.

В один из таких знойных дней, когда серпы, казалось, раскалились от

жатвы, я, возвращаясь на порожней бричке со станции, решил завернуть домой.

Возле самого брода, на пригорке, где кончается улица, стоят два двора,

обнесенные добротным саманным дувалом. Вокруг усадьбы возвышаются тополя.

Это наши дома. С давних пор живут по соседству две наши семьи. Я сам - из

Большого дома. У меня два брата, оба они старше меня, оба холостые, оба

ушли на фронт, и давно уже нет от них никаких вестей.

Отец мой, старый плотник, с рассветом совершал намаз и уходил на общий

двор, в плотницкую. Возвращался он уже поздним вечером.

Дома оставались мать и сестренка.

В соседнем дворе, или, как называют его в аиле, в Малом доме, живут

наши близкие родственники. Не то наши прадеды, не то наши прапрадеды были

родными братьями, но я называю их близкими потому, что жили мы одной

семьей. Так повелось у нас еще со времен кочевья, когда деды наши вместе

разбивали стойбища, вместе гуртовали скот. Эту традицию сохранили и мы.

Когда в аил пришла коллективизация, отцы наши построились по соседству. Да

и не только мы, а вся Аральская улица, протянувшаяся вдоль аила в

междуречье, - наши одноплеменники, все мы из одного рода.

Вскоре после коллективизации умер хозяин Малого дома. Жена его

осталась с двумя малолетними сыновьями. По старому обычаю родового адата,

которого тогда еще придерживались в аиле, нельзя выпускать на сторону вдову

с сыновьями, и наши одноплеменники женили на ней моего отца. К этому его

обязывал долг перед духами предков - ведь он доводился покойному самым

близким родственником.

Так появилась у нас вторая семья. Малый дом считался самостоятельным

хозяйством: со своей усадьбой, со своим скотом, но, по существу, мы жили

вместе.

Малый дом тоже проводил в армию двух сыновей. Старший, Садык, ушел

вскоре после того, как женился. От них мы получали письма - правда, с

большими перерывами.

В Малом доме остались мать, которую я называл "кичи-апа" - младшей

матерью, и ее невестка - жена Садыка. Обе они с утра до вечера работали в

колхозе. Моя младшая мать, добрая, покладистая, безобидная женщина, в

работе не отставала от молодых, будь то рытье арыков или поливы, - словом,

прочно держала в руках кетмень. Судьба словно в награду послала ей

работящую невестку. Джамиля была под стать матери - неутомимая,

сноровистая, только вот характером немного иная.

Я горячо любил Джамилю. И она любила меня. Мы очень дружили, но не

смели друг друга называть по имени. Будь мы из разных семей, я бы, конечно,

звал ее Джамиля. Но я называл ее "джене", как жену старшего брата, а она

меня "кичине бала" - маленьким мальчиком, хотя я вовсе не был маленьким и

разница у нас в годах совсем невелика. Но так уж заведено в аилах: невестки

называют младших братьев мужа "кичине бала" или "мой кайни".

Домашним хозяйством обоих дворов занималась моя мать. Помогала ей

сестренка, смешная девочка с ниточками в косичках. Мне никогда не забыть,

как усердно она работала в те трудные дни. Это она пасла за огородами ягнят

и телят обоих дворов, это она собирала кизяк и хворост, чтобы всегда было в

доме топливо, это она, моя курносая сестренка, скрашивала одиночество

матери, отвлекая ее от мрачных дум о сыновьях, пропавших без вести.

Согласием и достатком в доме наше большое семейство обязано моей

матери. Она полновластная хозяйка обоих дворов, хранительница семейного

очага. Совсем молоденькой вошла она в семью наших дедов-кочевников и потом

свято чтила их память, управляя семьями по всей справедливости. В аиле с

ней считались как с самой почтенной, совестливой и умудренной опытом

хозяйкой. Всем в доме ведала мать. Отца, по правде говоря, жители аила не

признавали главой семьи. Не раз приходилось слышать, как люди по

какому-либо поводу говорили: "Э-э, да ты лучше не иди к устаке, - так

почтительно у нас называют мастеровых людей, - он только и знает, что свой

топор. У них старшая мать всему голова - вот к ней и иди, так оно вернее

будет..."

Надо сказать, что я, несмотря на свою молодость, частенько вмешивался

в хозяйственные дела. Это было возможно только потому, что старшие братья

ушли воевать. И меня чаще в шутку, а порой и серьезно называли джигитом

двух семей, защитником и кормильцем. Я гордился этим, и чувство

ответственности не покидало меня. К тому же мать поощряла мою

самостоятельность. Ей хотелось, чтобы я был хозяйственным и смекалистым, а

не таким, как отец, который день-деньской молча строгает и пилит.

Так вот, я остановил бричку возле дома в тени под вербой, ослабил

постромки и, направляясь к воротам, увидел во дворе нашего бригадира

Орозмата. Он сидел на лошади, как всегда, с подвязанным к седлу костылем.

Рядом с ним стояла мать. Они о чем-то спорили. Подойдя ближе, я услышал

голос матери:

- Не быть этому! Побойся бога, где это видано, чтобы женщина возила

мешки на бричке? Нет, малый, оставь мою невестку в покое, пусть она

работает, как работала. И так света белого не вижу, ну-ка, попробуй

управься в двух дворах! Ладно еще, дочка подросла... Уж неделю разогнуться

не могу, поясницу ломит, словно кошму валяла, а кукуруза вон томится - воды

ждет! - запальчиво говорила она, то и дело засовывая конец тюрбана за ворот

платья. Она делала это обычно, когда сердилась.

- Ну что вы за человек! - проговорил в отчаянии Орозмат, покачнувшись

в седле. - Да если бы у меня нога была, а не вот этот обрубок, разве стал

бы я вас просить? Да лучше бы я сам, как бывало, накидал мешки в бричку и

погнал лошадей!.. Не женская это работа, знаю, да где взять мужчин-то?..

Вот и решили солдаток упросить. Вы своей невестке запрещаете, а нас

начальство последними словами кроет... Солдатам хлеб нужен, а мы план

срываем. Как же так, куда это годится?

Я подходил к ним, волоча по земле кнут, и, когда бригадир заметил

меня, он необычайно обрадовался - видно, его осенила какая-то мысль.

- Ну, если вы так уж боитесь за свою невестку, то вот ее кайни, - с

радостью указал он на меня, - никому не позволит близко к ней подойти. Уж

можете не сомневаться! Сеит у нас молодец. Эти вот ребятки - кормильцы

наши, только они и выручают...

Мать не дала бригадиру договорить.

- Ой, да на кого же ты похож, бродяга ты! - запричитала она. - А

волосы-то, зарос весь космами... Отец-то наш тоже хорош, побрить голову

сыну время никак не найдет...

- Ну вот и ладно, пусть сынок побалуется сегодня у стариков, голову

побреет, - ловко подхватил Орозмат в тон матери. - Сеит, оставайся сегодня

дома, лошадей подкорми, а завтра с утра дадим Джамиле бричку: будете вместе

работать. Смотри у меня, отвечать будешь за нее. Да вы не тревожьтесь,

байбиче, Сеит не даст ее в обиду. И если уж на то пошло, отправлю с ними

Данияра. Вы ж его знаете: безобидный такой малый... ну, тот, что недавно с

фронта вернулся. Вот и будут втроем на станцию зерно возить, кто ж посмеет

тогда тронуть вашу невестку? Верно ведь, Сеит? Ты так думаешь, вот хотим

Джамилю возницей поставить, да мать не соглашается, уговори ты ее.

Мне польстила похвала бригадира и то, что он советуется со мной, как

со взрослым человеком. К тому же я сразу представил себе, как будет хорошо

вместе с Джамилей ездить на станцию. И, сделав серьезное лицо, я сказал

матери:

- Ничего ей не сделается. Что, ее волки съедят, что ли?

И, как завзятый ездовой, деловито сплюнув сквозь зубы, я поволок за

собой кнут, степенно покачивая плечами.

- Ишь ты! - изумилась мать и вроде бы обрадовалась, но тут же сердито

прикрикнула: - Я вот тебе покажу волков, тебе-то откуда знать, умник какой

нашелся!

- А кому же знать, как не ему, он у вас джигит двух семейств,

гордиться можете! - вступился за меня Орозмат, опасливо поглядывая на мать,

как бы она опять не заупрямилась.

Но мать не возразила ему, только как-то сразу поникла и проговорила,

тяжело вздохнув:

- Какой уж там джигит, дитя еще, да и то день и ночь пропадает на

работе... Джигиты-то наши ненаглядные бог знает где! Опустели наши дворы,

точно брошенное стойбище...

Я уже отошел далеко и не расслышал, что еще говорила мать. На ходу

хлестнул кнутом угол дома так, что пыль пошла, и, не ответив даже на улыбку

сестренки, которая, прихлопывая ладошками, лепила во дворе кизяки, важно

прошел под навес. Тут я присел на корточки и не спеша вымыл руки, поливая

себе из кувшина. Войдя затем в комнату, я выпил чашку кислого молока, а

вторую отнес на подоконник и принялся крошить туда хлеб.

Мать и Орозмат все еще были во дворе. Только они уже не спорили, а

вели спокойный негромкий разговор. Должно быть, они говорили о моих

братьях. Мать то и дело вытирала припухшие глаза рукавом платья и,

задумчиво кивая головой в ответ на слова Орозмата, который, видно, утешал

ее, смотрела затуманенным взором куда-то далеко-далеко, поверх деревьев,

будто надеялась увидеть там своих сыновей.

Поддавшись печали, мать, кажется, согласилась на предложение

бригадира. А он, довольный, что добился своего, стегнул лошадь камчой и

выехал со двора быстрой иноходью.

Ни мать, ни я не подозревали, чем все это кончится.

Я нисколько не сомневался, что Джамиля управится с пароконной бричкой.

Лошадей она знала, ведь Джамиля - дочь табунщика из горного аила Бакаир.

Наш Садык тоже был табунщиком. Однажды весной на скачках он будто не сумел

догнать Джамилю. Кто его знает, правда ли, но говорили, что после этого

оскорбленный Садык похитил ее. Другие, впрочем, утверждали, что женились

они по любви. Но как бы там ни было, а прожили они вместе всего четыре

месяца. Потом началась война, и Садыка призвали в армию.

Не знаю, чем объяснить, может быть, оттого, что Джамиля с детства

гоняла с отцом табуны, - она у него была одна, и за дочь и за сына, - но в

характере у нее проявлялись какие-то мужские черты, что-то резкое, а порой

даже грубоватое. И работала Джамиля напористо, с мужской хваткой. С

соседками ладить умела, но если ее понапрасну задевали, никому не уступала

в ругани, и бывали случаи, что и за волосы кое-кого таскала.

Соседи не раз приходили жаловаться:

- Что это у вас за невестка такая? Без году неделя, как переступила

порог, а языком так и молотит! Ни тебе уважения, ни тебе стыдливости!

- Вот и хорошо, что она такая! - отвечала на это мать. - Невестка у

нас любит правду в глаза говорить. Это лучше, чем скрытничать да исподтишка

жалить. Ваши тихонями прикидываются, а такие вот тихони - что протухшие

яйца: снаружи чисто и гладко, а внутри - нос заткни.

Отец и младшая мать никогда не обходились с Джамилей с той строгостью

и придирчивостью, как это положено свекру и свекрови. Относились они к ней

по-доброму, любили ее и желали только одного - чтобы она была верна богу и

мужу.

Я понимал их. Проводив в армию четырех сыновей, в Джамиле,

единственной невестке двух дворов, они находили утешение и потому так

дорожили ею. Но я не понимал своей матери. Не такой она человек, чтобы

просто любить кого-нибудь. У моей матери властный, суровый характер. Она

жила по своим правилам и никогда не изменяла им. Каждый год с приходом

весны она ставила во дворе и окуривала можжевельником нашу кочевую юрту,

которую отец сладил еще в молодости. Она и нас воспитала в строгом

трудолюбии и почтении к старшим. Она требовала от всех членов семьи

беспрекословного подчинения.

А вот Джамиля с первых же дней, как пришла к нам, оказалась не такой,

какой положено быть невестке. Правда, она уважала старших, слушалась их, но

никогда не склоняла перед ними голову, зато и не язвила шепотком,

отвернувшись в сторону, как другие молодухи. Она всегда прямо говорила то,

что думала, и не боялась высказывать свои суждения. Мать часто поддерживала

ее, соглашалась с ней, но всегда решающее слово оставляла за собой.

Мне кажется, что мать видела в Джамиле, в ее прямодушии и

справедливости равного себе человека и втайне мечтала когда-нибудь

поставить ее на свое место, сделать ее такой же властной хозяйкой, такой же

байбиче, хранительницей семейного очага.

- Благодари аллаха, дочь моя, - поучала мать Джамилю, - ты пришла в

крепкий, благословенный дом. Это твое счастье. Женское счастье - детей

рожать да чтобы в доме достаток был. А у тебя, слава богу, останется все,

что нажили мы, старики, - в могилу ведь с собой не возьмем. Только счастье

- оно живет у того, кто честь и совесть свою бережет. Помни об этом,

соблюдай себя!..

Но кое-что в Джамиле все-таки смущало свекровей: уж слишком откровенно

была она весела, точно дитя малое. Порой, казалось бы, совсем беспричинно

начинала смеяться, да еще так громко, радостно. А когда возвращалась с

работы, то не входила, а вбегала во двор, перепрыгивая через арык. И ни с

того ни с сего принималась целовать и обнимать то одну свекровь, то другую.

А еще любила Джамиля петь, она постоянно напевала что-нибудь, не

стесняясь старших. Все это, конечно, не вязалось с устоявшимися в аиле

представлениями о поведении невестки в семье, но обе свекрови успокаивали

себя тем, что со временем Джамиля остепенится: ведь в молодости все, мол,

они такие. А для меня лучше Джамили никого не было на свете. Нам было

вместе очень весело, мы могли хохотать без всякой причины и гоняться друг

за другом по двору.

Джамиля была хороша собой. Стройная, статная, с прямыми жесткими

волосами, заплетенными в две тугие, тяжелые косы, она ловко повязывала свою

белую косынку, чуть наискосок спуская ее на лоб, и это очень шло ей и

красиво оттеняло смуглую кожу гладкого лица. Когда Джамиля смеялась, ее

иссиня-черные миндалевидные глаза вспыхивали молодым задором, а когда она

вдруг начинала петь соленые аильные куплеты, в ее красивых глазах появлялся

недевичий блеск.

Я часто замечал, что джигиты, в особенности фронтовики, вернувшиеся

домой, заглядывались на нее. Джамиля и сама любила пошутить, но, правда,

давала по рукам тем, кто забывался. И все-таки это всегда задевало меня. Я

ревновал ее, как ревнуют младшие братья своих сестер, и если замечал возле

Джамили молодых людей, то старался хоть чем-нибудь помешать им. Я пыжился и

смотрел на них с такой злостью, что как бы говорил своим видом: "Вы не

больно тут гогочите. Она жена моего брата, и не думайте, что некому

вступиться за нее!"

В такие минуты я с нарочитой развязностью, к месту и не к месту,

встревал в разговор, пытался высмеять ее ухажеров, а когда из этого ничего

не получалось, терял самообладание и, набычившись, сопел.

Парни прыскали со смеху.

- Ой, ты только погляди на него! Да никак она его джене, вот

потеха-то, а мы и не знали!

Я крепился, но чувствовал, как предательски загорались у меня уши и от

обиды слезы навертывались на глаза. А Джамиля, моя джене, понимала меня.

Едва сдерживая рвущийся наружу смех, она делала серьезное лицо.

- А вы думали, что джене на дороге валяются? - приосанившись, говорила

она джигитам. - Может, у вас и валяются, а у нас нет! Пошли отсюда, кайни

мой, ну вас! - И, красуясь перед ними, Джамиля гордо вскидывала голову,

вызывающе поводила плечами и, уходя вместе со мной, молча улыбалась.

И досаду, и радость видел я в этой улыбке. Может быть, она думала

тогда: "Эх ты, глупенький! Если только захочу дать себе волю, кто меня

удержит? Всей семьей следите - не уследите!" Я в таких случаях виновато

молчал. Да, я ревновал Джамилю, боготворил ее, гордился тем, что она моя

джене, гордился ее красотой и независимым, вольным характером. Мы с ней

были самыми задушевными друзьями и ничего не таили друг от друга.

… В тот день, как мне и наказывал бригадир, я решил дождаться отца,

чтобы побрить голову, а тем временем принялся писать ответ на письмо

Садыка. И тут у нас были свои правила: братья писали письма на имя отца,

аильский почтальон вручал их матери, читать письма и отвечать на них было

моей обязанностью. Еще не начав читать, я наперед знал, что написал Садык.

Все его письма походили одно на другое, как ягнята в отаре. Садык постоянно

начинал со слов "Послание о здравии" и затем неизменно сообщал: "Посылаю

это письмо по почте моим родным, живущим в благоухающем, цветущем Таласе:

премного любимому, дорогому отцу Джолчубаю..." Далее шла моя мать, затем

его мать, а потом уже все мы в строгой очередности. После этого следовали

непременные вопросы о здоровье и благополучии аксакалов рода, близких

родственников, и только в самом конце, вроде бы второпях, Садык приписывал:

"А также шлю привет моей жене Джамиле..."

Конечно, когда живы отец с матерью, когда здравствуют в аиле аксакалы

и близкие родственники, называть жену первой, а тем более писать письма на

ее имя просто неудобно, даже неприлично. Так считает не только Садык, но и

каждый уважающий себя мужчина. Да тут и толковать нечего, так уж было

заведено в аиле, и это не только не подлежало обсуждению, но мы просто над

этим не задумывались, да и не до того было. Ведь каждое письмо - желанное,

радостное событие.

Мать заставляла меня по нескольку раз перечитывать письмо, потом с

набожным умилением брала его в свои потрескавшиеся руки и держала листок

так неловко, словно птицу, которая вот-вот выпорхнет. С трудом шевеля

негнущимися пальцами, она складывала, наконец, письмо в треугольник.

- А-а, дорогие мои, как талисман мы будем хранить ваши письма! -

приговаривала она дрожащим от слез голосом. - Вот ведь справляется, как там

отец, мать, родичи... Да куда мы денемся, мы-то ведь у себя в аиле. А

каково-то вам? Хоть одно словечко черкните, жив, мол, я, и все - нам

большего не надо...

Мать еще долго смотрела на треугольник, потом прятала его в кожаный

мешочек, где хранились все письма, и запирала в сундук.

Если в это время Джамиля оказывалась дома, то и ей давали прочитать

письмо. Каждый раз, когда она брала в руки треугольник, я замечал, как она

вспыхивала. Она читала про себя, жадно, торопливо пробегая глазами по

строчкам. Но чем ближе подходила к концу, тем ниже опускались ее плечи и

огонь на щеках медленно угасал. Она хмурила свои упрямые брови и, не

дочитав последних строк, возвращала письмо матери с таким холодным

равнодушием, словно отдавала то, что брала в долг.

Мать, видно, по-своему понимала настроение невестки и старалась

подбодрить ее.

- Ты что это? - говорила она, запирая сундук. - Вместо того чтобы

радоваться, поникла вся! Или только у тебя одной муж в солдатах? Не ты одна

в беде - горе народное, с народом и терпи. Думаешь, есть такие, что не

скучают, что не тоскуют по мужьям по своим... Тоскуй, но виду не показывай,

в себе таи!

Джамиля молчала. Но ее упрямый, тоскливый взгляд, кажется, говорил:

"Ничего-то вы не понимаете, матушка!"

Письмо Садыка и на этот раз пришло из Саратова. Он лежал там в

госпитале. Садык писал, что, бог даст, осенью вернется домой по ранению. Об

этом он сообщал и раньше, и мы все радовались скорой встрече с ним.

Я все-таки не остался в тот день дома, а поехал на ток. Там я ночевал

обычно. Лошадей отвел на люцерник и спутал их. Председатель не разрешал

пасти скот на люцерне, но, чтобы лошади у меня были справными, я нарушал

запрет. Я знал одно укромное местечко в низине, к тому же ночью никто

ничего не мог заметить, но в этот раз, когда я выпряг лошадей и повел их,

оказалось, что кто-то уже пустил на люцерник четырех лошадей. Это меня

возмутило. Ведь я был хозяином пароконной брички, что давало мне право

возмущаться. Не раздумывая, я решил отогнать чужих лошадей куда-нибудь

подальше, чтобы проучить наглеца, вторгшегося в мои владения. Но вдруг я

узнал двух коней Данияра, того самого, о котором говорил днем бригадир.

Вспомнив, что с завтрашнего дня мы будем вместе с Данияром возить зерно на

станцию, я оставил его лошадей в покое и вернулся на ток.

Данияр, оказывается, был здесь. Он только что кончил смазывать колеса

своей брички и сейчас подкручивал гайки на осях.

- Данике, это твои лошади в низине? - спросил я.

Данияр медленно повернул голову.

- Две мои.

- А другая пара?

- Это, как ее, Джамили, что ли, это ее лошади. Она тебе кем доводится?

Джене твоя?

- Да джене.

- Бригадир сам их тут оставил, приказал присмотреть...

- Как хорошо, что я не отогнал лошадей!

Наступила ночь, улегся вечерний ветерок, дувший с гор. На току тоже

утихло. Данияр расположился возле меня под скирдой соломы, но спустя

немного времени поднялся и пошел к реке. Он остановился неподалеку, над

обрывом, да так и остался стоять, заложив руки за спину и чуть склонив на

плечо голову. Он стоял спиной ко мне. Его длинная, угловатая фигура, словно

вытесанная топором, резко выделялась в мягком лунном свете. Казалось, он

чутко прислушивался к шуму реки, все отчетливей нарастающему ночью на

перекатах. А может, он прислушивался еще к каким-то неуловимым для меня

звукам и шорохам ночи. "Опять он задумал ночевать у реки, вот чудак!" -

усмехнулся.

Данияр недавно появился в нашем аиле. Как-то на сенокос прибежал

мальчишка и говорит, что в аил пришел раненый солдат, а кто и чей, он не

знает. Ох, что тут было! Ведь в аиле-то как: вернется кто-нибудь из

фронтовиков, так все до едина, и старые и малые, гуртом бегут поглядеть на

прибывшего, за ручку поздороваться, расспросить, не видал ли близких,

послушать новости. Тут крик поднялся невообразимый, каждый гадал: может,

наш брат вернулся, а может, сват? Ну и помчались косари узнать, в чем дело.

Оказывается, Данияр был коренным нашим земляком, уроженцем аила.

Рассказывали, что в детстве он остался сиротой, года три мыкался по дворам,

а потом подался к казахам в Чакмакскую степь - родственники по материнской

линии у него казахи. Близких родных не было, чтобы вернуть мальчонку назад,

так и позабыли о нем. Когда его спрашивали, как жилось ему после ухода из

дому, Данияр отвечал уклончиво. И все-таки можно было понять, что он с

лихвой хлебнул горюшка, вдоволь познал сиротскую долю. Жизнь гоняла

Данияра, как перекати-поле, по разным краям. Он долгое время пас овец на

чакмакских солончаках, а когда подрос, рыл каналы в пустынях, работал в

новых хлопкосовхозах, потом - на Ангренских шахтах под Ташкентом, а оттуда

ушел в армию.

Возвращение Данияра в родной аил народ встретил с одобрением. "Сколько

ни мотало его по чужим краям, а вернулся - значит суждено пить воду из

родного арыка. И ведь не забыл своего языка, на казахский чуть сбивается, а

так говорит чисто!"

"Тулпар за тридевять земель отыщет свой косяк. Кому не дорога своя

родина, свой народ! Молодец, что вернулся. И мы довольны и духи твоих

предков. Вот, бог даст, добьем германа, заживем мирно, и ты, как и другие,

обзаведешься семьей, и у тебя взовьется свой дымок над очагом!" - говорили

старые аксакалы.

Припомнив предков Данияра, они точно установили, из какого он рода.

Так появился в нашем аиле "новый родич" - Данияр.

И вот бригадир Орозмат привел к нам на сенокос высокого сутуловатого

солдата, прихрамывающего на левую ногу. Перекинув шинель через плечо, он

порывисто шагал, стараясь не отставать от семенящей иноходью приземистой

кобыленки Орозмата. А сам бригадир рядом с длинным Данияром своим небольшим росточком и подвижностью чем-то напоминал беспокойного речного кулика. Ребята даже рассмеялись. Раненая нога Данияра, тогда еще не совсем зажившая, не сгибалась в коленке, потому в косари он не годился, и его назначили к нам, ребятам, на сенокосилки. Скажу по чести, не очень-то он нам понравился. Прежде всего не пришлась нам по душе его замкнутость. Говорил Данияр мало, а если и говорил, то чувствовалось, что думает он в это время о чем-то другом, постороннем, что у него какие-то свои мысли, и не поймешь, видит он тебя или не видит, хотя и глядит прямо тебе в лицо своими задумчиво-мечтательными глазами.

- Бедный парень, видать, все еще не может опомниться после фронта! -

говорили про него.

Но что интересно - при такой вот постоянной задумчивости Данияр

работал быстро, точно, и со стороны можно было подумать, что он общительный

и открытый человек. Может быть, трудное сиротское детство приучило его

скрывать свои чувства и мысли, выработало в нем такую сдержанность?

Возможно, и так.

Тонкие губы Данияра с твердыми морщинками по углам всегда были плотно

сомкнуты, глаза смотрели печально, спокойно, и только гибкие, подвижные

брови оживляли его худощавое, всегда усталое лицо. Иногда он

настораживался, словно услышал что-то недоступное другим, и тогда взлетали

у него брови и глаза загорались непонятным восторгом. А потом он долго

улыбался и радовался чему-то. Нам все это казалось странным. Да и не только

это, у него были и другие странности. Вечером мы выпрягали лошадей,

собирались у шалаша и ждали, когда кухарка сварит еду, а Данияр взбирался

на караульную сопку и просиживал там дотемна.

- Что он там делает, на дозор поставлен, что ли? - смеялись мы.

Однажды и я ради любопытства полез за Данияром на сопку. Казалось бы,

ничего особенного здесь не было. Широко простиралась окрест предгорная

степь, погруженная в сиреневые сумерки. Темные, смутные поля, казалось,

медленно растворялись в тишине.

Данияр даже не обратил внимания на мой приход; он сидел, обхватив

колено, и смотрел куда-то перед собой задумчивым, но светлым взглядом. И

опять мне показалось, что он напряженно вслушивается в какие-то не

доходящие до моего слуха звуки. Порой он настораживался и замирал с широко

раскрытыми глазами. Его что-то томило, и мне думалось, что вот сейчас он

встанет и распахнет свою душу, только не передо мной - меня он не замечал,

- а перед чем-то огромным, необъятным, неведомым мне. А потом я глянул и не

узнал его: понуро и вяло сидел Данияр, будто просто отдыхал после работы.

… Казалось бы, пора было уже Данияру завести в аиле друзей. Но он

по-прежнему оставался одиноким, словно ему было чуждо понятие дружбы или

вражды, симпатии или зависти. А ведь в аиле тот джигит на виду, который

может постоять за себя и за других, кто способен сделать добро, а порой и

зло причинить, кто, не уступая аксакалам, распоряжается на пиршествах и

поминках, - такие и у женщин на примете.

А если человек, подобно Данияру, держится в стороне, не вмешиваясь в

повседневные дела аила, то одни его просто не замечают, а другие

снисходительно говорят:

- Никому от него ни вреда, ни пользы. Живет, бедняга, перебивается

кое-как, ну и ладно...

Такой человек, как правило, является предметом насмешек или жалости. А

мы, подростки, которым всегда хотелось казаться старше своего возраста,

чтобы быть на равной ноге с истинными джигитами, если не прямо в лицо, то

между собой постоянно смеялись над Данияром. Мы смеялись даже над тем, что

он сам стирал свою гимнастерку в реке. Выстирает - и еще не просохшую

наденет: она у него была одна.

Но странное дело - казалось бы, тихий и безобидный был Данияр, а мы

так и не решались обходиться с ним запанибрата. И не потому, что он был

старше нас, - подумаешь, три или четыре года разницы, с такими мы не

церемонились и называли их на "ты", - и не потому, что он был суров или

важничал, что подчас внушает подобие уважения, - нет, что-то недоступное

таилось в его молчаливой, угрюмой задумчивости, и это сдерживало нас,

готовых поднять на смех кого угодно.

Возможно, поводом для нашей сдержанности послужил один случай. Я был

очень любопытным малым и нередко надоедал людям своими вопросами, а

расспрашивать фронтовиков о войне было моей настоящей страстью. Когда

Данияр появился у нас на сенокосе, я все искал подходящий случай выведать

что-нибудь у нового фронтовика.

Вот сидели мы как-то вечером после работы у костра, поели и спокойно

отдыхали.

- Данике, расскажи что-нибудь о войне, пока спать не легли, - попросил я.

Данияр сперва промолчал и вроде бы даже обиделся. Он долго смотрел на

огонь, потом поднял голову и глянул на нас.

- О войне, говоришь? - спросил он и, будто отвечая на свои собственные

раздумья, глухо добавил: - Нет, лучше вам не знать о войне!

Потом он повернулся, взял охапку сухого бурьяна и, подбросив ее в

костер, принялся раздувать огонь, не глядя ни на кого из нас.

Больше Данияр ничего не сказал. Но даже из этой короткой фразы,

которую он произнес, стало понятно, что нельзя вот так просто говорить о

войне, что из этого не получится сказка на сон грядущий. Война кровью

запеклась в глубине человеческого сердца, и рассказывать о ней нелегко. Мне

было стыдно перед самим собой. И я никогда уже не спрашивал у Данияра о

войне.

Однако не только этим он завоевал уважение к себе. Тот вечер быстро

забылся, так же как быстро пропал в аиле интерес к самому Данияру. Его

нелюдимость и замкнутость вызвали у людей равнодушие или просто чувство

жалости.

- Бездомный, несчастный малый, - говорили о нем. - Хорошо еще,

кормится в колхозе, а то в пору с сумой пойти... Тихий он, безобидный,

точно овца!

Постепенно люди свыклись со странным характером Данияра, а потом

вообще перестали замечать его. Пожалуй, так оно и должно было быть: если

человек ничем не проявляет себя, то о нем постепенно забывают.

На другой день рано утром мы с Данияром привели лошадей на ток, а к

тому времени и Джамиля пришла. Еще издали, увидев нас, она крикнула:

- Ой, кичине бала, а ну, веди моих коней сюда! А где мои хомуты? - и,

будто всю жизнь была ездовым, принялась с деловым видом осматривать брички,

пробуя толчками ноги, хорошо ли подогнаны колесные втулки.

Когда мы с Данияром подъехали, вид наш показался ей потешным. Длинные

худые ноги Данияра болтались в готовых вот-вот соскочить кирзовых сапогах с

широченными голенищами. А я понукал лошадь босыми, задубелыми до черноты

пятками.

- Ну и пара! - Джамиля весело вскинула голову. И, не мешкая, начала

командовать нами: - Поживей давайте, чтоб до жары степь проехать!

Она схватила коней под уздцы, уверенно подвела их к бричке и принялась

запрягать. И ведь сама запрягала, только один раз попросила меня показать,

как налаживать вожжи. Данияра она не замечала, будто его и вовсе не было

рядом.

Решительность и даже вызывающая самоуверенность Джамили, видно,

поразили Данияра. Недружелюбно, но в то же время со скрытым восхищением он

смотрел на нее, отчужденно сомкнув губы. Когда он молча поднял с весов

мешок с зерном и поднес его к бричке, Джамиля накинулась на него:

- Это что же, каждый так и будет сам по себе тужиться? Нет, друг, так

не пойдет, а ну, давай сюда руку! Эй, кичине бала, что ты смотришь, лезь на

бричку, укладывай мешки!

Джамиля сама схватила руку Данияра, и, когда они вместе, на сомкнутых

руках, подхватили мешок, он, бедняга, покраснел от смущения. И потом каждый

раз, когда они подносили мешки, крепко сжимая друг другу руки, а головы их

почти соприкасались, я видел, как мучительно неловко Данияру, как

напряженно он кусает губы, как старается не глядеть в лицо Джамиле. А

Джамиле хоть бы что, она, казалось, и не замечала своего напарника,

перекидываясь шутками с весовщицей. Потом, когда брички были нагружены и мы

взяли вожжи в руки, Джамиля, лукаво подмигнув, сказала сквозь смех:

- Эй, ты, как тебя, Данияр, что ли? Ты же мужчина с виду, давай первым

открывай путь!

Данияр опять молча рванул бричку с места. "Ох, ты, горемыка, какой же

ты ко всему еще и стыдливый!" - подумал я.

Путь нам предстоял дальний: километров двадцать по степи, потом через

ущелье к станции. Одно было хорошо: как выедешь - и до самого места дорога

все время идет под гору, лошади не в тягость.

Наш аил Куркуреу раскинулся по берегу реки, на склоне Великих гор, и

тянется до самых Черных гор. Пока не въедешь в ущелье, аил с его темнеющими

купами деревьев всегда на виду.

За день мы успевали сделать только один рейс. Мы выезжали утром, а

приезжали на станцию после полудня.

Солнце немилосердно палило, а на станции толчея, не пробьешься:

брички, мажары с мешками, съехавшиеся со всей долины, навьюченные ишаки и

волы из дальних горных колхозов. Пригнали их мальчишки и солдатки, черные,

в выгоревших одеждах, с разбитыми о камни босыми ногами и в кровь

потрескавшимися от жары и пыли губами.

На воротах "Заготзерна" висело полотнище: "Каждый колос хлеба -

фронту!" Во дворе - сутолока, толкотня, крики погонщиков. Рядом, за

низеньким дувалом, маневрирует паровоз и, выбрасывая тугие клубы горячего

пара, дышит угарным шлаком. Мимо с оглушительным ревом проносятся поезда.

Раздирая слюнявые пасти, злобно и отчаянно орут верблюды, не желая

подниматься с земли.

В приемном пункте под железной накаленной крышей - горы зерна. Мешки

надо нести по дощатому трапу наверх, под самую крышу. Густая хлебная

духота, пыль спирают дыхание.

- Эй ты, парень, смотри у меня! - орет внизу приемщик с красными от

бессонницы глазами. - Наверх тащи, на самый верх! - Он грозит кулаком и

разражается бранью.

Ну чего он ругается? Ведь мы и так знаем, куда тащить, и дотащим. Ведь

несем мы этот хлеб на своих плечах с самого поля, где по зернышку

выращивали и собирали его женщины, старики и дети, где и сейчас, в горячую

страдную пору, комбайнер бьется у истерзанного, давно отслужившего свой век

комбайна, где спины женщин вечно согнуты над раскаленными серпами, где

маленькие ребячьи руки бережно собирают каждый оброненный колос.

Я и сейчас еще помню, как тяжелы были мешки, которые я носил на

плечах. Такая работа под стать самым крепким мужчинам. Я шел наверх,

балансируя по скрипучим, прогибающимся доскам трапа, намертво закусив

зубами край мешка, чтобы только удержать его, не выпустить. В горле першило

от пыли, на ребра давила тяжесть, перед глазами стояли огненные круги. И

сколько раз, ослабев на полпути, чувствуя, как неумолимо сползает со спины

мешок, мне хотелось бросить его и вместе с ним скатиться вниз. Но сзади

идут люди. Они тоже с мешками, они мои ровесники, такие же юнцы или

солдатки, у которых такие же дети, как я. Если бы не война, разве позволили

бы им таскать такие тяжести? Нет, я не имел права отступать, когда такую же

работу выполняли женщины.

Вон Джамиля идет впереди, подоткнув платье выше колен, и я вижу, как

напрягаются крутые мускулы на ее смуглых красивых ногах, вижу, с каким

усилием держит она свое гибкое тело, пружинисто сгибаясь под мешком. Иногда

только приостанавливается Джамиля, словно чувствуя, что я слабею с каждым

шагом.

- Крепись, кичине бала, немного осталось!

А у самой голос незвонкий, придушенный.

Когда мы, высыпав зерно, возвращались назад, навстречу нам попадался

Данияр. Он шел по трапу, чуть прихрамывая, сильным мерным шагом, как всегда

одинокий и молчаливый. Поравнявшись с нами, Данияр окидывал Джамилю

мрачным, жгучим взглядом, а она, разгибая натруженную спину, оправляла

измятое платье. Он так глядел на нее каждый раз, словно видел впервые, а

Джамиля продолжала не замечать его.

Да, так уж повелось: Джамиля или смеялась над ним, или вовсе не

обращала на него внимания. Это зависело от ее настроения. Вот едем мы по

дороге, вдруг вздумается ей, она крикнет мне: "Айда, пошли!" И, гикая и

крутя над головой кнут, погонит лошадей вскачь. Я за ней. Мы обгоняли

Данияра, оставляя его в густых облаках долго не оседающей пыли. Хотя это

делалось в шутку, но не каждый бы стал такое терпеть. А вот Данияр,

казалось, не обижался. Мы проносились мимо, а он с угрюмым восхищением

смотрел на хохочущую Джамилю, стоявшую на бричке. Я оборачивался. Данияр

смотрел на нее даже сквозь пыль. И было что-то доброе, всепрощающее в его

взгляде, но еще я угадывал в нем упрямую, затаенную тоску.

Как насмешки, так и полное равнодушие Джамили ни разу не вывели из

себя Данияра. Он словно бы дал клятву - сносить все. Вначале мне было его

жалко, и я несколько раз говорил Джамиле:

- Ну зачем ты смеешься над ним, джене, ведь он такой безобидный!

- А ну его! - смеялась Джамиля и махала рукой. - Я ведь так просто, в

шутку, ничего с этим бирюком не случится!

А потом и я стал подшучивать и подсмеиваться над Данияром не хуже

самой Джамили. Меня начали беспокоить его странные, упорные взгляды. Как он

смотрел на нее, когда она взваливала себе мешок на плечи! Да и, право, в

этом гомоне, толкотне, в этой базарной сутолоке двора, среди мятущихся,

охрипших людей Джамиля бросалась в глаза своими уверенными, точными

движениями, легкой походкой, словно бы все это происходило на просторе.

И нельзя было не заглядеться на нее. Чтобы взять с борта брички мешок,

Джамиля вытягивалась, изгибаясь, подставляла плечо и закидывала голову так,

что обнажалась ее красивая шея и бурые от солнца косы почти касались земли.

Данияр, как бы между делом, приостанавливался, а потом провожал ее взглядом

до самых дверей. Наверно, он думал, что делает это незаметно, но я все

примечал, и мне это начинало не нравиться и даже вроде бы оскорбляло мои

чувства: ведь уж Данияра-то я никак не мог считать достойным Джамили.

"Подумать только, даже он заглядывается, а что же говорить о других!"

- возмущалось все мое существо. И детский эгоизм, от которого я еще не

освободился, разгорался жгучей ревностью. Ведь дети всегда ревнуют своих

близких к чужим. И вместо жалости к Данияру я испытывал теперь к нему

чувство такой неприязни, что злорадствовал, когда над ним смеялись.

Однако наши проделки с Джамилей окончились однажды весьма печально.

Среди мешков, в которых мы возили зерно, был один огромный, на семь пудов,

сшитый из шерстяного рядна. Обычно мы вдвоем управлялись с ним, одному это

не под силу. И вот как-то на току мы решили подшутить над Данияром. Мы

свалили этот огромный мешок в его бричку, а сверху завалили его другими. По

пути мы с Джамилей забежали в русском селе в чей-то сад, нарвали яблок и

всю дорогу смеялись: Джамиля кидала яблоками в Данияра. А потом мы, как

обычно, обогнали его, подняв тучу пыли. Нагнал он нас за ущельем, у

железнодорожного переезда: путь был закрыт. Отсюда мы уже вместе прибыли на

станцию, и как-то получилось, что мы совершенно забыли об этом семипудовом

мешке и вспомнили о нем, когда уже кончали разгрузку. Джамиля озорно

толкнула меня в бок и кивнула в сторону Данияра. Он стоял на бричке,

озабоченно рассматривая мешок, и, видно, обдумывал, как с ним быть. Потом

огляделся по сторонам и, заметив, как Джамиля подавилась смешком, густо

покраснел: он понял, в чем дело.

- Штаны подтяни, а то потеряешь на полдороге! - крикнула Джамиля.

Данияр метнул в нашу сторону злой взгляд, и не успели мы одуматься,

как он передвинул мешок по дну брички, поставил его на ребро борта,

спрыгнул, придерживая мешок одной рукой, и, взвалив его на спину, пошел.

Сначала мы сделали вид, будто ничего особенного в этом нет. А другие и

подавно ничего не заметили - идет человек с мешком, так ведь все идут. Но

когда Данияр подходил к трапу, Джамиля догнала его.

- Брось мешок, я же пошутила!

- Уйди! - раздельно сказал он и пошел по трапу.

- Смотри, тащит! - вроде бы оправдываясь, проговорила Джамиля.

Она все еще тихонько посмеивалась, но смех ее становился каким-то

неестественным, словно она вынуждала себя смеяться.

Мы заметили, что Данияр стал сильнее припадать на раненую ногу. И как

мы не подумали об этом раньше? До сих пор не могу простить себе этой

дурацкой шутки, ведь это я, глупец, такое выдумал!

- Вернись! - вскрикнула Джамиля сквозь невеселый смех.

Но вернуться Данияр уже не мог: позади него шли люди.

Я толком не помню, что было дальше. Я видел Данияра, согнувшегося под

большущим мешком, его низко склоненную голову и прикушенную губу. Он шел

медленно, осторожно занося раненую ногу. Каждый новый шаг, видно, причинял

ему такую боль, что он дергал головой и на секунду замирал. И чем выше он

взбирался по трапу, тем сильнее качался из стороны в сторону. Его

раскачивал мешок. И мне до того было страшно и стыдно, что даже в горле

пересохло. Оцепенев от ужаса, я всем своим существом ощущал тяжесть его

груза и нестерпимую боль в его раненой ноге. Вот опять его качнуло, он

мотнул головой, и в глазах у меня все закачалось, потемнело, земля поплыла

из-под ног.

Я очнулся от оцепенения, когда вдруг кто-то сильно, до ломоты в

костях, сжал мою руку. Я не сразу узнал Джамилю. Белая-белая, с огромными

зрачками в широко раскрытых глазах, а губы все еще вздрагивают от недавнего

смеха. Тут уж не только мы, а все, кто был, и приемщик тоже, сбежались к

подножию трапа. Данияр сделал еще два шага, хотел поправить на спине мешок

- и начал медленно опускаться на колено. Джамиля закрыла лицо руками.

- Бросай! Бросай мешок! - крикнула она.

Но Данияр почему-то не бросал мешок, хотя давно можно было свалить его

боком с трапа в сторону, чтобы он не сбил идущих сзади. Услышав голос

Джамили, он рванулся, выпрямил ногу, сделал еще шаг, и снова его замотало.

- Да бросай же ты, собачий сын! - заорал приемщик.

- Бросай! - закричали люди.

Данияр и на этот раз выстоял.

- Нет, он не бросит! - убежденно прошептал кто-то.

И, кажется, все - те, что шли следом по трапу, и те, что стояли внизу,

- поняли: не бросит он мешок, если только сам не свалится вместе с ним.

Наступила мертвая тишина. За стеной, снаружи, отрывисто свистнул паровоз.

А Данияр, покачиваясь, как оглушенный, шел вверх под раскаленной

железной крышей, прогибая доски трапа. Через каждые два шага он

приостанавливался, теряя равновесие, и, снова собрав силы, шел дальше. Те,

что шли сзади, старались подладиться к нему и тоже приостанавливались. Это

выматывало людей, они выбивались из сил, но никто не возмутился, никто не

обругал его. Будто связанные невидимой веревкой, люди шли со своей ношей,

как по опасной, скользкой тропе, где жизнь одного зависит от жизни другого.

В их согласном безмолвии и однообразном покачивании был единый тяжелый

ритм. Шаг, еще шаг за Данияром и еще шаг. С каким состраданием и мольбой,

стиснув зубы, смотрела на него солдатка, что шла за ним следом! У нее у

самой заплетались ноги, но она молилась о нем.

Уже осталось немного, скоро кончится наклонная часть трапа. Но Данияр

опять зашатался, раненая нога уже не подчинялась ему. Он того гляди

сорвется, если не выпустит мешок.

- Беги! Поддержи сзади! - крикнула мне Джамиля, а сама растерянно

протянула руки, будто могла этим помочь Данияру.

Я бросился вверх по трапу. Протискиваясь между людьми и мешками, я

добежал до Данияра. Он глянул на меня из-под локтя. На потемневшем мокром

лбу его вздулись жилы, налитые кровью глаза обожгли меня гневом. Я хотел

поддержать мешок.

- Уйди! - грозно прохрипел Данияр и двинулся вперед.

Когда Данияр, тяжело дыша и прихрамывая, сошел вниз, руки у него

висели как плети. Все молча расступились перед ним, а приемщик не выдержал

и закричал:

- Ты что, парень, сдурел? Разве я не человек, разве я не разрешил бы

тебе высыпать внизу? Зачем ты таскаешь такие мешки?

- Это мое дело, - негромко ответил Данияр.

Он сплюнул в сторону и пошел к бричке. А мы не смели поднять глаза.

Стыдно было, и зло брало, что Данияр так близко к сердцу принял нашу

дурацкую шутку.

Всю ночь мы ехали молча. Для Данияра это было естественно. Поэтому мы

не могли понять, обижен он на нас или уже забыл обо всем. Но нам было

тяжело, совесть мучила.

Утром, когда мы грузились на току, Джамиля взяла этот злополучный

мешок, наступила ногой на край и разодрала его с треском.

- На свою дерюгу! - Она швырнула мешок к ногам удивленной весовщицы. -

И скажи бригадиру, чтоб второй раз не подсовывал таких!

- Да ты что? Что с тобой?

- А ничего!

Весь следующий день Данияр ничем не проявлял своей обиды, держался

ровно и молчаливо, только прихрамывал больше обычного, особенно когда носил

мешки. Видно, крепко разбередил вчера рану. И это все время напоминало нам

о нашей вине перед ним. А все-таки, если бы он засмеялся или пошутил, стало

бы легче - на том и забылась бы наша размолвка.

Джамиля тоже старалась делать вид, что ничего особенного не произошло.

Гордая, она хоть и смеялась, но я видел, что весь день ей было не по себе.

Мы поздно возвращались со станции. Данияр ехал впереди. А ночь

выдалась великолепная. Кто не знает августовских ночей с их далекими и в то

же время близкими, необыкновенно яркими звездами! Каждая звездочка на виду.

Вон одна из них, будто заиндевевшая по краям, вся в мерцании ледяных

лучиков, с наивным удивлением смотрит на землю с темного неба. Мы ехали по

ущелью, и я долго глядел на нее. Лошади в охотку рысили к дому, под

колесами поскрипывала щебенка. Ветер доносил из степи горькую пыльцу

цветущей полыни, едва уловимый аромат остывающего спелого жита, и все это,

смешиваясь с запахом дегтя и потной конской сбруи, слегка кружило голову.

С одной стороны над дорогой нависли поросшие шиповником затененные

скалы, а с другой - далеко внизу в зарослях тальника и диких топольков

бурунилась неугомонная Куркуреу. Изредка где-то позади со сквозным грохотом

пролетали через мост поезда и, удаляясь, долго уносили за собой перестук

колес.

Хорошо было ехать по прохладе, смотреть на колышущиеся спины лошадей,

слушать августовскую ночь, вдыхать ее запахи. Джамиля ехала впереди меня.

Бросив вожжи, она смотрела по сторонам и что-то тихонько напевала. Я

понимал - ее тяготило наше молчание. В такую ночь невозможно молчать, в

такую ночь хочется петь!

И она запела. Запела, быть может, еще и потому, что хотела как-то

вернуть прежнюю непосредственность в наших отношениях с Данияром, хотела

отогнать чувство своей вины перед ним. Голос у нее был звонкий, задорный, и

пела она обыкновенные аильные песенки вроде: "Шелковым платочком помашу

тебе" или "В дальней дороге милый мой". Знала она много песенок и пела их

просто и задушевно, так что слушать ее было приятно. Но вдруг она оборвала

песню и крикнула Данияру:

- Эй ты, Данияр, спел бы хоть что-нибудь! Джигит ты или кто?

- Пой, Джамиля, пой! - смущенно отозвался Данияр, попридержав лошадей.

- Я слушаю тебя, оба уха навострил!

- А ты думаешь, у нас, что ли, ушей нет! Подумаешь, не хочешь - не

надо! - И Джамиля снова запела.

Кто знает, зачем она просила его петь! Может, просто так, а может,

хотела вызвать его на разговор. Скорее всего ей хотелось поговорить с ним,

потому что спустя немного времени она снова крикнула:

- А скажи, Данияр, ты любил когда-нибудь? - и засмеялась.

Данияр ничего не ответил. Джамиля тоже умолкла.

"Нашла кого просить петь!" - усмехнулся я.

У речушки, пересекавшей дорогу, лошади, цокая подковами по мокрым

серебристым камням, замедлили ход. Когда мы миновали брод, Данияр

подстегнул коней и неожиданно запел скованным, прыгающим на выбоинах

голосом:

*Горы мои, сине-белые горы,*

*Земля моих дедов, моих отцов!*

Он вдруг запнулся, закашлялся, но уже следующие две строчки вывел

глубоким, грудным голосом, правда чуть с хрипотцой:

*Горы мои, сине-белые горы,*

*Колыбель моя...*

Тут он снова осекся, будто испугался чего-то, и замолчал.

Я живо представил себе, как он смутился. Но даже в этом робком,

прерывистом пении было что-то необыкновенно взволнованное, и голос, должно

быть, у него был хороший, просто не верилось, что это Данияр.

- Ты смотри! - не удержался я.

А Джамиля даже воскликнула:

- Где же ты был раньше? А ну пой, пой как следует!

Впереди обозначился просвет - выход из ущелья в долину. Оттуда подул

ветерок. Данияр снова запел. Начал он так же робко, неуверенно, но

постепенно голос его набрал силу, заполнил собой ущелье, отозвался эхом в

далеких скалах.

Больше всего меня поразило, какой страстью, каким горением была

насыщена сама мелодия. Я не знал, как это назвать, да и сейчас не знаю,

вернее, не могу определить - только ли это голос или еще что-то более

важное, что исходит из самой души человека, что-то такое, что способно

вызвать у другого такое же волнение, способно оживить самые сокровенные

думы.

Если бы я только мог хоть в какой-то мере воспроизвести песню Данияра!

В ней почти не было слов, без слов раскрывала она большую человеческую

душу. Ни до этого, ни после - никогда я не слышал такой песни: она не

походила ни на киргизские, ни на казахские напевы, но в ней было и то и

другое. Музыка Данияра вобрала в себя все самые лучшие мелодии двух родных

народов и по-своему сплела их в единую неповторимую песню. Это была песня

гор и степей, то звонко взлетающая, как горы киргизские, то раздольно

стелющаяся, как степь казахская.

Я слушал и диву давался: "Так вот он, оказывается, какой, Данияр! Кто

бы мог подумать!"

Мы уже ехали степью по мягкой, наезженной дороге, и напев Данияра

теперь разворачивался вширь, новые и новые мелодии с удивительной гибкостью

сменяли одна другую. Неужели он так богат? Что с ним произошло? Словно он

только и ждал своего дня, своего часа!

И мне вдруг стали понятны его странности, которые вызывали у людей и

недоумение и насмешки, - его мечтательность, любовь к одиночеству, его

молчаливость. Я понял теперь, почему он просиживал целые вечера на

караульной сопке и почему оставался один на ночь у реки, почему он

постоянно прислушивался к неуловимым для других звукам и почему иногда

вдруг загорались у него глаза и взлетали обычно настороженные брови. Это

был человек, глубоко влюбленный. И влюблен он был, почувствовал я, не

просто в другого человека; это была какая-то другая, огромная любовь - к

жизни, к земле. Да, он хранил эту любовь в себе, в своей музыке, он жил ею.

Равнодушный человек не мог бы так петь, каким бы он ни обладал голосом.

Когда, казалось, угас последний отзвук песни, ее новый трепетный порыв

словно пробудил дремлющую степь. И она благодарно слушала певца,

обласканная родным ей напевом. Широким плесом колыхались спелые сизые

хлеба, ждущие жатвы, и предутренние блики перебегали по полю. Могучая толпа

старых верб на мельнице шелестела листвой, за речкой догорали костры

полевых станов, и кто-то, как тень, бесшумно скакал по-над берегом, в

сторону аила, то исчезая в садах, то появляясь опять. Ветер доносил оттуда

запах яблок, молочно-парной медок цветущей кукурузы и теплый дух

подсыхающих кизяков.

Долго, самозабвенно пел Данияр. Притихнув, слушала его зачарованная

августовская ночь. И даже лошади давно уже перешли на мерный шаг, будто

боялись нарушить это чудо.

И вдруг на самой высокой, звенящей ноте Данияр оборвал песню и,

гикнув, погнал лошадей вскачь. Я думал, что и Джамиля устремится за ним, и

тоже приготовился, но она не шелохнулась. Как сидела, склонив голову на

плечо, так и осталась сидеть, будто все еще прислушивалась к витающим

где-то в воздухе звукам. Данияр уехал, а мы до самого аила не проронили ни

слова. Да и надо ли было говорить, ведь словами не всегда и не все

выскажешь...

С этого дня в нашей жизни, казалось, что-то изменилось. Я теперь

постоянно ждал чего-то хорошего, желанного. С утра мы грузились на току,

прибывали на станцию, и нам не терпелось побыстрее выехать отсюда, чтобы на

обратном пути слушать песни Данияра. Его голос вселился в меня, он

преследовал меня на каждом шагу: с ним по утрам я бежал через мокрый,

росистый люцерник к стреноженным лошадям, а солнце, смеясь, выкатывалось

из-за гор навстречу мне. Я слышал его голос и в мягком шелесте золотистого

дождя пшеницы, подкинутой на ветер стариками веяльщиками, и в плавном,

кружащем полете одинокого коршуна в степной выси, - во всем, что видел я и

слышал, мне чудилась музыка Данияра.

А вечером, когда мы ехали по ущелью, мне каждый раз казалось, что я

переношусь в иной мир. Я слушал Данияра, прикрыв глаза, и передо мной

вставали удивительно знакомые, родные с детства картины: то проплывало в

журавлиной выси над юртами весеннее кочевье нежных, дымчато-голубых

облаков; то проносились по гудящей земле с топотом и ржанием табуны на

летние выпасы, и молодые жеребцы с нестрижеными челками и черным диким

огнем в глазах гордо и ошалело обегали на ходу своих маток; то спокойной

лавой разворачивались по пригоркам отары овец; то срывался со скалы

водопад, ослепляя глаза белизной всклокоченной кипени; то в степи за рекой

мягко опускалось в заросли чия солнце, и одинокий далекий всадник на

огнистой кайме горизонта, казалось, скакал за ним - ему рукой подать до

солнца - и тоже тонул в зарослях и сумерках.

Широка за рекой казахская степь. Раздвинула она по обе стороны наши

горы и лежит суровая, безлюдная. Но в то памятное лето, когда грянула

война, загорелись огни по степи, затуманили ее горячей пылью табуны

строевых коней, поскакали гонцы во все стороны. И помню, как с того берега

кричал скачущий казах гортанным пастушьим голосом:

- Садись, киргизы, в седла: враг пришел! - и мчался дальше в вихрях и

волнах знойного марева.

Всех подняла на ноги степь, и в торжественно-суровом гуле двинулись с

гор и по долинам наши первые конные полки. Звенели тысячи стремян, глядели

в степь тысячи джигитов, впереди на древках колыхались красные знамена,

позади, за копытной пылью, бился о землю скорбно-величественный плач жен и

матерей: "Да поможет вам степь, да поможет вам дух нашего богатыря Манаса!"

Там, где шел на войну народ, оставались горькие тропы...

И весь этот мир земной красоты и тревог раскрывал передо мной Данияр в

своей песне. Где он этому научился, от кого он все это слышал? Я понимал,

что так мог любить свою землю только тот, кто всем сердцем тосковал по ней

долгие годы, кто выстрадал эту любовь. Когда он пел, я видел и его самого,

маленького мальчика, скитающегося по степным дорогам. Может, тогда и

родились у него в душе песни о родине? А может, тогда, когда он шагал по

огненным верстам войны?

Слушая Данияра, я хотел припасть к земле и крепко, по-сыновьи обнять

его только за то, что человек может так ее любить. Я впервые почувствовал

тогда, как проснулось во мне что-то новое, чего я еще не умел назвать, но

это было что-то неодолимое, это была потребность выразить себя, да,

выразить, не только самому видеть и ощущать мир, но и донести до других

свое видение, свои думы и ощущения, рассказать людям о красоте нашей земли

так же вдохновенно, как умел это делать Данияр. Я замирал от безотчетного

страха и радости перед чем-то неизвестным. Но я тогда еще не понимал, что

мне нужно взять в руки кисть.

Я любил рисовать с детства. Я срисовывал картинки с учебников, и

ребята говорили, что у меня получается "точь-в-точь". Учителя в школе тоже

хвалили меня, когда я приносил рисунки в нашу стенгазету. Но потом началась

война, братья ушли в армию, а я бросил школу и пошел работать в колхоз, как

и все мои сверстники. Я забыл про краски и кисти и не думал, что

когда-нибудь вспомню про них. Но песни Данияра всполошили мою душу. Я

ходил, точно во сне, и смотрел на мир изумленными глазами, будто видел все

впервые.

А как изменилась вдруг Джамиля! Словно и не было той бойкой, языкастой

хохотушки. Весенняя светлая грусть застилала ее притушенные глаза. В дороге

она постоянно о чем-то упорно думала. Смутная, мечтательная улыбка блуждала

на ее губах, она тихо радовалась чему-то хорошему, о чем знала только она

одна. Бывало, взвалит мешок на плечи, да так и стоит, охваченная непонятной

робостью, точно перед ней бурный поток и она не знает, идти ей или не идти.

Данияра она сторонилась, не смотрела ему в глаза.

Однажды на току Джамиля сказала ему с бессильной, вымученной досадой:

- Снял бы ты, что ли, свою гимнастерку. Давай постираю!

И потом, выстирав в реке гимнастерку, она разложила ее сушить, а сама

села подле и долго старательно разглаживала ее ладонями, рассматривала на

солнце проношенные плечи, покачивала головой и снова принималась

разглаживать, тихо и грустно.

Только один раз за это время Джамиля громко, заразительно смеялась, и

у нее, как прежде, сияли глаза. На ток шумной гурьбой завернули мимоходом

со скирдовки люцерны молодые женщины, девушки и джигиты - бывшие

фронтовики.

- Эй, баи, не вам одним пшеничный хлеб есть, угощайте, а не то в реку

покидаем! - И джигиты шутя выставили вилы.

- Нас вилами не запугаешь! Подружек своих найду, чем угостить, а вы

сами промышляйте! - звонко отозвалась Джамиля.

- Раз так, всех вас в воду!

И тут схватились девушки и парни. С криком, визгом, смехом они толкали

друг друга в воду.

- Хватай их, тащи! - громче всех смеялась Джамиля, быстро и ловко

увертываясь от нападающих.

Но странное дело, джигиты точно и видели только одну Джамилю. Каждый

старался схватить ее, прижать к себе. Вот трое парней разом обхватили ее и

занесли над берегом.

- Целуй, а нет - бросим!

- Давай раскачивай!

Джамиля изворачивалась, хохотала, запрокинув голову, и сквозь смех

звала на помощь подруг. Но те суматошно шагали по берегу, вылавливая в реке

свои косынки. Под дружный хохот джигитов Джамиля полетела в воду. Она вышла

оттуда с растрепанными мокрыми волосами, но даже еще красивее, чем была.

Мокрое ситцевое платье прилипло к телу, облегая округлые сильные бедра,

девичью грудь, а она, ничего не замечая, смеялась, покачиваясь, и по ее

разгоряченному лицу стекали веселые ручейки.

- Целуй! - приставали джигиты.

Джамиля целовала их, но снова летела в воду и снова смеялась,

откидывая кивком головы мокрые тяжелые пряди волос.

Над затеей молодых все на току смеялись. Старики веяльщики, побросав

лопаты, вытирали слезы, морщины на их бурых лицах лучились радостью и

ожившей на миг молодостью. И я смеялся от души, забыв на этот раз о своем

ревностном долге оберегать Джамилю от джигитов.

Не смеялся один Данияр. Я случайно заметил его и умолк. Он одиноко

стоял на краю гумна, широко расставив ноги. Мне показалось, что он сорвется

сейчас, побежит и выхватит Джамилю из рук джигитов. Он смотрел на нее, не

отрываясь, грустным, восхищенным взглядом, в котором сквозила и радость и

боль. Да, и счастье и горе его были в красоте Джамили. Когда джигиты

прижимали ее к себе, заставляя целовать каждого, он опускал голову, делал

движение, чтобы уйти, но не уходил.

Между тем и Джамиля заметила его. Она сразу оборвала смех и

потупилась.

- Побаловались и хватит! - неожиданно осадила она разошедшихся

джигитов.

Кто-то еще попытался обнять ее.

- Отстань! - Джамиля отпихнула парня, вскинула голову, мельком бросила

виноватый взгляд в сторону Данияра и побежала в кусты выжимать платье.

Мне не все еще было ясно в их отношениях, да я, признаться, и боялся

думать об этом. Но почему-то мне было не по себе, когда я замечал, что

Джамиля становится грустной оттого, что сама же сторонится Данияра. Лучше

бы уж она по-прежнему смеялась и подшучивала над ним. Но в то же время меня

охватывала необъяснимая радость за них, когда мы возвращались по ночам в

аил и слушали пение Данияра.

По ущелью Джамиля ехала на бричке, а в степи слезала и шла пешком. Я

тоже шел пешком, так лучше - идти по дороге и слушать. Сперва мы шли каждый

около своей брички, но шаг за шагом, сами не замечая того, все ближе и

ближе подходили к Данияру. Какая-то неведомая сила влекла нас к нему,

хотелось разглядеть в темноте выражение его лица и глаз - неужели это он

поет, нелюдимый, угрюмый Данияр!

И каждый раз я замечал, как Джамиля, потрясенная и растроганная,

медленно тянула к нему руку, но он не видел этого, он смотрел куда-то

вверх, далеко, подперев затылок ладонью, и покачивался из стороны в

сторону, а рука Джамили безвольно опускалась на грядку брички. Тут она

вздрагивала, резко отдергивала руку и останавливалась. Она стояла посреди

дороги понурая, ошеломленная, долго-долго смотрела ему вслед, потом снова

шла.

Порой мне казалось, что мы с Джамилей встревожены каким-то одним,

одинаково непонятным чувством. Может быть, это чувство было давно запрятано

в наших душах, а теперь пришел его день.

В работе Джамиля еще забывалась, но в те редкие минуты нашего отдыха,

когда мы задерживались на току, она не находила себе места. Она слонялась

возле веяльщиков, бралась им помогать, высоко и сильно вскидывала на ветер

несколько лопат пшеницы, потом вдруг бросала лопату и уходила прочь к

скирдам соломы. Здесь она садилась в холодке и, точно боясь одиночества,

звала меня:

- Иди сюда, кичине бала, посидим!

Я всегда ждал, что она скажет мне что-то важное, объяснит, что

тревожит ее. Но она ничего не говорила. Молча клала она мою голову к себе

на колени, глядя куда-то вдаль, ерошила мои колючие волосы и нежно гладила

меня по лицу дрожащими горячими пальцами. Я смотрел на нее снизу вверх, на

это лицо, полное смутной тревоги и тоски, и, казалось, узнавал в ней себя.

Ее тоже что-то томило, что-то копилось и созревало в ее душе, требуя

выхода. И она страшилась этого. Она мучительно хотела и в то же время

мучительно не хотела признаться себе, что влюблена, так же как и я желал и

не желал, чтобы она любила Данияра. Ведь в конце-то концов она невестка

моих родителей, она жена моего брата.

Но такие мысли лишь на мгновение пронизывали меня. Я гнал их прочь.

Для меня тогда истинным наслаждением было видеть по-детски приоткрытые,

чуткие губы, видеть ее глаза, затуманенные слезами. Как хороша, как красива

она была, каким светлым одухотворением и страстью дышало ее лицо! Тогда я

только видел все это, но не все понимал. Да и теперь я часто задаю себе

вопрос: может быть, любовь - это такое же вдохновение, как вдохновение

художника, поэта? Глядя на Джамилю, мне хотелось убежать в степь и криком

кричать, вопрошая землю и небо, что же мне делать, как мне побороть в себе

эту непонятную тревогу и эту непонятную радость. И однажды я, кажется,

нашел ответ.

Мы, как обычно, ехали со станции. Уже спускалась ночь, кучками роились

звезды в небе, степь клонило ко сну, и только песня Данияра, нарушая

тишину, звенела и угасала в мягкой темной дали. Мы с Джамилей шли за ним.

Но что случилось в этот раз с Данияром - в его напеве было столько

нежной, проникновенной тоски и одиночества, что слезы к горлу подкатывали

от сочувствия и сострадания к нему.

Джамиля шла, склонив голову, и крепко держалась за грядку брички. И

когда голос Данияра начал снова набирать высоту, Джамиля вскинула голову,

прыгнула на ходу в бричку и села рядом с ним. Она сидела окаменевшая,

сложив на груди руки. Я шел рядом, забегая чуть вперед, и смотрел на них

сбоку. Данияр пел, казалось, не замечая возле себя Джамили. Я увидел, как ее

руки расслабленно опустились и она, прильнув к Данияру, легонько прислонила

голову к его плечу. Лишь на мгновение, как перебой подстегнутого иноходца,

дрогнул его голос и зазвучал с новой силой. Он пел о любви!

Я был потрясен. Степь будто расцвела, всколыхнулась, раздвинула тьму,

и я увидал в этой широкой степи двух влюбленных. А они и не замечали меня,

словно меня и не было здесь. Я шел и смотрел, как они, позабыв обо всем на

свете, вместе покачивались в такт песне. И я не узнавал их. Это был все тот

же Данияр, в своей расстегнутой, потрепанной солдатской гимнастерке, но

глаза его, казалось, горели в темноте. Это была моя Джамиля, прильнувшая к

нему, такая тихая и робкая, с поблескивающими на ресницах слезами. Это были

новые, невиданно счастливые люди. Разве это не было счастьем? Ведь всю свою

огромную любовь к родной земле, которая рождала в нем эту вдохновенную

музыку, Данияр целиком отдал ей, он пел для нее, он пел о ней.

Мной опять овладело то самое непонятное волнение, которое всегда

приходило с песнями Данияра. И вдруг мне стало ясно, чего я хочу. Я хочу

нарисовать их.

Я испугался собственных мыслей. Но желание было сильнее страха. Я

нарисую их такими вот, счастливыми! Да, вот такими, какие они сейчас! Но

смогу ли я? Дух захватывало от страха и радости. Я шел в сладко-пьяном

забытьи. Я тоже был счастлив, потому что не знал еще, сколько трудностей

доставит мне в будущем это дерзкое желание. Я говорил себе, что надо видеть

землю так, как видит ее Данияр, я красками расскажу песню Данияра, у меня

тоже будут горы, степь, люди, травы, облака, реки. Я даже подумал тогда: "А

где же я возьму краски? В школе не дадут - им самим нужны!" Будто все дело

только и заключалось в этом.

Песня Данияра неожиданно оборвалась. Это Джамиля порывисто обняла его,

но тут же отпрянула, замерла на мгновение, рванулась в сторону и спрыгнула

с брички. Данияр нерешительно потянул вожжи, лошади остановились. Джамиля

стояла на дороге, повернувшись к нему спиной, потом резко вскинула голову,

глянула на него вполоборота и, едва сдерживая слезы, проговорила:

- Ну что ты смотришь? - И, помолчав, сурово добавила: - Не смотри на

меня, езжай! - И пошла к своей бричке. - А ты чего уставился? - накинулась

она на меня. - Садись, бери свои вожжи! Эх, горе мне с вами!

"И что это она вдруг?" - недоумевал я, погоняя лошадей. А

догадаться-то ничего не стоило; нелегко ей было, ведь у нее законный муж,

живой, где-то в саратовском госпитале. Но мне решительно не хотелось ни о

чем думать. Я сердился на нее и на себя и, быть может, возненавидел бы

Джамилю, если бы знал, что Данияр больше не будет петь, что мне уже никогда

не доведется услышать его голос.

… Когда я вернулся на ток, мое радужное настроение сразу омрачилось. Я

увидел хмурую, осунувшуюся Джамилю. Она, наверно, не спала в эту ночь,

темные тени залегли у нее под глазами. Мне она не улыбнулась и не

заговорила со мной. Но когда появился бригадир Орозмат, Джамиля подошла к

нему и, не поздоровавшись, сказала:

- Забирайте свою бричку! Посылайте, куда угодно, а на станцию ездить

не буду!

- Ты чего это, Джамалтай, овод тебя укусил, что ли? - добродушно

удивился Орозмат.

- Овод у телят под хвостом! А меня не допытывайте! Сказала - не хочу,

и все тут!

Улыбка исчезла с лица Орозмата.

- Хочешь не хочешь, а возить зерно будешь! - Он стукнул костылем о

землю. - Если обидел кто, скажи - костыль на его шее обломаю! А нет - не

дури: хлеб солдатский возишь, у самой муж там! - И, круто повернувшись, он

запрыгал на своем костыле.

Джамиля смутилась, зарделась вся и, глянув в сторону Данияра, тихонько

вздохнула. Данияр стоял чуть поодаль, спиной к ней, и рывками стягивал

супонь на хомуте. Он слышал весь разговор. Джамиля постояла еще немного,

теребя в руке кнут, потом отчаянно махнула рукой и пошла к своей бричке.

В этот день мы вернулись раньше обычного. Данияр всю дорогу гнал

лошадей. Джамиля была мрачна и молчалива. А мне не верилось, что передо

мной лежит выжженная, почерневшая степь. Ведь вчера она была совсем не

такая. Будто в сказке я слышал о ней, и из головы не выходила перевернувшая

мое сознание картина счастья. Казалось, я схватил какой-то самый яркий

кусок жизни. Я представлял его себе во всех деталях, и только это волновало

меня. И не успокоился я до тех пор, пока не выкрал у весовщицы плотный лист

белой бумаги. Я забежал за скирды с колотящимся в груди сердцем и положил

его на деревянную, гладко обструганную лопату, которую по пути стащил у

веяльщиков.

- Благослови, аллах! - прошептал я, как когда-то отец, впервые сажая

меня на коня, и тронул карандашом бумагу. Это были первые неумелые штрихи.

Но когда на листе обозначились черты Данияра, я забыл обо всем! Мне уже

казалось, что на бумагу легла та августовская ночная степь, мне казалось,

что я слышу песню Данияра и вижу его самого, с запрокинутой головой и

обнаженной грудью, и вижу Джамилю, прильнувшую к его плечу. Это был мой

первый самостоятельный рисунок: вот бричка, а вот они оба, вот вожжи,

брошенные на передок, спины лошадей колышутся в темноте, а дальше степь,

далекие звезды.

Я рисовал с таким упоением, что не замечал ничего вокруг, и очнулся,

когда надо мной раздался чей-то голос:

- Ты что, оглох, что ли?

Это была Джамиля. Я растерялся, покраснел и не успел спрятать рисунок.

- Брички давно нагружены, целый час кричим не докричимся! Ты что тут

делаешь?.. А это что? - спросила она и взяла рисунок. - Гм! - Джамиля

сердито вздернула плечи.

Я готов был провалиться сквозь землю. Джамиля долго-долго

рассматривала рисунок, потом подняла на меня опечаленные, повлажневшие

глаза и тихо сказала:

- Отдай мне это, кичине бала... Я спрячу на память... - И, сложив лист

вдвое, она сунула его за пазуху...

Мы уже выехали на дорогу, а я никак не мог прийти в себя. Как во сне

все это произошло. Не верилось, что я нарисовал нечто похожее на то, что

видел. Но где-то в глубине души уже поднималось наивное ликование, даже

гордость, и мечты - одна другой дерзновеннее, одна другой заманчивее -

кружили мне голову. Я уже хотел написать множество разных картин, но не

карандашом, а красками. И я не обращал внимания на то, что мы ехали очень

быстро. Это Данияр так гнал лошадей. Джамиля не отставала. Она глядела по

сторонам, порой чему-то улыбалась - трогательно и виновато. И я улыбался:

значит, она уже не сердится на нас с Данияром и если попросит, то Данияр

споет сегодня...

На станцию мы приехали в этот раз намного раньше обычного, зато лошади

были взмылены. Данияр с ходу начал таскать мешки. Куда он спешил и что с

ним творилось, трудно было понять. Когда мимо проходили поезда, он

останавливался и провожал их долгим, задумчивым взглядом. Джамиля тоже

смотрела туда, куда и он, словно пыталась понять, что у него на уме.

- Подойди-ка сюда, подкова болтается, помоги оторвать, - позвала она

Данияра.

Когда Данияр сорвал подкову с копыта, зажатого между колен, и

распрямился, Джамиля негромко заговорила, глядя ему в глаза:

- Ты что - или не понимаешь?.. Или на свете только я одна?..

Данияр молча отвел глаза.

- Думаешь, мне легко? - вздохнула Джамиля.

Брови Данияра взлетели, он посмотрел на нее с любовью и грустью и

что-то сказал, но так тихо, что я не расслышал, а потом быстро зашагал к

своей бричке, даже довольный чем-то. Он шел и поглаживал подкову. Я глядел

на него и недоумевал: чем могли утешить его слова Джамили? Какое уж тут

утешение, если человек говорит с тяжелым вздохом: "Думаешь, мне легко?.."

Мы уже кончили разгрузку и собирались уезжать, когда во двор зашел

раненый солдат, худой, в помятой шинели, с вещевым мешком за плечами. За

несколько минут до этого на станции остановился поезд. Солдат огляделся по

сторонам и крикнул:

- Кто тут из аила Куркуреу?

- Я из Куркуреу! - ответил я, раздумывая, кто бы это мог быть.

- А ты чей будешь, браток? - Солдат направился было ко мне, но тут он

увидел Джамилю и удивленно и радостно заулыбался.

- Керим, это ты? - воскликнула Джамиля.

- Ой, Джамиля, сестрица! - Солдат бросился к ней и сжал обеими руками

ее ладонь.

Оказывается, это был земляк Джамили.

- Вот кстати-то! Как знал, завернул сюда! - возбужденно говорил он. -

Ведь я только от Садыка, вместе лежали в госпитале, бог даст, и он через

месяц-другой вернется. Когда прощались, сказал ему: напиши письмо жене,

свезу... Вот оно, получай, в целости и сохранности. - И Керим протянул

Джамиле треугольник.

Джамиля схватила письмо, вспыхнула, потом побелела и осторожно

покосилась на Данияра. Он одиноко стоял возле брички, как тогда на гумне,

широко расставив ноги, и глазами, полными отчаяния, смотрел на Джамилю.

Тут со всех сторон сбежались люди, сразу нашлись у солдата и знакомые,

и родные, посыпались расспросы. А Джамиля не успела даже поблагодарить за

письмо, как мимо нее прогрохотала данияровская бричка, вырвалась со двора

и, подпрыгивая на выбоинах, запылила по дороге.

- Очумел он, что ли! - закричали ему вслед.

Солдата уже куда-то увели, а мы с Джамилей все еще стояли посреди

двора и смотрели на удаляющиеся клубы пыли.

- Поедем, джене, - сказал я.

- Езжай, оставь меня одну! - с горечью ответила она.

… Когда я приехал на ток, было уже темно. Тишина, безветрие. Я кликнул

Данияра.

- Он ушел к реке, - ответил сторож. - Духотища-то какая, все разошлись

по домам. Без ветра на току и делать нечего!

Я отогнал лошадей пастись и решил завернуть к реке - я знал

излюбленное место Данияра над обрывом.

Он сидел, ссутулившись, склонив голову на колени, и слушал ревущую под

обрывом реку. Мне захотелось подойти, обнять его и сказать ему что-нибудь

хорошее. Но что я мог ему сказать? Я постоял немного в сторонке и вернулся.

А потом долго лежал на соломе, смотрел на темнеющее в тучах небо и думал:

"Почему так непонятна и сложна жизнь?"

Джамиля все еще не возвращалась. Куда она запропастилась? Мне не

спалось, хотя морила усталость. Далекие зарницы вспыхивали над горами, в

глубине туч.

Когда пришел Данияр, я еще не спал. Он бесцельно бродил по току, то и

дело поглядывая на дорогу. А потом повалился за скирдой на солому возле

меня. Уйдет он куда-нибудь, не останется теперь в аиле. А куда ему идти?

Одинокий, бездомный, кому он нужен? И уже сквозь сон я услышал медленное

постукивание приближающейся брички. Кажется, приехала Джамиля...

Не помню, сколько я проспал, только вдруг у самого уха зашуршали по

соломе чьи-то шаги, будто мокрое крыло легко задело меня по плечу. Я открыл

глаза. Это была Джамиля. Она пришла с реки в прохладном, отжатом платье.

Джамиля остановилась, беспокойно огляделась по сторонам и села возле

Данияра.

- Данияр, я пришла, сама пришла, - тихо сказала она.

Вокруг стояла тишина, бесшумно скользнула вниз молния.

- Ты обиделся? Очень обиделся, да?

И опять тишина, только с мягким всплеском оборвалась в реку подмытая

глыба земли.

- Разве я виновата? И ты не виноват...

Над горами вдали прогромыхал гром. Профиль Джамили осветила молния.

Она оглянулась и припала к Данияру. Плечи ее судорожно вздрагивали под

руками Данияра. Вытянувшись на соломе, она легла рядом с ним.

Запаленный ветер набежал из степи, вихрем закружил солому, ударился в

пошатнувшуюся юрту, что стояла на краю гумна, и кособоко заюлил волчком по

дороге. И снова заметались в тучах синие всполохи, с сухим треском

переломился над головой гром. Жутко и радостно стало - надвигалась гроза,

последняя летняя гроза.

- Неужели ты думал, что я променяю тебя на него? - горячо шептала

Джамиля. - Да нет же, нет! Он никогда не любил меня. Даже поклон и то в

самом конце письма приписывал. Не нужен мне он со своей запоздалой любовью,

пусть говорят что угодно! Родимый мой, одинокий, не отдам тебя никому! Я

давно любила тебя. И когда не знала - любила и ждала тебя, и ты пришел,

будто знал, что я тебя жду!

Голубые молнии одна за другой, изламываясь, вонзались под обрыв в

реку. Зашуршали по соломе косые студеные капли дождя.

- Джамилям, любимая, родная Джамалтай! - шептал Данияр, называя ее

самыми нежными казахскими и киргизскими именами. - Я ведь тоже давно люблю

тебя, я мечтал о тебе в окопах, я знал, что моя любовь на родине, это ты,

моя Джамиля!

- Повернись, дай мне поглядеть тебе в глаза!

Гроза разразилась.

Забилась, хлопая крыльями, как подбитая птица, сорванная с юрты кошма.

Бурными порывами, словно целуя землю, хлынул дождь, подстегнутый понизу

ветром. Наискось, через все небо раскатывался могучими обвалами гром.

Весенним палом тюльпанов зажигались на горах яркие вспышки зарниц. Гудел,

неистовствовал в яру ветер.

Дождь лил, а я лежал, зарывшись в солому, и чувствовал, как бьется под

рукой сердце. Я был счастлив. У меня было такое ощущение, будто я вышел

впервые после болезни посмотреть на солнце. И дождь, и свет молний достигали

меня под соломой, но мне было хорошо, я засыпал, улыбаясь, и не понимал, то

ли это шептались Данияр и Джамиля, то ли это шелестел по соломе стихающий

дождь.

Теперь пойдут дожди, скоро осень. В воздухе уже настаивался

по-осеннему влажный запах полыни и намокшей соломы. А что ожидало нас

осенью? Об этом я почему-то не думал.

В ту осень, после двухлетнего перерыва, я снова пошел в школу. После

уроков я частенько ходил к реке на кручу и сидел возле прежнего гумна,

теперь заглохшего и опустевшего. Здесь я писал свои первые этюды

ученическими красками. Даже по тогдашним моим понятиям, мне не все

удавалось.

"Краски негодные! Вот были бы настоящие краски!" - говорил я себе,

хотя и не представлял, какими же они должны быть.

Лишь значительно позднее мне довелось увидеть настоящие масляные

краски в свинцовых тюбиках.

Краски красками, а все же учителя, кажется, были правы: этому надо

учиться. Но об учебе не приходилось мечтать. Где там, когда от братьев так

и не было никаких вестей, и мать ни за что не отпустила бы меня, своего

единственного сына, "джигита и кормильца двух семей", об этом я и не смел

заговорить. А осень, как назло, выдалась такая красивая, только пиши ее.

Обмелела студеная Куркуреу, обнаженные валуны на перекатах поросли

темно-зеленым и оранжевым мхом. Краснел по ранним заморозкам голый нежный

тальник, но топольки еще сберегли желтые плотные листья.

Прокопченные, омытые дождями юрты табунщиков чернели в поймище на

порыжелой отаве, и над дымовыми отверстиями вились сизые пахучие струйки.

По-осеннему голосисто ржали поджарые жеребцы - разбредались матки, и теперь

уже до самой весны нелегко их будет удержать в косяках. Скот, вернувшийся с

гор, гуртами бродил по стерне. Побуревшую сухостойкую степь вдоль и поперек

пересекли ископыченные тропы.

Вскоре задул степняк, помутилось небо, пошли холодные дожди -

предвестники снега. Как-то выдался сносный день, и я пошел к реке - уж

очень приглянулся мне на отмели огненный куст горной рябины. Сел я

неподалеку от брода, в тальнике.

Вечерело. И вдруг я увидел двух людей, которые, судя по всему, перешли

реку вброд. Это были Данияр и Джамиля. Я не мог оторвать глаз от их

суровых, тревожных лиц. С вещевым мешком за плечами, Данияр шагал

порывисто, полы распахнутой шинели хлестали по кирзовым голенищам его

стоптанных сапог. Джамиля повязалась белым полушалком, сбитым сейчас на

затылок, на ней было ее лучшее цветастое платье, в котором она любила

щеголять по базару, а поверх него - вельветовый стеганый жакет. В одной

руке она несла небольшой узелок, а другой держалась за лямку данияровского

мешка. Они о чем-то переговаривались на ходу.

Вот они пошли тропой через лог по зарослям чия, а я смотрел им вслед и

не знал, что делать. Может, окликнуть? Но язык точно присох к небу.

Последние багряные лучи скользнули по быстрой веренице пегих тучек

вдоль гор, и сразу начало темнеть. А Данияр и Джамиля, не оглядываясь,

уходили в сторону железнодорожного разъезда. Раза два еще мелькнули их

головы в зарослях чия, а потом скрылись.

- Джамиля-а-а! - закричал я что было силы.

- А-а-а-а! - бесприютно откликнулось эхо.

- Джамиля-а-а! - крикнул я еще раз и, не помня себя, бросился бежать

за ними через реку, прямо по воде.

Тучи ледяных брызг летели мне в лицо, одежда намокла, а я бежал

дальше, не разбирая пути, и вдруг со всего размаха упал на землю, обо

что-то зацепившись. Я лежал, не поднимая головы, и слезы заливали мне лицо.

Тьма будто навалилась мне на плечи.

Тонко, тоскливо посвистывали гибкие стебли чия.

- Джамиля! Джамиля! - всхлипывал я, захлебываясь слезами.

Я расставался с самыми дорогими и близкими мне людьми. И только

сейчас, лежа на земле, я вдруг понял, что любил Джамилю. Да, это была моя

первая, еще детская любовь.

Долго лежал я, уткнувшись в мокрый локоть. Я расставался не только с

Джамилей и Данияром - я расставался со своим детством.

… Вот и вся история.

В академию, куда меня послали после художественного училища, я

представил свою дипломную работу - это была картина, о которой я давно

мечтал.

Нетрудно догадаться, что на этой картине изображены Данияр и Джамиля.

Они идут по осенней степной дороге. Перед ними широкая светлая даль.

И пусть не совершенна моя картина - мастерство не сразу приходит, - но

она мне бесконечно дорога, она мое первое осознанное творческое

беспокойство.

И сейчас бывают у меня неудачи, бывают и такие тяжелые минуты, когда я

теряю веру в себя. И тогда меня тянет к этой родной мне картине, к Данияру

и Джамиле. Подолгу я смотрю на них и каждый раз веду с ними разговор:

"Где вы сейчас, по каким дорогам шагаете? Много у нас теперь в степи

новых дорог - по всему Казахстану, до Алтая и Сибири! Много смелых людей

трудится там. Может, и вы подались в те края. Ты ушла, моя Джамиля, по

широкой степи, не оглядываясь. Может, ты устала, может, потеряла веру в

себя? Прислонись к Данияру. Пусть он споет тебе свою песню о любви, о

земле, о жизни! Пусть всколыхнется и заиграет всеми красками степь! Пусть

вспомнится тебе та августовская ночь! Иди, Джамиля, не раскаивайся, ты

нашла свое трудное счастье!"

Я смотрю на них - и слышу голос Данияра. Он зовет меня в путь-дорогу -

значит, пора собираться. Я пойду по степи в свой аил, я найду там новые

краски.

Пусть в каждом мазке моем звучит напев Данияра! Пусть в каждом мазке

моем бьется сердце Джамили!

**СТИХИ О ЛЮБВИ И ДРУЖБЕ**

**Франческо Петрарка. Сонеты**

|  |  |
| --- | --- |
| LXI  Благословен день, месяц, лето, час  И миг, когда мой взор те очи встретил!  Благословен тот край и дол тот светел,  Где пленником я стал прекрасных глаз!  Благословенна боль, что в первый раз  Я ощутил, когда и не приметил,  Как глубоко пронзен стрелой, что метил  Мне в сердце Бог, тайком разящий нас!  Благословенны жалобы и стоны,  Какими оглашал я сон дубрав,  Будя отзвучья именем Мадонны!  Благословенны вы, что столько слав  Стяжали ей, певучие канцоны, -  Дум золотых о ней, единой, сплав! | CCXLVI  Смотрю на лавр вблизи или вдали,  Чьи листья благородные похожи  На волны золотых волос, - и что же!  Душа превозмогает плен земли.  Вовеки розы в мире не цвели,  Что были бы, подобно ей, пригожи.  Молю тебя, о всемогущий Боже,  Не ей, а мне сначала смерть пошли,  Дабы не видеть мне вселенской муки,  Когда погаснет в этом мире свет,  Очей моих отрада и в разлуке.  Лишь к ней стремятся думы столько лет,  Для слуха существуют только звуки  Ее речей, которых слаще нет. |
| XCVII  О высший дар, бесценная свобода,  Я потерял тебя и лишь тогда,  Прозрев, увидел, что любовь - беда,  Что мне страдать все больше год от года.  Для взгляда после твоего ухода  Ничто рассудка трезвого узда:  Глазам земная красота чужда,  Как чуждо все, что создала природа.  И слушать о других, и речь вести -  Не может быть невыносимей муки,  Одно лишь имя у меня в чести.  К любой другой заказаны пути  Для ног моих, и не могли бы руки  В стихах другую так превознести. | CCLXXXII  Ты смотришь на меня из темноты  Моих ночей, придя из дальней дали:  Твои глаза еще прекрасней стали,  Не исказила смерть твои черты.  Как счастлив я, что скрашиваешь ты  Мой долгий век, исполненный печали!  Кого я вижу рядом? Не тебя ли,  В сиянии нетленной красоты  Там, где когда-то песни были данью  Моей любви, где плачу я, скорбя,  Отчаянья на грани, нет - за гранью?  Но ты приходишь - и конец страданью:  Я различаю по шагам тебя,  По звуку речи, лику, одеянью. |

## Вильям Шекспир. Сонеты

## 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 102 Люблю, - но реже говорю об этом,  Люблю нежней, - но не для многих глаз.  Торгует чувством тот, что перед светом  Всю душу выставляет напоказ.  Тебя встречал я песней, как приветом,  Когда любовь нова была для нас.  Так соловей гремит в полночный час  Весной, но флейту забывает летом.  Ночь не лишится прелести своей,  Когда его умолкнут излиянья.  Но музыка, звуча со всех ветвей,  Обычной став, теряет обаянье.  И я умолк подобно соловью:  Свое пропел и больше не пою. | 141 Мои глаза в тебя не влюблены, -  Они твои пороки видят ясно.  А сердце ни одной твоей вины  Не видит и с глазами не согласно.  Ушей твоя не услаждает речь.  Твой голос, взор и рук твоих касанье,  Прельщая, не могли меня увлечь  На праздник слуха, зренья, осязанья.  И все же внешним чувствам не дано -  Ни всем пяти, ни каждому отдельно -  Уверить сердце бедное одно,  Что это рабство для него смертельно.  В своем несчастье одному я рад,  Что ты - мой грех и ты - мой вечный ад | | |
| 130 Ее глаза на звезды не похожи,  Нельзя уста кораллами назвать,  Не белоснежна плеч открытых кожа,  И черной проволокой вьется прядь.  С дамасской розой, алой или белой,  Нельзя сравнить оттенок этих щек.  А тело пахнет так, как пахнет тело,  Не как фиалки нежный лепесток.  Ты не найдешь в ней совершенных линий,  Особенного света на челе.  Не знаю я, как шествуют богини,  Но милая ступает по земле.  И все ж она уступит тем едва ли,  Кого в сравненьях пышных оболгали. | 147 Любовь - недуг. Моя душа больна  Томительной, неутолимой жаждой.  Того же яда требует она,  Который отравил ее однажды.  Мой разум-врач любовь мою лечил.  Она отвергла травы и коренья,  И бедный лекарь выбился из сил  И нас покинул, потеряв терпенье.  Отныне мой недуг неизлечим.  Душа ни в чем покоя не находит.  Покинутые разумом моим,  И чувства и слова по воле бродят.  И долго мне, лишенному ума,  Казался раем ад, а светом - тьма! | | |
| **Иоганн Вольфганг Гете** | | |
| УМИРОТВОРЕНИЕ  Ведет к страданью страсть. Любви утрата  Тоскующей душе невозместима.  Где все, чем жил ты, чем дышал когда-то,  Что было так прекрасно, так любимо?  Подавлен дух, бесплодны начинанья,  Для чувств померкла прелесть мирозданья.  Но музыка внезапно над тобою  На крыльях серафимов воспарила,  Тебя непобедимой красотою  Стихия звуков мощных покорила.  Ты слезы льешь? Плачь, плачь в блаженной муке,  Ведь слезы те божественны, как звуки!  И чует сердце, вновь исполняясь жаром,  Что может петь и новой жизнью биться,  Чтобы, на дар ответив щедрым даром,  Чистейшей благодарностью излиться.  И ты воскрес – о, вечно будь во власти  Двойного счастья – музыки и страсти.  ПЕСНЬ СОДРУЖЕСТВА  В хороший час, согреты  Любовью и вином,  Друзья! Мы песню эту  О дружестве споем!  Пусть здесь пирует с нами  Веселья щедрый бог,  Возобновляя пламя,  Что он в сердцах возжег! | | Пылая новым жаром,  Сердца слились в одно,  Мы нынче пьем недаром  Без примесей вино!  Дружней стаканы сдвинем  За дружбу новых дней  И старых не покинем  Испытанных друзей.  Нет большего богатства,  Чем дружбы естество,  Вкушайте радость братства,  Свободы торжество!  Как весел голос хора,  Как в лад сердца стучат,  И мелочные ссоры  Наш пир не омрачат.  Нам подарили боги  Свободный, ясный взор.  Выводят нас дороги  На жизненный простор.  Идем все дальше, дальше  Под вольности мотив,  От глупости и фальши  Себя освободив.  И с каждым нашим шагом  Бескрайней этот путь.  В очах горит отвага,  Стучит веселье в грудь.  Пусть мир перевернется –  Все выдержат сердца:  Ведь дружба остается  На свете до конца! |
| **Киплинг Редьярд** | | **Бернс Роберт** |
| \*\*\*  **Серые глаза - рассвет,** **Пароходная сирена,** **Дождь, разлука, серый след** **За винтом бегущей пены.**  **Черные глаза - жара,** **В море сонных звезд скольженье,** **И у борта до утра** **Поцелуев отраженье.**  **Синие глаза - луна,** **Вальса белое молчанье,** **Ежедневная стена** **Неизбежного прощанья.**  **Карие глаза - песок,** **Осень, волчья степь, охота,** **Скачка, вся на волосок** **От паденья и полета.**  **Нет, я не судья для них,** **Просто без суждений вздорных** **Я четырежды должник** **Синих, серых, карих, черных.**  **Как четыре стороны** **Одного того же света,** **Я люблю - в том нет вины -** **Все четыре этих цвета.** | | \*\*\*  В полях под снегом и дождем,  Мой милый друг,  Мой бедный друг,  Тебя укрыл бы я плащом  От зимних вьюг,  От зимних вьюг.  А если мука суждена  Тебе судьбой,  Тебе судьбой,  Готов я скорбь твою до дна  Делить с тобой,  Делить с тобой.  Пускай сойду я в мрачный дол,  Где ночь кругом,  Где ночь кругом, -  Во тьме я солнце бы нашел  С тобой вдвоем,  С тобой вдвоем.  И если б дали мне в удел  Весь шар земной,  Весь шар земной,  С каким бы счастьем я владел  Тобой одной,  Тобой одной. |
| **Баратынский Евгений Абрамович** | | |
| ПРИЗНАНЬЕ  Притворной нежности не требуй от меня,  Я сердца моего не скрою хлад печальный.  Ты права, в нем уж нет прекрасного огня  Моей любви первоначальной.  Напрасно я себе на память приводил  И милый образ твой, и прежние мечтанья:  Безжизненны мои воспоминанья,  Я клятвы дал, но дал их выше сил.  Я не пленен красавицей другою,  Мечты ревнивые от сердца удали;  Но годы долгие в разлуке протекли,  Но в бурях жизненных развлекся я душою.  Уж ты жила неверной тенью в ней;  Уже к тебе взывал я редко, принужденно,  И пламень мой, слабея постепенно,  Собою сам погас в душе моей.  Верь, жалок я один. Душа любви желает,  Но я любить не буду вновь;  Вновь не забудусь я: вполне упоевает  Нас только первая любовь.  …  Прощай! Мы долго шли дорогою одною;  Путь новый я избрал, путь новый избери;  Печаль бесплодную рассудком усмири  И не вступай, молю, в напрасный суд со мною. | Невластны мы в самих себе  И в молодые наши Леты,  Даем поспешные обеты,  Смешные, может быть, всевидящей судьбе.  РАЗУВЕРЕНЬЕ  Не искушай меня без нужды  Возвратом нежности твоей:  Разочарованному чужды  Все обольщенья прежних дней!  Уж я не верю увереньям,  Уж я не верую в любовь  И не могу предаться вновь  Раз изменившим сновиденьям!  Слепой тоски моей не множь,  Не заводи о прежнем слова  И, друг заботливый, больного  В его дремоте не тревожь!  Я сплю, мне сладко усыпленье;  Забудь бывалые мечты:  В душе моей одно волненье,  А не любовь пробудишь ты. | |
| **Тютчев Федор Иванович** | | |
| \*\*\*  Я очи знал, - о, эти очи!  Как я любил их – знает бог!  От их волшебной, страстной ночи  Я душу оторвать не мог.  В непостижимом этом взоре,  Жизнь обнажающем до дна.  Такое слышалося горе,  Такая страсти глубина!  Дышал он грустный, углубленный  В тени ресниц ее густой,  Как наслажденье, утомленный  И, как страданье, роковой.  И в эти чудные мгновенья  Ни разу мне не довелось  С ним повстречаться без волненья  И любоваться им без слез. | | ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ  О, как на склоне наших лет  Нежней мы любим и суеверней…  Сияй, сияй, прощальный свет  Любви последней, зари вечерней!  Полнеба обхватила тень,  Лишь там, на западе, бродит сиянье, -  Помедли, помедли, вечерний день,  Продлись, продлись, очарованье.  Пускай скудеет в жилах кровь,  Но в сердце не скудеет нежность…  О ты, последняя любовь!  Ты и блаженство и безнадежность. |
| **Фет Афанасий Афанасьевич** | | |
| \*\*\*  Какое счастие: и ночь, и мы одни!  Река – как зеркало и вся блестит звездами,  А там-то… голову закинь-ка да взгляни:  Какая глубина и чистота над нами!  О, называй меня безумным! Назови  Чем хочешь; в этот миг я разумом слабею  И в сердце чувствую такой прилив любви,  Что не могу молчать, не стану, не умею!  Я болен, я влюблен; но мучась и любя, -  О, слушай! о, пойми! – я страсти не скрываю,  И я хочу сказать, что я люблю тебя –  Тебя, одну тебя люблю я и желаю! | \*\*\*  Шепот. Робкое дыханье.  Трели соловья.  Серебро и колыханье  Сонного ручья.  Свет ночной. Ночные тени,  Тени без конца.  Ряд волшебных изменений  Милого лица.  В дымных тучках пурпур розы,  Отблеск янтаря,  И лобзания, и слезы,  И заря, заря!.. | |
| **Блок Александр Александрович** | **Маяковский Владимир Владимирович** | |
| \*\*\*  Она пришла с мороза,  Раскрасневшаяся,  Наполнила комнату  Ароматом воздуха и духов,  Звонким голосом  И совсем неуважительной к занятиям  Болтовней.  Она немедленно уронила на пол  Толстый том художественного журнала,  И сейчас же стало казаться,  Что в моей большой комнате  Очень мало места.  Все это было немножко досадно  И довольно нелепо.  Впрочем, она захотела,  Чтобы я читал ей вслух Макбета.  Едва дойдя до пузырей земли,  О которых я не могу говорить без волнения,  Я заметил, что она тоже волнуется  И внимательно смотрит в окно.  Оказалось, что большой пестрый кот  С трудом лепится на краю крыши,  Подстерегая целующихся голубей.  Я рассердился больше всего на то,  Что целовались не мы, а голуби,  И что прошли времена Паоло и Франчески. | ЛЮБЛЮ  2. ТЫ  Пришла –  деловито,  за рыком,  за ростом,  взглянув,  разглядела просто мальчика.  Взяла,  отобрала сердце  и просто  пошла играть –  как девочка мячиком.  И каждая –  чудо будто видится –  где дама вкопалась,  а где девица.  «Такого любить?  Да этакий ринется!  Должно, укротительница.  Должно, из зверинца!»  А я ликую. –  Нет его –  ига!  От радости себя не помня  скакал,  индейцем свадебным прыгал,  так было весело,  было легко мне. | |
| **Есенин Сергей Александрович** | | |
| \*\*\*  Заметался пожар голубой,  Позабылись родимые дали.  В первый раз я запел про любовь,  В первый раз отрекаюсь скандалить.  Был я весь – как запущенный сад.  Был на женщин и зелие падкий.  Разонравилось петь и плясать  И терять свою жизнь без оглядки.  Мне бы только смотреть на тебя,  Видеть глаз златокарий омут,  И чтоб, прошлое не любя,  Ты уйти не смогла к другому.  Поступь нежная, легкий стан:  Если б знала ты сердцем упорным,  Как умеет любить хулиган,  Как умеет он быть покорным.  Я б навеки забыл кабаки  И стихи бы писать забросил,  Только б тонкой касаться руки  И волос твоих цветом в осень.  Я б навеки пошел за тобой  Хоть в свои, хоть в чужие дали…  В первый раз я запел про любовь,  В первый раз отрекаюсь скандалить. | | \*\*\*  Видно, так заведено навеки –  К тридцати годам, перебесясь,  Все сильней, прожженные калеки,  С жизнью мы удерживаем связь.  Милая, мне скоро стукнет тридцать,  И земля милей мне с каждым днем.  Оттого и сердцу стало сниться,  Что горю я розовым огнем.  Коль гореть, так уж гореть сгорая,  И недаром в липовую цветь  Вынул я кольцо у попугая –  Знак того, что вместе нам сгореть.  То кольцо надела мне цыганка.  Сняв с руки, я дал его тебе,  И теперь, когда грустит шарманка,  Не могу не думать, не робеть.  В голове болотный бродит омут,  И на сердце изморозь и мгла:  Может быть, кому-нибудь другому  Ты его со смехом отдала?  Может быть, целуясь до рассвета,  Он тебя расспрашивает сам,  Как смешного, глупого поэта  Привела ты к чувственным стихам.  Ну и что ж! пройдет и эта рана.  Только горько видеть жизни край.  В первый раз такого хулигана  Обманул проклятый попугай. |
| **Сулейменов Олжас**    ДОГОНИ  Догони меня, джигит,  Не жалей коня, джигит,  Если ты влюблен и ловок,  Конь догонит, добежит.  Я люблю тебя, джигит.  Догони же,  Поцелуй,  Голос от стыда дрожит  Среди этих звонких струй.  Меня ветер обгоняет,  На груди моей лежит,  Обнимает, обнимает,  Ой, опять отстал, джигит!  Издевается луна,  Я одна,  Опять одна,  Мои руки побелели,  Кровь по крупу скакуна,  Злые люди,  Злые люди,  Вы обидели меня.  Дали смелому джигиту,  Дали смелому джигиту  И красивому джигиту  Ишака,  А не коня!.. | | **Тютчев Федор Иванович**    \*\*\*  Когда дряхлеющие силы  Нам начинают изменять  И мы должны, как старожилы,  Пришельцам новым место дать, -  Спаси тогда нас, добрый гений,  От малодушных укоризн,  От клеветы, от озлоблений  На изменяющую жизнь;  От чувства затаенной злости  На обновляющийся мир,  Где новые садятся гости  На уготованный им пир;  От желчи горького сознанья,  Что *нас* поток уж не несет  И что другие есть призванья,  Другие вызваны вперед;  Ото всего, что тем задорней,  Чем глубже крылось с давних пор, -  И старческой любви позорней  Сварливый старческий задор. |
| **Некрасова Ксения**  \*\*\*  Когда стоишь ты рядом,  я богатею сердцем,  я делаюсь добрей  для всех людей на свете,  я вижу днем –  на небе синем – звезды,  мне жаль ногой  коснуться листьев желтых,  я становлюсь, как воздух,  светлее и нарядней.  А ты стоишь и смотришь,  и я совсем не знаю:  ты любишь или нет. | | **Барышев Лев**  СЧАСТЬЕ  Два сердца бьются, как одно,  Чтоб третье скоро застучало,  И где-то в будущем оно,  Тепла и радости полно,  Другое сердце повстречало.  И так же, искренне и нежно,  С другим забилось, как одно,  Что счастьем было рождено,  И, в распашонке белоснежной,  Взглянуло вновь на нас оно. |

**III. ПОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ САМОГО СЕБЯ**

**Даниель Дефо**

**РОБИНЗОН КРУЗО**

Я родился в 1632 году в городе Йорке в зажиточной семье иностранного

происхождения. Мой отец был родом из Бремена и основался сначала в Гулле.

Нажив торговлей хорошее состояние, он оставил дела и переселился в Йорк.

Здесь он женился на моей матери, родные которой назывались Робинзонами -

старинная фамилия в тех местах. По ним и меня назвали Робинзоном. Фамилия

отца была Крейцнер, но, по обычаю англичан коверкать иностранные слова, нас

стали называть Крузо. Теперь мы и сами так произносим и пишем нашу фамилию;

так же всегда звали меня и мои знакомые.

У меня было два старших брата. Один служил во Фландрии, в английском

пехотном полку, - том самом, которым когда то командовал знаменитый

полковник Локгарт; он дослужился до чина подполковника и был убит в сражении

с испанцами под Дюнкирхеном. Что сталось со вторым моим братом - не знаю,

как не знали мои отец и мать, что сталось со мной.

Так как в семье я был третьим, то меня не готовили ни к какому ремеслу,

и голова моя с юных лет была набита всякими бреднями. Отец мой, который был

уж очень стар, дал мне довольно сносное образование в том объеме, в каком

можно его получить, воспитываясь дома и посещая городскую школу. Он прочил

меня в юристы, но я мечтал о морских путешествиях и не хотел слушать ни о

чем другом. Эта страсть моя к морю так далеко меня завела, что я пошел

против воли - более того: против прямого запрещения отца и пренебрег

мольбами матери и советами друзей; казалось, было что то роковое в ртом

природном влечении, толкавшем меня к горестной жизни, которая досталась мне

в удел.

Отец мой, человек степенный и умный, догадывался о моей затее и

предостерегал меня серьезно и основательно. Однажды утром он позвал меня в

свою комнату, к которой был прикован подагрой, и стал горячо меня укорять.

Он спросил, какие другие причины, кроме бродяжнических наклонностей, могут

быть у меня для того, чтобы покинуть отчий дом и родную страну, где мне

легко выйти в люди, где я могу прилежанием и трудом увеличить свое состояние

и жить в довольстве и с приятностью. Покидают отчизну в погоне за

приключениями, сказал он. или те, кому нечего терять, или честолюбцы,

жаждущие создать себе высшее положение; пускаясь в предприятия, выходящие из

рамок обыденной жизни, они стремятся поправить дела и покрыть славой свое

имя; но подобные вещи или мне не по силам или унизительны для меня; мое

место - середина, то есть то, что можно назвать высшею ступенью скромного

существования, которое, как он убедился на многолетнем опыте, является для

нас лучшим в мире, наиболее подходящим для человеческого счастья,

избавленным как от нужды и лишений, физического труда и страданий,

выпадающих на долю низших классов, так и от роскоши, честолюбия, чванства и

зависти высших классов. Насколько приятна такая жизнь, сказал он, я могу

судить уже по тому, что все, поставленные в иные условия, завидуют ему: даже

короли нередко жалуются на горькую участь людей, рожденных для великих дел,

и жалеют, что судьба не поставила их между двумя крайностями - ничтожеством

и величием, да и мудрец высказывается в пользу середины, как меры истинного

счастья, когда молит небо не посылать ему ни бедности, ни богатства.

Стоит мне только понаблюдать, сказал отец, и я увижу, что все жизненные

невзгоды распределены между высшими и низшими классами и что меньше всего их

выпадает на долю людей среднего состояния, не подверженных стольким

превратностям судьбы, как знать и простонародье; даже от недугов, телесных и

душевных, они застрахованы больше, чем те, у кого болезни вызываются

пороками, роскошью и всякого рода излишествами, с одной стороны, тяжелым

трудом, нуждой, плохим и недостаточным питанием - с другой, являясь, таким

образом, естественным последствием образа жизни. Среднее состояние -

наиболее благоприятное для расцвета всех добродетелей, для всех радостей

бытия; изобилие и мир - слуги его; ему сопутствуют и благословляют его

умеренность, воздержанность, здоровье, спокойствие духа, общительность,

всевозможные приятные развлечения, всевозможные удовольствия. Человек

среднего состояния проходит свой жизненный путь тихо и гладко, не обременяя

себя ни физическим, ни умственным непосильным трудом, не продаваясь в

рабство из за куска хлеба, не мучаясь поисками выхода из запутанных

положений, лишающих тело сна, а душу покоя, не снедаемый завистью, не сгорая

втайне огнем честолюбия. Окруженный довольством, легко и незаметно скользит

он к могиле, рассудительно вкушая сладости жизни без примеси горечи,

чувствуя себя счастливым и научаясь каждодневным опытом понимать это все

яснее и глубже. …

Я был искренно растроган этой речью (да и кого бы она не тронула?) и

твердо решил не думать более об отъезде в чужие края, а основаться на

родине, как того желал мой отец. Но увы! - прошло несколько дней, и от моего

решения не осталось ничего: словом, через несколько недель после моего

разговора с отцом я, во избежание новых отцовских увещаний, порешил бежать

из дому тайно. Но я сдержал первый пыл своего нетерпения и действовал не

спеша: выбрав время, когда моя мать, как мне показалось, была более

обыкновенного в духе, я отвел ее в уголок и сказал ей, что все мои помыслы

до такой степени поглощены желанием видеть чужие края, что, если даже я и

пристроюсь к какому нибудь делу, у меня все равно не хватит терпения довести

его до конца и что пусть лучше отец отпустит меня добровольно, так как иначе

я буду вынужден обойтись без его разрешения. Я сказал, что мне восемнадцать

лет, а в эти годы поздно учиться ремеслу, поздно готовиться в юристы. И если

бы даже, допустим, я поступил писцом к стряпчему, я знаю наперед, что убегу

от своего патрона, не дотянув срока искуса, и уйду в море. Я просил мать

уговорить батюшку отпустить меня путешествовать в виде опыта; тогда, если

такая жизнь мне не понравится. я ворочусь домой и больше уже не уеду; и а

давал слово наверстать удвоенным прилежанием потерянное время.

Мои слова сильно разгневали мою матушку. Она сказала, что бесполезно и

заговаривать с отцом на эту тему, так как он слишком хорошо понимает, в чем

моя польза, и не согласится на мою просьбу. Она удивлялась, как я еще могу

думать о подобных вещах после моего разговора с отцом, который убеждал меня

так мягко и с такой добротой. Конечно, если я хочу себя погубить, этой беде

не пособить, но я могу быть уверен, что ни она, ни отец никогда не дадут

своего согласия на мою затею; сама же она нисколько не желает содействовать

моей гибели, и я никогда не вправе буду сказать, что моя мать потакала мне,

когда отец был против.

Впоследствии я узнал, что хотя матушка и отказалась ходатайствовать за

меня перед отцом, однако передала ему наш разговор от слова до слова. Очень

озабоченный таким оборотом дела, отец сказал ей со вздохом: "Мальчик мог бы

быть счастлив, оставшись на родине, но, если он пустится в чужие края, он

будет самым жалким, самым несчастным существом, какое когда либо рождалось

на земле. Нет, я не могу на это согласиться".

Только без малого через год после описанного я вырвался на волю. В

течение всего этого времени я упорно оставался глух ко веем предложениям

пристроиться к какому нибудь делу и часто укорял отца и мать за их

решительное предубеждение против того рода жизни, к которому меня влекли мои

природные наклонности. Но как то раз, во время пребывания моего в Гулле,

куда я заехал случайно, на этот раз без всякой мысли о побеге, один мой

приятель, отправлявшийся в Лондон на корабле своего отца, стал уговаривать

меня уехать с ним, пуская в ход обычную у моряков приманку, а именно, что

мне ничего не будет стоить проезд. И вот, не спросившись ни у отца, ни у

матери, даже не уведомив их ни одним словом, а предоставив им узнать об этом

как придется, - не- испросив ни родительского, ни божьего благословения, не

приняв в расчет ни обстоятельств данной минуты, ни последствий, в недобрый -

видит бог! - час, 1-го сентября 1651 года, я сел на корабль моего приятеля,

отправлявшийся в Лондон. Никогда, я думаю, злоключения молодых искателей

приключений не начинались так рано и не продолжались так долго, как мои. Не

успел наш корабль выйти из устья Гумбера, как подул ветер, и началось

страшное волнение. До тех пор я никогда не бывал в море и не могу выразить,

до чего мне стало плохо и как была потрясена моя душа. Только теперь я

серьезно задумался над тем, что я натворил и как справедливо постигла меня

небесная кара за то, что я так бессовестно покинул отчий дом и нарушил

сыновний долг. Все добрые советы моих родителей, слезы отца, мольбы матери

воскресли в моей памяти, и совесть, которая в то время еще не успела у меня

окончательно очерстветь, сурово упрекала меня за пренебрежение к

родительским увещаниям и за нарушение моих обязанностей перед богом и отцом.

… Наше положение было поистине плачевно: мы ясно видели, что шлюпка не

выдержит такого волнения, и что мы неизбежно потонем. Идти на парусе мы не

могли: у нас его не было, да и все равно он был бы нам бесполезен. Мы гребли

к берегу с камнем на сердце, как люди, идущие на казнь: мы все отлично

знали, что как только шлюпка подойдет ближе к земле, ее разнесет прибоем на

тысячу кусков. И, подгоняемые ветром и течением, предавши душу свою

милосердию божию, мы налегли на весла, собственноручно приближая момент

нашей гибели.

Какой был перед нами берег - скалистый или песчаный, крутой или

отлогий, - мы не знали. Единственной для нас надеждой на спасение была

слабая возможность попасть в какую-нибудь бухточку или залив, или в устье

реки, где волнение было слабее и где мы могли бы укрыться под берегом с

наветренной стороны. Но впереди не было видно ничего похожего на залив, и

чем ближе подходили мы к берегу, тем страшнее казалась земля, - страшнее

самого моря.

Когда мы отошли или, вернее, нас отнесло, по моему расчету, мили на

четыре от того места, где застрял наш корабль, вдруг огромный вал, величиной

с гору, набежал с кормы на нашу шлюпку, как бы собираясь похоронить нас в

морской пучине. В один миг опрокинул он нашу шлюпку. Мы не успели крикнуть:

"боже!", как очутились под водой, далеко и от шлюпки, и друг от друга.

Ничем не выразить смятения, овладевшего мною, когда я погрузился в

воду. Я очень хорошо плаваю, но я не мог сразу вынырнуть на поверхность и

чуть не эадохся. Лишь когда подхватившая меня волна, пронеся меня изрядное

расстояние по направлению к берегу, разбилась и отхлынула назад, оставив

меня почти на суше полумертвым от воды, которой я нахлебался, я перевел

немного дух и опомнился. У меня хватило настолько самообладания, что, увидев

себя ближе к земле, чем я ожидал, я поднялся на ноги и опрометью пустился

бежать в надежде достичь земля прежде, чем нахлынет и подхватит меня другая

волна, но скоро увидел, что мне от нее не уйти; море шло горой и догоняло,

как разъяренный враг, бороться с которым у меня не было ни силы, ни средств.

Мне оставалось только, задержав дыхание, вынырнуть на гребень волны и плыть

к берегу, насколько хватит сил. Главной моей заботой было справиться по

возможности с новой волной так, чтобы, поднеся меня еще ближе к берегу, она

не увлекла меня за собой в своем обратном движении к морю.

Набежавшая волна похоронила меня футов на двадцать, на тридцать под

водой. Я чувствовал, как меня подхватило и с неимоверной силой и быстротой

долго несло к берегу. Я задержал дыхание и поплыл по течению, изо всех сил

помогая ему. Я уже почти задыхался, как вдруг почувствовал, что поднимаюсь

кверху; вскоре, к великому моему облегчению, мои руки и голова оказались над

водой, и хотя я мог продержаться на поверхности не больше двух секунд,

однако успел перевести дух, и это придало мне силы и мужества. Меня снова

захлестнуло, но на этот раз я пробыл под водой не так долго. Когда волна

разбилась и пошла назад, я не дал ей увлечь себя обратно и скоро

почувствовал под ногами дно. Я простоял несколько секунд, чтобы отдышаться,

и, собрав остаток сил, снова опрометью пустился бежать к берегу.

Но и теперь я еще не ушел от ярости моря: еще два раза оно меня

изгоняло, два раза меня подхватывало волной и несло все дальше и дальше, так

как в этом месте берег был очень отлогий.

Последний вал едва не оказался для меня роковым: подхватив меня, он

вынес или, вернее, бросил меня на скалу с такой силой, что я лишился чувств

и оказался совершенно беспомощным: удар в бок и в грудь совсем отшиб у меня

дыхание, и если б море снова подхватило меня, я бы неминуемо захлебнулся. Но

я пришел в себя как раз во время: увидев, что сейчас меня опять накроет

волной, я крепко уцепился за выступ моей скалы и, задержав дыхание, решил

переждать, пока волна не схлынет. Так как ближе к земле волны были уже не

столь высоки, то я продержался до ее ухода. Затем я снова пустился бежать, и

очутился настолько близко к берегу, что следующая волна хоть и перекатилась

через меня, но уже не могла поглотить меня и унести обратно в море. Пробежав

еще немного, я, к великой моей радости, почувствовал себя на суше,

вскарабкался на прибрежные скалы и опустился на траву. Здесь я был в

безопасности: море не могло достать до меня.

Очутившись на земле целым и невредимым, я поднял взор к небу,

возблагодарил бога за спасение моей жизни, на которое всего лишь несколько

минут тому назад у меня почти не было надежды. Я думаю, что нет таких слов,

которыми можно было бы изобразить с достаточной яркостью восторг души

человеческой, восставшей, так сказать, из гроба, и я ничуть не удивляюсь

тому, что, когда преступнику, уже с петлей на шее, в тот самый миг, как его

должны вздернуть на виселицу, объявляют помилование, - я не удивляюсь,

повторяю, что при этом всегда присутствует и врач, чтобы пустить ему кровь,

иначе неожиданная радость может слишком сильно потрясти помилованного и

остановить биение его сердца.

Внезапна радость, как и скорбь, ума лишает.

Я ходил по берегу, воздевал руки к небу и делал тысячи других жестов и

движений, которых теперь не могу уже описать. Все мое существо было, если

можно так выразиться, поглощено мыслями о моем спасении. Я думал о своих

товарищах, которые все утонули, и о том, что кроме меня не спаслась ни одна

душа; по крайней мере, никого из них я больше не видел; от них и следов не

осталось, кроме трех шляп, одной фуражки да двух непарных башмаков,

выброшенных морем.

Взглянув в ту сторону, где стоял на мели наш корабль, я едва мог

рассмотреть его за высоким прибоем, - так он был далеко, и я сказал себе:

"боже! каким чудом мог я добраться до берега?"

Утешившись этими мыслями о благополучном избавлении от смертельной

опасности, я стал осматриваться кругом, чтобы узнать, куда я попал и что мне

прежде всего делать. Мое радостное настроение разом упало: я понял, что хотя

я и спасен, но не избавлен от дальнейших ужасов и бед. На мне не оставалось

сухой нитки, переодеться было не во что; мне нечего было есть, у меня не

было даже воды, чтобы подкрепить свои силы, а в будущем мне предстояло или

умереть голодной смертью, или быть растерзанным хищными зверями. Но что

всего ужаснее - у меня не было оружия, так что я не мог ни охотиться за

дичью для своего пропитания, ни обороняться от хищников, которым вздумалось

бы напасть на меня. У меня, вообще, не было ничего, кроме ножа, трубки да

коробочки с табаком. Это было все мое достояние. И, раздумавшись, я пришел в

такое отчаяние, что долго, как сумасшедший, бегал по берегу. Когда настала

ночь, я с замирающим сердцем спрашивал себя, что меня ожидает, если здесь

водятся хищные звери: ведь они всегда выходят на добычу по ночам.

Единственно, что я мог тогда придумать, это - взобраться на росшее

поблизости толстое, ветвистое дерево, похожее на ель, но с колючками, и

просидеть на нем всю ночь, а когда придет утро, решить, какою смертью лучше

умереть, ибо я не видел возможности жить в этом месте. Я прошел с четверть

мили в глубь страны посмотреть, не найду ли я пресной воды, и, к великой

моей радости, нашел ручеек. Напившись и положив в рот немного табаку, чтобы

заглушить голод, я воротился к дереву, взобрался на него и постарался

устроиться таким образом, чтобы не свалиться в случае, если засну. Затем я

вырезал для самозащиты коротенький сук, вроде дубинки, уселся на своем

седалище поплотнее и от крайнего утомления крепко уснул. Я спал так сладко,

как, я думаю, немногим спалось бы на моем месте, и никогда не пробуждался от

сна таким свежим и бодрым.

Когда я проснулся, было совсем светло: погода прояснилась, ветер утих,

и море больше не бушевало, не вздымалось. Но меня крайне поразило то, что

корабль очутился на другом месте, почти у самой той скалы, о которую меня

так сильно ударило волной: должно быть за ночь его приподняло с мели

приливом и пригнало сюда. Теперь он стоял не дальше мили от того места, где

я провел ночь, и так как держался он почти прямо, то я решил побывать на

нем, чтобы запастись едой и другими необходимыми вещами.

Покинув свое убежище и спустившись с дерева, я еще раз осмотрелся

кругом, и первое, что я увидел, была наша шлюпка, лежавшая милях в двух

вправо, на берегу, куда ее, очевидно, выбросило море. Я пошел было в том

направлении, думая дойти до нее, но оказалось, что в берег глубоко

врезывался заливчик шириною с пол-мили и преграждал путь. Тогда я повернул

назад, ибо мне было важней попасть поскорей на корабль, где я надеялся найти

что нибудь для поддержания своего существования.

После полудня волнение на море совсем улеглось, и отлив был так низок,

что мне удалось подойти к кораблю по суху на четверть мили. Тут я снова

почувствовал приступ глубокого горя, ибо мне стало ясно, что если б мы

остались на корабле, то все были бы живы: переждав шторм, мы бы благополучно

перебрались на берег, и я не был бы, как теперь, несчастным существом,

совершенно лишенным человеческого общества. При этой мысли слезы выступили у

меня на глазах, но слезами горю не помочь, и я решил добраться все таки до

корабля. Раздевшись (так как день был нестерпимо жаркий), я вошел в воду. Но

когда я подплыл к кораблю, возникло новое затруднение: - как на него

взобраться? Он стоял на мелком месте, весь выступал из воды, и уцепиться

было не за что. Два раза я оплыл кругом него и во второй раз заметил веревку

(удивляюсь, как она сразу не бросилась мне в глаза). Она свешивалась так

низко над водой, что мне, хоть и с большим трудом, удалось поймать ее конец

и взобраться по ней на бак корабля. Судно дало течь, и я нашел в трюме много

воды; однако, оно так увязло килем в песчаной или, скорее, илистой отмели,

что корма была приподнята, а нос почти касался воды. Таким образом, вся

кормовая часть оставалась свободной от воды, и все, что там было сложено, не

подмокло. Я сразу обнаружил это, так как, разумеется, мне прежде всего

хотелось узнать, что из вещей было попорчено и что уцелело. Оказалось, во

первых, что весь запас провизии был совершенно сух, а так как меня мучил

голод, то я отправился в кладовую, набил карманы сухарями и ел их на ходу,

чтобы не терять времени. В кают-компании я нашел бутылку рому и отхлебнул из

нее несколько хороших глотков, ибо очень нуждался в подкреплении сил для

предстоящей работы.

Прежде всего мне нужна была лодка, чтобы перевезти на берег те вещи,

которые, по моим соображениям, могли мне понадобиться. Однако, бесполезно

было сидеть, сложа руки, и мечтать о том, чего нельзя было получить. Нужда

изощряет изобретательность, и я живо принялся за дело. На корабле были

запасные мачты, стеньги и реи. Из них я решил построить плот. Выбрав

несколько бревен полегче, я перекинул их за борт, привязав предварительно

каждое веревкой, чтобы их не унесло. Затем я спустился с корабля, притянул к

себе четыре бревна, крепко связал их между собою по обоим концам, скрепив

еще сверху двумя или тремя коротенькими досками, положенными накрест. Мой

плот отлично выдерживал тяжесть моего тела, но для большого груза был

слишком легок. Тогда я снова принялся за дело и с помощью пилы нашего

корабельного плотника распилил запасную мачту на три куска, которые и

приладил к своему плоту. Эта работа стоила мне неимоверных усилий, но

желание запастись по возможности всем необходимым для жизни поддерживало

меня, и я сделал то, на что, при других обстоятельствах, у меня не хватило

бы сил.

Теперь мой плот был достаточно крепок и мог выдержать порядочную

тяжесть. Первым моим делом было нагрузить его и уберечь мой груз от морского

прибоя. Над этим я раздумывал недолго. Прежде всего я положил на плот все

доски, какие нашлись на корабле: на эти доски я спустил три сундука,

принадлежащих нашим матросам, предварительно взломав в них замки и опорожнив

их. Затем, прикинув в уме, что из вещей могло мне понадобиться больше всего,

я отобрал эти вещи и наполнил ими все три сундука. В один я сложил съестные

припасы: рис, сухари, три круга голландского сыру, пять больших кусков

вяленой козлятины (служившей нам главной мясной пищей) и остатки зерна,

которое мы везли для бывшей на судне птицы и часть которого осталась, так

как птиц мы уже давно съели. Это был ячмень, перемешанный с пшеницей; к

великому моему разочарованию, он оказался попорченным крысами. Я нашел также

несколько ящиков вин и пять или шесть галлонов арака или рисовой водки,

принадлежавших нашему шкиперу. Все эти ящики я поставил прямо на плот, так

как в сундуках они бы не поместились, да и надобности не было их прятать.

Между тем, пока я был занят нагрузкой, начался прилив, и к великому моему

огорчению я увидел, что мой камзол, рубашку и жилетку, оставленные мною на

берегу, унесло в море. Таким образом, у меня остались из платья только чулки

да штаны (полотняные и коротенькие, до колен), которых я не снимал. Это

заставило меня подумать о том, чтобы запастись одеждой. На корабле было

довольно всякого платья, но я взял пока только то, что было необходимо в

данную минуту: меня гораздо больше соблазняло многое другое и прежде всего

рабочие инструменты. После долгих поисков я нашел ящик нашего плотника, и

это была для меня поистине драгоценная находка, которой я не отдал бы в то

время за целый корабль с золотом. Я поставил на плот этот ящик, как он был,

даже не заглянув в него, так как мне было приблизительно известно, какие в

нем инструменты.

Теперь мне осталось запастись оружием и зарядами. В кают-компании я

нашел два прекрасных охотничьих ружья и два пистолета, которые и переправил

на плот вместе с пороховницей, небольшим мешком с дробью и двумя старыми

заржавленными саблями. Я знал, что у нас было три боченка пороху, но не

знал, где их хранил наш канонир. Однако, поискав хорошенько, я нашел их все

три. Один казался подмокшим, а два были совершенно сухи, и я перетащил их на

плот вместе с ружьями и саблями. Теперь мой плот был достаточно нагружен, и

я начал думать, как мне добраться до берега без паруса, без весел и без

руля: ведь довольно было самого слабого ветра, чтоб опрокинуть все мое

сооружение.

Три обстоятельства ободряли меня: во первых, полное отсутствие волнения

на море; во вторых, прилив, который должен был гнать меня к берегу; в

третьих, небольшой ветерок, дувший тоже к берегу и, следовательно, попутный.

Итак, разыскав два или три сломанных весла от корабельной шлюпки, прихватив

еще две пилы, топор и молоток (кроме тех инструментов, что были в ящике), я

пустился в море. С милю или около того мой плот шел отлично; я заметил

только, что его относит от того места, куда накануне меня выбросило море.

Это навело меня на мысль, что там, должно быть, береговое течение и что,

следовательно, я могу попасть в какой нибудь заливчик или речку, где мне

будет удобно пристать с моим грузом.

Как я предполагал, так и вышло. Вскоре передо мной открылась маленькая

бухточка, и меня быстро понесло к ней. Я правил, как умел, стараясь

держаться середины течения. Но тут, будучи совершенно незнакомо фарватером

этой бухточки, я чуть вторично не потерпел кораблекрушения, и если бы это

случилось, я право, кажется, умер бы с горя. Мой плот неожиданно наскочил

краем на отмель, а так как другой его край не имел точки опоры, то он сильно

накренился; еще немного, и весь мой груз съехал бы в эту сторону и свалился

бы в воду. Я изо всех сил уперся спиной и руками в мои сундуки, стараясь

удержать их на месте, но не мог столкнуть плот, несмотря на все усилия. С

полчаса, не смея шевельнуться, простоял я в этой позе, покамест прибывшая

вода не приподняла немного опустившийся край плота, а спустя некоторое время

вода поднялась еще выше, и плот сам сошел с мели. Тогда я оттолкнулся веслом

на середину фарватера и, отдавшись течению, которое было здесь очень

быстрое, вошел, наконец, в бухточку или, вернее, в устье небольшой реки с

высокими берегами. Я стал осматриваться, отыскивая, где бы мне лучше

пристать: мне не хотелось слишком удаляться от моря, ибо я надеялся увидеть

на нем когда-нибудь корабль, и потому решился держаться как можно ближе к

берегу.

Наконец, на правом берегу я высмотрел крошечный заливчик, к которому и

направил свой плот. С большим трудом провел я его поперек течения и вошел в

заливчик, упершись в дно веслами. Но здесь я снова рисковал вывалить весь

мой груз: берег был здесь настолько крут, что если бы только мой плот наехал

на него одним концом, то неминуемо бы наклонился к воде другим, и моя

поклажа была бы в опасности. Мне оставалось только выжидать еще большего

подъема воды. Высмотрев удобное местечко, где берег заканчивался ровной

площадкой, я пододвинул туда плот и, упираясь в дно веслом, держал его как

на якоре; я рассчитал, что прилив покроет эту площадку водой. Так и

случилось. Когда вода достаточно поднялась - мой плот сидел в воде на целый

фут, - я втолкнул плот на площадку, укрепил его с двух сторон при помощи

весел, воткнув их в дно, и стал дожидаться отлива. Таким образом, мой плот

со всем грузом оказался на сухом берегу.

Следующей моей заботой было осмотреть окрестности и выбрать себе

удобное местечко для жилья, где бы я мог сложить свое добро в безопасности

от всяких случайностей. Я все еще не знал, куда я попал: на материк или на

остров, в населенную или в необитаемую страну; не знал, грозит ли мне

опасность со стороны хищных зверей, или нет. Приблизительно в полумиле от

меня виднелся холм, крутой и высокий, по-видимому, господствовавший над

грядою возвышенностей, тянувшейся к северу. Вооружившись ружьем, пистолетом

и пороховницей, я отправился на разведки. Когда я взобрался на вершину холма

(что стоило мне немалых усилий), мне стала ясна моя горькая участь: я был на

острове; кругом со всех сторон тянулось море, за которым нигде не видно было

земли, если не считать торчавших в отдалении нескольких скал да двух

маленьких островов, поменьше моего, лежавших милях в десяти к западу.

Я сделал и другие открытия: мой остров был совершенно невозделан и,

судя по всем признакам, даже необитаем. Может быть, на нем и были хищные

звери, но пока я ни одного не видал. Зато пернатые водились во множестве, но

все неизвестных мне пород, так что потом, когда мне случалось убить дичь, я

никогда не мог определить по ее виду, годится ли она в пищу или нет.

Спускаясь с холма, я подстрелил большую птицу, сидевшую на дереве у опушки

леса. Я думаю, что это был первый выстрел, раздавшийся здесь с сотворения

мира: не успел я выстрелить, как над рощей взвилась туча птиц; каждая из них

кричала по своему, но ни один из этих криков не походил на крики известных

мне пород. Что касается убитой мной птицы, то, по моему, это была

разновидность нашего ястреба: она очень напоминала его окраской перьев и

формой клюва, только когти у нее были гораздо короче. Ее мясо отдавало

падалью и не годилось в пищу.

Удовольствовавшись этими открытиями, я воротился к плоту и принялся

перетаскивать вещи на берег. Это заняло у меня весь остаток дня. Я не знал,

как и где устроиться мне на ночь. Лечь прямо на землю я боялся, не будучи

уверен, что меня не загрызет какой нибудь хищник. Впоследствии оказалось,

что эти страхи были неосновательны.

Поэтому, наметив на берегу местечко для ночлега, я загородил его со

всех сторон сундуками и ящиками, а внутри этой ограды соорудил из досок

нечто вроде шалаша. Что касается пищи, то я не знал еще, как буду добывать

себе впоследствии пропитание: кроме птиц да двух каких то зверьков, вроде

нашего зайца, выскочивших из рощи при звуке моего выстрела, никакой живности

я здесь не видел.

Но теперь я думал только о том, как бы забрать с корабля все, что там

оставалось и что могло мне пригодиться, прежде всего паруса и канаты.

Поэтому я решил, если ничто не помешает, предпринять второй рейс к кораблю.

А так как я знал, что при первой же буре его разобьет в щепки, то постановил

отложить все другие дела, пока не свезу на берег всего, что только могу

взять. Я стал держать совет (с самим собой, конечно), брать ли мне плот с

собой. Это показалось мне непрактичным, и, дождавшись отлива, я пустился в

путь, как в первый раз. Только на этот раз я разделся в шалаше, оставшись в

одной нижней клетчатой рубахе, в полотняных кальсонах и в туфлях на босу

ногу.

Как и в первый раз, я взобрался на корабль по веревке; затем построил

новый плот. Но, умудренный опытом, я сделал его не таким неповоротливым, как

первый, и не так тяжело нагрузил. Впрочем, я все таки перевез на нем много

полезных вещей: во первых, все, что нашлось в запасах нашего плотника, а

именно; два или три мешка с гвоздями (большими и мелкими), отвертку, десятка

два топоров, а главное, такую полезную вещь, как точило. Затем я взял

несколько вещей из склада нашего канонира, в том числе три железных лома,

два боченка с ружейными пулями, семь мушкетов, еще одно охотничье ружье и

немного пороху, затем большой мешок с дробью и сверток листового свинцу.

Впрочем, последний оказался так тяжел, что у меня не хватило силы поднять и

спустить его на плот.

Кроме перечисленных вещей, я забрал с корабля все платье, какое нашел,

да прихватил еще запасный парус, гамак и несколько тюфяков и подушек. Все

это я погрузил на плот и, к великому моему удовольствию, перевез на берег в

целости.

Отправляясь на корабль, я немного побаивался, как бы в мое отсутствие

какие нибудь хищники не уничтожили моих съестных припасов. Но, воротившись

на берег, я не заметил никаких следов гостей. Только на одном из сундуков

сидел какой то зверек, очень похожий на дикую кошку. При моем приближении он

отбежал немного в сторону и остановился, потом прясел на задние лапы и

совершенно спокойно, без всякого страха, смотрел мне прямо в глаза, точно

выражая желание познакомиться со мной. Я прицелился в него из ружья, но это

движение было, очевидно, ему непонятно; он нисколько не испугался, даже не

тронулся с места. Тогда я бросил ему кусок сухаря, проявив этим большую

расточительность, так как мой запас провизии был очень невелик. Как бы то ни

было, я уделил ему этот кусочек. Он подошел, обнюхал его, съел и облизнулся

с довольным видом, точно ждал продолжения. Но я больше ничего ему не дал, и

он ушел.

Доставив на берег второй транспорт вещей, я хотел было открыть тяжелые

боченки с порохом и перенести его частями, но принялся сначала за сооружение

палатки. Я сделал ее из паруса и жердей, которых нарезал в роще для этой

цели. В палатку я перенес все, что могло испортиться от солнца и дождя, а

вокруг нее нагромоздил пустых ящиков и бочек на случай внезапного нападения

со стороны людей или зверей.

Вход в палатку я загородил снаружи большим сундуком, поставив его

боком, а изнутри заложился досками. Затем разостлал на земле постель, в

головах положил два пистолета, рядом с тюфяком - ружье и лег. Со дня

кораблекрушения я в первый раз провел ночь в постели. От усталости и

изнурения я крепко проспал до утра, и немудрено: в предыдущую ночь я спал

очень мало, а весь день работал, сперва над погрузкой вещей с корабля на

плот, а потом переправляя их на берег.

Никто, я думаю, не устраивал для себя такого огромного склада, какой

был устроен мною. Но мне все было мало: пока корабль был цел и стоял на

прежнем месте, пока на нем оставалась хоть одна вещь, которою я мог

воспользоваться, я считал необходимым пополнять свои запасы. Поэтому каждый

день с наступлением отлива я отправлялся на корабль и что нибудь призодил с

собою. Особенно удачным было третье мое путешествие. Я разобрал все снасти,

взял с собой весь мелкий такелаж (и трос, и бечевки, какие могли уместиться

на плоту). Я захватил также большой кусок запасной парусины, служившей у нас

для починки парусов, и боченок с подмокшим порохом, который я было оставил

на корабле. В конце концов я переправил на берег все паруса до последнего;

только мне пришлось разрезать их на куски и перевозить по частям; паруса

были мне бесполезны, и вся их ценность для меня заключалась в материале.

Но вот чему я обрадовался еще больше. После пяти или шести таких

экспедиций, когда я думал, что на корабле уж нечем больше поживиться, я

неожиданно нашел в трюме большую бочку с сухарями, три боченка рому, ящик с

сахаром и боченок превосходной крупчатки. Это был приятный сюрприз; я больше

не рассчитывал найти на корабле какую нибудь провизию, будучи уверен, что

все оставшиеся там запасы подмокли. Сухари я вынул из бочки и перенес на

плот по частям, завертывая в парусину. Все это мне удалось благополучно

доставить на берег.

На следующий день я предпринял новую поездку. Теперь, забрав с корабля

решительно все вещи, какие под силу поднять одному человеку, я принялся за

канаты. Каждый канат я разрезал на куски такой величины, чтобы мне было не

слишком трудно управиться с ними, и перевез на берег два каната и швартов.

Кроме того, я взял с корабля все железные части, какие мог отделить. Затем,

обрубив все оставшиеся реи, я построил из них плот побольше, погрузил на

него все эти тяжелые вещи и пустился в обратный путь. Но на этот раз счастье

мне изменило: мой плот был так неповоротлив и так сильно нагружен, что мне

было очень трудно им управлять. Войдя в бухточку, где было выгружено мое

остальное имущество, я не сумел провести его так искусно, как прежние: плот

опрокинулся, и я упал в воду со всем своим грузом. Что касается меня, то

беда была невелика, так как это случилось почти у самого берега; но груз

мой, по крайней мере, значительная часть его, пропал, главное - железо,

которое очень бы мне пригодилось и о котором я особенно жалел. Впрочем,

когда вода спала, я вытащил на берег почти все куски каната и несколько

кусков железа, хотя и с великим трудом:

я принужден был нырять за каждым куском, и это очень утомило меня.

После этого мои визиты на корабль повторялись каждый день, и каждый раз я

привозил новую добычу.

Уже тринадцать дней я жил на острове и за это время побывал на корабле

одиннадцать раз, перетащив на берег решительно все, что в состоянии

перетащить пара человеческих рук. Если бы тихая погода продержалась

подольше, я убежден, что перевез бы весь корабль по кусочкам, но, делая

приготовления к двенадцатому рейсу, я заметил, что подымается ветер. Тем не

менее, дождавшись отлива, я отправился на корабль. В первые разы я так

основательно обшарил нашу каюту, что, мне казалось, там уж ничего невозможно

было найти; но тут я заметил шифоньерку с двумя ящиками: в одном я нашел три

бритвы, большие ножницы и с дюжину хороших вилок и ножей; в другом оказались

деньги, частью европейской, частью бразильской серебряной и золотой монетой,

всего до тридцати шести фунтов.

Я улыбнулся при виде этих денег. "Ненужный хлам! - проговорил я, -

зачем ты мне теперь? Ты и того не стоишь, чтобы нагнуться и поднять тебя с

полу. Всю эту кучу золота я готов отдать за любой из этих ножей. Мне некуда

тебя девать: так оставайся же, где лежишь, и отправляйся на дно морское, как

существо, чью жизнь не стоят спасать!" Однакож, поразмыслив, я решил взять

их с собой и завернул все найденное в кусок парусины. Затем я стал

подумывать о сооружении плота, но пока я собирался, небо нахмурилось, ветер,

дувший с берега, начал крепчать и через четверть часа совсем засвежел. При

береговом ветре плот был бы мне бесполезен; к тому же, надо было спешить

добраться до берега, пока не развело большого волнения, ибо иначе мне бы и

совсем на него не попасть. Я, не теряя времени, спустился в воду и поплыл.

Частью от тяжести бывших на мне вещей, частью от того, что мне приходилось

бороться с встречным волнением, у меня едва хватило сил переплыть полосу

воды, отделявшую корабль от моей бухточки. Ветер крепчал с каждой минутой и

еще до начала отлива превратился в настоящий шторм.

Но к этому времени я был уже дома, в безопасности, со всем моим

богатством, и лежал в палатке. Всю ночь ревела буря, и когда поутру я

выглянул из палатки, от корабля не оставалось и следов! В первую минуту это

неприятно меня поразило, но я утешился мыслью, что, не теряя времени и не

щадя сил, достал оттуда все, что могло мне пригодиться, так что, будь даже в

моем распоряжении больше времени, мне все равно почти нечего было бы взять с

корабля.

Итак, я больше не думал ни о корабле, ни о вещах, какие на нем еще

остались. Правда, после бури могло прибить к берегу кое какие обломки. Так

оно потом и случилось. Но от всего этого мне было мало пользы.

Мои мысли были теперь всецело поглощены вопросом, как мне обезопасить

себя от дикарей, если таковые окажутся, и от зверей, если они водятся на

острове. Я долго думал, каким способом достигнуть этого и какое мне лучше

устроить жилье: выкопать ли пещеру, или поставить палатку и хорошенько ее

укрепить. В конце концов я решил сделать и то, и другое. Я полагаю, будет не

лишним рассказать здесь о моих работах и описать мое жилище.

Я скоро убедился, что выбранное мною место на берегу не годится для

поселения: это было низина, у самого моря, с болотистой почвой и, вероятно,

нездоровая; но главное, - поблизости не было пресной воды. В виду всех этих

соображений я решил поискать другого местечка, более здорового и более

подходящего для жилья.

При этом мне хотелось соблюсти целый ряд необходимых, с моей точки

зрения, условий. Во первых, мое жилище должно быть расположено в здоровой

местности и поблизости от пресной воды; во вторых, оно должно укрывать от

солнечного зноя; в третьих, оно должно быть безопасно от нападения хищников,

как двуногих, так и четвероногих; и, наконец, в четвертых, от него должен

открываться вид на море, чтобы не упустить случая спастись, если бог пошлет

какой нибудь корабль. С надеждой на избавление мне все еще не хотелось

расстаться.

После довольно долгих поисков я нашел, наконец, небольшую ровную

полянку на скате, высокого холма, спускавшегося к ней крутым обрывом,

отвесным, как стена, так что ничто мне не грозило сверху. В этой отвесной

стене было небольшое углубление, как будто бы вход в пещеру, но никакой

пещеры или входа в скалу дальше не было.

Вот на этой то зеленой полянке, возле самого углубления, я и решил

разбить свою палатку. Площадка имела не более ста ярдов {Ярд - немного менее

метра.} в ширину и ярдов двести в длину, так что перед моим жильем тянулась

как бы лужайка; в конце ее гора спускалась неправильными уступами в низину,

к берегу моря. Расположен был этот уголок на северо-западном склоне холма.

Таким образом, он был б тени весь день до вечера, когда солнце переходит на

юго-запад, т. е. близится к закату (я разумею в тех широтах).

Прежде чем ставить палатку, я описал перед углублением полукруг,

радиусом ярдов в десять, следовательно, ярдов двадцать в диаметре. Затем по

всему полукругу я набил в два ряда крепких кольев, глубоко заколотив их в

землю. Верхушки кольев я заострил. Мой частокол вышел около пяти с половиной

футов вышиной. Между двумя рядами кольев я оставил не более шести дюймов

свободного пространства.

Весь этот промежуток между кольями я заполнил до самого верху обрезками

канатов, взятых с корабля, сложив их рядами один на другой, а изнутри

укрепил ограду подпорками, для которых приготовил колья потолще и покороче

(около двух с половиной футов длиной). Ограда вышла у меня основательная: ни

пролезть сквозь нее, ни пролезть через нее не мог ни человек, ни зверь. Эта

работа потребовала от меня много времени и труда; особенно тяжелы были рубка

кольев в лесу, перенес их на место постройки и вколачивание их в землю. Для

входа в это огороженное место я устроил не дверь, но короткую лестницу через

частокол; входя к себе, я убирал лестницу. Таким образом, по моему мнению, я

совершенно отгородился и укрепился от внешнего мира и спокойно спал ночью,

что при иных условиях было бы для меня невозможно. Однако, впоследствии

выяснилось, что не было никакой нужды принимать столько предосторожностей

против врагов, созданных моим воображением.

С неимоверным трудом перетащил я к себе в загородку или в крепость все

свои богатства; провизию, оружие и остальные перечисленные вещи. Затем я

поставил в ней большую палатку. Чтобы предохранить себя от дождей, которые в

тропических странах в известное время года бывают очень сильны, я сделал

палатку двойную, т. е. сначала разбил одну палатку поменьше, а над ней

поставил большую, которую накрыл сверху брезентом, захваченным мною. с

корабля вместе с парусами.

Теперь я спал уже не на подстилке, брошенной прямо на землю, а в очень

удобном гамаке, принадлежавшем помощнику нашего капитана.

Я перенес в палатку все съестные припасы, вообще все то, что могло

испортиться от дождя. Когда все вещи были сложены таким образом внутри

ограды, я наглухо заделал вход, который до той поры держал открытым, и стал

входить по приставной лестнице, как уже было сказано выше.

Заделав ограду, я принялся рыть пещеру в горе. Вырытые камни и землю я

стаскивал через палатку во дворик и делал из них внутри ограды род насыпи,

так что почва во дворике поднялась фута на полтора. Пещера приходилась как

раз за палаткой и служила мне погребом.

Понадобилось много дней и много труда, чтобы довести до конца все эти

работы. За это время многое другое занимало мои мысли, и случилось несколько

происшествий, о которых я хочу рассказать. Как то раз, когда я приготовился

ставить палатку и рыть пещеру, набежала вдруг густая туча, и хлынул

проливной дождь. Потом блеснула молния, и раздался страшный раскат грома. В

этом конечно, не было ничего необыкновенного, и меня испугала не столько

самая молния, сколько мысль, быстрее молнии промелькнувшая в моем мозгу:

"Мой порох!" У меня замерло сердце, когда я подумал, что весь мой порох

может быть уничтожен одним ударом молнии, а ведь от него зависит не только

моя личная оборона, но и возможность добывать себе пищу. Мне даже в голову

не пришло, какой опасности в случае взрыва подвергался я сам, хотя, если бы

порох взорвало, я уже, наверно, никогда бы этого не узнал.

Этот случай произвел на меня такое сильное впечатление, что, как только

гроза прекратилась, я отложил на время все работы по устройству и укреплению

моего жилища и принялся делать мешечки и ящики для пороха. Я решил разделить

его на части и хранить понемногу в разных местах, чтобы он ни в коем случае

не мог вспыхнуть весь сразу и самые части не могли бы воспламениться друг от

друга. Эта работа взяла у меня почти две недели. Всего пороху у меня было

около двухсот сорока фунтов. Я разложил его весь по мешечкам и по ящикам,

разделив, по крайней мере, на сто частей. Мешечки и ящики я запрятал в

расселины горы в таких местах, куда никоим образом не могла проникнуть

сырость, и тщательно отметил каждое место. За бочонок с подмокшим порохом я

не боялся потому поставил его, как он был, в свою пещеру, или "кухню", как я

ее мысленно называл.

Занимаясь возведением своей ограды, я по крайней мере раз в день

выходил из дому с ружьем, отчасти ради развлечения, отчасти чтобы

подстрелить какую нибудь дичь и поближе ознакомиться с естественными

богатствами острова. В первую же свою прогулку я сделал открытие, что на

острове водятся козы. Я этому очень обрадовался, но беда была в том, что эти

козы были страшно дики, чутки и проворны, так что почти не было возможности

к ним подкрасться. Меня, однако, это не смутило; я был уверен, что рано или

поздно научусь охотиться на них. Когда я выследил места, где они обыкновенно

собирались, то подметил следующую вещь; когда они были на горе, а я

появлялся под ними в долине, - все стадо в испуге кидалось прочь от меня; но

если случалось, что я был на горе, а козы паслись в долине, тогда они не

замечали меня. Это привело меня к заключению, что глаза этих животных не

приспособлены для смотрения вверх и что, следовательно, они часто не видят

того, что над ними. С этих пор я стал придерживаться такого способа: я

всегда взбирался сначала на какую нибудь скалу, чтобы быть над ними, и тогда

мне часто удавалось подстрелить их. Первым же выстрелом я убил козу; при

которой был сосунок. Мне от души было жалко козленка. Когда мать упала, он

продолжал смирно стоять около. Мало того: когда я подошел к убитой козе,

взвалил ее на плечи и понес домой, козленок побежал за мной. Так мы дошли до

самого дома. У ограды я положил козу на землю, взял в руки козленка и

пересадил его через частокол. Я надеялся выростить его и приручить, но он

еще не умел есть, и я был принужден зарезать и съесть его. Мне надолго

хватило мяса этих двух животных, потому что ел я мало, стараясь по

возможности сберечь свои запасы, в особенности хлеб.

После того, как я окончательно основался в своем новом жилище, самым

неотложные делом было для меня устроить какой нибудь очаг, в котором можно

было бы разводить огонь. Необходимо было также запастись дровами. О том, как

я справился с этой задачей, а равно о том, как я увеличил свой погреб и как

постепенно окружил себя некоторыми удобствами, я подробно расскажу в своем

месте, теперь же мне хотелось бы поговорить о себе, рассказать какие мысли в

то время меня посещали. А их, понятно, было немало.

Мое положение представилось мне в самом мрачном свете. Меня забросило

бурей на необитаемый остров, который лежал далеко от места назначения нашего

корабля и за несколько сот миль от обычных торговых морских путей, и я имел

все основания прийти к заключению, что так было предопределено небом, чтобы

здесь, в этом печальном месте, в безвыходной тоске одиночества я и окончил

свои дни. Обильные слезы струились у меня из глаз. когда я думал об этом, и

не раз недоумевал я, почему провидение губит свои же творения, бросает их на

произвол судьбы, оставляет без всякой поддержки и делает столь безнадежно

несчастными, повергает в такое отчаяние, что едва ли можно быть

признательным за такую жизнь.

Но всякий раз внутренний голос быстро останавливал во мне эти мысли и

укорял за них. Особенно помню я один такой день. В глубокой задумчивости

бродил я с ружьем по берегу моря. Я думал о своей горькой доле. И вдруг

заговорил во мне голос разума. "Да, - сказал этот голос, - положение твое

незавидно: ты одинок - это правда. Но вспомни: где те, что были с тобой?

Ведь вас село в лодку одиннадцать человек: где же остальные десять? Почему

они погибли? За что тебе такое предпочтение? И как ты думаешь, кому лучше:

тебе или им?" И я взглянул на море. Так во всяком зле можно найти добро,

стоит только подумать, что могло случиться и хуже.

Тут я ясно представил себе, как хорошо я обеспечил себя всем

необходимым и что было бы со мной, если б случилось (а из ста раз это

случается девяносто девять)... если б случилось, что наш корабль остался на

той отмели, куда его прибило сначала, если бы потом его не пригнало

настолько близко к берегу, что я успел захватить все нужные мне вещи. Что

было бы со мной, если б мне пришлось жить на этом острове в тех условиях, в

каких я провел на нем первую ночь - без крова, без пищи и без всяких средств

добыть то и другое? В особенности, - громко рассуждал я сам с собой, - что

стал бы я делать без ружья и без зарядов, без инструментов? Как бы я жил

здесь один, если бы у меня не было ни постели, ни клочка одежды, ни палатки,

где бы можно было укрыться? Теперь же все это было у меня и всего вдоволь, и

я даже не боялся смотреть в глаза будущему: я знал, что к тому времени,

когда выйдут мои заряды и порох, у меня будет в руках другое средство

добывать себе пищу. Я проживу без ружья сносно до самой смерти.

В самом деле, с самых же первых дней моего житья на острове я задумал

обеспечить себя всем необходимым на то время, когда у меня не только

истощится весь мой запас пороху и зарядов, но и начнут мне изменять здоровье

и силы.

Сознаюсь: я совершенно упустил из виду, что мои огнестрельные запасы

могут быть уничтожены одним ударом, что молния может поджечь мой порох и

взорвать. Вот почему я был так поражен, когда у меня мелькнула эта мысль во

время грозы.

Приступая теперь к подробному описанию полной безмолвия печальнейшей

жизни, какая когда либо выпадала в удел смертному, я начну с самого начала и

буду рассказывать по порядку.

Было, по моему счету, 30-е сентября, когда нога моя впервые ступила на

ужасный остров. Произошло это, значит, во время осеннего равноденствия; в

тех же широтах (т. е., по моим вычислениям, на 9ь 22' к северу от экватора)

солнце в этом месяце стоит почти отвесно над головой.

Прошло дней десять-двадцать моего житья на острове, и я вдруг

сообразил, что потеряю счет времени, благодаря отсутствию книг, перьев и

чернил, и что в конце концов я даже перестану отличать будни от воскресных

дней. Для предупреждения этого я водрузил большой деревянный столб на том

месте берега, куда меня выбросило море, и вырезал ножом крупными буквами

надпись: "Здесь я ступил на этот берег 30 сентября 1659 года", которую

прибил накрест к столбу. По сторонам этого столба я каждый день делал ножом

зарубку; а через каждые шесть зарубок делал одну подлиннее: это означало

воскресенье; зарубки же, обозначавшие первое число каждого месяца, я делал

еще длиннее. Таким образом, я вел мой календарь, отмечая дни, недели, месяцы

и годы.

Перечисляя предметы, перевезенные мною с корабля, как уже сказано, в

несколько приемов, я не упомянул о многих мелких вещах, хотя и не особенно

ценных, но сослуживших мне тем не менее хорошую службу. Так, например, в

помещениях капитана и капитанского помощника я нашел чернила, перья и

бумагу, три или четыре компаса, некоторые астрономические приборы, подзорные

трубы, географические карты и книги по навигации. Все это я сложил в один из

сундуков на всякий случай, не зная даже, понадобится ли мне что нибудь из

этих вещей. Кроме того, в моем собственном багаже оказались три очень

хороших библии (я получил их из Англии вместе с выписанными мною товарами и,

отправляясь в плавание, уложил вместе с своими вещами). Затем мне попалось

несколько книг на португальском языке, в том числе три католических

молитвенника и еще несколько книг. Их я тоже подобрал. Засим я должен еще

упомянуть, что у нас на корабле были две кошки и собака (я расскажу в свое

время любопытную историю жизни этих животных на острове). Кошек я перевез на

берег на плоту, собака же, еще в первую мою экспедицию на корабль, сама

спрыгнула в воду и поплыла следом за мной. Много лет она была мне верным

товарищем и слугой. Она делала для меня все, что могла, и почти заменяла мне

человеческое общество. Мне хотелось бы только, чтобы она могла говорить. Но

этого ей было не дано. Как уже сказано, я взял с корабля перья, чернила и

бумагу. Я экономил их до последней возможности, и пока у меня были чернила,

аккуратно записывал все, что случалось со мной; но когда они вышли, мне

пришлось прекратить мои записи, так как я не умел делать чернила и не мог

придумать, чем их заменить.

Вообще, несмотря на огромный склад у меня всевозможных вещей, мне,

кроме чернил, недоставало еще очень многого; у меня не было ни лопаты, ни

заступа, ни кирки, так что нечем было копать или взрыхлять землю, не было ни

иголок, ни ниток. Не было у меня и белья, но я скоро научился обходиться без

него, не испытывая большого лишения.

Вследствие недостатка в инструментах всякая работа шла у меня медленно

и тяжело. Чуть не целый год понадобилось мне, чтоб довести до конца ограду,

которою я вздумал обнести свое жилье. Нарубить в лесу толстых жердей,

вытесать из них колья, перетащить. Эти колья к моей палатке - на все это

нужно было много времени. Колья были очень тяжелы, так что я мог поднять не

более одной штуки зараз, и иногда у меня уходило два дня только на то, чтобы

обтесать кол и принести его домой, а третий день - на то, чтобы вбить его в

землю. Для этой последней работы я употреблял сначала тяжелую деревянную

дубину, а потом вспомнил о железных ломах, привезенных мною с корабля, и

заменил дубину ломом, хотя не скажу, чтобы это принесло мне большое

облегчение. Вообще вбивание кольев было для меня одною из самых утомительных

и кропотливых работ.

Но я этим не смущался, так как все равно мне некуда было девать мое

время; по окончании же постройки другого дела у меня не предвиделось, кроме

скитаний по острову в поисках за пищей, которым я в большей или меньшей

степени предавался каждый день.

Между тем, я принялся серьезно и обстоятельно обсуждать свое положение

и начал записывать свои мысли - не для того, чтобы увековечить их в

назидание людям, которые окажутся в моем положении (ибо таких людей едва ли

нашлось бы много), а просто, чтобы высказать словами все, что меня терзало и

мучило, и тем хоть сколько нибудь облегчить свою душу. Но как ни тягостны

были мои размышления, рассудок мой начал мало по малу брать верх над

отчаянием. По мере сил я старался утешить себя тем, что могло бы случиться и

хуже и противопоставлял злу добро. С полным беспристрастием я, словно

кредитор и должник, записывал все претерпеваемые мной горести, а рядом все,

что случилось со мной отрадного. …

Итак, вняв голосу рассудка, я начинал мириться со своим положением.

Прежде я поминутно смотрел на море в надежде, не покажется ли где нибудь

корабль; теперь я уже покончил с напрасными надеждами и все свои помыслы

направил на то, чтобы по возможности облегчить свое существование.

Я уже описал свое жилище. Это была палатка, разбитая на склоне горы и

обнесенная частоколом. Но теперь мою ограду можно было назвать скорее

стеной, потому что вплотную к ней, с наружной ее стороны, я вывел земляную

насыпь фута в два толщиной. А спустя еще некоторое время (насколько помню,

года через полтора) я поставил на насыпь жерди, прислонив их к откосу, а

сверху сделал настилку из веток и больших листьев. Таким образом, мой дворик

оказался под крышей, и я мог не бояться дождей, которые, как я уже говорил,

в известное время года лили на моем острове непрерывно.

Я упоминал уже раньше, что все свое добро я перенес в свою ограду и в

пещеру, которую я выкопал за палаткой. Но я должен заметить, что первое

время вещи были свалены в кучу, как попало, загромождали всю площадь, так

что мне негде было повернуться. В виду этого я решил увеличить мою пещеру.

Сделать это было нетрудно, так как гора была рыхлой, песчаной породы,

которая легко уступала моим усилиям. Итак, когда я увидел, что мне не

угрожает опасность от хищных зверей, я принялся расширять пещеру. Прокопав

вбок, а именно вправо, сколько было нужно по моему расчету, я повернул опять

направо и вывел ход наружу за пределы моего укрепления.

Эта галерея служила не только черным ходом к моей палатке, дававшим мне

возможность свободно уходить и возвращаться, но также значительно

увеличивала мою кладовую.

Покончив с этой работой, я принялся за изготовление самых необходимых

предметов обстановки, прежде всего стола и стула: без них я не мог вполне

наслаждаться даже теми скромными удовольствиями, какие были мне отпущены на

земле, не мог ни есть, ни писать с полным удобством.

И вот я принялся столярничать. Тут я должен заметить, что разум есть

основа и источник математики, а потому, определяя, и измеряя разумом вещи и

составляя о них наиболее разумное суждение, каждый может через известное

время овладеть любым ремеслом. Ни разу в жизни до тех пор я не брал в руки,

столярного инструмента, и тем не менее, благодаря трудолюбию и прилежанию, я

мало по малу так наловчился, что мог бы, я уверен, сделать что угодно, в

особенности, если бы у меня были инструменты. Но даже и без инструментов или

почти без инструментов, с одним только топором да рубанком, я сделал

множество предметов, хотя, вероятно, никто еще не делал их таким способом и

не затрачивал на это столько труда. Так, например, когда мне нужна была

доска, я должен был срубить дерево, очистить ствол от ветвей и, поставив его

перед собой, обтесывать с обеих сторон до тех пор, пока он не приобретал

необходимую форму. А потом доску надо было еще выстругать рубанком. Правда,

при таком методе из целого дерева выходила только одна доска, и выделка этой

доски отнимала у меня массу временя и труда. Но против этого у меня было

лишь одно средство, - терпение. К тому же, мое время и мой труд стоили

недорого, и потому не все ли было равно, куда и на что они шли?

Итак, я прежде всего сделал себе стол и стул. Я употребил на них

короткие доски, которые привез на плоту с корабля. Когда же затем я натесал

длинных досок вышеописанным способом, то приладил в моем погребе по одной

стене, несколько полк одну над другой, фута по полтора шириною, и сложил на

них свои инструменты, гвозди, железо и прочий мелкий скарб, - словом

распределил все по местам, чтобы легко находить каждую вещь. Я забил также

колышков в стену погреба и развесил на них свои ружья и вообще все то из

вещей, что можно было повесить.

Кто увидал бы после этого мою пещеру, тот, наверно, принял бы ее за

склад предметов первой необходимости. Все было у меня под руками, и мне

доставляло истинное удовольствие заглядывать в этот склад: такой образцовый

порядок царил там и столько было там всякого добра.

Только по окончании этой работы я начал вести свой дневник, записывая

туда все сделанное мной в течение дня. Первое время я был так занят и так

удручен, что мое мрачное настроение неизбежно отразилось бы на моем

дневнике. Вот, например, какую запись пришлось бы мне сделать 30-го

сентября:

"Когда я выбрался на берег и таким образом спасся от смерти, меня

обильно стошнило соленой водой, которой я наглотался. Мало по малу я пришел

в себя, но вместо того, чтобы возблагодарить создателя за мое спасение,

принялся в отчаянии бегать по берегу. Я ломал руки, бил себя по голове и по

липу и кричал в исступлении, говоря; "Я погиб, погиб!" - пока не свалился на

землю, выбившись из сил. Но я не смыкал глаз; боясь, чтобы меня не

растерзали дикие звери".

В течение еще многих дней после этого (уже после всех моих экспедиций

на корабль, когда все вещи из него были забраны) я то и дело взбегал на

пригорок и смотрел на море в надежде увидеть на горизонте корабль. Сколько

раз мне казалось, будто вдали белеет парус, и я предавался радостным

надеждам! Я смотрел, смотрел, пока у меня не застилало в глазах, потом

впадая в отчаяние, бросался на землю и плакал, как дитя, только усугубляя

свое несчастие собственной глупостью.

Но когда, наконец, я до известной степени совладал с собой, когда я

устроил свое жилье, привел в порядок мой домашний скарб, сделал себе стол и

стул, вообще обставил себя какими мог удобствами, то принялся за дневник.

Привожу его здесь полностью, хотя описанные в нем события уже известны

читателю из предыдущих глав. Я вел его, пока у меня были чернила, когда же

они вышли, дневник поневоле пришлось прекратить. …

Когда я начал обзаводиться хозяйством, я увидел, что мне недостает

многих необходимых вещей. Сделать их сам я вначале считал невозможным, да и

действительно кой чего (например, бочки) так и не мог никогда сделать. У

меня были, как я уже говорил, два или три Ночевка с корабля, но, как я ни

бился, мне не удалось соорудить ни одного, хотя я потратил на эту работу

несколько недель. Я не мог ни вставить дна, ни сколотить дощечки настолько

плотно, чтобы они не пропускали воды; так и пришлось отказаться от этой

затеи.

Затем мне очень нужны были свечи. Как только начинало темнеть (а там

обыкновенно смеркалось около семи часов), мне приходилось ложиться слать. Я

часто вспоминал про тот кусок воску, из которого делал свечи во время моих

приключений у берегов Африки, но воску у меня не было. Единственным вы.

ходом было воспользоваться жиром коз, которых я убивал на охоте. Я устроил

себе светильник из козьего жиру: плошку собственноручно вылепил из глины, а

потом обжег на солнце, на фитиль же взял пеньку от старой веревки.

Светильник горел хуже, чем свеча, свет его был не ровный и тусклый. В разгар

этих работ, шаря однажды в своих вещах, я нашел небольшой мешок с зерном для

птицы, которую корабль вез не в этот свой рейс, а раньше, должно быть, когда

он шел из Лиссабона. Я уже упоминал, что остатки этого зерна в мешке были

изъедены крысами (по крайней мере, когда я заглянул в мешок, мне показалось,

что там одна труха); а так как мешок был мне нужен для чего то другого

(кажется, под порох: это было как раз около того времени, когда я решил

разложить его мелкими частями, испугавшись грозы), то я вытряхнул его на

землю под скалой.

Это было незадолго до начала проливных дождей, о которых я уже говорил.

Я давно забыл про это, не помнил даже, на каком месте; я вытряхнул мешок. Но

вот прошло около месяца, и я увидел на полянке несколько зеленых стебельков,

только что вышедших из земли. Сначала я думал, что это какое нибудь

невиданное мной растение. Но каково ж было мое изумление, когда, спустя еще

несколько недель, зеленые стебельки (их было всего штук десять-двенадцать)

выпустили колосья, оказавшиеся колосьями отличного ячменя, того самого,

который растет в Европе и у нас в Англии.

Невозможно передать, в какое смятение повергло меня это открытие! До

тех пор мной никогда не руководили религиозные мотивы. Религиозных понятий у

меня было очень немного, и все события моей жизни - крупные и мелкие - я

приписывал простому случаю, или, как все мы говорим легкомысленно, воле

божьей. Я никогда не задавался вопросом, какие цели преследует провидение,

управляя ходом событий в этом мире. Но когда я увидел этот ячмень, выросший,

как я знал, в несвойственном ему климате, а главное, неизвестно как попавший

сюда, я был потрясен до глубины души и стал верить, что это бог чудесным

образом произрастил его без семян только для того, чтобы прокормить меня на

этом диком безотрадном острове.

Мысль эта немного растрогала меня и вызвала на глаза мои слезы; я был

счастлив сознанием, что такое чудо совершилось ради меня. Но удивление мое

этим не кончилось: вскоре я заметил, что рядом, на той же полянке, между

стеблями ячменя показались редкие стебельки растения, оказавшиеся

стебельками риса; я их легко распознал, так как во время пребывания в Африке

часто видел рис на полях.

Я не только подумал, что этот рис и этот ячмень посланы мне самим

провидением, но не сомневался, что он растет здесь еще где нибудь. Я обошел

всю эту часть острова, где уже бывал раньше, обшарил все уголки, заглядывал

под каждую кочку, но нигде не нашел ни риса, ни ячменя. Тогда то, наконец, я

вспомнил про мешок с птичьим кормом, который я вытряхнул на землю подле

своего жилища. Чудо исчезло, а вместе с открытием, что все это самая

естественная вещь, я должен сознаться, значительно поостыла и моя горячая

благодарность к промыслу. А между тем то, что случилось со мной, было почти

так же непредвидено, как чудо, и уж во всяком случае заслуживало не меньшей

признательности. В самом деле: не перст ли провидения виден был в том, что

из многих тысяч ячменных зерен, попорченных крысами, десять или двенадцать

зернышек уцелели и, стало быть, все равно, что упали мне с неба. Надо же

было мне вытряхнуть мешок на этой лужайке, куда падала тень от скалы и где

семена могли сразу же взойти. Ведь стоило мне бросить их немного подальше, и

они были бы выжжены солнцем.

Читатель может себе представить, как тщательно собрал я колосья, когда

они созрели (это было в конце июня). Я подобрал каждое зернышко и решил

снова посеять весь урожай в надежде накопить со временем столько зерна,

чтобы его хватило мне на пропитание. Но только на четвертый год я мог

позволить себе уделить весьма скромную часть этого зерна на еду, о чем я

расскажу своевременно. Дело в том, что у меня пропал весь сбор от первого

посева: я плохо рассчитал время, посеял перед самой засухой, и семена не

взошли в том количестве, как должны были бы взойти. Но об этом потом.

Кроме ячменя, у меня, как уже сказано, выросло двадцать или тридцать

стеблей рису, который я убрал так же старательно и для той же цели, - чтобы

готовить из него хлеб или, вернее, еду, так как я открыл способ обходиться

без печи. Но это было уже потом. Возвращаюсь к моему дневнику.

Все те четыре или три с половиною месяца, когда я был занят возведением

ограды, я работал, не покладая рук. 14 апреля ограда была кончена, и я

решил, что буду входить и выходить через стену по приставной лестнице, чтобы

снаружи не было никаких признаков жилья.

16-е апреля. - Кончил лестницу; перелезаю через стену и каждый раз

убираю лестницу за собой. Теперь я огорожен со всех сторон. В моей крепости

довольно простору, и проникнуть в нее нельзя иначе, как через стену.

Но на другой же день после того, как я окончил свою ограду, весь мой

труд чуть не пропал даром, да и сам я едва не погиб. Вот что произошло. Я

чем-то был занят в ограде, за палаткой, у входа в пещеру, как вдруг надо

мной посыпалась земля со свода пещеры и с вершины горы, и два передние

столба, поставленные мною, рухнули со страшным треском. Я очень испугался,

но не догадался о настоящей причине случившегося, а просто подумал, что свод

обвалился, как это было раньше. Боясь, чтобы меня не засыпало новым обвалом,

я побежал к лестнице и, не считая себя в безопасности здесь, перелез через

стену. Но не успел я сойти на землю, как мне стало ясно, что на этот раз

причиной обвала в пещере было страшное землетрясение. Земля подо мной

колебалась, и в течение каких-нибудь восьми минут было три таких сильных

толчка, что от них рассыпалось бы самое прочное здание, если бы оно стояло

здесь. Я видел, как у скалы, находившейся у моря в полумиле от меня,

отвалилась вершина и рухнула с таким грохотом, какого я в жизни своей не

слыхал. Море тоже страшно колыхалось и бурлило; мне даже кажется, что в море

подземные толчки были сильнее, чем на острове.

Ни о чем подобном я не слыхал раньше и сам никогда не видел, так что

был страшно поражен и ошеломлен. От колебаний почвы со мной сделалась

морская болезнь, как от качки; мне казалось, что я умираю; однако, грохот

падающего утеса привел меня в себя: ко мне вернулось сознание, и я замер при

мысли, что на мою палатку может обрушиться гора и навсегда похоронить все

мое добро. И сердце замерло у меня второй раз.

Когда после третьего толчка прошло несколько минут благополучно, я

приободрился, но из боязни быть похороненным заживо долго еще не решался

перелезть через ограду и все сидел на земле в полном унынии, не зная, что

предпринять. И за все это время у меня не мелькнуло ни одной серьезной мысли

о боге, - ничего, кроме избитых слов: "господи, помилуй меня". Но как только

опасность миновала, забылись и они.

Между тем собрались тучи; потемнело, как перед дождем. Задул ветерок -

сначала слабо, потом сильнее и сильнее, и через полчаса забушевал

страшнейший ураган. Море запенилось, забурлило и с ревом билось о берега;

деревья вырывало с корнями; картина была ужасная. Так продолжалось часа три;

потом буря стала стихать, и еще часа через два наступил мертвый штиль, и

полил дождь.

Все время, покуда свирепствовал ураган, я сидел на земле, подавленный

страхом и отчаянием. Но когда пошел дождь, мне вдруг пришло в голову, что

дождь и ветер являются, должно быть, последствием землетрясения, значит, оно

кончилось, и я могу рискнуть вернуться в мое жилище. Эта мысль меня

ободрила, а может быть и дождь, мочивший меня, придал мне решимости: я

перелез обратно через ограду и уселся было в палатке, но дождь был так

силен, что палатку пробивало насквозь, и я был принужден перейти в пещеру,

хотя и очень боялся, как бы она не обвалилась мне на голову.

Этот ливень задал мне новую работу: пришлось проделать в ограде

отверстие для стока воды, иначе затопило бы мою пещеру. Просидев там

некоторое время и видя, что подземные толчки больше не повторяются, я стал

успокаиваться. Для поддержания бодрости (в чем я нуждался) я подошел к

своему буфету и отхлебнул глоток рому, но самый маленький. Я вообще

расходовал ром весьма экономно, зная, что когда выйдет весь мой запас, мне

неоткуда будет его взять.

Весь следующий день я просидел дома из за дождя. Теперь, немного

успокоившись, я начал серьезно обдумывать, что мне делать. Я пришел к

заключению, что, коль скоро этот остров подвержен землетрясениям, мне нельзя

жить в пещере. Приходилось, значит, перенести палатку или построить шалаш

где-нибудь на открытом месте, а чтобы обезопасить себя от нападения животных

и людей, огородить его стеной, как я это сделал здесь. Ибо было ясно, что

если я останусь в пещере, то рано или поздно буду похоронен заживо.

Действительно, моя палатка стояла на опасном месте - под выступом горы,

которая, в случае нового землетрясения, легко могла обрушиться на нее.

Поэтому я решил перекочевать на другое место вместе с палаткой. Два

следующие дня - 19-е и 20-е - я провел в поисках нового места для жилья и в

обсуждении вопроса, как привести в исполнение мой план.

От страха, что меня может засылать заживо, я не мог спать по ночам;

ночевать за оградой я тоже боялся. А вместе с тем, когда я, сидя в своем

уголке, думал о том, как я уютно устроился, в каком порядке у меня хозяйство

и как хорошо я укрыт от врагов, мне очень не хотелось переселяться.

Затем у меня явилось и то соображение, что на переселение понадобится

очень много времени и что, стало быть, все равно придется мириться с

опасностью обвала, пока я не укреплю новое место так, чтобы можно было

перебраться туда. Придя к такому выводу, я успокоился, но все-таки решился

приняться, не теряя времени, за возведение ограды на новом месте с помощью

частокола и канатов, но в форме окружности, и, как только она будет готова,

перенести в нее свою палатку; до того же времени оставаться там, где я был,

и готовиться к переезду. …

Прошло десять слишком месяцев моего житья на злополучном острове. Я был

твердо убежден, что никогда до меня человеческая нога не ступала на эти

пустынные берега, так что приходилось, по-видимому, отказаться от всякой

надежды на избавление. Теперь, когда я был спокоен за безопасность моего

жилья, я решил более основательно обследовать остров и посмотреть, нет ли на

нем еще каких-нибудь животных и растений, неизвестных мне до сей поры.

Я начал это обследование 15-го июля. Прежде всего, я направился к той

бухточке, где я причаливал с моими плотами. Пройдя мила две вверх по

течению, я убедился, что прилив не доходит дальше, и, начиная с этого места

и выше, вода в ручье была чистая и прозрачная. Вследствие сухого времени

года, ручей местами если не пересох, то, во всяком случае, еле струился.

По берегам его тянулись красивые луга, ровные, гладкие, покрытые

травой, а дальше, - там, где низина постепенно переходила в возвышенность и

куда, как надо было думать, не достигал разлив, - рос в изобилии табак с

высокими и толстыми стеблями. Там были и другие растения, каких я раньше

никогда не видал; весьма возможно, что, знай я их свойства, я мог бы извлечь

из них пользу для себя. …

На другой день, 16-го, я отправился той же дорогой, но прошел немного

дальше, туда где кончался ручей и луга и начиналась более лесистая

местность. В этой части острова я нашел разные плоды, в числе прочих дыни (в

большом изобилии) и виноград. Виноградные лозы вились по стволам деревьев, и

их роскошные гроздья только что созрели. Это открытие несколько удивило меня

и очень обрадовало, однако, наученный опытом, я поел винограду с большой

осторожностью, вспомнив, что во время пребывания моего в Берберии там умерло

от дизентерии и лихорадки несколько человек невольников-англичан, объевшихся

виноградом. Но я придумал великолепное употребление для этого винограда, а

именно, высушить его на солнце и сделать из него изюм; я справедливо

заключил, что он будет служить мне вкусным и здоровым лакомством в то время,

когда виноград уже сойдет.

Я не вернулся домой в этот день; к слову сказать, это была первая моя

ночь на острове, проведенная вне дома. Как и в день кораблекрушения, я

взобрался на дерево и отлично выспался, а на утро продолжал свой обход. Судя

по длине долины, я прошел еще мили четыре в прежнем направлении, т. е. на

север, сообразуясь с грядами холмов на севере и на юге.

В конце этого пути было открытое место, заметно понижавшееся к западу.

Родничек же, пробивавшийся откуда-то сверху, тек в противоположном

направлении, то есть на восток. Вся окрестность зеленела, цвела и благоухала

точно сад, насажденный руками человека, в котором каждое растение блистало

красой весеннего наряда.

Я спустился немного в эту очаровательную долину и с тайным

удовольствием, хотя и не свободным от примеси никогда не покидавшей меня

грусти, подумал, что все это мое, я - царь и хозяин этой земли; права мои на

нее бесспорны, и если б я мог перевести ее в обитаемую часть света, она

стала бы таким же безусловным достоянием моего рода, как поместье

английского лорда. Тут было множество кокосовых пальм, апельсинных и

лимонных деревьев, но все дикорастущих, и лишь на немногих из них были

плоды, по крайней мере в тот момент. Тем не менее я нарвал зеленых лимонов,

которые были не только приятны на вкус, но и очень мне полезны. Я пил потом

воду с лимонным соком, и она очень меня освежала и подкрепляла.

Мне предстояло теперь много работы со сбором плодов и переноской их

домой, так как я решил запастись виноградом и лимонами на приближавшееся

дождливое время года.

С этой целью я собрал винограду и сложил его в большую кучу в одном

месте и в кучу поменьше в другом месте. Так же поступил и с лимонами, сложив

их в третью кучу. Затем, взяв с собой немного тех и других плодов,

отправился домой, с тем, чтобы захватить мешок и унести домой остальное.

Итак, я вернулся домой (так я буду теперь называть мою палатку и

пещеру) после трехдневного отсутствия, но к концу этого путешествия мой

виноград совершенно испортился. Сочные, тяжелые ягоды раздавили друг друга и

оказались совершенно негодными. Лимоны хорошо сохранились, но я принес их

очень немного.

На следующий день, 19-го, я снова пустился в путь с двумя небольшими

мешками, в которых собирался принести домой собранные плоды. Но как же я был

поражен, когда, придя на то место, где у меня был сложен виноград, увидел,

что мои роскошные спелые гроздья разбросаны по земле и сочные ягоды частью

объедены, частью растоптаны. Значит, здесь хозяйничали какие то животные, но

какие именно - я не знал.

Итак, убедившись, что складывать виноград в кучи и затем перетаскивать

его в мешках невозможно, ибо мой сбор окажется частью уничтоженным, частью

попорченным, я придумал другой способ. Нарвав порядочное количество

винограду, я развесил его на деревьях так, чтобы он мог сохнуть на солнце.

Что же касается лимонов, то я унес их с собой, сколько был в силах поднять.

Вернувшись домой, я с удовольствием обращался мыслью к плодоносной

долине, открытой мной. Представляя себе ее живописное местоположение, я

думал о том, как хорошо она защищена от ветров, какое в ней обилие воды и

леса, и пришел к заключению, что мною выбрано для жилья одно из худших мест

на острове. Естественно, что я стал мечтать, переселиться. Нужно было только

подыскать в этой цветущей плодоносной долине подходящее местечко и сделать

его таким же безопасным, как мое теперешнее жилище.

Эта мысль крепко засела у меня: красота долины прельщала меня, и я

долго тешился мечтами о переселении. Но обсудив этот вопрос тщательнее и

приняв в расчет, что теперь я живу в виду моря и, следовательно, имею хоть

маленькую надежду на благоприятную для меня перемену, я решил отказаться от

этого намерения. Тот самый злой рок, который занес меня на мой остров, мог

занести на него и другого несчастного. Конечно, такая случайность была мало

вероятна, но запереться среди холмов и лесов, в глубине острова, вдали от

моря, значило заточить себя навеки и сделать освобождение для себя не только

маловероятным, но и просто невозможным.

Однако, я был так пленен этой долиной, что провел там почти весь конец

июля, и хотя, по зрелом размышлении, решил не переносить своего жилья на

новое место, но поставил там себе шалаш, огородил его наглухо двойным

плетнем выше человеческого роста, на крепких столбах, а промежуток между

плетнями заложил хворостом; входил же и выходил по приставной лестнице, как

и в старое жилье. Таким образом, я и здесь был в безопасности. Случалось,

что я ночевал в своем шалаше по две, по три ночи подряд. Теперь у меня есть

дом на берегу моря и дача в лесу, говорил я себе. Работы на ней заняли у

меня все время до начала августа.

Я только что доделал ограду и начал наслаждаться плодами своих трудов,

как полили дожди, и мне пришлось перебраться в мое старое гнездо. Правда, я

и на новом месте поставил очень хорошую палатку, сделанную из паруса, но

здесь у меня не было ни горы, которая защищала бы меня от ветров, ни пещеры,

куда я мог бы укрыться, когда ливни становились чересчур сильными.

К началу августа, как сказано, я закончил достройку шалаша и дня

два-три отдыхал. 3-го августа я заметил, что развешенные мною гроздья

винограда совершенно высохли на солнце и превратились в превосходный изюм. С

того же дня я начал снимать их с деревьев, и хорошо сделал, так как иначе их

бы попортило дождем и я лишился бы большей части своих зимних запасов: у

меня сушилось более двухсот больших кистей. Как только все было собрано и

большею частью перенесено в пещеру, начались дожди и с 14-го августа до

половины октября шли почти безостановочно изо дня в день. Иногда лило так

сильно, что я по нескольку дней не высовывал носа из пещеры.

В этот период дождей я был удивлен неожиданным приращением моего

семейства. Одна из моих кошек давно уже пропадала; я не знал, сбежала ли она

или околела, и очень о ней сокрушался, как вдруг в конце августа она

вернулась с тремя котятами. Это очень меня удивило, так как обе мои кошки

были самки. Правда, я видел на острове диких котов (как я их называл) и даже

подстрелил одного, но мне казалось, что эти зверьки совсем другой породы,

чем наши европейские кошки, а между тем котята, которых привела с собой моя

кошка, были как две капли воды похожи на свою мать. От этих трех котят у

меня развелось такое несметное потомство, что я был вынужден истреблять

кошек как вредных зверей и гнать их подальше от своего дома.

С 14-го по 26-е августа дожди не прекращались, и я почти не выходил из

дому, ибо теперь я очень боялся промокнуть. Между тем, пока я отсиживался в

пещере, выжидая ясной погоды, мои запасы провизии стали истощаться, так что

два раза я даже рискнул выйти на охоту. В первый раз убил козу, а во второй,

26-го (это был последний день моего заточения), поймал огромную черепаху, и

это было для меня целое пиршество. В то время моя еда распределялась так; на

завтрак кисть винограда, на обед кусок козлятины или черепашьего мяса, -

жареного, так как, на мое несчастье, мне не в чем было варить или тушить

мясо и овощи, на ужин - два или три черепашьих яйца.

В течение двенадцати дней, которые я просидел в пещере, прячась от

дождя, я ежедневно по два - по три часа посвящал земляным работам, расширяя

свою пещеру. Я прокапывал ее все дальше в одну сторону до тех пор, пока не

вывел ход наружу, за ограду. Я устроил там дверь, через которую мог свободно

выходить и входить, не прибегая к приставной лестнице. Зато я не был так

спокоен, как прежде: прежде мое жилье было со всех сторон загорожено, теперь

доступ ко мне был открыт. Впрочем, мне некого бояться на моем острове, где я

не видал ни одного животного крупнее козы. …

Около этого времени мой запас чернил стал подходить к концу.

Приходилось расходовать их экономнее; поэтому я прекратил ежедневные записи

и стал отмечать лишь выдающиеся события моей жизни.

В это время я обратил внимание, что дождливое время года совершенно

правильно чередуется с периодом бездождия, и, таким образом, мог

заблаговременно подготовиться к дождям и засухе. Но свои знания я покупал

дорогою ценою; то, о чем я сейчас расскажу, служит одной из самых печальных

иллюстраций этого. Я уже упоминал выше, как я был поражен неожиданным

появлением возле моего дома нескольких колосьев риса и ячменя, которые, как

мне казалось, выросли сами собой. Помнится, было около тридцати колосьев

риса и колосьев двадцать ячменя. И вот после дождей, когда солнце перешло в

южное полушарие, я решил, что наступило самое подводящее время для посева.

Я вскопал, как мог, небольшой клочок земли деревянной лопатой, разделил

его пополам и засеял одну половину рисом, а другую ячменем, но во время

посева мне пришло в голову, что лучше на первый раз не высевать всех семян,

так как я все таки не знаю наверно, когда нужно сеять. И я посеял около двух

третей всего запаса зерна, оставив по горсточке каждого сорта про запас.

Большим было для меня счастьем, что я принял эту предосторожность, ибо

из первого моего посева ни одно зерно не взошло; наступили сухие месяцы, и с

того дня, как я засеял свое поле, влаги совсем не было, и зерно не могло

взойти. Впоследствии же, когда начались дожди, оно взошло, как будто я

только что посеял его.

Видя, что мой первый посев не всходит, что я вполне естественно

объяснил засухой, я стал искать другого места с более влажной почвой, чтобы

произвести новый опыт. Я разрыхлил новый клочок земли около моего шалаша и

посеял здесь остатки зерна. Это было в феврале, незадолго до весеннего

равноденствия. Мартовские и апрельские дожди щедро напоили землю: семена

взошли великолепно и дали обильный урожай. Но так как семян у меня осталось

очень мало и я не решился засеять их все, то и сбор вышел не велик, - не

более половины пека {Пек - около 9 литров.} каждого сорта зерна. Зато я был

теперь опытный хозяина и точно знал, какая пора наиболее благоприятна для

посева и что ежегодно я могу сеять дважды и, следовательно, получать два

сбора.

Покуда рос мой хлеб, я сделал маленькое открытие, которое впоследствии

очень мне пригодилось. Как только прекратились дожди и погода установилась -

это было приблизительно в ноябре - я отправился на свою лесную дачу, где

нашел все в том же виде, как оставил, несмотря на то, что не был там

несколько месяцев. Двойной плетень поставленный мной, был не только цел, но

все его колья, на которые я брал росшие поблизости молодые деревца, пустили

длинные побеги, совершенно так, как пускает их ива, если у нее срезать

верхушку. Я не знал, какие это были деревья, и был очень приятно изумлен,

увидя, что моя ограда зазеленела. Я подстриг все деревца, постаравшись

придать им по возможности одинаковую форму. Трудно поверить, как красиво

разрослись они в три года. Несмотря на то, что огороженное место имело до

двадцати пяти ярдов в диаметре, деревья - так я могу их теперь называть -

скоро покрыли его своими ветвями и давали густую тень, в которой можно было

укрыться от солнца в период жары.

Это навело меня на мысль нарубить еще несколько таких же кольев и вбить

их полукругом вдоль ограды моего старого жилья. Так я и сделал. Я повтыкал

их в два ряда, ярдов на восемь отступя от прежней ограды. Они принялись, и

вскоре у меня образовалась живая изгородь, которая сначала укрывала меня от

зноя, а впоследствии послужила мне для защиты, о чем я расскажу в своем

месте.

По моим наблюдениям на моем острове времена года следует разделить не

на холодные и теплые, как они делятся у нас в Европе, а на дождливые и

сухие, приблизительно таким образом:

|  |  |
| --- | --- |
| С половины февраля до половины  апреля | Дожди: солнце стоит в зените или почти в зените. |
| С половины апреля до половины августа. | Засуха: солнце перемещается к северу. |
| С половины августа до половины  октября. | Дожди; солнце снова стоит в зените. |
| С половины октября до половины  февраля. | Засуха: солнце перемещается к югу. |

Дождливое время года может быть длиннее или короче в зависимости от

направления ветра, но в общем приведенное деление правильно. Изведав на

опыте, как вредно для здоровья пребывание под открытым небом во время дождя,

я теперь всякий раз перед началом дождей заблаговременно запасался

провизией, чтобы выходить пореже, и просиживал дома почти все дождливые

месяцы.

Я пользовался этим временем для работ, которые можно было производить,

не покидая моего жилища. В моем хозяйстве недоставало еще очень многих

вещей, а чтобы сделать их, требовался упорный труд и неослабное прилежание.

Я, например, много раз пытался сплести корзину, но все прутья, какие я мог

достать для этого, оказывались такими ломкими, что у меня ничего не

выходило. В детстве я очень любил ходить к одному корзинщику, жившему по

соседству от нас, и смотреть, как он работает. Теперь это очень мне

пригодилось. Как все вообще дети, я был очень услужлив и наблюдателен. Я

хорошо подметил, как плетутся корзины, и часто даже помогал корзинщику, так

что теперь мне не хватало только материала, чтобы приступить к работе. Вдруг

мне пришло в голову, не подойдут ли для корзины ветки тех деревьев, из

которых я нарубил кольев и которые потом проросли; ведь у этого дерева

должны быть упругие, гибкие ветки, как у нашей английской вербы, ивы или

лозняка. И я решил попробовать.

На другой же день я отправился на свою дачу, как я называл мое жилье в

долине, нарезал там несколько веточек того дерева, выбирая самые тонкие, и

убедился, что они как нельзя лучше годятся для моей цели. В следующий раз я

пришел с топором, чтобы сразу нарубить, сколько мне нужно. Мне не пришлось

искать, так как деревья той породы росли здесь в изобилии. Нарубив прутьев,

и сволок их за ограду и принялся сушить, а когда они подсохли, перенес их в

пещеру. В ближайший дождливый сезон я принялся за работу и наплел много

корзин для носки земли, для укладки всяких вещей и для разных других

надобностей. Правда, у меня они не отличались изяществом, но, во всяком

случае, годились для своей цели. С тех пор я никогда я не забывал пополнять

свой запас корзин: по я мере того, как старые разваливались, я плел новые.

Особенно я запасался прочными глубокими корзинами для хранения в них зерна,

вместо мешков, в ожидании, когда у меня накопится большое его количество.

Покончив с этим затруднением, на преодоление которого у меня ушла уйма

времени, я стал придумывать, как мне восполнить еще два недостатка. У меня

не было посуды для хранения жидкости, если не считать двух боченков, которые

были заняты ромом, да нескольких бутылок и бутылей, в которых я держал воду

и спирт. У меня не было ни одного горшка, в котором можно было бы что-нибудь

сварить. Правда, я захватил с корабля большой котел, но он был слишком велик

для того, чтобы варить в нем суп и тушить мясо. Другая вещь, о которой я

часто мечтал, была трубка, но я не умел сделать ее. Однако, в конце концов,

я придумал, чем ее заменить.

Все лето, т. е. все сухое время года я был занят устройством живой

изгороди вокруг своего старого жилья и плетением корзин. Но тут явилось

новое дело, которое отняло у меня больше времени, чем я рассчитывал уделить.

Выше я уже говорил, что мне очень хотелось обойти весь остров и что я

несколько раз доходил до ручья и дальше, до того места долины, где я

построил свой шалаш и откуда открывался вид на море по другую сторону

острова. И вот я, наконец, решился пройти весь остров поперек и добраться до

противоположного берега. Я взял ружье, топорик, больше чем всегда пороху,

дроби и пуль, прихватил про запас два сухаря и большую кисть винограда и

пустился в путь в сопровождения собаки. Пройдя то место долины, где стоял

мой шалаш, я увидел впереди на западе море, а дальше виднелась полоса земли.

Был яркий солнечный день, и я хорошо различал землю, но не мог определить,

материк это или остров. Эта земля представляла высокое плоскогорье, тянулась

с запада на юго-запад и отстояла очень далеко (по моему расчету, миль на

сорок или на шестьдесят) от моего острова.

Я не имел понятия, что это за земля, и мог сказать только одно, что

это? должно быть, какая-нибудь часть Америки, лежащая, по всей вероятности,

недалеко от испанских владений. Весьма возможно, что земля эта была населена

дикарями и что, если б я попал туда вместо моего острова, мое положение было

бы еще хуже. И как только у меня явилась эта мысль, я перестал терзаться

бесплодными сожалениями, зачем меня выбросило именно сюда, преклонился перед

волей провидения, которое, как я начинал теперь верить и сознавать, всегда и

все устраивает к лучшему.

К тому же, обсудив хорошенько дело, а сообразил, что, если новооткрытая

мною земля составляет часть испанских владений, то, рано или поздно, я

непременно увижу какой-нибудь корабль, идущий туда или оттуда. Если же это

не испанские владения, то это береговая полоса, лежащая между испанскими

владениями и Бразилией, населенная исключительно дикарями, и притом самыми

свирепыми - каннибалами или людоедами, которые убивают и съедают всех, кто

попадает им в руки.

Размышляя таким образом, я не спеша подвигался вперед. Эта часть

острова показалась мне гораздо привлекательнее той, в которой я поселился:

везде, куда ни взглянешь, зеленые луга, пестреющие цветами, красивые рощи. Я

заметил здесь множество попугаев, и мне захотелось поймать одного из них я

рассчитывал приручить его и научить говорить со мной. После многих

бесплодных попыток мне удалось изловить птенца, оглушив его палкой; я привел

его в чувство и принес домой. Но понадобилось несколько лет, прежде чем он

заговорил; тем не менее, я все таки добился, что он стал называть меня по

имени. С ним произошел один забавный случай, который насмешит читателя в

своем месте.

Я остался как нельзя более доволен моим обходом. В низине, на лугах,

мне попадались зайцы (или похожие на них животные) и много лисиц; но эти

лисицы резко отличались от своих родичей, которых мне случалось видеть

раньше. Мне не нравилось их мясо, хотя я и подстрелил их несколько штук. Да

впрочем в этом не было и надобности в пище я не терпел недостатка. Можно

даже сказать, что я питался очень хорошо. Я всегда мог иметь любой из трех

сортов мяса: козлятину, голубей или черепаху, а с прибавкой изюма получался

совсем роскошный стол, какого, пожалуй, не доставляет и Лиденгольский рынок.

Таким образом, как ни плачевно было мое положение, все таки у меня было за

что благодарить бога: я не только не терпел голода, но ел вдоволь и мог даже

лакомиться.

Во время этого путешествия я делал не более двух миль в день, если

считать по прямому направлению; но я так много кружил, осматривая местность

в надежде, не встречу ли чего нового, что добирался до ночлега очень

усталым. Спал я обыкновенно на дереве, а иногда, если находил подходящее

место между деревьями, устраивал ограду из кольев, втыкая их от дерева до

дерева, так что никакой хищник не мог подойти ко мне, не разбудив меня.

Дойдя до берега моря, я окончательно убедился, что выбрал для поселения

самую худшую часть острова. На моей стороне я за полтора года поймал только

трех черепах; здесь же весь берег был усеян ими. Кроме того, здесь было

несметное множество птиц всевозможных пород, в числе прочих пингвины. Были

такие, каких я никогда не видал, и такие, которых я не знал названий. Мясо

многих из них оказалось очень вкусным.

Я мог бы, если бы хотел, настрелять припасть птиц, но я берег порох и

дробь и предпочитал охотиться на коз, так как козы давали лучшее мясо. Но

хотя здесь было много коз - гораздо больше, чем в моей части острова, - к

ним было очень трудно подобраться, потому что местность здесь была ровная и

они замечали меня гораздо скорее, чем когда я был на холмах.

Бесспорно, этот берег был гораздо привлекательнее моего, и тем не менее

я не имел ни малейшего желания переселяться. Прожив в своем гнезде более

полутора года, я к нему привык; здесь же я чувствовал себя, так сказать, на

чужбине, и меня тянуло домой. Пройдя вдоль берега к востоку, должно быть,

миль двенадцать или около того, я решил, что пора возвращаться. Я воткнул в

землю высокую веху, чтобы заметить место, так как решил, что в следующий раз

я приду сюда с другой стороны, т. е. с востока от моего жилища, и, таким

образом, докончу обозрение моего острова.

Я хотел вернуться другой дорогой, полагал, что я всегда могу окинуть

взглядом весь остров и не могу заблудиться. Однако, я ошибся в расчете.

Отойдя от берега не больше двух-трех миль, я опустился в широкую котловину,

которую со всех сторон и так тесно обступали холмы, поросшие густым лесом,

что не было никакой возможности осмотреться. Я мог бы держать путь по

солнцу, но для этого надо было в точности знать его положение в это время

дня.

На мое горе погода была пасмурная. Не видя солнца в течение трех или

четырех дней, я плутал, тщетно отыскивая дорогу. В конце концов, я принужден

был выйти опять к берегу моря, на то место, где стояла моя веха, и оттуда

вернулся домой прежним путем. Шел я не спеша, с частыми роздыхами, так как

стояли страшно жаркие дни, а на мне было много тяжелых вещей - ружье,

заряды, топор.

Во время этого путешествия моя собака вспугнула козленка и бросилась на

него; но я вовремя подбежал и отнял его живым. Мне хотелось взять его с

собой: я давно уже мечтал приручить пару козлят и развести стадо ручных коз,

чтоб обеспечить себя мясом к тому времени, когда у меня выйдут все запасы

пороха и дроби.

Я устроил козленку ошейник и с некоторым трудом повел его на веревке

(веревку я свил из пеньки от старых канатов и всегда носил ее с собою).

Добравшись до своего шалаша, я пересадил козленка за ограду и там оставил,

ибо мне не терпелось добраться поскорее до дому, где я не был уже больше

месяца.

Не могу выразить, с каким чувством удовлетворения я вернулся на старое

пепелище и растянулся в своем гамаке. Это путешествие и бесприютная жизнь

так меня утомили, что мой "дом", как я его называл, показался мне вполне

благоустроенным жилищем: здесь меня окружало столько удобств и было так

уютно, что я решил никогда больше не уходить из него далеко, покуда мне

суждено будет оставаться на этом острове.

С неделю я отдыхал и отъедался после моих скитаний. Большую часть этого

времени я был занят трудным делом; устраивал клетку для моего Попки,

который становился совсем ручным и очень со мной подружился. Затем я

вспомнил о своем бедном козленке, которого оставил в моей ограде, и решился

сходить за ним. Я застал его там, где оставил, да он и не мог уйти; но он

почти умирал с голоду. Я нарубил сучьев и веток, какие мне попались под

руку, и перебросил ему за ограду. Когда он поел, я хотел было вести его на

веревке, как раньше, но от голоду он до того присмирел, что побежал за мной,

как собака. Я всегда кормил его сам, и он сделался таким ласковым и ручным,

что вошел в семью моих домашних животных и впоследствии никогда не отходил

от меня.

Опять настала дождливая пора осеннего равноденствия, и опять я

торжественно отпраздновал 30-е сентября - вторую годовщину моего пребывания

на острове. Надежды на избавление у меня было так же мало, как и в момент

моего прибытия сюда. Весь день 30-е сентября я провел в благочестивых

размышлениях, смиренно и с благодарностью вспоминая многие милости, которые

были ниспосланы мне в моем уединении и без которых мое положение было бы

бесконечно печально.

Теперь, наконец, я ясно ощущал, насколько моя теперешняя жизнь, со

всеми ее страданиями и невзгодами, счастливее той позорной, исполненной

греха, омерзительной жизни, какую я вел прежде. Все во мне изменилось: горе

и радость я понимал теперь совершенно иначе; не те были у меня желания,

страсти потеряли свою остроту; то, что в момент моего прибытия сюда и даже в

течение этих двух лет доставляло мне наслаждение, теперь для меня не

существовало.

Таково было состояние моего духа, когда начался третий год моего

заточения. Я не хотел утомлять читателя мелочными подробностями, и потому

второй год моей жизни на острове описан у меня не так обстоятельно, как

первый. Все же нужно сказать, что я и в этот год редко оставался праздным. Я

строго распределил свое время соответственно занятиям, которым я предавался

в течение дня. На первом плане стояли религиозные обязанности и чтение

священного писания, которым я неизменно отводил известное время три раза в

день. Вторым из ежедневных моих дел была охота, занимавшая у меня часа по

три каждое утро, когда не было дождя. Третьим делом была сортировка, сушка и

приготовление убитой или пойманной дичи; на эту работу уходила большая часть

дня. При этом следует принять в расчет, что, начиная с полудня, когда солнце

подходило к зениту, наступал такой удручающий зной, что не было возможности

даже двигаться, затем оставалось еще не более четырех вечерних часов,

которые я мог уделить на работу. Случалось и так, что я менял часы охоты и

домашних занятий: поутру работал, а перед вечером выходил на охоту.

У меня не только было мало времени, которое я мог посвящать работе, но

она стоила мне также невероятных усилий и подвигалась очень медленно.

Сколько часов терял я из за отсутствия инструментов, помощников и недостатка

сноровки! Так, например, я потратил сорок два дня только на то, чтобы

сделать доску для длинной полки, которая была нужна для моего погреба, между

тем как два плотника, имея необходимые инструменты, выпиливают из одного

дерева шесть таких досок в полдня.

Процедура была такова: я выбрал большое дерево, так как мне была нужна

большая доска. Три дня я рубил это дерево и два дня обрубал с него ветви,

чтобы получить бревно. Уж и не знаю, сколько времени я обтесывал и

обстругивал его с обеих сторон, покуда тяжесть его не уменьшилась настолько,

что его, можно было сдвинуть с места. Тогда я обтесал одну сторону начисто

по всей длине бревна, затем перевернул его этой стороной вниз и обтесал

таким же образом другую. Эту работу я продолжал до тех пор, пока не получил

ровной и гладкой доски, толщиною около трех дюймов. Читатель может судить,

какого труда стоила мне эта доска. Но упорство и труд помогли мне довести до

конца как эту работу, так и много других. Я привел здесь эти подробности,

чтобы объяснить, почему у меня уходило так много времени на сравнительно не-

большую работу, т. е. небольшую при условии, если у вас есть помощник и

инструменты, но требующую огромного времени и усилий, если делать ее одному

и чуть не голыми руками.

Несмотря на все это, я терпением и трудом довел до конца все работы, к

которым был вынужден обстоятельствами, как видно будет из последующего.

В ноябре и декабре я ждал моего урожая ячменя и риса. Засеянный мной

участок был невелик, ибо, как уже сказано, у меня вследствие засухи пропал

весь посев первого года и оставалось не более половины пека каждого сорта

зерна. На этот раз урожай обещал быть превосходным; как вдруг я сделал

открытие, что я снова рискую потерять весь сбор, так как мое поле

опустошается многочисленными врагами, от которых трудно уберечься. Эти враги

были, во первых, козы, во вторых, те зверьки, которых я назвал зайцами.

Очевидно, стебельки риса и ячменя пришлись им по вкусу; они дневали и

ночевали на моем поле и начисто подъедали всходы, не давая им возможности

выкинуть колос.

Против этого было лишь одно средство: огородить все поле, что я и

сделал. Но эта работа стоила мне большого труда, главным образом, потому,

что надо было спешить. Впрочем, мое поле было таких скромных размеров, что

через три недели изгородь была готова. Днем я отпугивал врагов выстрелами, а

на ночь привязывал к изгороди собаку, которая лаяла всю ночь напролет.

Благодаря этим мерам предосторожности прожорливые животные ушли от этого

места; мой хлеб отлично выколосился и стал быстро созревать.

Но как прежде, пока хлеб был в зеленях, меня разоряли четвероногие, так

начали разорять меня птицы теперь, когда он заколосился. Как то раз, обходя

свою пашню, я увидел, что около нее кружатся целые стаи пернатых, видимо

карауливших, когда я уйду. Я сейчас же выпустил в них заряд дроби (так как

всегда носил с собой ружье), но не успел я выстрелить, как с самой пашни

поднялась другая стая, которой я сначала не заметил.

Это не на шутку взволновало меня. Я предвидел, что еще несколько дней

такого грабежа и пропадут все мои надежды; я, значит, буду голодать, и мне

никогда не удастся собрать урожай. Я не мог придумать, чем помочь горю. Тем

не менее я решил во что бы то ни стало отстоять свой хлеб, хотя бы мне

пришлось караулить его день и ночь. Но сначала я обошел все поле, чтобы

удостовериться, много ли ущерба причинили мне птицы. Оказалось, что хлеб

порядком попорчен, но так как зерно еще не совсем созрело, то потеря была бы

не велика, если б удалось сберечь остальное.

Я зарядил ружье и сделал вид, что ухожу с поля (я видел, что птицы

прятались на ближайших деревьях и ждут, чтобы я ушел). Действительно, едва я

скрылся у них из виду, как эти воришки стали спускаться на поле одна за

другой. Это так меня рассердило, что я не мог утерпеть и не дождался, пока

их спустится побольше. Я знал, что каждое зерно, которое они съедят теперь,

может принести со временем целый пек хлеба. Подбежав к изгороди, я

выстрелил: три птицы остались на месте. Того только мне и нужно было: я

поднял всех трех и поступил с ними, как поступают у нас в Англии с

ворами-рецидивистами, а именно: повесил их для острастки других. Невозможно

описать, какое поразительное действие произвела эта мера: не только ни одна

птица не села больше на поле, но все улетели из моей части острова, по

крайней мере, я не видал ни одной за все время, пока мои три путала висели

на шесте. Легко представить, как я был этому рад. К концу декабря - время

второго сбора хлебов - мои ячмень и рис поспели, и я снял урожай.

Перед жатвой я был в большом затруднения, не имея ни косы, ни серпа,

единственное, что я мог сделать - это воспользоваться для этой работы

широким тесаком, взятым мною с корабля в числе другого оружия. Впрочем,

урожай мой был так невелик, что убрать его не составляло большого труда, да

и убирал я его особенным способом: я срезывал только колосья, которые и

уносил в большой корзине, а затем перетер их руками. В результате из

половины пека семян каждого сорта вышло около двух бушелей {Бушель равен

приблизительно 11 гарнцам или 36 литрам (урожай сам-двенадцать).} рису и

слишком два с половиной бушеля ячменя, конечно, по приблизительному расчету,

так как у меня не было мер.

Такая удача очень меня ободрила: теперь я мог надеяться, что со

временем у меня будет, с божьей помощью, постоянный запас хлеба. Но передо

мной явились новые затруднения. Как измолоть зерно или превратить его в

муку? Как просеять муку? Как сделать из муки тесто? Как, наконец, испечь из

теста хлеб? Ничего этого я не умел. Все эти затруднения в соединении с

желанием отложить про запас побольше семян, чтобы без перерывов обеспечить

себя хлебом, привели меня к решению не трогать урожая этого года, оставив

его весь на семена, а тем временем посвятить все рабочие часы и приложить

все старания для разрешения главной задачи, т. е. превращения зерна в хлеб.

Теперь про меня можно было буквально сказать, что я зарабатываю свой

хлеб. Удивительно как мало людей задумывается над тем, сколько надо

произвести различных мелких работ для приготовления только самого простого

предмета нашего питания - хлеба.

Благодаря самым первобытным условиям жизни, все эти трудности угнетали

меня и давали себя чувствовать все сильнее и сильнее, начиная с той минуты,

когда я собрал первую горсть зерен ячменя и риса, так неожиданно выросших у

моего дома.

Во-первых, у меня не было ни плуга для вспашки, ни даже заступа или

лопатки, чтобы хоть как нибудь вскопать землю. Как уже было сказано; я

преодолел это препятствие, сделав себе деревянную лопату. Но каков

инструмент, такова и работа. Не говоря уже о том, что моя лопата, не будучи

обита железом, служила очень недолго (хотя, чтобы сделать ее, мане

понадобилось много дней), работать ею было тяжелее, чем железной, и сама

работа выходила много хуже.

Однако, я с этим примирился: вооружившись терпением и не смущаясь

качеством своей работы, я продолжал копать. Когда зерно было посеяно, нечем

было забороновать его. Пришлось вместо бороны возить по полю большой тяжелый

сук, который, впрочем, только царапал землю.

А сколько разнообразных дел мне пришлось переделать; пока мой хлеб рос

и созревал, надо было обнести поле оградой, караулить его, потом жать,

убирать, молотить (т. е. перетирать в руках колосья, чтобы отделить зерно от

мякины). Потом мне нужны были: мельница, чтобы смолоть зерно, сита, чтобы

просеять муку, соль и дрожжи, чтобы замесить тесто, печь, чтобы выпечь хлеб.

И, однако, как увидит читатель, я обошелся без всех этих вещей. Иметь хлеб

было для меня неоцененной наградой и наслаждением. Все это требовало от меня

тяжелого и упорного труда, но итого выхода не было. Время мое было

распределено, и я занимался этой работой несколько часов ежедневно. А так

как я решил не расходовать зерна до тех пор, пока его не накопится побольше,

то у меня было впереди шесть месяцев, которые я мог всецело посвятить

изобретению и изготовлению орудий, необходимых для переработки зерна в хлеб.

Но сначала надо было приготовить под посев более обширный участок земли, так

как теперь у меня было столько семян, что я мог засеять больше акра {Акр -

немного менее 0,4 десятины.}. Еще прежде я сделал лопату, что отняло у меня

целую неделю. Новая лопата доставила мне одно огорчение: она была тяжела, и

ею было вдвое труднее работать. Как бы то ни было, я вскопал свое поле и

засеял два большие и ровные участка земли, которые я выбрал как можно ближе

к моему дому и обнес частоколом из того дерева, которое так легко

принималось. Таким образом, через год мой частокол должен был превратиться в

живую изгородь, почти не требующую исправления. Все вместе - распашка земли

и сооружение изгороди - заняло у меня не менее трех месяцев, так как большая

часть работы пришлась на дождливую пору, когда я не мог выходить из дому.

В те дни, когда шел дождь, и мне приходилось сидеть в пещере, я делал

другую необходимую работу, стараясь между делом развлекаться разговорами со

своим попугаем. Скоро он уже знал свое имя, а потом научился довольно громко

произносить его. "Попка" было первое слово, какое я услышал на моем острове,

так сказать, из чужих уст. Но разговоры с Попкой, как уже оказано, были для

меня не работой, а только развлечением в труде. В то время я был занят очень

важным делом. Давно уже я старался тем или иным способом изготовить себе

глиняную посуду, в которой я сильно нуждался; но совершенно не знал, как

осуществить это. Я не сомневался, что сумею вылепить что-нибудь вроде

горшка, если только мне удастся найти хорошую глину. Что же касается

обжигания, то я считал, что в жарком климате для этого достаточно солнечного

тепла и что, посохнув на солнце, посуда будет настолько крепка, что можно

будет брать ее в руки и хранить в ней все припасы, я которые надо держать в

сухом виде. И вот я решил вылепить несколько штук кувшинов, возможно

большего размера, чтобы хранить в них зерно, муку и т. п.

Воображаю, как посмеялся бы надо мной (а может быть, и пожалел бы меня)

читатель, если б я поведал, как неумело я замесил глину, какие нелепые,

неуклюжие, уродливые произведения выходили у меня, сколько моих изделий

развалилось оттого, что глина была слишком рыхлая и не выдерживала

собственной тяжести, сколько других потрескалось оттого, что я поспешил

выставить их на солнце, и сколько рассыпалось на мелкие куски при первом же

прикосновении к ним как до, так и после просушки. Довольно сказать, что

после двухмесячных неутомимых трудов, когда я, наконец, нашел глину, накопал

ее, принес домой и начал работать, у меня вышло только две больших

безобразных глиняных посудины, потому что кувшинами их нельзя было назвать.

Когда мои горшки хорошо высохли и затвердели на солнце, я осторожно

приподнял их один за другим и поставил каждый в большую корзину, которые

сплел нарочно для них. В пустое пространство между горшками и корзинами

напихал рисовой и ячменной соломы. Чтобы горшки эти не отсырели, я

предназначил их для хранения сухого зерна, а со временем, котда оно будет

перемолото, под муку.

Хотя крупные изделия из глины вышли у меня неудачными, дело пошло

значительно лучше с мелкой посудой: круглыми горилками, тарелками, кружками,

котелками и тому подобными вещицами: солнечный жар обжигал их и делал

достаточно прочными.

Но моя главная цель все же не была достигнута: мне нужна была посуда,

которая не пропускала бы воду и выдерживала бы огонь, а этого то я и не мог

добиться. Но вот как-то раз я развел большой огонь, чтобы приготовить себе

мясо. Когда мясо изжарилось, я хотел загасить уголья и нашел между ними

случайно попавший в огонь черепок от разбившегося глиняного горшка: он

затвердел, как камень, и стал красным, как кирпич. Я был приятно поражен

этим открытием и сказал себе, что если черепок так затвердел от огня, то,

значит, с таким же успехом можно обжечь на огне и целую посудину.

Это заставило меня подумать о том, как развести огонь для обжигания

моих горшков. Я не имел никакого понятия о печах для обжигания извести,

какими пользуются гончары, и ничего не слыхал о муравлении свинцом, хотя у

меня нашлось бы для этой цели немного свинца. Поставив на кучу горячей золы

три больших глиняных горшка и на них три поменьше, я обложил их кругом и

сверху дровами и хворостом и раздел огонь. По мере того, как дрова

прогорали, я подкладывал новые поленья, пока мои горшки не прокалились

насквозь, причем ни один из них не раскололся. В этом раскаленном состоянии

я держал их в огне часов пять или шесть, как вдруг заметил, что один из них

начал плавиться, хотя остался цел: это расплавился от жара смешанный с

глиной песок, который превратился бы в стекло, если бы я продолжал накалять

его. Я постепенно убавил огонь, и красный цвет горшков стал менее ярок. Я

сидел подле них всю ночь, чтобы не дать огню слишком быстро погаснуть, и к

утру в моем распоряжении было три очень хороших, хотя и не очень красивых,

глиняных кувшина и три горшка, так хорошо обожженных, что лучше нельзя и

желать, и в том числе один муравленный расплавившимся песком.

Нечего и говорить, что после этого опыта у меня уже не было недостатка

в глиняной посуде. Но должен сознаться, что по части внешнего вида моя

посуда оставляла желать многого. Да и можно ли этому удивляться? Ведь я

делал ее таким же способом, как дети делают куличи из грязи или как делают

пироги женщины, которые не умеют замесить тесто.

Я думаю, ни один человек в мире не испытывал такой радости по поводу

столь заурядной вещи, какую испытал я, когда убедился, что мне удалось

сделать вполне огнеупорную глиняную посуду. Я едва мог дождаться, когда мои

горшки остынут, чтобы можно было налить в один из них воды и сварить в нем

мясо. Все вышло превосходно: я сварил себе из куска козленка очень хорошего

супу, хотя у меня не было ни овсяной муки, ни других приправ, какие

обыкновенно кладутся туда.

Следующей моей заботой было придумать, как сделать каменную ступку,

чтобы размалывать или, вернее, толочь в ней зерно; имея только пару своих

рук, нельзя было и думать о таком сложном произведении искусства, как

мельница. Я был в большом затруднении, как выйти из этого положения; в

ремесле каменотеса я был круглым невеждой, и, кроме того, у меня не было

инструментов. Не один день потратил я на поиски подходящего камня, т. е.

достаточно твердого и такой величины, чтобы в нем можно было выдолбить

углубление, но ничего не нашел. На моем острове были, правда, большие утесы,

но от них я не мог ни отколоть, ни отломать нужный кусок. К тому же эти

утесы были из довольно хрупкого песчаника; при толчении тяжелым пестом

камень стал бы непременно крошиться, и зерно засорялось бы песком. Таким

образом, потеряв много времени на бесплодные поиски, я отказался от каменной

ступки и решил приспособить для этой цели большую колоду из твердого дерева,

которую мне удалось найти гораздо скорее. Остановив свой выбор на чурбане

такой величины, что я с трудом мог его сдвинуть, я обтесал его топором,

чтобы придать ему нужную форму, а затем, с величайшим трудом, выжег в нем

углубление, вроде того, как бразильские краснокожие делают лодки. Покончив со

ступкой, я вытесал большой тяжелый пест из так называемого железного дерева.

И ступку, и пест я приберег до следующего урожая, который я решил уже

перемолоть или вернее перетолочь на муку, чтобы готовить из нее хлеб.

Дальнейшее затруднение заключалось в том, как сделать сито или решето

для очистки муки от мякины и сора, без чего невозможно было готовить хлеб.

Задача была очень трудная, и я не знал даже, как к ней приступиться. У меня

не было для этого никакого материала; ни кисеи, ни редкой ткани, через

которую можно было бы пропускать мужу. От полотняного белья у меня

оставались одни лохмотья; была козья шерсть, но я не умел ни прясть, ни

ткать, а если б и умел, то все равно у меня не было ни прялки, ни станка. На

несколько месяцев дело остановилось совершенно, и я не знал, что

предпринять. Наконец, я вспомнил, что между матросскими вещами, взятыми мною

с корабля, было несколько шейных платков из коленкора или муслина. Из этих

то платков я и сделал себе три сита, правда, маленьких, но вполне годных для

работы. Ими я обходился несколько лет; о том же, как я устроился

впоследствии, будет рассказано в своем месте.

Теперь надо было подумать о том, как я буду печь свои хлебы, когда

приготовлю муку. Прежде всего у меня совсем не было закваски; так как и

заменить ее было нечем, то я перестал ломать голову над этим. Но устройство

печи сильно затрудняло меня. Тем не менее я, наконец, нашел выход. Я вылепил

из глины несколько больших круглых посудин, очень широких, но мелких, а

именно: около двух футов в диаметре и не более девяти дюймов в глубину,

блюда эти я хорошенько обжег на огне и спрятал в кладовую. Когда пришла пора

печь хлеб, я развел большой огонь на очаге, который выложил четыреугольными

хорошо обожженными плитами, также моего собственного приготовления. Впрочем,

четыреугольными их, пожалуй, лучше не называть. Дождавшись, чтобы дрова

перегорели, я разгреб уголья по всему очагу и дал им полежать несколько

времени, пока очаг не раскалился. Тогда я отгреб весь жар к сторонке,

поместив на очаге свои хлебы, накрыл их глиняным блюдом, опрокинув его

кверху дном, и завалил горячими угольями. Мои хлебы испеклись, как в самой

лучшей печке. Я научился печь лепешки из рису и пуддинги и стал хорошим

пекарем; только пирогов я не делал, да и то потому, что, кроме козлятины да

птичьего мяса, их было нечем начинять.

Неудивительно, что на все эти работы ушел почти весь третий год моего

житья на острове, особенно если принять во внимание, что в промежутках мне

нужно было убрать новый урожай и исполнять текущие работы по хозяйству. Хлеб

я убрал своевременно, сложил в большие корзины и перенес домой, оставив его

в колосьях, пока у меня найдется время перетереть их. Молотить я не мог за

неимением гумна и цепа.

Между тем с увеличением моего запаса зерна у меня явилась потребность в

более обширном амбаре. Последняя жатва дала мне около двадцати бушелей

ячменя и столько же, если не больше, рису, так что для всего зерна не

хватало места. Теперь я мог, не стесняясь, расходовать его на еду, что было

очень приятно, так как сухари давно уже вышли. Я решил при этом рассчитать,

какое количество зерна потребуется для моего продовольствия в течение года,

чтобы сеять только раз в год.

Оказалось, что сорок бушелей рису и ячменя мне с избытком хватает на

год, и я решил сеять ежегодно столько, сколько посеял в этом году,

рассчитывая, что мне будет достаточно и на хлеб и на лепешки и т. п.

За этой работой я постоянно вспоминал про землю, которую видел с другой

стороны моего острова, и в глубине души не переставал лелеять надежду

добраться до этой земли, воображая, что, в виду материка или вообще

населенной страны, я как-нибудь найду возможность проникнуть дальше, а

может быть и вовсе вырваться отсюда.

Но я упускал из виду опасности, которые могли грозить мне в таком

предприятии; я не думал о том, что могу попасть в руки дикарей, которые

будут, пожалуй, похуже африканские тигров и львов; что, очутись я в их

власти, была тысяча шансов против одного, что я буду убит, а может быть и

съеден. Ибо я слышал, что обитатели Караибского берега - людоеды, а судя по

широте, на которой находился мой остров, он не мог быть особенно далеко от

этого берега. Но даже, если обитателей той земли не были людоедами, они все

равно могли убить меня, как они убивали многих попадавших к ним европейцев,

даже когда тех бывало десять-двадцать человек. А ведь я был один и

беззащитен. Все это, повторяю, я должен был бы принять в соображение. Потом

то я и понял всю несообразность своей затеи, но в то время меня не пугали

никакие опасности: моя голова всецело была занята мыслями о том, как бы

попасть на тот отдаленный берег.

Вот когда я пожалел о моем маленьком приятеле Ксури и о парусном боте,

на котором я прошел вдоль африканских берегов слишком тысячу миль! Но что

толку было вспоминать?.. Я решил сходить взглянуть на нашу корабельную

шлюпку, которую еще в ту бурю, когда мы потерпели крушение, выбросило на

остров в нескольких милях от моего жилья. Шлюпка лежала не совсем на прежнем

месте: ее опрокинуло прибоем кверху дном и отнесло немного повыше, на самый

край песчаной отмели, и воды около нее не было.

Если б мне удалось починить и спустить на воду эту шлюпку, она

выдержала бы морское путешествие, и я без особенных затруднений добрался

бы до Бразилии. Но для такой работы было мало одной пары рук. Я упустил из

виду, что перевернуть и сдвинуть с места эту шлюпку для меня такая же

непосильная задача, как сдвинуть с места мой остров. Но, не взирая ни на

что, я решил сделать все, что было в моих силах: отправился в лес, нарубил

жердей, которые должны были служить мне рычагами, я перетащил их к шлюпке.

Я обольщал себя мыслью, что, если мне удастся перевернуть шлюпку на дно, я

исправлю ее повреждения, и у меня будет такая лодка, в которой смело можно

будет пуститься в море.

И я не пожалел сил на эту бесплодную работу, потратив на нее недели три

или четыре. Убедившись под конец, что с моими слабыми силами мне не поднять

такую тяжесть, я принялся подкапывать песок с одного боку шлюпки, чтобы она

упала и перевернулась сама; при этом я то здесь, то там подкладывал под нее

обрубки дерева, чтобы направить ее падение, куда нужно.

Но когда я закончил эти подготовительные работы, я асе же был

неспособен ни пошевелить шлюпку, ни подвести под нее рычали, а тем более

спустить ее на воду, так что мне пришлось отказаться от своей затеи.

Несмотря на это, мое стремление пуститься в океан не только не ослабевало,

но, напротив, возрастало вместе с ростом препятствий на пути к его

осуществлению.

Наконец, я решил попытаться сам сделать лодку, или еще лучше пирогу,

как их делают туземцы в этих странах, почти без всяких инструментов и без

помощников, прямо из ствола большого дерева. Я считал это не только

возможным, но и легким делом, и мысль об этой работе очень увлекала меня.

Мне казалось, что у меня больше средств для выполнения ее, чем у негров или

индейцев. Я не принял во внимание большого неудобства моего положения

сравнительно с положением дикарей, а именно - недостатка рук, чтобы спустить

пирогу на воду, а между тем это препятствие было гораздо серьезнее, чем

недостаток инструментов. Допустим, я нашел бы в лесу подходящее толстое

дерево и с великим трудом свалил его; допустим даже, что, с помощью своих

инструментов, я обтесал бы его снаружи и придал ему форму лодки, затем

выдолбил или выжег внутри, словом, сделал бы лодку. Какая была мне от этого

польза, если я не мог спустить на воду свою лодку и должен был бы оставить

ее в лесу?

Конечно, если бы я хоть сколько-нибудь отдавал себе отчет в своем

положении, приступая к сооружению лодки, я непременно задал бы вопрос, как я

спущу ее на воду. Но все мои помыслы до такой степени были поглощены

предполагаемым путешествием, что я совсем не остановился на этом вопросе,

хотя было очевидно, что несравненно легче проплыть на лодке сорок пять миль

по морю, чем протащить ее по земле на расстоянии сорока пяти сажен,

отделявших ее от воды.

Одним словом, взявшись за эту работу, я вел себя таким глупцом, каким

только может оказаться человек в здравом уме. Я тешился своей затеей, не

давая себе труда рассчитать, хватит ли у меня сил справиться с ней. И не то,

чтобы мысль о спуске на воду совсем не приходила мне в голову, - но я не

давал ей ходу, устраняя ее всякий раз глупейшим ответом: "Прежде сделаю

лодку, а там уж, наверно, найдется способ спустить ее".

Рассуждение самое нелепое, но моя разыгравшаяся фантазия не давала мне

покоя, и я принялся за работу. Я повалил огромнейший кедр. Думаю, что у

самого Соломона не было такого во время постройки иерусалимского храма. Мой

кедр имел пять футов десять дюймов в поперечнике у корней, на высоте

двадцати двух футов - четыре фута одиннадцать дюймов; дальше ствол

становился тоньше, разветвлялся. Огромного труда стоило мне свалить это

дерево. Двадцать дней я рубил самый ствол, да еще четырнадцать дней мне

понадобилось, чтобы обрубить сучья и отделить огромную, развесистую

верхушку. Целый месяц я обделывал мою колоду снаружи, стараясь придать ей

форму лодки, так чтобы она могла держаться на воде прямо. Три месяца ушло

потом на то, чтобы выдолбить ее внутри. Правда, я обошелся без огня и

работал только стамеской и молотком. Наконец, благодаря упорному труду, мной

была сделана прекрасная пирога, которая смело могла поднять человек двадцать

пять, а следовательно и весь мой груз.

Я был в восторге от своего произведения: никогда в жизни я не видал

такой большой лодки из цельного дерева. Зато и стоила же она мне труда.

Теперь осталось только спустить ее на воду, и я не сомневался, что, если бы

это мне удалось, я предпринял бы безумнейшее и самое безнадежное из всех

морских путешествий, когда либо предпринимавшихся. Но все мои старания

спустить ее на соду не привели ни к чему, несмотря на то, что они стоили мне

огромного труда. До воды было никак не более ста ярдов; но первое

затруднение было в том, что местность поднималась к берегу в гору. Я храбро

решился его устранить, сняв всю лишнюю землю таким образом, чтобы

образовался пологий спуск. Страшно вспомнить, сколько труда я положил на эту

работу (но кто бережет труд, когда дело идет о получении свободы?). Когда

это препятствие было устранено, дело не подвинулось ни на шаг: я не мог

пошевелить мою пирогу, как раньше не мог пошевелить шлюпку.

Тогда я измерил расстояние, отделявшее мою лодку от моря, и решил

вырыть канал: видя, что я не в состоянии подвинуть лодку к воде, я хотел

подвести воду к лодке. И я уже начал было копать, но когда я прикинул в уме

необходимую глубину и ширину канала, когда подсчитал, в какое приблизительно

время может сделать такую работу один человек, то оказалось, что мне

понадобится не менее десяти, двенадцати лет, чтобы довести ее до конца.

Берег был здесь очень высок, и ею надо было бы углублять, по крайней мере,

на двадцать футов.

К моему крайнему сожалению, мне пришлось отказаться от этой попытки.

Я был огорчен до глубины души и тут только сообразил - правда, слишком

поздно - как глупо приниматься за работу, не рассчитав, во что она обойдется

и хватит ли у нас сил для доведения ее до конца. …

Одним словом, природа, опыт и размышление научили меня понимать, что

мирские блага ценны для нас лишь в той степени, в какой они способны

удовлетворять наши потребности, и что, сколько бы мы ни накопили богатств, мы получаем от них удовольствие лишь в той мере, в какой можем использовать

их, но не больше. Самый неисправимый скряга вылечился бы от своего порока,

если бы очутился на моем месте и не знал, как я, куда девать свое добро. …

С радостью отдал бы я пригоршню этого металла за десяток трубок для табаку или ручную мельницу, чтобы размалывать свое зерно! Да что я! - я отдал бы все эти деньги за шестипенсовую пачку семян репы и моркови, за горсточку гороху и бобов или за бутылку чернил. Эти деньги не давали мне ни выгод, ни удовольствия. Так и лежали они у меня в шкафу и в дождливую погоду плесневели от сырости моей пещеры. И будь у меня полон шкаф брильянтов, они точно так же не имели бы для меня никакой цены,

потому что были бы совершенно не нужны мне.

… В середине мая, а именно 16-го, если верить моему жалкому деревянному календарю, на котором я продолжал отмечать числа, с утра до вечера бушевала сильная буря с грозой, и день сменился такою же бурною ночью. Я читал библию, погруженный в серьезные мысли о своем тогдашнем положении. Вдруг я услышал пушечный выстрел и, как мне показалось, со стороны моря. Я вздрогнул от неожиданности; но эта неожиданность не имела ничего

общего с теми сюрпризами, которые судьба посылала мне до сих пор. Нового

рода были и мысли, пробужденные во мне этим выстрелом. Боясь потерять хотя

бы секунду драгоценного времени, я сорвался с места, мигом приставил

лестницу к уступу горы и стал карабкаться наверх. Как раз в тот момент,

когда я взобрался на вершину, передо мной блеснул огонек выстрела, а через

полминуты раздался второй пушечный выстрел. По направлению звука я без труда

различил, что стреляют в той части моря, куда когда-то меня угнало течением

вместе с моей лодкой.

Я догадался, что это какой-нибудь погибающий корабль подает сигналы о

своем бедственном положении, и что невдалеке находится другой корабль, к

которому он взывает о помощи. Несмотря на все свое волнение я сохранил

присутствие духа и успел сообразить, что, если я не могу выручить из беды

этих людей, зато они, может быть, меня выручат. Не теряя времени, я собрал

весь валежник, какой нашелся поблизости, сложил его в кучу и зажег. Сухое

дерево сразу занялось, несмотря на сильный ветер, и так хорошо разгорелось,

что с корабля, - если только это действительно был корабль, - не могли не

заметить моего костра. И он был, несомненно, замечен, потому что, как только

вспыхнуло пламя, раздался новый пушечный выстрел, потом еще и еще, все с той

же стороны. Я поддерживал костер всю ночь до рассвета, а когда совсем

рассвело и небо прояснилось, я увидел в море, с восточной стороны острова,

но очень далеко от берега, не то парус, не то кузов корабля, - я не мог

разобрать даже в подзорную трубу из-за тумана, который на море еще не совсем

рассеялся.

Весь день я наблюдал за видневшимся в море предметом и вскоре убедился,

что он неподвижен. Я заключил отсюда, что это стоящий на якоре корабль.

Легко представить, как не терпелось мне удостовериться в правильности моей

догадки; я схватил ружье и побежал на юго-восточный берег к скалам, где я когда-то был унесен течением. Погода между тем совершенно прояснилась, и, придя туда, я, к великому моему огорчению, отчетливо увидел кузов корабля, наскочившего ночью на подводные рифы, которые я заметил во время путешествия в лодке; так как эти рифы преграждали путь морскому течению и порождали как бы встречное течение, то я обязан избавлением от самой страшной опасности, которой я когда-либо подвергался за всю свою жизнь. …

Где я найду слова, чтобы передать ту страстную тоску, те горячие желания, которые овладели мной, когда я увидел корабль. С моих губ помимо моей воли беспрестанно слетали слова: "Ах, если бы хоть два или три человека... нет, хоть бы один из них спасся и приплыл ко мне! Тогда у меня был бы товарищ, был бы живой человек, с которым я мог бы разговаривать". Ни разу за все долгие годы моей отшельнической жизни не испытал я такой настоятельной потребности в обществе людей и ни разу не почувствовал так больно своего одиночества. …

Но надо мной или тяготел злой рок, или же люди, что плыли на разбившемся корабле, были обречены на погибель, только мне не суждено было тогда изведать это счастье. Так до последнего года моего житья на острове я и не узнал, спасся ли кто-нибудь с погибшего корабля. …

**Тургенев Иван Сергеевич**

**Певцы**

Небольшое сельцо Колотовка, принадлежавшее некогда помещице, за лихой и бойкий нрав прозванной в околотке Стрыганихой (настоящее имя ее осталось неизвестным), а ныне состоящее за каким-то петербургским немцем, лежит на скате голого холма, сверху донизу рассеченного страшным оврагом, который, зияя как бездна, вьется, разрытый и размытый, по самой середине улицы и пуще реки, — через реку можно, по крайней мере, навести мост, — разделяет обе стороны бедной деревушки. Несколько тощих ракит боязливо спускаются по песчаным его бокам; на самом дне, сухом и желтом, как медь, лежат огромные плиты глинистого камня. Невеселый вид, нечего сказать, — а между тем всем окрестным жителям хорошо известна дорога в Колотовку: они ездят туда охотно и часто.

У самой головы оврага, в нескольких шагах от той точки, где он начинается узкой трещиной, стоит небольшая четвероугольная избушка, стоит одна, отдельно от других. Она крыта соломой, с трубой; одно окно, словно зоркий глаз, обращено к оврагу и в зимние вечера, освещенное изнутри, далеко виднеется в тусклом тумане мороза и не одному проезжему мужичку мерцает путеводной звездою. Над дверью избушки прибита голубая дощечка: эта избушка — кабак, прозванный «Притынным». В этом кабаке вино продается, вероятно, не дешевле положенной цены, но посещается он гораздо прилежнее, чем все окрестные заведения такого же рода. Причиной этому целовальник Николай Иваныч. … Был невыносимо жаркий июльский день, когда я, медленно передвигая ноги, вместе с моей собакой поднимался вдоль Колотовского оврага в направлении Притынного кабачка. Солнце разгоралось на небе, как бы свирепея; парило и пекло неотступно; воздух был весь пропитан душной пылью. Покрытые лоском грачи и вороны, разинув носы, жалобно глядели на проходящих, словно прося их участья; одни воробьи не горевали и, распуша перышки, еще яростнее прежнего чирикали и дрались по заборам, дружно взлетали с пыльной дороги, серыми тучками носились над зелеными конопляниками. Жажда меня мучила. Воды не было близко: в Колотовке, как и во многих других степных деревнях, мужики, за неименьем ключей и колодцев, пьют какую-то жидкую грязцу из пруда... Но кто же назовет это отвратительное пойло водою? Я хотел спросить у Николая Иваныча стакан пива или квасу.

Признаться сказать, ни в какое время года Колотовка не представляет отрадного зрелища; но особенно грустное чувство возбуждает она, когда июльское сверкающее солнце своими неумолимыми лучами затопляет и бурые полуразметанные крыши домов, и этот глубокий овраг, и выжженный, запыленный выгон, по которому безнадежно скитаются худые, длинноногие курицы, и серый осиновый сруб с дырами вместо окон, остаток прежнего барского дома, кругом заросший крапивой, бурьяном и полынью, и покрытый гусиным пухом, черный, словно раскаленный пруд, с каймой из полувысохшей грязи и сбитой набок плотиной, возле которой на мелко истоптанной, пепеловидной земле овцы, едва дыша и чихая от жара, печально теснятся друг к дружке и с унылым терпеньем наклоняют головы как можно ниже, как будто выжидая, когда ж пройдет, наконец, этот невыносимый зной. Усталыми шагами приближался я к жилищу Николая Иваныча, возбуждая, как водится, в ребятишках изумление, доходившее до напряженно-бессмысленного созерцания, в собаках — негодование, выражавшееся лаем, до того хриплым и злобным, что, казалось, у них отрывалась вся внутренность, и они сами потом кашляли и задыхались, — как вдруг на пороге кабачка показался мужчина высокого роста, без шапки, во фризовой шинели, низко подпоясанной голубым кушачком. На вид он казался дворовым; густые седые волосы в беспорядке вздымались над сухим и сморщенным его лицом. Он звал кого-то, торопливо действуя руками, которые, очевидно, размахивались гораздо далее, чем он сам того желал. Заметно было, что он уже успел выпить.

— Иди, иди же! — залепетал он, с усилием поднимая густые брови, — иди, Моргач, иди! Экой ты, братец, ползешь, право слово. Это нехорошо, братец. Тут ждут тебя, а ты вот ползешь... Иди.

— Ну, иду, иду, — раздался дребезжащий голос, и из-за избы направо показался человек низенький, толстый и хромой. На нем была довольно опрятная суконная чуйка, вдетая на один рукав; высокая остроконечная шапка, прямо надвинутая на брови, придавала его круглому, пухлому лицу выражение лукавое и насмешливое. Его маленькие желтые глазки так и бегали, с тонких губ не сходила сдержанная, напряженная улыбка, а нос, острый и длинный, нахально выдвигался вперед, как руль. — Иду, любезный, —продолжал он, ковыляя в направлении питейного заведенья, — зачем ты меня зовешь?.. Кто меня ждет?

— Зачем я тебя зову? — сказал с укоризной человек во фризовой шинели. — Экой ты, Моргач, чудной, братец: тебя зовут в кабак, а ты еще спрашиваешь, зачем. А ждут тебя всё люди добрые: Турок-Яшка, да Дикий-Барин, да рядчик с Жиздры. Яшка-то с рядчиком об заклад побились: осьмуху пива поставили — кто кого одолеет, лучше споет то есть... понимаешь?

— Яшка петь будет? — с живостью проговорил человек, прозванный Моргачом. — И ты не врешь, Обалдуй?

— Я не вру, — с достоинством отвечал Обалдуй, — а ты брешешь. Стало быть, будет петь, коли об заклад побился, божья коровка ты этакая, плут ты этакой, Моргач!

— Ну, пойдем, простота, — возразил Моргач.

— Ну, поцелуй же меня по крайней мере, душа ты моя, — залепетал Обалдуй, широко раскрыв объятия.

— Вишь, Езоп изнеженный, — презрительно ответил Моргач, отталкивая его локтем, и оба, нагнувшись, вошли в низенькую дверь.

Слышанный мною разговор сильно возбудил мое любопытство. Уже не раз доходили до меня слухи об Яшке-Турке как о лучшем певце в околотке, и вдруг мне представился случай услышать его в состязании с другим мастером. Я удвоил шаги и вошел в заведение.

… За стойкой, как водится, почти во всю ширину отверстия, стоял Николай Иваныч, в пестрой ситцевой рубахе, и, с ленивой усмешкой на пухлых щеках, наливал своей полной и белой рукой два стакана вина вошедшим приятелям, Моргачу и Обалдую; а за ним, в углу, возле окна, виднелась его востроглазая жена. Посередине комнаты стоял Яшка-Турок, худой и стройный человек лет двадцати трех, одетый в долгополый нанковый кафтан голубого цвета. Он смотрел удалым фабричным малым и, казалось, не мог похвастаться отличным здоровьем. Его впалые щеки, большие беспокойные серые глаза, прямой нос с тонкими, подвижными ноздрями, белый покатый лоб с закинутыми назад светло-русыми кудрями, крупные, но красивые, выразительные губы — всё его лицо изобличало человека впечатлительного и страстного. Он был в большом волненье: мигал глазами, неровно дышал, руки его дрожали, как в лихорадке, — да у него и точно была лихорадка, та тревожная, внезапная лихорадка, которая так знакома всем людям, говорящим или поющим перед собранием. Подле него стоял мужчина лет сорока, широкоплечий, широкоскулый, с низким лбом, узкими татарскими глазами, коротким и плоским носом, четвероугольным подбородком и черными блестящими волосами, жесткими, как щетина. Выражение его смуглого с свинцовым отливом лица, особенно его бледных губ, можно было бы назвать почти свирепым, если б оно не было так спокойно-задумчиво. Он почти не шевелился и только медленно поглядывал кругом, как бык из-под ярма. Одет он был в какой-то поношенный сюртук с медными гладкими пуговицами; старый черный шёлковый платок окутывал его огромную шею. Звали его Диким-Барином. Прямо против него, на лавке под образами, сидел соперник Яшки — рядчик из Жиздры. Это был невысокого роста плотный мужчина лет тридцати, рябой и курчавый, с тупым вздернутым носом, живыми карими глазами и жидкой бородкой. Он бойко поглядывал кругом, подсунув под себя руки, беспечно болтал и постукивал ногами, обутыми в щегольские сапоги с оторочкой. На нем был новый тонкий армяк из серого сукна с плисовым воротником, от которого резко отделялся край алой рубахи, плотно застегнутой вокруг горла. В противоположном углу, направо от двери, сидел за столом какой-то мужичок в узкой изношенной свите, с огромной дырой на плече. Солнечный свет струился жидким желтоватым потоком сквозь запыленные стекла двух небольших окошек и, казалось, не мог победить обычной темноты комнаты: все предметы были освещены скупо, словно пятнами. Зато в ней было почти прохладно, и чувство духоты и зноя, словно бремя, свалилось у меня с плеч, как только я переступил порог.

Мой приход — я это мог заметить — сначала несколько смутил гостей Николая Иваныча; но, увидев, что он поклонился мне, как знакомому человеку, они успокоились и уже более не обращали на меня внимания. Я спросил себе пива и сел в уголок, возле мужичка в изорванной свите.

— Ну, что ж! — возопил вдруг Обалдуй, выпив духом стакан вина и сопровождая свое восклицание теми странными размахиваниями рук, без которых он, по-видимому, не произносил ни одного слова. — Чего еще ждать? Начинать так начинать. А? Яша?..

— Начинать, начинать, — одобрительно подхватил Николай Иваныч.

— Начнем, пожалуй, — хладнокровно и с самоуверенной улыбкой промолвил рядчик, — я готов.

— И я готов, — с волнением произнес Яков.

— Ну, начинайте, ребятки, начинайте, — пропищал Моргач.

Но, несмотря на единодушно изъявленное желание, никто не начинал; рядчик даже не приподнялся с лавки, — все словно ждали чего-то.

— Начинай! — угрюмо и резко проговорил Дикий-Барин.

Яков вздрогнул. Рядчик встал, осунул кушак и откашлялся.

— А кому начать? — спросил он слегка изменившимся голосом у Дикого-Барина, который всё продолжал стоять неподвижно посередине комнаты, широко расставив толстые ноги и почти по локоть засунув могучие руки в карманы шаровар.

— Тебе, тебе, рядчик, — залепетал Обалдуй, — тебе, братец.

Дикий-Барин посмотрел на него исподлобья. Обалдуй слабо пискнул, замялся, глянул куда-то в потолок, повел плечами и умолк.

— Жеребий кинуть, — с расстановкой произнес Дикий-Барин, — да осьмуху на стойку.

Николай Иваныч нагнулся, достал, кряхтя, с полу осьмуху и поставил ее на стол.

Дикий-Барин глянул на Якова и промолвил: «Ну!»

Яков зарылся у себя в карманах, достал грош и наметил его зубом. Рядчик вынул из-под полы кафтана новый кожаный кошелек, не торопясь распутал шнурок и, насыпав множество мелочи на руку, выбрал новенький грош. Обалдуй подставил свой затасканный картуз с обломанным и отставшим козырьком; Яков кинул в него свой грош, рядчик — свой.

— Тебе выбирать, — проговорил Дикий-Барин, обратившись к Моргачу.

Моргач самодовольно усмехнулся, взял картуз в обе руки и начал его встряхивать.

Мгновенно воцарилась глубокая тишина: гроши слабо звякали, ударяясь друг о друга. Я внимательно поглядел кругом: все лица выражали напряженное ожидание; сам Дикий-Барин прищурился; мой сосед, мужичок в изорванной свитке, и тот даже с любопытством вытянул шею. Моргач запустил руку в картуз и достал рядчиков грош; все вздохнули. Яков покраснел, а рядчик провел рукой по волосам.

— Ведь я же говорил, что тебе, — воскликнул Обалдуй, — я ведь говорил.

— Ну, ну, не «циркай»! — презрительно заметил Дикий-Барин. — Начинай, — продолжал он, качнув головой на рядчика.

— Какую же мне песню петь? — спросил рядчик, приходя в волненье.

— Какую хочешь, — отвечал Моргач. — Какую вздумается, ту и пой.

— Конечно, какую хочешь, — прибавил Николай Иваныч, медленно складывая руки на груди. — В этом тебе указу нету. Пой какую хочешь; да только пой хорошо; а мы уж потом решим по совести.

— Разумеется, по совести, — подхватил Обалдуй и полизал край пустого стакана.

— Дайте, братцы, откашляться маленько, — заговорил рядчик, перебирая пальцами вдоль воротника кафтана.

— Ну, ну, не прохлаждайся — начинай! — решил Дикий-Барин и потупился.

Рядчик подумал немного, встряхнул головой и выступил вперед. Яков впился в него глазами...

… Голос у него был довольно приятный и сладкий, хотя несколько сиплый; он играл и вилял этим голосом, как юлою, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытягивал с особенным стараньем, умолкал и потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской, заносистой удалью. Его переходы были иногда довольно смелы, иногда довольно забавны: знатоку они бы много доставили удовольствия; немец пришел бы от них в негодование. Это был русский tenore di grazia, ténor léger[1](http://ilibrary.ru/text/1204/p.17/index.html" \l "fn4#fn4). Пел он веселую, плясовую песню, слова которой, сколько я мог уловить сквозь бесконечные украшения, прибавленные согласные и восклицания, были следующие:

|  |
| --- |
| Распашу я, молода-молоденька,  Землицы маленько;  посею, молода-молоденька,  Цветика аленька. |

Он пел; все слушали его с большим вниманьем. Он, видимо, чувствовал, что имеет дело с людьми сведущими, и потому, как говорится, просто лез из кожи. Действительно, в наших краях знают толк в пении, и недаром село Сергиевское, на большой орловской дороге, славится во всей России своим особенно приятным и согласным напевом. Долго рядчик пел, не возбуждая слишком сильного сочувствия в своих слушателях; ему недоставало поддержки, хора; наконец, при одном особенно удачном переходе, заставившем улыбнуться самого Дикого-Барина, Обалдуй не выдержал и вскрикнул от удовольствия. Все встрепенулись. Обалдуй с Моргачем начали вполголоса подхватывать, подтягивать, покрикивать: «Лихо!.. Забирай, шельмец!.. Забирай, вытягивай, аспид! Вытягивай еще! Накаливай еще, собака ты этакая, пес!.. Погуби Ирод твою душу!» и пр. Николай Иваныч из-за стойки одобрительно закачал головой направо и налево. Обалдуй, наконец, затопал, засеменил ногами и задергал плечиком, а у Якова глаза так и разгорелись, как уголья, и он весь дрожал как лист и беспорядочно улыбался. Один Дикий-Барин не изменился в лице и по-прежнему не двигался с места; но взгляд его, устремленный на рядчика, несколько смягчился, хотя выражение губ оставалось презрительным. Ободренный знаками всеобщего удовольствия, рядчик совсем завихрился, и уж такие начал отделывать завитушки, так защелкал и забарабанил языком, так неистово заиграл горлом, что, когда, наконец, утомленный, бледный и облитый горячим потом, он пустил, перекинувшись назад всем телом, последний замирающий возглас, — общий, слитный крик ответил ему неистовым взрывом. Обалдуй бросился ему на шею и начал душить его своими длинными, костлявыми руками; на жирном лице Николая Иваныча выступила краска, и он словно помолодел; Яков, как сумасшедший, закричал: «Молодец, молодец!» Даже мой сосед, мужик в изорванной свите, не вытерпел и, ударив кулаком по столу, воскликнул: «А-га! хорошо, чёрт побери, хорошо!» — и с решительностью плюнул в сторону.

— Ну, брат, потешил! — кричал Обалдуй, не выпуская изнеможенного рядчика из своих объятий, — потешил, нечего сказать! Выиграл, брат, выиграл! Поздравляю — осьмуха твоя! Яшке до тебя далеко... Уж я тебе говорю: далеко... А ты мне верь! (И он снова прижал рядчика к своей груди.)

— Да пусти же его; пусти, неотвязная... — с досадой заговорил Моргач, — дай ему

присесть на лавку-то; вишь, он устал... Экой ты фофан, братец, право, фофан! Что пристал, словно банный лист?

— Ну что ж, пусть садится, а я за его здоровье выпью, — сказал Обалдуй и подошел к стойке. — На твой счет, брат, — прибавил он, обращаясь к рядчику.

Тот кивнул головой, сел на лавку, достал из шапки полотенце и начал утирать лицо; а Обалдуй с торопливой жадностью выпил стакан и, по привычке горьких пьяниц, крякая, принял грустно-озабоченный вид.

— Хорошо поешь, брат, хорошо, — ласково заметил Николай Иваныч. — А теперь за тобой очередь, Яша: смотри, не сробей. Посмотрим, кто кого, посмотрим... А хорошо поет рядчик, ей-богу хорошо.

— Очинна хорошо, — заметила Николай Иванычева жена и с улыбкой поглядела на Якова.

— Хорошо-га! — повторил вполголоса мой сосед.

— А, заворотень-полеха![\*\*\*\*](http://ilibrary.ru/text/1204/p.17/index.html" \l "fn5#fn5) — завопил вдруг Обалдуй и, подойдя к мужичку с дырой на плече, уставился на него пальцем, запрыгал и залился дребезжащим хохотом. — Полеха! полеха! Га, баде паняй[\*\*\*\*\*](http://ilibrary.ru/text/1204/p.17/index.html" \l "fn6#fn6), заворотень! Зачем пожаловал, заворотень? — кричал он сквозь смех.

Бедный мужик смутился и уже собрался было встать да уйти поскорей, как вдруг раздался медный голос Дикого-Барина:

— Да что ж это за несносное животное такое? — произнес он, скрыпнув зубами.

— Я ничего, — забормотал Обалдуй, — я ничего... я так...

— Ну, хорошо, молчать же! — возразил Дикий-Барин. — Яков, начинай!

Яков взялся рукой за горло.

— Что, брат, того... что-то... Гм... Не знаю, право, что-то того...

— Ну, полно, не робей. Стыдись!.. чего вертишься?.. Пой, как бог тебе велит.

И Дикий-Барин потупился, выжидая.

Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Все так и впились в него глазами, особенно рядчик, у которого на лице, сквозь обычную самоуверенность и торжество успеха, проступило невольное, легкое беспокойство. Он прислонился к стене и опять положил под себя обе руки, но уже не болтал ногами. Когда же, наконец, Яков открыл свое лицо — оно было бледно, как у мертвого; глаза едва мерцали сквозь опущенные ресницы. Он глубоко вздохнул и запел... Первый звук его голоса был слаб и неровен и, казалось, не выходил из его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас; мы взглянули друг на друга, а жена Николая Иваныча так и выпрямилась. За этим первым звуком последовал другой, более твердый и протяжный, но всё еще видимо дрожащий, как струна, когда, внезапно прозвенев под сильным пальцем, она колеблется последним, быстро замирающим колебаньем, за вторым — третий, и, понемногу разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная песня. «Не одна во поле дороженька пролегала», — пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос: он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый; он даже сначала отзывался чем-то болезненным; но в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась. Яковом, видимо, овладевало упоение: он уже не робел, он отдавался весь своему счастью; голос его не трепетал более — он дрожал, по той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды, вечером, во время отлива, на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали, большую белую чайку: она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянью зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому, багровому солнцу: я вспомнил о ней, слушая Якова. Он пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех нас, но, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчаливым, страстным участьем. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы; глухие, сдержанные рыданья внезапно поразили меня... Я оглянулся — жена целовальника плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на нее быстрый взгляд и залился еще звонче, еще слаще прежнего; Николай Иваныч потупился, Моргач отвернулся; Обалдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот; серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шёпотом покачивая головой; и по железному лицу Дикого-Барина, из-под совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжелая слеза; рядчик поднес сжатый кулак ко лбу и не шевелился... Не знаю, чем бы разрешилось всеобщее томленье, если б Яков вдруг не кончил на высоком, необыкновенно тонком звуке — словно голос у него оборвался. Никто не крикнул, даже не шевельнулся; все как будто ждали, не будет ли он еще петь; но он раскрыл глаза, словно удивленный нашим молчаньем, вопрошающим взором обвел всех кругом и увидал, что победа была его...

— Яша, — проговорил Дикий-Барин, положил ему руку на плечо и — смолк.

Мы все стояли как оцепенелые. Рядчик тихо встал и подошел к Якову. «Ты... твоя... ты выиграл», — произнес он наконец с трудом и бросился вон из комнаты.

Его быстрое, решительное движение как будто нарушило очарованье: все вдруг заговорили шумно, радостно. Обалдуй подпрыгнул кверху, залепетал, замахал руками, как мельница крыльями; Моргач, ковыляя, подошел к Якову и стал с ним целоваться; Николай Иваныч приподнялся и торжественно объявил, что прибавляет от себя еще осьмуху пива; Дикий-Барин посмеивался каким-то добрым смехом, которого я никак не ожидал встретить на его лице; серый мужичок то и дело твердил в своем уголку, утирая обоими рукавами глаза, щеки, нос и бороду: «А хорошо, ей-богу хорошо, ну, вот будь я собачий сын, хорошо!», а жена Николая Иваныча, вся раскрасневшаяся, быстро встала и удалилась. Яков наслаждался своей победой, как дитя; всё его лицо преобразилось; особенно его глаза так и засияли счастьем. Его потащили к стойке; он подозвал к ней расплакавшегося серого мужичка, послал целовальникова сынишку за рядчиком, которого, однако, тот не сыскал, и начался пир. «Ты еще нам споешь, ты до вечера нам петь будешь», — твердил Обалдуй, высоко поднимая руки.

Я еще раз взглянул на Якова и вышел. Я не хотел остаться — я боялся испортить свое впечатление. Но зной был нестерпим по-прежнему. Он как будто висел над самой землей густым тяжелым слоем; на темно-синем небе, казалось, крутились какие-то мелкие, светлые огоньки сквозь тончайшую, почти черную пыль. Всё молчало; было что-то безнадежное, придавленное в этом глубоком молчании обессиленной природы. Я добрался до сеновала и лег на только что скошенную, но уже почти высохшую траву. Долго я не мог задремать; долго звучал у меня в ушах неотразимый голос Якова...

## Джером Д. Сэлинджер

## НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ

## (фрагменты романа)

## 1

Если вам на самом деле хочется услышать эту историю, вы, наверно,

прежде всего захотите узнать, где я родился, как провел свое дурацкое

детство, что делали мои родители до моего рождения, - словом, всю эту

давид-копперфилдовскую муть. Но, по правде говоря, мне неохота в этом

копаться. Во-первых, скучно, а во-вторых, у моих предков, наверно,

случилось бы по два инфаркта на брата, если б я стал болтать про их личные

дела. Они этого терпеть не могут, особенно отец. Вообще-то они люди

славные, я ничего не говорю, но обидчивые до чертиков. Да я и не собираюсь

рассказывать свою автобиографию и всякую такую чушь, просто расскажу ту

сумасшедшую историю, которая случилась прошлым рождеством. А потом я чуть

не отдал концы, и меня отправили сюда отдыхать и лечиться. …

## 20

… Всю жизнь я прожил в Нью-Йорке и знаю Центральный парк как свои пять

пальцев - с самого детства я там и на роликах катался, и на велосипеде, -

и все-таки я никак не мог найти этот самый прудик. Я отлично знал, что он

у Южного выхода, а найти не мог. Наверно, я был пьянее, чем казалось. Я

шел, становилось все темнее и темнее, все страшнее и страшнее. Ни одного

человека не встретил – и, слава богу, наверно, я бы подскочил от страха,

если б кто-нибудь попался навстречу. Наконец пруд отыскался. Он наполовину

замерз, а наполовину нет. Но никаких уток там не было. Я обошел весь пруд,

раз я даже чуть в него не упал, но ни одной-единственной утки не видел. Я

подумал, было, что они, может быть, спят на берегу, в кустах, если они

вообще тут есть. Вот тут я чуть и не свалился в воду, но никаких уток не

нашел.

Наконец я сел на скамейку, где было не так темно. Трясло меня как

проклятого, а волосы на затылке превратились в мелкие сосульки, хотя на

мне была охотничья шапка. Я испугался. А вдруг у меня начнется воспаление

легких и я умру? Я представил себе, как миллион притворщиков явится на мои

похороны. И дед приедет из Детройта - он всегда выкрикивает названия улиц,

когда с ним едешь в автобусе, - и тетки сбегутся - у меня одних теток штук

пятьдесят, - и все эти мои двоюродные подонки. Толпища, ничего не скажешь.

Они все прискакали, когда Алли умер, вся их свора. Мне Д.Б. рассказывал,

что одна дура тетка - у нее вечно изо рта пахнет - все умилялась, какой он

лежит б е з м я т е ж н ы й. Меня там не было, я лежал в больнице.

Пришлось лечиться - я очень порезал руку.

А теперь я вдруг стал думать, как я заболею воспалением легких -

волосы у меня совершенно обледенели - и как я умру. Мне было жалко

родителей. Особенно маму, она все еще не пришла в себя после смерти Алли.

Я себе представил, как она стоит и не знает, куда девать мои костюмы и мой

спортивный инвентарь. Одно меня утешало - сестренку на мои дурацкие

похороны не пустят, потому что она еще маленькая. Единственное утешение.

Но тут я представил себе, как вся эта гоп-компания зарывает меня на

кладбище, кладет на меня камень с моей фамилией и все такое. А кругом -

одни мертвецы. Да, стоит только умереть, они тебя сразу же упрячут! Одна

надежда, что, когда я умру, найдется умный человек и вышвырнет мое тело в

реку, что ли. Куда угодно - только не на это треклятое кладбище. Еще будут

приходить по воскресеньям, класть тебе цветы на живот. Вот тоже чушь

собачья! На кой черт мертвецу цветы? Кому они нужны?

В хорошую погоду мои родители часто ходят на кладбище, кладут нашему

Алли цветы на могилу. Я с ними раза два ходил, а потом перестал.

Во-первых, не очень-то весело видеть его на этом гнусном кладбище. Лежит,

а вокруг одни мертвецы и памятники. Когда солнце светит, это еще ничего,

но два раза, - да, два раза подряд! - когда мы там были, вдруг начинался

дождь. Это было нестерпимо. Дождь шел прямо на чертово надгробье, прямо на

траву, которая растет у него на животе. Лило как из ведра. И все

посетители кладбища вдруг помчались как сумасшедшие к своим машинам. Вот

что меня взорвало. Они-то могут сесть в машины, включить радио и поехать в

какой-нибудь хороший ресторан обедать - все могут, кроме Алли. Невыносимое

свинство. Знаю, там, на кладбище, только его тело, а его душа на небе, и

всякая такая чушь, но все равно мне было невыносимо. Так хотелось, чтобы

его там не было. Вот вы его не знали, а если бы знали, вы бы меня поняли.

Когда солнце светит, еще не так плохо, но солнце-то светит, только когда

ему вздумается.

И вдруг, чтобы не думать про воспаление легких, я вытащил свои деньги

и стал их пересчитывать, хотя от уличного фонаря света почти не было. У

меня осталось всего три доллара: я целое состояние промотал с отъезда из

Пэнси. Тогда я подошел к пруду и стал пускать монетки по воде, там, где не

замерзло. Не знаю, зачем я это делал, наверно, чтобы отвлечься от всяких

мыслей про воспаление легких и смерть. Но не отвлекся.

Опять я стал думать, что будет с Фиби, когда я заболею воспалением

легких и умру. Конечно, ребячество об этом думать, но я уже не мог

остановиться. Наверно, она очень расстроится, если я умру. Она ко мне

хорошо относится. По правде говоря, она меня любит по-настоящему. Я никак

не мог выбросить из головы эти дурацкие мысли и, наконец, решил сделать вот

что: пойти домой и повидать ее на случай, если я и вправду заболею и умру.

Ключ от квартиры у меня был с собой, и я решил сделать так: проберусь

потихоньку в нашу квартиру и перекинусь с Фиби хоть словечком. Одно меня

беспокоило - наша парадная дверь скрипит как оголтелая. Дом у нас довольно

старый, хозяйский управляющий ленив как дьявол, во всех квартирах двери

скрипят и пищат. Я боялся: вдруг мои родители услышат, что я пришел. Но

все-таки решил попробовать.

Я тут же выскочил из парка и пошел домой. Всю дорогу шел пешком. Жили

мы не очень далеко, а я совсем не устал, и хмель прошел. Только холод

стоял жуткий, и кругом - ни души.

## 21

Мне давно так не везло: когда я пришел домой, наш постоянный ночной

лифтер, Пит, не дежурил. У лифта стоял какой-то новый, совсем незнакомый,

и я сообразил, что, если сразу не напорюсь на кого-нибудь из родителей, я

смогу повидаться с сестренкой, а потом удрать, и никто не узнает, что я

приходил. Повезло, ничего не скажешь. А к тому же этот новый был какой-то

придурковатый. Я ему небрежно бросил, что мне надо к Дикстайнам. А

Дикстайны жили на нашем этаже. Охотничью шапку я уже снял, чтобы вид был

не слишком подозрительный, и вскочил в лифт, как будто мне очень к спеху.

Он уже закрыл дверцы и хотел было нажать кнопку, но вдруг обернулся и

говорит:

- А их дома нет. Они в гостях на четырнадцатом этаже.

- Ничего, - говорю, - мне велено подождать. Я их племянник.

Он посмотрел на меня тупо и подозрительно.

- Так подождите лучше внизу, в холле, молодой человек!

- Я бы с удовольствием! Конечно, это было бы лучше, - говорю, - но у

меня нога больная, ее надо держать в определенном положении. Лучше я

посижу в кресле у их дверей.

Он даже не понял, о чем я, только сказал: "Ну-ну!" - и поднял меня

наверх. Неплохо вышло. Забавная штука: достаточно наплести человеку

что-нибудь непонятное, и он сделает так, как ты хочешь.

Я вышел на нашем этаже - хромал я, как собака, - и пошел к дверям

Дикстайнов. А когда хлопнула дверца лифта, я повернул к нашим дверям. Все

шло отлично. Хмель как рукой сняло. Я достал ключ и отпер входную дверь

тихо, как мышь. Потом очень-очень осторожно прикрыл двери и вошел в

прихожую. Вот какой гангстер во мне пропадает!

В прихожей было темно, как в аду, а свет, сами понимаете, я включить

не мог. Нужно было двигаться очень осторожно, не натыкаться на вещи, чтобы

не поднять шум. Но я чувствовал, что я дома. В нашей передней свой,

особенный запах, нигде так не пахнет. Сам не знаю чем - не то едой, не то

духами, - не разобрать, но сразу чувствуешь, что ты дома. Сначала я хотел

снять пальто и повесить его в шкаф, но там было полно вешалок, они гремят

как сумасшедшие, когда открываешь дверцы, я и остался в пальто. Потом

тихо-тихо, на цыпочках, пошел к Фибиной комнате. Я знал, что наша

горничная меня не услышит, потому что у нее была только одна барабанная

перепонка: ее брат проткнул ей соломинкой ухо еще в детстве, она мне сама

рассказывала. Она совсем ничего не слышала. Но зато у моих

родителей, вернее, у мамы, слух как у хорошей ищейки. Я пробирался мимо их

спальни как можно осторожнее. Я даже старался не дышать. Отец еще ничего -

его хоть креслом стукнуть по голове, он все равно не проснется, а вот

мама - тут только кашляни где-нибудь в Сибири, она все равно услышит.

Нервная она как не знаю кто. Вечно по ночам не спит, курит без конца.

Я чуть ли не целый час пробирался к Фибиной комнате. Но ее там не

оказалось. Совершенно забыл, из памяти вылетело, что она спит в кабинете

Д.Б., когда он уезжает в Голливуд или еще куда-нибудь. Она любит спать в

его комнате, потому что это самая большая комната в нашей квартире. И еще

потому, что там стоит этот огромный старый стол сумасшедшей величины, Д.Б.

купил его у какой-то алкоголички в Филадельфии. И кровать там тоже

гигантская - миль десять в ширину, десять - в длину. Не знаю, где он

откопал такую кровать. Словом, Фиби любит спать в комнате Д.Б., когда его

нет, да он и не возражает. Вы бы посмотрели, как она делает уроки за этим

дурацким столом - он тоже величиной с кровать. Фиби почти не видно, когда

она за ним делает уроки. А ей это нравится. Она говорит, что свою комнатку

не любит за то, что там тесно. Говорит, что любит "распространяться".

Просто смех - куда ей там распространяться, дурочке?

Я потихоньку пробрался в комнату Д.Б. и зажег лампу на письменном

столе. Моя Фиби даже не проснулась. Я долго смотрел на нее при свете. Она

крепко спала, подвернув уголок подушки. И рот приоткрыла. Странная штука:

если взрослые спят открыв рот, у них вид противный, а у ребятишек -

нисколько. С ребятишками все по-другому. Даже если у них слюнки текут во

сне - и то на них смотреть не противно.

Я походил по комнате очень тихо, посмотрел, что и как. Настроение у

меня вдруг стало совсем хорошее. Я даже не думал, что заболею воспалением

легких. Просто мне стало совсем весело. На стуле около кровати лежало

платье Фиби. Она очень аккуратная для своих лет. Понимаете, она никогда не

разбрасывает вещи куда попало, как другие ребята. Никакого неряшества. На

спинке стула висела светло-коричневая жакетка от костюма, который мама ей

купила в Канаде. Блузка и все прочее лежало на сиденье, а туфли, со

свернутыми носками внутри, стояли рядышком под стулом. Я эти туфли еще не

видел, они были новые. Темно-коричневые, мягкие, у меня тоже есть такие.

Они очень шли к костюму, который мама ей купила в Канаде. Мама ее хорошо

одевает, очень хорошо. Вкус у моей мамы потрясающий - не во всем, конечно.

Коньки, например, она покупать не умеет, но зато в остальном у нее вкус

безукоризненный. На Фиби всегда такие платьица - умереть можно! А возьмите

других малышей, на них всегда какая-то жуткая одежда, даже если их

родители вполне состоятельные. Вы бы посмотрели на нашу Фиби в костюме,

который мама купила ей в Канаде! Приятно посмотреть, ей-богу.

Я сел за письменный стол брата и посмотрел, что на нем лежит. Фиби

разложила там свои тетрадки и учебники. Много учебников. Наверху лежала

книжка под названием "Занимательная арифметика". Я ее открыл и увидел на

первой странице надпись:

Фиби Уэзерфилд Колфилд

4Б-1

Я чуть не расхохотался. Ее второе имя Джозефина, а вовсе не

Уэзерфилд! Но ей это имя не нравится. И она каждый раз придумывает себе

новое второе имя.

Под арифметикой лежала география, а под географией - учебник

правописания. Она отлично пишет. Вообще она очень хорошо учится, но пишет

она лучше всего. Под правописанием лежала целая куча блокнотов - у нее их

тысяч пять, если не больше. Никогда я не видел, чтоб у такой малышки было

столько блокнотов. Я раскрыл верхний блокнот и прочел запись на первой

странице:

«Бернис жди меня в переменку надо сказать ужасно важную вещь».

На этой странице больше ничего не было. Я перевернул страничку, и на

ней было вот что:

«Почему в юговосточной аляске столько консервенных заводов?

Потому что там много семги.

Почему там ценная дривисина?

Потому что там подходящий климат.

Что сделало наше правительство чтобы облегчить жизнь аляскинским

эскимосам?

Выучить на завтра.

Фиби Уэзерфилд Колфилд.

Фиби У. Колфилд

Г-жа Фиби Уэзерфилд Колфилд

Передай Шерли!!!!

Шерли ты говоришь твоя планета сатурн, но это всего-навсего марс

принеси коньки когда зайдешь за мной».

Я сидел за письменным столом Д.Б. и читал всю записную книжку подряд.

Прочел я быстро, но вообще я могу читать эти ребячьи каракули с утра до

вечера, все равно чьи. Умора, что они пишут, эти ребята. Потом я закурил

сигарету - последнюю из пачки. Я, наверно, выкурил пачек тридцать за этот

день. Наконец я решил разбудить Фиби. Не мог же я всю жизнь сидеть у

письменного стола, а кроме того, я боялся, что вдруг явятся родители, а

мне хотелось повидаться с ней наедине. Я и разбудил ее.

Она очень легко просыпается. Не надо ни кричать над ней, ни трясти

ее. Просто сесть на кровать и сказать: "Фиб, проснись!" Она - гоп! - и

проснется.

- Холден! - Она сразу меня узнала. И обхватила меня руками за шею.

Она очень ласковая. Такая малышка и такая ласковая. Иногда даже слишком. Я

ее чмокнул, а она говорит: - Когда ты приехал? - Обрадовалась она мне до

чертиков. Сразу было видно.

- Тише! Сейчас приехал. Ну, как ты?

- Чудно! Получил мое письмо? Я тебе написала целых пять страниц.

- Да-да. Не шуми. Получил, спасибо.

Письмо я получил, но ответить не успел. Там все было про школьный

спектакль, в котором она участвовала. Она писала, чтобы я освободил себе

вечер в пятницу и непременно пришел на спектакль.

- А как ваша пьеса? - спрашиваю. - Забыл название!

- "Рождественская пантомима для американцев", - говорит. - Пьеса

дрянь, но я играю Бенедикта Арнольда. У меня самая большая роль! - И куда

только сон девался! Она вся раскраснелась, видно, ей было очень интересно

рассказывать. - Понимаешь, начинается, когда я при смерти. Сочельник,

приходит дух и спрашивает, не стыдно ли мне и так далее. Ну, ты знаешь, не

стыдно ли, что предал родину, и все такое. Ты придешь? - Она даже

подпрыгнула на кровати. - Я тебе про все написала. Придешь?

- Конечно, приду! А то как же!

- Папа не может прийти. Ему надо лететь в Калифорнию. - Минуты не

прошло, а сна ни в одном глазу! Привстала на коленки, держит меня за

руку. - Послушай, - говорит, - мама сказала, что ты приедешь только в

среду. Да-да, в с р е д у!

- Раньше отпустили. Не шуми. Ты всех перебудишь.

- А который час? Мама сказала, что они вернутся очень поздно. Они

поехали в гости в Норуолк, в Коннектикут. Угадай, что я делала сегодня

вечером? Знаешь, какой фильм видела? Угадай!

- Не знаю, слушай-ка, а они не сказали, в котором часу...

- "Доктор" - вот! Это особенный фильм, его показывали в Листеровском

обществе. Один только день - только один день, понимаешь? Там про одного

доктора из Кентукки, он кладет одеяло девочке на лицо, она калека, не может

ходить. Его сажают в тюрьму и все такое. Чудная картина!

- Да погоди ты! Они не сказали, в котором часу...

- А доктору ее ужасно жалко. Вот он и кладет ей одеяло на голову,

чтоб она задохнулась. Его на всю жизнь посадили в тюрьму, но эта девочка,

которую он придушил одеялом, все время является ему во сне и говорит

спасибо за то, что он ее придушил. Оказывается, это милосердие, а не

убийство. Но все равно он знает, что заслужил тюрьму, потому что человек

не должен брать на себя то, что полагается делать богу. Нас повела мать

одной девочки из моего класса, Алисы Голмборг. Она моя лучшая подруга. Она

одна из всего класса умеет...

- Да погоди же ты, слышишь? Я тебя спрашиваю: они не сказали, в

котором часу вернутся домой?

- Нет, не сказали, мама говорила - очень поздно. Папа взял машину,

чтобы не спешить на поезд. А у нас в машине радио! Только мама говорит,

что нельзя включать, когда большое движение.

Я как-то успокоился. Перестал волноваться, что меня накроют дома. И

вообще подумал - накроют, ну и черт с ним!

Вы бы посмотрели на нашу Фиби. На ней была синяя пижама, а по

воротнику - красные слоники. Она обожает слонов.

- Значит, картина хорошая, да? - спрашиваю.

- Чудесная, но только у Алисы был насморк, и ее мама все время

приставала к ней, не знобит ли ее. Тут картина идет - а она спрашивает.

Как начнется самое интересное, так она перегибается через меня и

спрашивает? "Тебя не знобит?" Она мне действовала на нервы.

Тут я вспомнил про пластинку.

- Знаешь, я купил тебе пластинку, но по дороге разбил. - Я достал

осколки из кармана и показал ей. - Пьян был.

- Отдай мне эти куски, - говорит. - Я их собираю. - Взяла обломки и

тут же спрятала их в ночной столик. Умора!

- Д.Б. приедет домой на рождество? - спрашиваю.

- Мама сказала, может, приедет, а может, нет. Зависит от работы.

Может быть, ему придется остаться в Голливуде и написать сценарий про

Аннаполис.

- Господи, почему про Аннаполис?

- Там и про любовь, и про все. Угадай, кто в ней будет сниматься?

Какая кинозвезда? Вот и не угадаешь!

- Мне не интересно. Подумать только - про Аннаполис! Да что он знает

про Аннаполис, господи боже! Какое отношение это имеет к его рассказам? -

Фу, просто обалдеть можно от этой чуши! Проклятый Голливуд! - А что у тебя

с рукой? - спрашиваю. Увидел, что у нее на локте наклеен липкий пластырь.

Пижама у нее без рукавов, потому я и увидел.

- Один мальчишка из нашего класса, Кэртис Вайнтрауб, он меня толкнул,

когда я спускалась по лестнице в парк. Хочешь покажу? - И начала сдирать

пластырь с руки.

- Не трогай! А почему он тебя столкнул с лестницы?

- Не знаю. Кажется, он меня ненавидит, - говорит Фиби. - Мы с одной

девочкой, с Сельмой Эттербери, намазали ему весь свитер чернилами.

- Это нехорошо. Что ты - маленькая, что ли?

- Нет, но он всегда за мной ходит. Как пойду в парк, он - за мной. Он

мне действует на нервы.

- А может быть, ты ему нравишься. Нельзя человеку за это мазать

свитер чернилами.

- Не хочу я ему нравиться, - говорит она. И вдруг смотрит на меня

очень подозрительно: - Холден, послушай! Почему ты приехал до с р е д ы?

- Что?

Да, с ней держи ухо востро. Если вы думаете, что она дурочка, вы

сошли с ума.

- Как это ты приехал до среды? - повторяет она. - Может быть, тебя

опять выгнали?

- Я же тебе объяснил. Нас отпустили раньше. Весь класс...

- Нет, тебя выгнали! Выгнали! - повторила она. И как ударит меня

кулаком по коленке. Она здорово дерется, если на нее найдет. - Выгнали!

Ой, Холден! - Она зажала себе рот руками. Честное слово, она ужасно

расстроилась.

- Кто тебе сказал, что меня выгнали? Никто тебе не...

- Нет, выгнали! Выгнали! - И опять как даст мне кулаком по коленке.

Если вы думаете, что было не больно, вы ошибаетесь. - Папа тебя убьет! -

говорит. И вдруг шлепнулась на кровать животом вниз и навалила себе

подушку на голову. Она часто так делает. Просто с ума сходит, честное

слово.

- Да брось! - говорю. - Никто меня не убьет. Никто меня пальцем не...

ну, перестань, Фиб, сними эту дурацкую подушку. Никто меня и не подумает

убивать.

Но она подушку не сняла. Ее не переупрямишь никакими силами. Лежит и

твердит:

- Папа тебя убьет. - Сквозь подушку еле было слышно.

- Никто меня не убьет. Не выдумывай. Во-первых, я уеду. Знаешь, что я

сделаю? Достану себе работу на каком-нибудь ранчо, хоть на время. Я знаю

одного парня, у его дедушки есть ранчо в Колорадо, мне там дадут работу. Я

тебе буду писать оттуда, если только я уеду. Ну, перестань! Сними эту

чертову подушку. Слышишь, Фиб, брось! Ну, прошу тебя! Брось, слышишь?

Но она держит подушку - и все. Я хотел было стянуть с нее подушку, но

эта девчонка сильная как черт. С ней драться устанешь. Уж если она себе

навалит подушку на голову, она ее не отдаст.

- Ну, Фиби, пожалуйста. Вылезай, слышишь? - прошу я ее. - Ну,

брось... Эй, Уэзерфилд, вылезай, ну!

Нет, не хочет. С ней иногда невозможно договориться. Наконец я встал,

пошел в гостиную, взял сигареты из ящика на столе и сунул в карман. Устал

я ужасно.

## 22

Когда я вернулся, она уже сняла подушку с головы - я знал, что так и

будет, - и легла на спину, но на меня и смотреть не хотела. Я подошел к

кровати, сел, а она сразу отвернулась и не смотрит. Бойкотирует меня к

черту, не хуже этих ребят из фехтовальной команды Пэнси, когда я забыл все

их идиотское снаряжение в метро.

- А как поживает твоя Кисела Уэзерфилд? - спрашиваю. - Написала про

нее еще рассказ? Тот, что ты мне прислала, лежит в чемодане. Хороший

рассказ, честное слово!

- Папа тебя убьет.

Вдолбит себе что-нибудь в голову, так уж вдолбит!

- Нет, не убьет. В крайнем случае накричит опять, а потом отдаст в

военную школу. Больше он мне ничего не сделает. А во-вторых, меня тут не

будет. Я буду далеко. Я уже буду где-нибудь далеко - наверно, в Колорадо,

на этом самом ранчо.

- Не болтай глупостей. Ты даже верхом ездить не умеешь.

- Как это не умею? Умею! Чего тут уметь? Там тебя за две минуты

научат, - говорю. - Не смей трогать пластырь! - Она все время дергала

пластырь на руке. - А кто тебя так остриг? - спрашиваю. Я только сейчас

заметил, как ее по-дурацки остригли. Просто обкорнали.

- Не твое дело! - говорит. Она иногда так обрежет. Свысока,

понимаете. - Наверно, ты опять провалился по всем предметам, - говорит она

тоже свысока. Мне стало смешно. Разговаривает как какая-нибудь

учительница, а сама еще только вчера из пеленок.

- Нет, не по всем, - говорю. - По английскому выдержал. - И тут я

взял и ущипнул ее за попку. Лежит на боку калачиком, а зад у нее торчит

из-под одеяла. Впрочем, у нее сзади почти ничего нет. Я ее не больно

ущипнул, но она хотела ударить меня по руке и промахнулась.

И вдруг она говорит:

- Ах, зачем, зачем ты опять? - Она хотела сказать - зачем я опять

вылетел из школы. Но она так это сказала, что мне стало ужасно тоскливо.

- О господи, Фиби, хоть ты меня не спрашивай! - говорю. - Все

спрашивают, выдержать невозможно. Зачем, зачем... По тысяче причин! В

такой гнусной школе я еще никогда не учился. Все напоказ. Все притворство.

Или подлость. Такого скопления подлецов я в жизни не встречал. Например,

если сидишь треплешься в компании с ребятами и вдруг кто-то стучит, хочет

войти - его ни за что не впустят, если он какой-нибудь придурковатый,

прыщавый. Перед носом у него закроют двери. Там еще было это треклятое

тайное общество - я тоже из трусости в него вступил. И был там один такой

зануда, с прыщами, Роберт Экли, ему тоже хотелось в это общество. А его не

приняли. Только из-за того, что он зануда и прыщавый. Даже вспомнить

противно. Поверь моему слову, такой вонючей школы я еще не встречал.

Моя Фиби молчит и слушает. Я по затылку видел, что она слушает. Она

здорово умеет слушать, когда с ней разговариваешь. И самое смешное, что

она все понимает, что ей говорят. По-настоящему понимает. Я опять стал

рассказывать про Пэнси, хотел все выложить.

- Было там несколько хороших учителей, и все равно они тоже

притворщики, - говорю. - Взять этого старика, мистера Спенсера. Жена его

всегда угощала нас горячим шоколадом, вообще они оба милые. Но ты бы

посмотрела, что с ними делалось, когда старый Термер, наш директор,

приходил на урок истории и садился на заднюю скамью. Вечно он приходил и

сидел сзади примерно с полчаса. Вроде как бы инкогнито, что ли. Посидит,

посидит, а потом начинает перебивать старика Спенсера своими кретинскими

шуточками. А старик Спенсер из кожи лезет вон - подхихикивает ему, весь

расплывается, будто этот Термер какой-нибудь гений, черт бы его удавил!

- Не ругайся, пожалуйста!

- Тебя бы там стошнило, ей-богу! - говорю. - А возьми День

выпускников. У них установлен такой день, называется День выпускников,

когда все подонки, окончившие Пэнси чуть ли не с 1776 года, собираются в

школе и шляются по всей территории со своими женами и детками. Ты бы

посмотрела на одного старикашку лет пятидесяти. Зашел прямо к нам в

комнату - постучал, конечно, и спрашивает, нельзя ли ему пройти в уборную.

А уборная в конце коридора, мы так и не поняли, почему он именно у нас

спросил. И знаешь, что он нам сказал? Говорит - хочу посмотреть,

сохранились ли мои инициалы на дверях уборной. Понимаешь, он лет сто назад

вырезал свои унылые, дурацкие, бездарные инициалы на дверях уборной и

хотел проверить, целы ли они или нет. И нам с товарищами пришлось

проводить его до уборной и стоять там, пока он искал свои кретинские

инициалы на всех дверях. Ищет, а сам все время распространяется, что годы,

которые он провел в Пэнси, - лучшие годы его жизни, и дает нам какие-то

идиотские советы на будущее. Господи, меня от него такая взяла тоска! И не

то чтоб он был особенно противный - ничего подобного. Но вовсе и не нужно

быть особенно противным, чтоб нагнать на человека тоску, - хороший человек

тоже может вконец испортить настроение. Достаточно надавать кучу бездарных

советов, пока ищешь свои инициалы на дверях уборной, - и все! Не знаю,

может быть, у меня не так испортилось бы настроение, если б этот тип еще

не задыхался. Он никак не мог отдышаться после лестницы. Ищет эти свои

инициалы, а сам все время отдувается, сопит носом. И жалко, и смешно, да к

тому же еще долбит нам со Стрэдлейтером, чтобы мы извлекли из Пэнси все,

что можно. Господи, Фиби! Не могу тебе объяснить. Мне все не нравилось в

Пэнси. Не могу объяснить!

Тут Фиби что-то сказала, но я не расслышал. Она так уткнулась лицом в

подушку, что ничего нельзя было расслышать.

- Что? - говорю. - Повернись сюда. Не слышу я ничего, когда ты

говоришь в подушку.

- Тебе вообще ничего не нравится!

Я еще больше расстроился, когда она так сказала.

- Нет, нравится. Многое нравится. Не говори так. Зачем ты так

говоришь?

- Потому что это правда. Ничего тебе не нравится. Все школы не

нравятся, все на свете тебе не нравится. Не нравится - и все!

- Неправда! Тут ты ошибаешься - вот именно, ошибаешься! Какого черта

ты про меня выдумываешь? - Я ужасно расстроился от ее слов.

- Нет, не выдумываю! Назови хоть что-нибудь одно, что ты любишь!

- Что назвать? То, что я люблю? Пожалуйста!

К несчастью, я никак не мог сообразить. Иногда ужасно трудно

сосредоточиться.

- Ты хочешь сказать, что я о ч е н ь люблю? - переспросил я.

Она не сразу ответила. Отодвинулась от меня бог знает куда, на другой

конец кровати, чуть ли не на сто миль.

- Ну, отвечай же! Что назвать-то, что я люблю или что мне вообще

нравится?

- Что ты любишь.

- Хорошо, - говорю. Но я никак не мог сообразить. Вспомнил только

двух монахинь, которые собирают деньги в потрепанные соломенные корзинки.

Особенно вспомнилась та, в стальных очках. Вспомнил я еще мальчика, с

которым учился в Элктон-хилле. Там со мной в школе был один такой. Джеймс

Касл, он ни за что не хотел взять обратно свои слова - он сказал одну вещь

про ужасного воображалу, про Фила Стейбла. Джеймс Касл назвал его

самовлюбленным остолопом, и один из этих мерзавцев, дружков Стейбла, пошел

и донес ему. Тогда Стейбл с шестью другими гадами пришел в комнату к

Джеймсу Каслу, запер двери и попытался заставить его взять свои слова

обратно, но Джеймс отказался. Тогда они за него принялись. Я не могу

сказать, что они с ним сделали, - ужасную гадость! - но он все-таки не

соглашался взять свои слова обратно, вот он был какой, этот Джеймс Касл.

Вы бы на него посмотрели: худой, маленький, руки - как карандаши. И в

конце концов знаете, что он сделал, вместо того чтобы отказаться от своих

слов? Он выскочил из окна. Я был в душевой и даже оттуда услыхал, как он

грохнулся. Я подумал, что из окна что-то упало - радиоприемник или

тумбочка, но никак не думал, что это мальчик. Тут я услыхал, что все бегут

по коридору и вниз по лестнице. Я накинул халат и тоже помчался по

лестнице, а там на ступеньках лежит наш Джеймс Касл. Он уже мертвый,

кругом кровь, зубы у него вылетели, все боялись к нему подойти. А на нем

был свитер, который я ему дал поносить. Тем гадам, которые заперлись с ним

в комнате, ничего не сделали, их только исключили из школы. Даже в тюрьму

не посадили.

Больше я ничего вспомнить не мог. Двух монахинь, с которыми я

завтракал, и этого Джеймса Касла, с которым я учился в Элктон-хилле. Самое

смешное, говоря по правде, - это то, что я почти не знал этого Джеймса

Касла. Он был очень тихий парнишка. Мы учились в одном классе, но он сидел

в другом конце и даже редко выходил к доске отвечать. В школе всегда есть

ребята, которые редко выходят отвечать к доске. Да и разговаривали мы с

ним, по-моему, всего один раз, когда он попросил у меня этот свитер. Я

чуть не умер от удивления, когда он попросил, до того это было неожиданно.

Помню, я чистил зубы в умывалке, а он подошел, сказал, что его кузен

повезет его кататься. Я даже не думал, что он знает, что у меня есть

теплый свитер. Я про него вообще знал только одно - что в школьном журнале

он стоял как раз передо мной: Кайбл Р., Кайбл У., Касл, Колфилд - до сих

пор помню. А если уж говорить правду, так я чуть не отказался дать ему

свитер. Просто потому, что почти не знал его.

- Что? - спросила Фиби, и до этого она что-то говорила, но я не

слышал. - Не можешь ничего назвать - ничего!

- Нет, могу. Могу.

- Ну назови!

- Я люблю Алли, - говорю. - И мне нравится вот так сидеть тут, с

тобой разговаривать и вспоминать всякие штуки.

- Алли умер - ты всегда повторяешь одно и то же! Раз человек умер и

попал на небо, значит, нельзя его любить по-настоящему.

- Знаю, что он умер! Что ж, по-твоему, я не знаю, что ли? И все равно

я могу его любить! Оттого что человек умер, его нельзя перестать любить,

черт побери, особенно если он был лучше всех живых, понимаешь?

Тут Фиби ничего не сказала. Когда ей сказать нечего, она всегда

молчит.

- Да и сейчас мне нравится тут, - сказал я. - Понимаешь, сейчас, тут.

Сидеть с тобой, болтать про всякое...

- Ну нет, это совсем не то!

- Как не то? Конечно, то! Почему не то, черт побери? Вечно люди про

все думают, что это не то. Надоело мне это до черта!

- Перестань чертыхаться! Ладно, назови еще что-нибудь. Назови, кем бы

тебе хотелось стать. Ну, ученым, или адвокатом, или еще кем-нибудь.

- Какой из меня ученый? Я к наукам не способен.

- Ну, адвокатом - как папа.

- Адвокатом, наверно, неплохо, но мне все равно не нравится, -

говорю. - Понимаешь, неплохо, если они спасают жизнь невинным людям

и вообще занимаются такими делами, но в том-то и штука, что адвокаты ничем

таким не занимаются. Если стать адвокатом, так будешь просто гнать деньги,

играть в гольф, в бридж, покупать машины, пить сухие коктейли и ходить

этаким франтом. И вообще, даже если ты все время спасал бы людям жизнь,

откуда бы ты знал, ради чего ты это делаешь - ради того, чтобы н а

с а м о м д е л е спасти жизнь человеку, или ради того, чтобы стать

знаменитым адвокатом, чтобы тебя все хлопали по плечу и поздравляли,

когда ты выиграешь этот треклятый процесс, - словом, как в кино, в дрянных

фильмах. Как узнать, делаешь ты все это напоказ или по-настоящему, липа

все это или не липа? Нипочем не узнать!

Я не очень был уверен, понимает ли моя Фиби, что я плету. Все-таки

она еще совсем маленькая. Но она хоть слушала меня внимательно. А когда

тебя слушают, это уже хорошо.

- Папа тебя убьет, он тебя просто убьет, - говорит она опять.

Но я ее не слушал. Мне пришла в голову одна мысль - совершенно дикая

мысль.

- Знаешь, кем бы я хотел быть? - говорю. - Знаешь, кем? Если б я мог

выбрать то, что хочу, черт подери!

- Перестань чертыхаться! Ну, кем?

- Знаешь такую песенку - "Если ты ловил кого-то вечером во ржи..."

- Не так! Надо "Если кто-то з в а л кого-то вечером во ржи". Это

стихи Бернса!

- Знаю, что это стихи Бернса.

Она была права. Там действительно "Если кто-то звал кого-то вечером

во ржи". Честно говоря, я забыл.

- Мне казалось, что там "ловил кого-то вечером во ржи", - говорю. -

Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в

огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом - ни души, ни одного

взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю скалы, над пропастью,

понимаешь? И мое дело - ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в

пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и

ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над

пропастью во ржи. Знаю, это глупости, но это единственное, чего мне

хочется по-настоящему. Наверно, я дурак.

Фиби долго молчала. А потом только повторила:

- Папа тебя убьет.

- Ну и пускай, плевать мне на все! - Я встал с постели, потому что

решил позвонить одному человеку, моему учителю английского языка из

Элктон-хилла. Его звали мистер Антолини, теперь он жил в Нью-Йорке. Он

ушел из Элктон-хилла и получил место преподавателя в Нью-йоркском

университете. - Мне надо позвонить по телефону, - говорю я. - Сейчас

вернусь. Ты не спи, слышишь? - Мне очень не хотелось, чтобы она заснула,

пока я буду звонить по телефону. Я знал, что она не уснет, но все-таки

попросил ее не спать.

Я подошел к двери, но тут она меня окликнула:

- Холден! - И я обернулся.

Она сидела на кровати, хорошенькая, просто прелесть.

- Одна девочка, Филлис Маргулис, научила меня икать! - говорит она. -

Вот послушай!

Я послушал, но ничего особенного не услыхал.

- Неплохо! - говорю.

И пошел в гостиную звонить по телефону своему бывшему учителю мистеру

Антолини. …

## 25

… Был понедельник, подходило рождество, и магазины торговали вовсю. На

Пятой авеню было совсем неплохо. Чувствовалось рождественское настроение.

На всех углах стояли бородатые Санта-Клаусы, звонили в колокольчики, и

женщины из Армии Спасения, те, что никогда не красят губы, тоже звонили в

колокольчики. Я все искал этих двух монахинь, с которыми я накануне

завтракал, но их нигде не было. Впрочем, я так и знал, потому что они мне

сами сказали, что приехали в Нью-Йорк учительствовать, но все-таки я их

искал. Во всяком случае, настроение стало совсем рождественское. Миллионы

ребятишек с матерями выходили из автобусов, выходили и выходили из

магазинов. Как было бы хорошо, если бы Фиби была со мной. Не такая она

маленькая, чтобы глазеть на игрушки до обалдения, но любит смотреть на

толпу и вытворять всякие глупости. Прошлым рождеством я ее взял с собой в

город за покупками. Чего мы только не выделывали! По-моему, это было у

Блумингдейла. Мы зашли в обувной отдел и сделали вид, что ей, сестренке,

нужна пара этих высоченных горных ботинок, знаете, которые зашнуровываются

на миллион дырочек. Мы чуть с ума не свели этого несчастного продавца. Моя

Фиби перемерила пар двадцать, и каждый раз ему, бедняге, приходилось

зашнуровывать ей один башмак до самого колена. Свинство, конечно, но Фиби

просто умирала от смеха. В конце концов, мы купили пару домашних туфель и

попросили прислать на дом. Продавец оказался очень славный. По-моему, он

понимал, что мы балуемся, потому что Фиби все время покатывалась со смеху.

Я шел по Пятой авеню без галстука, шел и шел все дальше. И вдруг со

мной приключилась жуткая штука. Каждый раз, когда я доходил до конца

квартала и переходил с тротуара на мостовую, мне вдруг начинало казаться,

что я никак не смогу перейти на ту сторону. Мне казалось, что я вдруг

провалюсь вниз, вниз, вниз и больше меня так и не увидят. Ох, до чего я

перепугался, вы даже вообразить не можете. Я весь вспотел, вся рубаха и

белье, все промокло насквозь. И тут я стал проделывать одну штуку. Только

дойду до угла, сразу начинаю разговаривать с моим братом, с Алли. Я ему

говорю: "Алли, не дай мне пропасть! Алли, не дай мне пропасть! Алли, не

дай мне пропасть! Алли, прошу тебя!" А как только благополучно перейду на

другую сторону, я ему говорю спасибо. И так на каждом углу - все сначала.

Но я не останавливался. Кажется, я боялся остановиться - по правде

сказать, я плохо помню. Знаю только, что я дошел до самой Шестидесятой

улицы, мимо зоопарка, бог знает куда. Тут я сел на скамью. Я задыхался,

пот с меня лил градом. Просидел я на этой скамье, наверно, около часа.

Наконец я решил, что мне надо делать. Я решил уехать. Решил, что не

вернусь больше домой и ни в какие школы не поступлю. Решил, что повидаюсь

с сестренкой, отдам ей деньги, а потом выйду на шоссе и буду голосовать,

пока не уеду далеко на Запад. Я решил - сначала доеду до Холленд-Таннел,

оттуда проголосую и поеду дальше, потом опять проголосую и опять, так,

чтобы через несколько дней оказаться далеко на Западе, где тепло и красиво

и где меня никто не знает. И там я найду себе работу. Я подумал, что легко

найду работу на какой-нибудь заправочной станции у бензоколонки, буду

обслуживать проезжих. В общем, мне было все равно, какую работу делать,

лишь бы меня никто не знал и я никого не знал. Я решил сделать вот что:

притвориться глухонемым. Тогда не надо будет ни с кем заводить всякие

ненужные глупые разговоры. Если кто-нибудь захочет со мной поговорить, ему

придется писать на бумажке и показывать мне. Им это так в конце концов

осточертеет, что я на всю жизнь избавлюсь от разговоров. Все будут

считать, что я несчастный глухонемой дурачок, и оставят меня в покое. Я

буду заправлять их дурацкие машины, получать за это жалованье и потом

построю себе на скопленные деньги хижину и буду там жить до конца жизни.

Хижина будет стоять на опушке леса - только не в самой чаще, я люблю,

чтобы солнце светило на меня во все лопатки. Готовить еду я буду сам, а

позже, когда мне захочется жениться, я, может быть, встречу какую-нибудь

красивую глухонемую девушку, и мы поженимся. Она будет жить со мной в

хижине, а если захочет что-нибудь сказать - пусть тоже пишет на бумажке.

Если пойдут дети, мы их от всех спрячем. Купим много книжек и сами выучим

их читать и писать.

Я просто загорелся, честное слово. Конечно, глупо было выдумывать,

что я притворяюсь глухонемым, но мне все равно нравилось представлять

себе, как это будет. И я твердо решил уехать на Запад. Надо было только

попрощаться с Фиби. Я вскочил и понесся как сумасшедший через улицу - чуть

не попал под машину, если говорить правду, - и прямо в писчебумажный

магазин, где купил блокнот и карандаш. Я решил, что напишу ей записку, где

нам с ней встретиться, чтобы я мог с ней проститься и отдать ей подарочные

деньги, отнесу эту записку в школу, а там попрошу кого-нибудь из

канцелярии передать Фиби. Но пока что я сунул блокнот и карандаш в карман

и почти бегом побежал к ее школе. Шел я ужасно быстро: надо было успеть

передать ей записку, пока она не ушла домой на завтрак, а времени

оставалось совсем мало.

Школу я знал хорошо, потому что сам туда бегал, когда был маленьким.

Когда я вошел во двор, мне стало как-то странно. Я не думал, что помню,

как все было, но, оказывается, я все помнил. Все осталось совершенно

таким, как при мне. Тот же огромный гимнастический зал внизу, где всегда

было темновато, те же проволочные сетки на фонарях, чтоб не разбить мячом.

На полу - те же белые круги для всяких игр. И те же баскетбольные кольца

без сеток - только доска и кольцо.

Нигде никого не было - наверно, потому, что шли занятия и большая

перемена еще не начиналась. Я только увидел одного малыша - цветного

мальчугана, он бежал в уборную. У него из кармана торчал деревянный

номерок, нам тоже такие выдавали в доказательство, что нам разрешили выйти

из класса.

Я все еще потел, но уже не так сильно. Вышел на лестницу, сел на

нижнюю ступеньку и достал блокнот и карандаш. Лестница пахла совершенно

так же, как при мне. Как будто кто-то там намочил. В начальных школах

лестницы всегда так пахнут. Словом, я сел и написал записку:

Милая Фиби!

Не могу ждать до среды, поэтому сегодня же вечером начну пробираться

на Запад. Жди меня в музее, у входа, в четверть первого, если сможешь, и я

отдам тебе твои подарочные деньги. Истратил я совсем мало.

Целую. Холден

Музей был совсем рядом со школой, ей все равно надо было идти мимо

после завтрака, и я знал, что она меня встретит.

Я поднялся по лестнице в канцелярию директора, чтобы попросить

отнести мою записку сестренке в класс. Я сложил листок в десять раз, чтобы

никто не прочитал. В этих чертовых школах никому доверять нельзя. Но я

знал, что записку от брата ей передадут непременно.

Когда я подымался по лестнице, меня опять начало мутить, но потом

обошлось. Я только присел на минутку и почувствовал себя лучше. Но тут я

увидел одну штуку, которая меня взбесила. Кто-то написал на стене

похабщину. Я просто взбесился от злости. Только представьте себе, как Фиби

и другие малыши увидят и начнут спрашивать, что это такое, а какой-нибудь

грязный мальчишка им начнет объяснять - да еще по-дурацки, - что это

значит, и они начнут думать о таких вещах и расстраиваться. Я готов был

убить того, кто это написал. Я представил себе, что какой-нибудь мерзавец,

развратник залез в школу поздно ночью за нуждой, а потом написал на стене

эти слова. И вообразил, как я его ловлю на месте преступления и бью

головой о каменную лестницу, пока он не издохнет, обливаясь кровью. Но я

подумал, что не хватит у меня на это смелости. Я себя знаю. И от этого мне

стало еще хуже на душе. По правде говоря, у меня даже не хватало смелости

стереть эту гадость. Я испугался - а вдруг кто-нибудь из учителей увидит,

как я стираю надпись, и подумает, что это я написал. Но потом я все-таки

стер. Стер и пошел в канцелярию директора.

Директора нигде не было, но за машинкой сидела старушка лет под сто.

Я сказал, что я брат Фиби Колфилд из четвертого "Б" и очень прошу передать

ей эту записку. Я сказал, что это очень важно, потому что мама нездорова и

не приготовила завтрак для Фиби и что я должен встретить Фиби и накормить

ее завтраком в закусочной. Старушка оказалась очень милая. Она взяла у

меня записку, позвала какую-то женщину из соседней комнаты, и та пошла

отдавать записку Фиби. Потом мы с этой столетней старушкой немножко

поговорили. Она была очень приветливая, и я ей рассказал, что в эту школу

ходили мы все - и я и мои братья. Она спросила, где я теперь учусь, и я

сказал - в Пэнси, и она сказала, что Пэнси - очень хорошая школа. Если б я

даже хотел вправить ей мозги, у меня духу не хватило бы. Хочет думать, что

Пэнси хорошая школа, пусть думает. Глупо внушать н о в ы е мысли человеку,

когда ему скоро стукнет сто лет. Да они этого и не любят. Потом я

попрощался и ушел. Она завопила мне вдогонку: "Счастливого пути!" -

совершенно как старик Спенсер, когда я уезжал из Пэнси. Господи, до чего я

ненавижу эту привычку - вопить вдогонку "счастливого пути". У меня от

этого настроение портится.

Спустился я по другой лестнице и опять увидел на стенке похабщину.

Попробовал стереть, но на этот раз слова были нацарапаны ножом или еще

чем-то острым. Никак не стереть. Да и бесполезно. Будь у человека хоть

миллион лет в распоряжении, все равно ему не стереть всю похабщину со всех

стен на свете. Невозможное дело.

Я посмотрел на часы в гимнастическом зале, было всего без двадцати

двенадцать, ждать до перемены оставалось долго. Но я все-таки пошел прямо

в музей. Все равно больше идти было некуда. Я подумал, не звякнуть ли

Джейн Галлахер из автомата, перед тем как податься на Запад, но настроения

не было. Да я и не был уверен, что она уже приехала домой на каникулы. Я

зашел в музей и стал там ждать.

Пока я ждал Фиби у самого входа в музей, подошли двое ребятишек и

спросили меня, не знаю ли я, где мумии. У того мальчишки, который

спрашивал, штаны были расстегнуты. Я ему велел застегнуться. И он

застегивался прямо передо мной, не стесняясь, даже не зашел за колонну или

за угол. Умора. Я, наверно, расхохотался бы, но побоялся, что меня опять

начнет мутить, и сдержался.

- Где эти мумии, а? - повторил мальчишка. - Вы знаете, где они?

Я решил их поддразнить.

- Мумии? - спрашиваю. - А что это такое?

- Ну, сами знаете. Мумии, мертвяки. Их еще хоронят в пираминах.

В пираминах! Вот умора. Это он про пирамиды.

- А почему вы не в школе, ребята? - спрашиваю.

- Нет занятий, - говорит тот, что все время разговаривал. Я видел,

что он врет, подлец. Но мне все равно нечего было делать до прихода Фиби,

и я повел их туда, где лежали мумии. Раньше я точно знал, где они лежат,

только я тут лет сто не был.

- А вам интересно посмотреть мумии? - спрашиваю.

- Ага.

- А твой приятель немой, что ли?

- Он мне не приятель, он мой братишка.

- Разве он не умеет говорить? - спрашиваю я. - Ты что, говорить не

умеешь?

- Умею, - отвечает. - Только не хочу.

Наконец мы нашли вход в галерею, где лежали мумии.

- А вы знаете, как египтяне хоронили своих мертвецов? - спрашиваю я

разговорчивого мальчишку.

- Не-е-е...

- А надо бы знать. Это очень интересно. Они закутывали им головы в

такие ткани, которые пропитывались особым секретным составом. И тогда

можно было их хоронить хоть на тысячу лет, и все равно головы у них не

сгнивали. Никто не умел это делать, кроме египтян. Современная наука и то

не знает, как это делается.

Чтобы увидеть мумии, надо было пройти по очень узкому переходу,

выложенному плитами, взятыми прямо с могилы фараона. Довольно жуткое

место, и я видел, что эти два молодца, которых я вел, здорово трусили. Они

прижимались ко мне, как котята, а неразговорчивый даже вцепился в мой

рукав.

- Пойдем домой, - сказал он вдруг. - Я уже все видел. Пойдем

скорее! - Он повернулся и побежал.

- Он трусишка, всего боится! - сказал другой. - Пока! - И тоже

побежал за первым.

Я остался один среди могильных плит. Мне тут нравилось - тихо,

спокойно. И вдруг я увидел на стене - догадайтесь, что? Опять похабщина!

Красным карандашом, прямо под стеклянной витриной, на камне.

В этом-то и все несчастье. Нельзя найти спокойное, тихое место - нет

его на свете. Иногда подумаешь - а может, есть, но пока ты туда

доберешься, кто-нибудь прокрадется перед тобой и напишет похабщину прямо

перед твоим носом. Проверьте сами. Мне иногда кажется - вот я умру, попаду

на кладбище, поставят надо мной памятник, напишут "Холден Колфилд", и год

рождения, и год смерти, а под всем этим кто-нибудь нацарапает похабщину.

Уверен, что так оно и будет.

Я вышел из зала, где лежали мумии, и пошел в уборную. У меня началось

расстройство, если уж говорить всю правду. Но этого я не испугался, а

испугался другого. Когда я выходил из уборной, у самой двери я вдруг

потерял сознание. Счастье еще, что я удачно упал. Мог разбить себе голову

об пол, но просто грохнулся на бок. Странное это ощущение. Но после

обморока я как-то почувствовал себя лучше. Рука, правда, болела, но не так

кружилась голова.

Было уже десять минут первого, и я пошел к выходу и стал ждать мою

Фиби. Я подумал, может, я вижусь с ней в последний раз. И вообще никого из

родных больше не увижу. То есть, конечно, когда-нибудь я с ними, наверно,

увижусь, но только не скоро. Может быть, я приеду домой, когда мне будет

лет тридцать пять, если кто-нибудь из них вдруг заболеет и захочет меня

повидать пред смертью, это единственное, из-за чего я еще смогу бросить

свою хижину и вернуться домой. Я даже представил себе, как я вернусь.

Знаю, мама начнет ужасно волноваться, и плакать, и просить меня остаться

дома и не возвращаться к себе в хижину, но я все-таки уеду. Я буду

держаться неприступно, как дьявол. Успокою мать, отойду в другой конец

комнаты, выну портсигар и закурю с ледяным спокойствием. Я их приглашу

навещать меня, если им захочется, но настаивать не буду. Но я обязательно

устрою, чтобы Фиби приезжала ко мне гостить на лето, и на рождество, и на

пасхальные каникулы. Д.Б. тоже пускай приезжает, пусть живет у меня, когда

ему понадобится тихий, спокойный угол для работы. Но никаких сценариев в

моей хижине я писать не позволю, т о л ь к о рассказы и книги. У меня

будет такое правило - никакой липы в моем доме не допускать. А чуть кто

попробует разводить липу, пусть лучше сразу уезжает.

Вдруг я посмотрел на часы в гардеробной и увидел, что уже без

двадцати пяти час. Я перепугался - вдруг старушка из канцелярии велела

той, другой женщине не передавать Фиби записку. Я испугался, а вдруг она

велела сжечь мою записку или выкинуть. Здорово перепугался. Мне очень

хотелось повидать сестренку перед тем, как уехать бог знает куда. А тут

еще у меня были ее деньги.

И вдруг я ее увидел. Увидел через стеклянную дверь. А заметил я ее

потому, что на ней была моя дикая охотничья шапка - ее за десять миль

видно, эту шапку.

Я вышел на улицу и стал спускаться по каменной лестнице навстречу

Фиби. Одного я не понимал - зачем она тащит огромный чемодан. Она как раз

переходила Пятую авеню и тащила за собой громадный нелепый чемодан.

Еле-еле тащила. Когда я подошел ближе, я понял, что это мой старый

чемодан, он у меня был еще в Хуттонской школе. Я никак не мог понять, на

кой черт он ей понадобился.

- Ау! - сказала она, подойдя поближе. Она совсем запыхалась от этого

дурацкого чемодана.

- Я думал, ты уже не придешь, - говорю я. - А на кой черт ты

притащила чемодан? Мне ничего не надо. Я еду налегке. Даже с хранения

чемоданы не возьму. Чего ты туда напихала?

Она поставила чемодан.

- Мои вещи, - говорит. - Я еду с тобой. Можно, да? Возьмешь меня?

- Что? - Я чуть не упал, когда она это сказала. Честное слово, у меня

голова пошла кругом, вот-вот упаду в обморок.

- Я все стащила по черной лестнице, чтобы Чарлина не увидела. Он не

тяжелый. В нем только два платья, туфли, белье, носки и всякие мелочи. Ты

попробуй подыми. Он совсем легкий, ну, подыми... Можно мне с тобой,

Холден? Можно, да? Пожалуйста, можно мне с тобой?

- Нет, нельзя. Замолчи!

Я чувствовал, что сейчас упаду замертво. Я вовсе не хотел кричать:

"Замолчи!", но мне казалось, что я сейчас потеряю сознание.

- Почему нельзя? Пожалуйста, возьми меня с собой... Ну, Холден,

пожалуйста! Я не буду мешать - я только поеду с тобой, и все! Если хочешь,

я и платьев не возьму, только захвачу...

- Ничего ты не захватишь. И не поедешь. Я еду один. Замолчи!

- Ну, Холден, пожалуйста! Я буду очень, очень, очень - ты даже не

заметишь...

- Никуда ты не поедешь. Замолчи, слышишь! Отдай чемодан.

Я взял у нее чемодан. Ужасно хотелось ее отшлепать. Еще минута - и я

бы ее шлепнул. Серьезно говорю.

Но тут она расплакалась.

- А я-то думал, что ты собираешься играть в спектакле. Я думал, что

ты собираешься играть Бенедикта Арнольда в этой пьесе, - говорю я. Голос у

меня стал злой, противный. - Что же ты затеяла, а? Не хочешь играть в

спектакле, что ли?

Тут она еще сильнее заплакала, и я даже обрадовался. Вдруг мне

захотелось, чтобы она все глаза себе выплакала. Я был ужасно зол на нее.

По-моему, я был на нее так зол за то, что она готова была отказаться от

роли в спектакле и уехать со мной.

- Идем, - говорю. Я опять стал подниматься по лестнице в музей. Я

решил, что сдам в гардероб этот дурацкий чемодан, который она притащила, а

в три часа, на обратном пути из школы, она его заберет. Я знал, что в

школу его взять нельзя. - Ну, идем, - говорю.

Но она не пошла в музей. Не захотела идти со мной. Я пошел один, сдал

чемодан в гардероб и опять спустился на улицу. Она все еще стояла на

тротуаре, но, когда я подошел, она повернулась ко мне спиной. Это она

умеет. Повернется к тебе спиной, и все.

- Никуда я не поеду. Я передумал. Перестань реветь, слышишь? - Глупо

было так говорить, потому что она уже не ревела. Но я все-таки сказал

"Перестань реветь!" на всякий случай. - Ну, пойдем. Я тебя отведу в школу.

Пойдем скорее. Ты опоздаешь.

Она даже не ответила. Я попытался было взять ее за руку, но она ее

выдернула. И все время отворачивалась от меня.

- Ты позавтракала? - спрашиваю. - Ты уже завтракала?

Не желает отвечать. И вдруг сняла мою охотничью шапку и швырнула ее

мне чуть ли не в лицо. А сама опять отвернулась. Мне стало смешно, я

промолчал. Только поднял шапку и сунул в карман.

- Ладно, пойдем. Я тебя провожу до школы.

- Я в школу больше не пойду.

Что я ей мог сказать на это? Постоял, помолчал, потом говорю:

- Нет, в школу ты обязательно должна пойти. Ты же хочешь играть в

этом спектакле, правда? Хочешь быть Бенедиктом Арнольдом?

- Нет.

- Неправда, хочешь. Еще как хочешь! Ну, перестань, пойдем! Во-первых,

я никуда не уезжаю. Я тебе правду говорю. Я вернусь домой. Только провожу

тебя в школу - и сразу пойду домой. Сначала пойду на вокзал, заберу

чемоданы, а потом поеду прямо...

- А я тебе говорю - в школу я больше не пойду. Можешь делать все, что

тебе угодно, а я в школу ходить не буду. И вообще заткнись!

Первый раз в жизни она мне сказала "заткнись". Грубо, просто страшно.

Страшно было слушать. Хуже, чем услышать площадную брань. И не смотрит в

мою сторону, а как только я попытался тронуть ее за плечо, взять за руку,

она вырвалась.

- Послушай, хочешь погулять? - спрашиваю. - Хочешь пройтись со мной в

зоопарк? Если я тебе позволю сегодня больше не ходить в школу и возьму

тебя в зоопарк, перестанешь дурить? - Не отвечает, а я повторяю

свое: - Если я позволю тебе пропустить вечерние занятия и возьму погулять,

ты перестанешь выкамаривать? Будешь умницей, пойдешь завтра в школу?

- Захочу - пойду, не захочу - не пойду! - говорит и вдруг бросилась

на ту сторону, даже не посмотрела, идут машины или нет. Иногда она просто

с ума сходит.

Однако я за ней не пошел. Я знал, что она-то за мной пойдет как

миленькая, и я потихоньку направился к зоопарку по одной стороне улицы, а

она пошла туда же, только по другой стороне. Делает вид, что не глядит в

мою сторону, а сама косится сердитым глазом, смотрит, куда я иду. Так мы и

шли всю дорогу до зоосада. Я только беспокоился, когда проезжал

двухэтажный автобус, потому что он заслонял ту сторону и я не видел, куда

ее понесло.

Но когда мы подошли к зоопарку, я ей крикнул:

- Эй, Фиби! Я иду в зоосад! Иди сюда!

Она и не взглянула на меня, но я догадался, что она услышала: когда я

стал спускаться по ступенькам в зоопарк, я повернулся и увидел, как она

переходит улицу и тоже идет за мной.

Народу в зоопарке было мало, погода скверная, но вокруг бассейна, где

плавали морские львы, собралась кучка зрителей. Я прошел было мимо, но моя

Фиби остановилась и стала смотреть, как морских львов кормят - им туда

швыряли рыбу, - и я тоже вернулся. Я подумал, сейчас я к ней подойду и

все такое. Подошел, стал у нее за спиной и положил руки на плечи, но она

присела и выскользнула из-под моих рук - она тебя так оборвет, если

захочет! Смотрит, как кормят морских львов, а я стою сзади. Но руки ей на

плечи класть не стал, вообще не трогал ее, боялся - вдруг она от меня

удерет. Странные они, эти ребята. С ними надо быть начеку.

Идти рядом со мной она не захотела - мы уже отошли от бассейна, - но

все-таки шла неподалеку. Держится одной стороны дорожки, а я - другой.

Тоже не особенно приятно, но уж лучше, чем идти за милю друг от друга, как

раньше. Пошли посмотреть медведей на маленькой горке, но там смотреть было

нечего. Только один медведь вылез - белый, полярный. А другой, бурый,

забрался в свою дурацкую берлогу и не выходил. Рядом со мной стоял

мальчишка в ковбойской шляпе по самые уши и все время повторял:

- Пап, заставь его выйти! Пап, заставь его!

Я посмотрел на Фиби, но она даже не засмеялась. Знаете, как ребята

обижаются. Они даже смеяться не станут, ни в какую.

От медведей мы пошли к выходу, перешли через уличку в зоопарке, потом

вышли через маленький тоннель, где всегда воняет. Через него проходят к

каруселям. Моя Фиби все еще не разговаривала, но уже шла совсем рядом со

мной. Я взялся было за хлястик у нее на пальто, но она не позволила.

- Убери, пожалуйста, руки! - говорит. Все еще дулась на меня. Но мы

все ближе и ближе подходили к каруселям, и уже было слышно, как играет эта

музыка, - там всегда играли "О Мэри!". Они эту песню играли уже лет

пятьдесят назад, когда я был маленьким. Это самое лучшее в каруселях -

музыка всегда одна и та же.

- А я думала, карусель зимой закрыта! - говорит вдруг Фиби. В первый

раз со мной заговорила. Наверно, забыла, что обиделась.

- Должно быть, потому, что скоро рождество, - говорю.

Она ничего не ответила. Вспомнила, наверно, что обиделась на меня.

- Хочешь прокатиться? - спрашиваю. Я знаю, что ей очень хочется.

Когда она была совсем кроха и мы с Алли и с Д.Б. водили ее в парк, она с

ума сходила по каруселям. Бывало, никак ее не оттащишь.

- Я уже большая, - говорит. Я думал, она не ответит, но она ответила.

- Глупости! Садись! Я тебя подожду! Ступай! - сказал я. Мы уже

подошли к самым каруселям. На них каталось несколько ребят, совсем

маленьких, а родители сидели на скамейке и ждали. Я подошел к окошечку,

где продавались билеты, и купил своей Фиби билетик. Купил и отдал ей. Она

уже стояла совсем рядом со мной. - Вот, - говорю, - нет, погоди минутку,

забери-ка свои подарочные деньги, все забирай! - Хотел отдать ей все

деньги.

- Нет, ты их держи. Ты их держи у себя, - говорит и вдруг

добавляет: - Пожалуйста! Прошу тебя!

Как-то неловко, когда тебя так просят, особенно когда это твоя

собственная сестренка. Я даже расстроился. Но деньги пришлось сунуть в

карман.

- А ты будешь кататься? - спросила она и посмотрела на меня как-то

чудно. Видно было, что она уже совсем не сердится.

- Может быть, в следующий раз. Сначала на тебя посмотрю. Билет у

тебя?

- Да.

- Ну, ступай, а я посижу тут, на скамейке, посмотрю на тебя.

Я сел на скамейку, а она подошла к карусели. Обошла все кругом. То

есть она сначала обошла всю карусель кругом. Потом выбрала самую большую

лошадь - потрепанную такую, старую, грязно-бурую. Тут карусель

закружилась, и я увидел, как она поехала. С ней ехало еще несколько

ребятишек - штук пять-шесть, а музыка играла "Дым застилает глаза". Весело

так играла, забавно. И все ребята старались поймать золотое кольцо, и моя

Фиби тоже, я даже испугался - вдруг упадет с этой дурацкой лошади, но

нельзя было ничего ни сказать, ни сделать. С ребятами всегда так: если уж

они решили поймать золотое кольцо, не надо им мешать. Упадут так упадут,

но говорить им под руку никогда не надо.

Когда круг кончился, она слезла с лошади и подошла ко мне. - Теперь

ты прокатись! - говорит.

- Нет, я лучше посмотрю на тебя, - говорю. Я ей дал еще немножко из

ее денег. - Пойди возьми еще билет.

Она взяла деньги.

- Я на тебя больше не сержусь, - говорит.

- Вижу. Беги - сейчас завертится!

И вдруг она меня поцеловала. Потом вытянула ладонь.

- Дождь! Сейчас пойдет дождь!

- Вижу.

Знаете, что она тут сделала, - я чуть не сдох! Залезла ко мне в

карман, вытащила красную охотничью шапку и нахлобучила мне на голову.

- А ты разве не наденешь? - спрашиваю.

- Сначала ты ее поноси! - говорит.

- Ладно. Ну, беги, а то пропустишь круг. И лошадь твою займут.

Но она не отходила от меня.

- Ты мне правду говорил? Ты на самом деле никуда не уедешь? Ты на

самом деле вернешься домой?

- Да, - сказал я. И не соврал: на самом деле вернулся домой. - Ну,

скорее же! - говорю. - Сейчас начнется!

Она побежала, купила билет и в последнюю секунду вернулась к

карусели. И опять обежала все кругом, пока не нашла свою прежнюю лошадь.

Села на нее, помахала мне, и я ей тоже помахал.

И тут начало лить как сто чертей. Форменный ливень, клянусь богом.

Все матери и бабушки - словом, все, кто там был, встали под самую крышу

карусели, чтобы не промокнуть насквозь, а я так и остался сидеть на

скамейке. Ужасно промок, особенно воротник и брюки. Охотничья шапка еще

как-то меня защищала, но все-таки я промок до нитки. А мне было все равно.

Я вдруг стал такой счастливый, оттого что Фиби кружилась на карусели. Чуть

не ревел от счастья, если уж говорить всю правду. Сам не понимаю почему.

До того она была милая, до того весело кружилась в своем синем пальтишке.

Жалко, что вы ее не видели, ей-богу! …

**IV. ДУХОВНЫЙ ОПЫТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА**

[**О'Генри**](http://www.serann.ru/node/1493)

**ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ**

В небольшом квартале к западу от Вашингтон-сквера улицы перепутались и переломались в короткие полоски, именуемые проездами. Эти проезды образуют странные углы и кривые линии. Одна улица там даже пересекает самое себя раза два. Некоему художнику удалось открыть весьма ценное свойство этой улицы. Предположим, сборщик из магазина со счетом за краски, бумагу и холст повстречает там самого себя, идущего восвояси, не получив ни единого цента по счету!

И вот люди искусства набрели на своеобразный квартал Гринич-Виллидж в поисках окон, выходящих на север, кровель ХVIII столетия, голландских мансард и дешевой квартирной платы. Затем они перевезли туда с Шестой авеню несколько оловянных кружек и одну-две жаровни и основали «колонию».

Студия Сью и Джонси помещалась наверху трехэтажного кирпичного дома. Джонси — уменьшительное от Джоанны. Одна приехала из штата Мэйн, другая из Калифорнии. Они познакомились за табльдотом одного ресторанчика на Вольмой улице и нашли, что их взгляды на искусство, цикорный салат и модные рукава вполне совпадают. В результате и возникла общая студия.

Это было в мае. В ноябре неприветливый чужак, которого доктора именуют Пневмонией, незримо разгуливал по колонии, касаясь то одного, то другого своими ледяными пальцами. По Восточной стороне этот душегуб шагал смело, поражая десятки жертв, но здесь, в лабиринте узких, поросших мохом переулков, он плелся нога за ногу.

Господина Пневмонию никак нельзя было назвать галантным старым джентльменом. Миниатюрная девушка, малокровная от калифорнийских зефиров, едва ли могла считаться достойным противником для дюжего старого тупицы с красными кулачищами и одышкой. Однако он свалил ее с ног, и Джонси лежала неподвижно на крашеной железной кровати, глядя сквозь мелкий переплет голландского окна на глухую стену соседнего кирпичного дома.

Однажды утром озабоченный доктор одним движением косматых седых бровей вызвал Сью в коридор.

— У нее один шанс… ну, скажем, против десяти, — сказал он, стряхивая ртуть в термометре. — И то, если она сама захочет жить. Вся наша фармакопея теряет смысл, когда люди начинают действовать в интересах гробовщика. Ваша маленькая барышня решила, что ей уже не поправиться. О чем она думает?

— Ей… ей хотелось написать красками Неаполитанский залив.

— Красками? Чепуха! Нет ли у нее на душе чего-нибудь такого, о чем действительно стоило бы думать, например, мужчины?

— Мужчины? — переспросила Сью, и ее голос зазвучал резко, как губная гармоника. — Неужели мужчина стоит… Да нет, доктор, ничего подобного нет.

— Ну, тогда она просто ослабла, — решил доктор. — Я сделаю все, что буду в силах сделать как представитель науки. Но когда мой пациент начинает считать кареты в своей похоронной процессии, я скидываю пятьдесят процентов с целебной силы лекарств. Если вы сумеете добиться, чтобы она хоть раз спросила, какого фасона рукава будут носить этой зимой, я вам ручаюсь, что у нее будет один шанс из пяти, вместо одного из десяти.

После того как доктор ушел, Сью выбежала в мастерскую и плакала в японскую бумажную салфеточку до тех пор, пока та не размокла окончательно. Потом она храбро вошла в комнату Джонси с чертежной доской, насвистывая рэгтайм.

Джонси лежала, повернувшись лицом к окну, едва заметная под одеялами. Сью перестала насвистывать, думая, что Джонси уснула.

Она пристроила доску и начала рисунок тушью к журнальному рассказу. Для молодых художников путь в Искусство бывает вымощен иллюстрациями к журнальным рассказам, которыми молодые авторы мостят себе путь в Литературу.

Набрасывая для рассказа фигуру ковбоя из Айдахо в элегантных бриджах и с моноклем в глазу, Сью услышала тихий шепот, повторившийся несколько раз. Она торопливо подошла к кровати. Глаза Джонси были широко открыты. Она смотрела в окно и считала — считала в обратном порядке.

— Двенадцать, — произнесла она, и немного погодя: — одиннадцать, — а потом: — «десять» и «девять», а потом: — «восемь» и «семь» — почти одновременно.

Сью посмотрела в окно. Что там было считать? Был виден только пустой, унылый двор и глухая стена кирпичного дома в двадцати шагах. Старый-старый плющ с узловатым, подгнившим у корней стволом заплел до половины кирпичную стену. Холодное дыхание осени сорвало листья с лозы, и оголенные скелеты ветвей цеплялись за осыпающиеся кирпичи.

— Что там такое, милая? — спросила Сью.

— Шесть, — едва слышно ответила Джонси. — Теперь они облетают гораздо быстрее. Три дня назад их было почти сто. Голова кружилась считать. А теперь это легко. Вот и еще один полетел. Теперь осталось только пять.

— Чего пять, милая? Скажи своей Сьюди.

— Листьев. На плюще. Когда упадет последний лист, я умру. Я это знаю уже три дня. Разве доктор не сказал тебе?

— Первый раз слышу такую глупость! — с великолепным презрением отпарировала Сью. — Какое отношение могут иметь листья на старом плюще к тому, что ты поправишься? А ты еще так любила этот плющ, гадкая девочка! Не будь глупышкой. Да ведь еще сегодня доктор говорил мне, что ты скоро выздоровеешь… позволь, как же это он сказал?.. что у тебя десять шансов против одного. А ведь это не меньше, чем у каждого из нас здесь в Нью-Йорке, когда едешь в трамвае или идешь мимо нового дома. Попробуй съесть немножко бульона и дай твоей Сьюди закончить рисунок, чтобы она могла сбыть его редактору и купить вина для своей больной девочки и свиных котлет для себя.

— Вина тебе покупать больше не надо, — отвечала Джонси, пристально глядя в окно. — Вот и еще один полетел. Нет, бульона я не хочу. Значит, остается всего четыре. Я хочу видеть, как упадет последний лист. Тогда умру и я.

— Джонси, милая, — сказала Сью, наклоняясь над ней, — обещаешь ты мне не открывать глаз и не глядеть в окно, пока я не кончу работать? Я должна сдать иллюстрацию завтра. Мне нужен свет, а то я спустила бы штору.

— Разве ты не можешь рисовать в другой комнате? — холодно спросила Джонси.

— Мне бы хотелось посидеть с тобой, — сказала Сью. — А кроме того, я не желаю, чтобы ты глядела на эти дурацкие листья.

— Скажи мне, когда кончишь, — закрывая глаза, произнесла Джонси, бледная и неподвижная, как поверженная статуя, — потому что мне хочется видеть, как упадет последний лист. Я устала ждать. Я устала думать. Мне хочется освободиться от всего, что меня держит, — лететь, лететь все ниже и ниже, как один из этих бедных, усталых листьев.

— Постарайся уснуть, — сказала Сью. — Мне надо позвать Бермана, я хочу писать с него золотоискателя-отшельника. Я самое большее на минутку. Смотри же, не шевелись, пока я не приду.

Старик Берман был художник, который жил в нижнем этаже под их студией. Ему было уже за шестьдесят, и борода, вся в завитках, как у Моисея Микеланджело, спускалась у него с головы сатира на тело гнома. В искусстве Берман был неудачником. Он все собирался написать шедевр, но даже и не начал его. Уже несколько лет он не писал ничего, кроме вывесок, реклам и тому подобной мазни ради куска хлеба. Он зарабатывал кое-что, позируя молодым художникам, которым профессионалы-натурщики оказывались не по карману. Он пил запоем, но все еще говорил о своем будущем шедевре. А в остальном это был злющий старикашка, который издевался над всякой сентиментальностью и смотрел на себя, как на сторожевого пса, специально приставленного для охраны двух молодых художниц.

Сью застала Бермана, сильно пахнущего можжевеловыми ягодами, в его полутемной каморке нижнего этажа. В одном углу двадцать пять лет стояло на мольберте нетронутое полотно, готовое принять первые штрихи шедевра. Сью рассказала старику про фантазию Джонси и про свои опасения насчет того, как бы она, легкая и хрупкая, как лист, не улетела от них, когда ослабнет ее непрочная связь с миром. Старик Берман, чьи красные глаза очень заметно слезились, раскричался, насмехаясь над такими идиотскими фантазиями.

— Что! — кричал он. — Возможна ли такая глупость — умирать оттого, что листья падают с проклятого плюща! Первый раз слышу. Нет, не желаю позировать для вашего идиота-отшельника. Как вы позволяете ей забивать голову такой чепухой? Ах, бедная маленькая мисс Джонси!

— Она очень больна и слаба, — сказала Сью, — и от лихорадки ей приходят в голову разные болезненные фантазии. Очень хорошо, мистер Берман, — если вы не хотите мне позировать, то и не надо. А я все-таки думаю, что вы противный старик… противный старый болтунишка.

— Вот настоящая женщина! — закричал Берман. — Кто сказал, что я не хочу позировать? Идем. Я иду с вами. Полчаса я говорю, что хочу позировать. Боже мой! Здесь совсем не место болеть такой хорошей девушке, как мисс Джонси. Когда-нибудь я напишу шедевр, и мы все уедем отсюда. Да, да!

Джонси дремала, когда они поднялись наверх. Сью спустила штору до самого подоконника и сделала Берману знак пройти в другую комнату. Там они подошли к окну и со страхом посмотрели на старый плющ. Потом переглянулись, не говоря ни слова. Шел холодный, упорный дождь пополам со снегом. Берман в старой синей рубашке уселся в позе золотоискателя-отшельника на перевернутый чайник вместо скалы.

На другое утро Сью, проснувшись после короткого сна, увидела, что Джонси не сводит тусклых, широко раскрытых глаз со спущенной зеленой шторы.

— Подними ее, я хочу посмотреть, — шепотом скомандовала Джонси.

Сью устало повиновалась.

И что же? После проливного дождя и резких порывов ветра, не унимавшихся всю ночь, на кирпичной стене еще виднелся один лист плюща — последний! Все еще темнозеленый у стебелька, но тронутый по зубчатым краям желтизной тления и распада, он храбро держался на ветке в двадцати футах над землей.

— Это последний, — сказала Джонси. — Я думала, что он непременно упадет ночью. Я слышала ветер. Он упадет сегодня, тогда умру и я.

— Да бог с тобой! — сказала Сью, склоняясь усталой головой к подушке. — Подумай хоть обо мне, если не хочешь думать о себе! Что будет со мной?

Но Джонси не отвечала. Душа, готовясь отправиться в таинственный, далекий путь, становится чуждой всему на свете. Болезненная фантазия завладевала Джонси все сильнее, по мере того как одна за другой рвались все нити, связывавшие ее с жизнью и людьми.

День прошел, и даже в сумерки они видели, что одинокий лист плюща держится на своем стебельке на фоне кирпичной стены. А потом, с наступлением темноты, опять поднялся северный ветер, и дождь беспрерывно стучал в окна, скатываясь с низкой голландской кровли.

Как только рассвело, беспощадная Джонси велела снова поднять штору.

Лист плюща все еще оставался на месте.

Джонси долго лежала, глядя на него. Потом позвала Сью, которая разогревала для нее куриный бульон на газовой горелке.

— Я была скверной девчонкой, Сьюди, — сказала Джонси. — Должно быть, этот последний лист остался на ветке для того, чтобы показать мне, какая я была гадкая. Грешно желать себе смерти. Теперь ты можешь дать мне немного бульона, а потом молока с портвейном… Хотя нет: принеси мне сначала зеркальце, а потом обложи меня подушками, и я буду сидеть и смотреть, как ты стряпаешь.

Часом позже она сказала:

— Сьюди, надеюсь когда-нибудь написать красками Неаполитанский залив.

Днем пришел доктор, и Сью под каким-то предлогом вышла за ним в прихожую.

— Шансы равные, — сказал доктор, пожимая худенькую, дрожащую руку Сью. — При хорошем уходе вы одержите победу. А теперь я должен навестить еще одного больного, внизу. Его фамилия Берман. Кажется, он художник. Тоже воспаление легких. Он уже старик и очень слаб, а форма болезни тяжелая. Надежды нет никакой, но сегодня его отправят в больницу, там ему будет покойнее.

На другой день доктор сказал Сью:

— Она вне опасности. Вы победили. Теперь питание и уход — и больше ничего не нужно.

В тот же вечер Сью подошла к кровати, где лежала Джонси, с удовольствием довязывая ярко-синий, совершенно бесполезный шарф, и обняла ее одной рукой — вместе с подушкой.

— Мне надо кое-что сказать тебе, белая мышка, — начала она. — Мистер Берман умер сегодня в больнице от воспаления легких. Он болел всего только два дня. Утром первого дня швейцар нашел бедного старика на полу в его комнате. Он был без сознания. Башмаки и вся его одежда промокли насквозь и были холодны, как лед. Никто не мог понять, куда он выходил в такую ужасную ночь. Потом нашли фонарь, который все еще горел, лестницу, сдвинутую с места, несколько брошенных кистей и палитру с желтой и зеленой красками. Посмотри в окно, дорогая, на последний лист плюща. Тебя не удивляло, что он не дрожит и не шевелится от ветра? Да, милая, это и есть шедевр Бермана — он написал его в ту ночь, когда слетел последний лист.

**Грин Александр Степанович**

**ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА**

I

      В Лондоне в 1920 году, зимой, на углу Пикадилли и одного переулка, остановились двое хорошо одетых людей среднего возраста. Они только что покинули дорогой ресторан. Там они ужинали, пили вино и шутили с артистами из Дрюриленского театра.  
      Теперь внимание их было привлечено лежащим без движения, плохо одетым человеком лет двадцати пяти, около которого начала собираться толпа.  
      — Стильтон! — брезгливо сказал толстый джентльмен высокому своему приятелю, видя, что тот нагнулся и всматривается в лежащего. — Честное слово, не стоит так много заниматься этой падалью. Он пьян или умер.  
      — Я голоден... и я жив, — пробормотал несчастный, приподнимаясь, чтобы взглянуть на Стильтона, который о чем-то задумался. — Это был обморок.  
      — Реймер! — сказал Стильтон. — Вот случай проделать шутку. У меня явился интересный замысел. Мне надоели обычные развлечения, а хорошо шутить можно только одним способом: делать из людей игрушки.  
      Эти слова были сказаны тихо, так что лежавший, а теперь прислонившийся к ограде человек их не слышал.  
      Реймер, которому было все равно, презрительно пожал плечами, простился со Стильтоном и уехал коротать ночь в свой клуб, а Стильтон, при одобрении толпы и при помощи полисмена, усадил беспризорного человека в кеб.  
      Экипаж направился к одному из трактиров Гайстрита.  
      Беднягу звали Джон Ив. Он приехал в Лондон из Ирландии искать службу или работу. Ив был сирота, воспитанный в семье лесничего. Кроме начальной школы, он не получил никакого образования. Когда Иву было 15 лет, его воспитатель умер, взрослые дети лесничего уехали — кто в Америку, кто в Южный Уэльс, кто в Европу, и Ив некоторое время работал у одного фермера. Затем ему пришлось испытать труд углекопа, матроса, слуги в трактире, а 22 лет он заболел воспалением легких и, выйдя из больницы, решил попытать счастья в Лондоне. Но конкуренция и безработица скоро показали ему, что найти работу не так легко. Он ночевал в парках, на пристанях, изголодался, отощал и был, как мы видели, поднят Стильтоном, владельцем торговых складов в Сити.  
      Стильтон в 40 лет изведал все, что может за деньги изведать холостой человек, не знающий забот о ночлеге и пище. Он владел состоянием в 20 миллионов фунтов. То, что он придумал проделать с Ивом, было совершенной чепухой, но Стильтон очень гордился своей выдумкой, так как имел слабость считать себя человеком большого воображения и хитрой фантазии.  
      Когда Ив выпил вина, хорошо поел и рассказал Стильтону свою историю, Стильтон заявил:  
      — Я хочу сделать вам предложение, от которого у вас сразу блеснут глаза. Слушайте: я выдаю вам десять фунтов с условием, что вы завтра же найдете комнату на одной из центральных улиц, во втором этаже, с окном на улицу. Каждый вечер, точно от пяти до двенадцати ночи, на подоконнике одного окна, всегда одного и того же, должна стоять зажженная лампа, прикрытая зеленым абажуром. Пока лампа горит назначенный ей срок, вы от пяти до двенадцати не будете выходить из дому, не будете никого принимать и ни с кем не будете говорить. Одним словом, работа нетрудная, и, если вы согласны так поступить, — я буду ежемесячно присылать вам десять фунтов. Моего имени я вам не скажу.  
      — Если вы не шутите, — отвечал Ив, страшно изумленный предложением, — то я согласен забыть даже собственное имя. Но скажите, пожалуйста, — как долго будет длиться такое мое благоденствие?  
      — Это неизвестно. Может быть, год, может быть, — всю жизнь.  
      — Еще лучше. Но — смею спросить — для чего понадобилась вам эта зеленая иллюминация?  
      — Тайна! — ответил Стильтон. — Великая тайна! Лампа будет служить сигналом для людей и дел, о которых вы никогда не узнаете ничего.  
      — Понимаю. То есть ничего не понимаю. Хорошо; гоните монету и знайте, что завтра же по сообщенному мною адресу Джон Ив будет освещать окно лампой!  
      Так состоялась странная сделка, после которой бродяга и миллионер расстались, вполне довольные друг другом.  
      Прощаясь, Стильтон сказал:  
      — Напишите до востребования так: «3-33-6». Еще имейте в виду, что неизвестно когда, может быть, через месяц, может быть, через год, — словом, совершенно неожиданно, внезапно вас посетят люди, которые сделают вас состоятельным человеком. Почему это и как — я объяснить не имею права. Но это случится...  
      — Черт возьми! — пробормотал Ив, глядя вслед кебу, увозившему Стильтона, и задумчиво вертя десятифунтовый билет. — Или этот человек сошел с ума, или я счастливчик особенный! Наобещать такую кучу благодати только за то, что я сожгу в день пол-литра керосина!  
      Вечером следующего дня одно окно второго этажа мрачного дома № 52 по Ривер-стрит сияло мягким зеленым светом. Лампа была придвинута к самой раме.  
      Двое прохожих некоторое время смотрели на зеленое окно с противоположного дому тротуара; потом Стильтон сказал:  
      — Так вот, милейший Реймер, когда вам будет скучно, приходите сюда и улыбнитесь. Там, за окном, сидит дурак. Дурак, купленный дешево, в рассрочку, надолго. Он сопьется от скуки или сойдет с ума... Но будет ждать, сам не зная чего. Да вот и он!  
      Действительно, темная фигура, прислонясь лбом к стеклу, глядела в полутьму улицы, как бы спрашивая: «Кто там? Чего мне ждать? Кто придет?»  
      — Однако вы тоже дурак, милейший, — сказал Реймер, беря приятеля под руку и увлекая его к автомобилю. — Что веселого в этой шутке?  
      — Игрушка... игрушка из живого человека, — сказал Стильтон, — самое сладкое кушанье!

II

      В 1928 году больница для бедных, помещающаяся на одной из лондонских окраин, огласилась дикими воплями: кричал от страшной боли только что привезенный старик, грязный, скверно одетый человек с истощенным лицом. Он сломал ногу, оступившись на черной лестнице темного притона.  
      Пострадавшего отнесли в хирургическое отделение. Случай оказался серьезный, так как сложный перелом кости вызвал разрыв сосудов.  
      По начавшемуся уже воспалительному процессу тканей хирург, осматривавший беднягу, заключил, что необходима операция. Она была тут же произведена, после чего ослабевшего старика положили на койку, и он скоро уснул, а проснувшись, увидел, что перед ним сидит тот самый хирург, который лишил его правой ноги.  
      — Так вот как пришлось нам встретиться! — сказал доктор, серьезный, высокий человек с грустным взглядом. — Узнаете ли вы меня, мистер Стильтон? — Я — Джон Ив, которому вы поручили дежурить каждый день у горящей зеленой лампы. Я узнал вас с первого взгляда.  
      — Тысяча чертей! — пробормотал, вглядываясь, Стильтон. — Что произошло? Возможно ли это?  
      — Да. Расскажите, что так резко изменило ваш образ жизни?  
      — Я разорился... несколько крупных проигрышей... паника на бирже... Вот уже три года, как я стал нищим. А вы? Вы?  
      — Я несколько лет зажигал лампу, — улыбнулся Ив, — и вначале от скуки, а потом уже с увлечением начал читать все, что мне попадалось под руку. Однажды я раскрыл старую анатомию, лежавшую на этажерке той комнаты, где я жил, и был поражен. Передо мной открылась увлекательная страна тайн человеческого организма. Как пьяный, я просидел всю ночь над этой книгой, а утром отправился в библиотеку и спросил: «Что надо изучить, чтобы сделаться доктором?» Ответ был насмешлив: «Изучите математику, геометрию, ботанику, зоологию, морфологию, биологию, фармакологию, латынь и т. д.». Но я упрямо допрашивал, и я все записал для себя на память.  
      К тому времени я уже два года жег зеленую лампу, а однажды, возвращаясь вечером (я не считал нужным, как сначала, безвыходно сидеть дома 7 часов), увидел человека в цилиндре, который смотрел на мое зеленое окно не то с досадой, не то с презрением. «Ив — классический дурак! — пробормотал тот человек, не замечая меня. — Он ждет обещанных чудесных вещей... да, он хоть имеет надежды, а я... я почти разорен!» Это были вы. Вы прибавили: «Глупая шутка. Не стоило бросать денег».  
      У меня было куплено достаточно книг, чтобы учиться, учиться и учиться, несмотря ни на что. Я едва не ударил вас тогда же на улице, но вспомнил, что благодаря вашей издевательской щедрости могу стать образованным человеком...  
      — А дальше? — тихо спросил Стильтон.  
      — Дальше? Хорошо. Если желание сильно, то исполнение не замедлит. В одной со мной квартире жил студент, который принял во мне участие и помог мне, года через полтора, сдать экзамены для поступления в медицинский колледж. Как видите, я оказался способным человеком...  
      Наступило молчание.  
      — Я давно не подходил к вашему окну, — произнес потрясенный рассказом Ива Стильтон, — давно... очень давно. Но мне теперь кажется, что там все еще горит зеленая лампа... лампа, озаряющая темноту ночи... Простите меня.  
      Ив вынул часы.  
      — Десять часов. Вам пора спать, — сказал он. — Вероятно, через три недели вы сможете покинуть больницу. Тогда позвоните мне, — быть может, я дам вам работу в нашей амбулатории: записывать имена приходящих больных. А спускаясь по темной лестнице, зажигайте... хотя бы спичку.

Конец формы

**Антуан де Сент-Экзюпери**

**ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ (фрагменты)**

Анри Гийоме, товарищ мой,

тебе посвящаю эту книгу

Земля помогает нам понять самих себя, как не помогут никакие книги. Ибо земля нам сопротивляется. Человек познает себя в борьбе с препятствиями. Но для этой борьбы ему нужны орудия. Нужен рубанок или плуг. Крестьянин, возделывая свое поле, мало-помалу вырывает у природы разгадку иных ее тайн и добывает всеобщую истину. Так и самолет - орудие, которое прокладывает воздушные пути, - приобщает человека к вечным вопросам.

Никогда не забуду мой первый ночной полет - это было над Аргентиной, ночь настала темная, лишь мерцали, точно звезды, рассеянные по равнине редкие огоньки.

В этом море тьмы каждый огонек возвещал о чуде человеческого духа. При свете вон той лампы кто-то читает, или погружен в раздумье, или поверяет другу самое сокровенное. А здесь, быть может, кто-то пытается охватить просторы Вселенной или бьется над вычислениями, измеряя туманность Андромеды. А там любят. Разбросаны в полях одинокие огоньки, и каждому нужна пища. Даже самым скромным - тем, что светят поэту, учителю, плотнику. Горят живые звезды, а сколько еще там закрытых окон, сколько погасших звезд, сколько уснувших людей...

Подать бы друг другу весть. Позвать бы вас, огоньки, разбросанные в полях, - быть может, иные и отзовутся.

**II. ТОВАРИЩИ**

1

Несколько французских летчиков, в том числе Мермоз, проложили над непокоренными районами Сахары авиалинию Касабланка - Дакар. Моторы тогда

были очень ненадежны, Мермоз потерпел аварию и попал в руки мавров; они не

решились его убить, две недели держали в плену, потом за выкуп отпустили. И Мермоз снова стал возить почту над теми же районами.

Потом открылось воздушное сообщение с Южной Америкой; Мермоз и тут был

впереди, ему поручили разведать отрезок трассы от Буэнос-Айреса до Сантьяго и вслед за воздушным мостом над Сахарой перекинуть мост через Анды. Ему дали самолет с потолком в пять тысяч двести метров. А вершины Кордильер кое-где достигают семи тысяч. И Мермоз пустился на поиски просветов. Одолев пески, он вызвал на поединок горы, устремленные в небо вершины, на которых развеваются по ветру снежные покрывала; и предгрозовую мглу, что гасит все земные краски; и воздушные потоки, рвущиеся навстречу меж двух отвесных каменных стен с такой яростью, словно вступаешь в драку на ножах. Мермоз начинал бой с неизвестным противником и не знал, можно ли выйти из подобной схватки живым. Мермоз прокладывал дорогу для других.

И вот однажды, прокладывая дорогу, он попал к Андам в плен. Ему пришлось сесть на каменную площадку на высоте четырех тысяч метров, края площадки обрывались отвесно, и два дня они с механиком пытались выбраться из этой ловушки. Но безуспешно. Тогда они решились на последнюю отчаянную попытку: самолет разбежался, резко подскочил раз-другой на неровном камне и с края площадки сорвался в бездну. Падая, он набрал наконец скорость и опять стал повиноваться рулям. Мермоз выровнял машину перед

каменным барьером и перемахнул через него, но все-таки зацепил верхнюю кромку; проведя в воздухе каких-нибудь семь минут, он вновь попал в аварию: из трубок радиатора, лопнувших ночью на морозе, текла вода; и тут под ним, как земля обетованная, распахнулась чилийская равнина. Назавтра он начал все сначала.

Разведав во всех подробностях дорогу через Анды и отработав технику перелета, Мермоз передоверил этот участок трассы своему товарищу Гийоме и взялся за разведку ночи.

В то время наши аэродромы еще не освещались, как теперь, и когда Мермоз

темной ночью шел на посадку, для него зажигали три жалких бензиновых факела.

Он справился и с этим и проложил путь другим. Ночь была приручена, и Мермоз

взялся за океан. Уже в 1931 году он впервые доставил почту из Тулузы в

Буэнос-Айрес за четверо суток. На обратном пути у него что-то случилось с

маслопроводом, и он опустился прямо на бушующие воды Атлантики. Оказавшееся

поблизости судно спасло и почту и экипаж.

Так Мермоз покорял пески и горы, ночь и море. Не раз пески и горы, ночь

и море поглощали его. Но он возвращался - и снова отправлялся в путь.

Так проработал он двенадцать лет, и вот однажды, уже в который раз

пролетая над Южной Атлантикой, коротко радировал, что выключает правый

мотор. И наступило молчание.

Казалось бы, волноваться не из-за чего, но молчание затянулось, прошло

десять минут - и все радисты авиалинии, от Парижа до Буэнос-Айреса, стали на

тревожную вахту. Ибо если в обыденной жизни десять минут опоздания - пустяк,

то для почтового самолета они полны грозного смысла. В этом провале скрыто

неведомое событие. Маловажное ли, трагическое ли, оно уже совершилось.

Судьба вынесла свой приговор, окончательный и бесповоротный: быть может,

жестокая сила всего лишь заставила пилота благополучно опуститься на воду, а

быть может, разбила самолет вдребезги. Но тем, кто ждет, приговор не

объявлен.

Кому из нас не знакома эта надежда, угасающая с каждой минутой, это

молчание, которое становится все тяжелее, словно роковой недуг? Сперва мы

надеялись, но текли часы, и вот уже слишком поздно. К чему обманывать себя -

товарищи не вернутся, они покоятся в глубинах Атлантического океана, над

которым столько раз бороздили небо. Сомнений нет, долгий труд Мермоза

окончен, и он обрел покой - так засыпает в поле жнец, честно связав

последний сноп.

Когда товарищ умирает так, это никого не удивляет, - таково наше

ремесло, и, пожалуй, будь его смерть иной, боль утраты была бы острее. Да,

конечно, теперь он далеко, в последний раз он переменил аэродром, но мы еще

не почувствовали, что нам его не хватает, как хлеба насущного.

Мы ведь привыкли подолгу ждать встреч. Товарищи, работающие на одной

линии, разбросаны по всему свету, от Парижа до Сантьяго, им, точно часовым

на посту, не перемолвиться словом. И только случай порою то здесь, то там

вновь сведет вместе членов большой летной семьи. Где-нибудь в Касабланке, в

Дакаре или Буэнос-Айресе после стольких лет вновь за ужином вернешься к

прерванной когда-то беседе, и вспомнишь прошлое, и почувствуешь, что все мы

по-прежнему друзья. А там и опять в дорогу. Вот почему земля разом и

пустынна и богата. Богата потаенными оазисами дружбы - они скрыты от глаз и

до них нелегко добраться, но не сегодня, так завтра наше ремесло непременно

приводит нас туда. Быть может, жизнь и отрывает нас от товарищей и не дает

нам много о них думать, а все равно где-то, бог весть где, они существуют -

молчаливые, забытые, но всегда верные! И когда наши дороги сходятся, как они

нам рады, как весело нас тормошат! А ждать - ждать мы привыкли...

Но рано или поздно узнаешь, что один из друзей замолк навсегда, мы уже

не услышим его звонкого смеха, отныне этот оазис недосягаем. Вот тогда

настает для нас подлинный траур - не надрывающее душу отчаяние, скорее

горечь.

Нет, никто никогда не заменит погибшего товарища. Старых друзей наскоро

не создашь. Нет сокровища дороже, чем столько общих воспоминаний, столько

тяжких часов, пережитых вместе, столько ссор, примирений, душевных порывов.

Такая дружба - плод долгих лет. Сажая дуб, смешно мечтать, что скоро найдешь

приют в его тени.

Так устроена жизнь. Сперва мы становимся богаче, ведь много лет мы

сажали деревья, но потом настают годы, когда время обращает в прах наши

труды и вырубает лес. Один за другим уходят друзья, лишая нас прибежища. И,

скорбя об ушедших, втайне еще и грустишь о том, что сам стареешь.

Таковы уроки, которые преподали нам Мермоз и другие наши товарищи.

Величие всякого ремесла, быть может, прежде всего в том и состоит, что оно

объединяет людей: ибо ничего нет в мире драгоценнее уз, соединяющих человека

с человеком.

Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму. И

запираемся в одиночестве, и все наши богатства - прах и пепел, они бессильны

доставить нам то, ради чего стоит жить.

Я перебираю самые неизгладимые свои воспоминания, подвожу итог самому

важному из пережитого, - да, конечно, всего значительней, всего весомей были

те часы, каких не принесло бы мне все золото мира. Нельзя купить дружбу

Мермоза, дружбу товарища, с которым навсегда связали нас пережитые

испытания.

Нельзя купить за деньги это чувство, когда летишь сквозь ночь, в

которой горят сто тысяч звезд, и душа ясна, и на краткий срок ты - всесилен.

Нельзя купить за деньги то ощущение новизны мира, что охватывает после

трудного перелета: деревья, цветы, женщины, улыбки - все расцветила яркими

красками жизнь, возвращенная нам вот сейчас, на рассвете, весь согласный хор

мелочей нам наградой.

Не купить за деньги и ту ночь, которая мне сейчас вспоминается, - ночь

в непокоренном районе Сахары.

Мы - три самолета компании "Аэропосталь" - застряли под вечер на берегу

Рио-де-Оро. Первым сделал вынужденную посадку мой товарищ Ригель - у него

заклинило рули; на выручку прилетел другой товарищ, Бурга, однако пустячная

поломка и его приковала к земле. Наконец возле них сел я, но к тому времени

уже стемнело. Мы решили починить машину Бурга, но не ковыряться впотьмах, а

ждать утра.

Годом раньше на этом же самом месте потерпели аварию наши товарищи Гурп

и Эрабль - и непокоренные мавры их убили. Мы знали, что и сейчас где-то у

Бохадора стоит лагерем отряд в триста ружей. Вероятно, издалека увидав, как

приземлились наши три самолета, они подняли тревогу, - и эта ночь может

стать для нас последней.

Итак, мы приготовились к ночному бдению. Вытащили из грузовых кабин

несколько ящиков, высыпали багаж, составили ящики в круг и внутри каждого,

точно в сторожке, зажгли жалкую свечу, кое-как защищенную от ветра. Так

среди пустыни, на обнаженной коре планеты, одинокие, словно на заре времен,

мы возвели человеческое поселение.

Мы собрались на главной площади нашего поселения, на песчаном пятачке,

куда падал из ящиков трепетный свет, и стали ждать. Мы ждали зари, которая

принесет нам спасенье, или мавров. И уж не знаю почему, но было в той ночи

что-то праздничное, рождественское. Мы делились воспоминаниями, шутили,

пели.

Мы были слегка возбуждены, как на пиру. А меж тем ничего у нас не было.

Только ветер, песок да звезды. Суровая нищета в духе траппистов. Но за этим

скудно освещенным столом горстка людей, у которых в целом свете не осталось

ничего, кроме воспоминаний, делилась незримыми сокровищами.

Наконец-то мы встретились. Случается, долго бредешь бок о бок с людьми,

замкнувшись в молчании, либо перекидываясь незначащими словами. Но вот

настает час опасности. И тогда мы друг другу опора. Тогда оказывается - все

мы члены одного братства. Приобщаешься к думам товарищей и становишься

богаче. Мы улыбаемся друг другу. Так выпущенный на волю узник счастлив

безбрежностью моря.

2

Скажу несколько слов о тебе, Гийоме. Не бойся, я не стану вгонять тебя

в краску, громко превознося твою отвагу и мастерство. Не ради этого я хочу

рассказать о самом поразительном твоем приключении.

Есть такое человеческое качество, для него еще не придумано названия.

Быть может, серьезность? Нет, и это неверно. Ведь с ним уживается и улыбка,

и веселый нрав. Оно присуще плотнику: как равный становится он лицом к лицу

с куском дерева, ощупывает его, измеряет и, чуждый пустой самонадеянности,

приступает к работе во всеоружии своих сил и умения.

Однажды я прочел восторженный рассказ о твоем приключении, Гийоме, и

давно хочу свести счеты с этим кривым зеркалом. Тебя изобразили каким-то

дерзким, языкатым мальчишкой, как будто мужество состоит в том, чтобы в час

грозной опасности или перед лицом смерти унизиться до зубоскальства! Они не

знали тебя, Гийоме. Тебе вовсе незачем перед боем поднимать противника на

смех. Когда надвигается буря, ты говоришь: "Будет буря". Ты видишь, что тебе

предстоит, и готовишься к встрече. Я хорошо помню, как это было, Гийоме, и я

свидетельствую.

Зимой ты ушел в рейс через Анды - и исчез, пятьдесят часов от тебя не

было никаких вестей. Я как раз вернулся из глубины Патагонии и присоединился

в Мендосе к летчику Деле. Пять дней кряду мы кружили над горами, пытаясь

отыскать в этом хаосе хоть какой-то след, но безуспешно. Что тут могли

сделать два самолета! Казалось, и сотне эскадрилий за сто лет не обшарить

все это неоглядное нагромождение гор, где иные вершины уходят ввысь на семь

тысяч метров. Мы потеряли всякую надежду. Даже местные контрабандисты,

головорезы, которые в долине ради пяти франков идут на любой риск и

преступление, и те не решились вести спасательные отряды на штурм этих

твердынь. "Нам своя шкура дороже, - говорили они. - Зимой Анды человека

живым не выпустят". Когда мы с Деле возвращались в Сантьяго, чилийские

должностные лица всякий раз советовали нам отказаться от поисков. "Сейчас

зима. Если даже ваш товарищ и не разбился насмерть, до утра он не дожил.

Ночь в горах пережить нельзя, она превращает человека в кусок льда". А потом

я снова пробирался среди отвесных стен и гигантских столпов Анд, и мне

казалось - я уже не ищу тебя, а в безмолвии снежного собора читаю над тобой

последнюю молитву.

А на седьмой день я между вылетами завтракал в одном мендосском

ресторане, и вдруг кто-то распахнул дверь и крикнул - всего лишь два слова:

- Гийоме жив!

И все, кто там был, даже незнакомые, на радостях обнялись. Через десять

минут я уже поднялся в воздух, прихватив с собой двух механиков - Лефевра и

Абри. А еще через сорок минут приземлился на дороге, шестым чувством угадав

машину, увозившую тебя куда-то к Сан-Рафаэлю. Это была счастливая встреча,

мы все плакали, мы душили тебя в объятиях - ты жив, ты воскрес, ты сам

сотворил это чудо! Вот тогда ты сказал - и эти первые твои слова были полны

великолепной человеческой гордости:

- Ей-богу, я такое сумел, что ни одной скотине не под силу.

Позже ты нам рассказал, как все это случилось. Двое суток бесновалась

метель, чилийские склоны Анд утопали под пятиметровым слоем снега, видимости

не было никакой - и летчики американской авиакомпании повернули назад. А ты

все-таки вылетел, ты искал просвет в сером небе. Вскоре на юге ты нашел эту

ловушку, вышел из облаков - они кончались на высоте шести тысяч метров, и

над ними поднимались лишь немногие вершины, а ты достиг шести с половиной

тысяч - и взял курс на Аргентину.

Странное и тягостное чувство охватывает пилота, которому случится

попасть в нисходящее воздушное течение. Мотор работает - и все равно

проваливаешься. Вздергиваешь самолет на дыбы, стараясь снова набрать высоту,

но он теряет скорость и силу, и все-таки проваливаешься. Опасаясь, что

слишком круто задрал нос, отдаешь ручку, предоставляешь воздушному потоку

снести тебя в сторону, ищешь поддержки у какого-нибудь хребта, который

служит ветру трамплином, - и по-прежнему проваливаешься. Кажется, само небо

падает. Словно ты захвачен какой-то вселенской катастрофой. От нее негде

укрыться. Тщетно поворачиваешь назад, туда, где еще совсем недавно воздух

был прочной, надежной опорой. Опереться больше не на что. Все разваливается,

весь мир рушится, и неудержимо сползаешь вниз, а навстречу медленно

поднимается облачная муть, окутывает тебя и поглощает.

- Я потерял высоту и даже не сразу понял, что к чему, - рассказывал ты.

- Кажется, будто облака неподвижны, но это потому, что они все время

меняются и перестраиваются на одном и том же уровне, и вдруг над ними -

нисходящие потоки. Непонятные вещи творятся там, в горах. А какие

громоздились облака!..

- Вдруг машина ухнула вниз, я невольно выпустил рукоятку и вцепился в

сиденье, чтоб меня не выбросило из кабины. Трясло так, что ремни врезались

мне в плечи и чуть не лопнули. А тут еще стекла залепило снегом, приборы

перестали показывать горизонт, и я кубарем скатился с шести тысяч метров до

трех с половиной.

Тут я увидел под собой черное плоское пространство, оно помогло мне

выровнять самолет. Это было горное озеро Лагуна Диаманте. Я знал, что оно

лежит в глубокой котловине и одна ее сторона - вулкан Маипу - поднимается на

шесть тысяч девятьсот метров. Хоть я и вырвался из облачности, меня все еще

слепили снежные вихри, и, попытайся я уйти от озера, я непременно разбился

бы о каменные стены котловины. Я кружил и кружил над ним на высоте тридцати

метров, пока не кончилось горючее. Два часа крутился, как цирковая лошадь на

арене. Потом сел - и перевернулся. Выбрался из-под машины, но буря сбила

меня с ног. Поднялся - опять сбило. Пришлось залезть под кабину, выкопать

яму в снегу и там укрыться. Я обложился со всех сторон мешками с почтой и

высидел так двое суток.

А потом буря утихла, и я пошел. Я шел пять дней и четыре ночи.

Но что от тебя осталось, Гийоме! Да, мы тебя нашли, но как ты высох,

исхудал, весь съежился, точно старуха! В тот же вечер я доставил тебя

самолетом в Мендосу, там тебя, словно бальзам, омыла белизна простынь. Но

они не утолили боль. Измученное тело мешало тебе, ты ворочался, и не находил

себе места, и никак не мог уснуть. Твое тело не забыло ни скал, ни снегов.

Они наложили на тебя свою печать. Лицо твое почернело и опухло, точно

перезрелый побитый плод. Ты был страшен и жалок, прекрасные орудия твоего

труда - твои руки - одеревенели и отказывались тебе служить; а когда, борясь

с удушьем, ты садился на край кровати, обмороженные ноги свисали мертвым

грузом. Было так, словно ты все еще в пути - бредешь, и задыхаешься, и,

приникнув к подушке, тоже не находишь покоя, - назойливые видения,

теснившиеся где-то в тайниках мозга, опять и опять проходят перед тобой, и

ты не в силах остановить это шествие. И нет ему конца. И опять, в который

раз, ты вступаешь в бой с поверженным и вновь восстающим из пепла врагом. Я

поил тебя всякими целебными снадобьями:

- Пей, старик!

- И понимаешь, что было самое удивительное...

Точно боксер, который одержал победу, но и сам жестоко избит, ты заново

переживал свое поразительное приключение. Ты рассказывал понемногу,

урывками, и тебе становилось легче. А мне представлялось - вот ты идешь в

лютый сорокаградусный мороз, карабкаешься через перевалы на высоте четырех с

половиной тысяч метров, у тебя нет ни ледоруба, ни веревки, ни еды, ты

проползаешь по краю откосов, обдирая в кровь ступни, колени, ладони. С

каждым часом ты теряешь кровь, и силы, и рассудок и все-таки движешься

вперед, упорный, как муравей; возвращаешься, наткнувшись на неодолимую

преграду или взобравшись на крутизну, за которой разверзается пропасть;

падаешь и вновь поднимаешься, не даешь себе хотя бы краткой передышки - ведь

стоит прилечь на снежное ложе, и уже не встанешь.

Да, поскользнувшись, ты спешил подняться, чтобы не закоченеть. С каждым

мигом ты цепенел, стоило позволить себе после падения лишнюю минуту отдыха -

и уже не слушались омертвелые мышцы, и так трудно было подняться. Но ты не

поддавался соблазну.

- В снегу теряешь всякое чувство самосохранения, - говорил ты мне. -

Идешь два, три, четыре дня - и уже ничего больше не хочется, только спать. Я

хотел спать. Но я говорил себе - если жена верит, что я жив, она верит, что

я иду. И товарищи верят, что я иду. Все они верят в меня. Подлец я буду,

если остановлюсь!

И ты шел, и каждый день перочинным ножом расширял надрезы на башмаках,

в которых уже не умещались обмороженные распухшие ноги. Ты поразил меня

одним признанием:

- Понимаешь, уже со второго дня всего трудней было не думать. Уж очень

мне стало худо, и положение самое отчаянное. И задумываться об этом нельзя,

а то не хватит мужества идти. На беду, голова плохо слушалась, работала без

остановки, как турбина. Но мне все-таки удавалось управлять воображением. Я

подкидывал ему какой-нибудь фильм или книгу. И фильм или книга

разворачивались передо мной полным ходом, картина за картиной. А потом

какой-нибудь поворот опять возвращал мысль к действительности. Неминуемо. И

тогда я заставлял себя вспоминать что-нибудь другое...

Но однажды ты поскользнулся, упал ничком в снег - и не стал

подниматься. Это было как внезапный нокаут, когда боксер утратил волю к

борьбе и равнодушен к счету секунд, что звучит где-то далеко, в чужом мире -

раз, два, три... а там десятая - и конец.

- Я сделал все, что мог, надежды никакой не осталось - чего ради тянуть

эту пытку?

Довольно было закрыть глаза - и в мире настал бы покой. Исчезли бы

скалы, льды и снега. Нехитрое волшебство: сомкнешь веки, и все пропадает -

ни ударов, ни падений, ни острой боли в каждом мускуле, ни жгучего холода,

ни тяжкого груза жизни, которую тащишь, точно вол - непомерно тяжелую

колымагу. Ты уже ощутил, как холод отравой разливается по всему телу и,

словно морфий, наполняет тебя блаженством. Жизнь отхлынула к сердцу, больше

ей негде укрыться. Там, глубоко внутри, сжалось в комочек что-то нежное,

драгоценное. Сознание постепенно покидало дальние уголки тела, которое еще

недавно было как истерзанное животное, а теперь обретало безразличную

холодность мрамора.

Даже совесть твоя утихала. Наши призывные голоса уже не доносились до

тебя, вернее, они звучали как во сне. И во сне ты откликался, ты шел по

воздуху невесомыми счастливыми шагами, и перед тобой уже распахивались

отрадные просторы равнин. Как легко ты парил в этом мире, как он стал

приветлив и ласков! И ты, скупец, решил у нас отнять радость своего

возвращения.

В самых дальних глубинах твоего сознания шевельнулись угрызения

совести. В сонные грезы вторглась трезвая мысль.

- Я подумал о жене. Мой страховой полис убережет ее от нищеты. Да, но

если...

Если застрахованный пропадает без вести, по закону его признают умершим

только через четыре года. Перед этой суровой очевидностью отступили все сны

и видения. Вот ты лежишь ничком, распластавшись на заснеженном откосе.

Настанет лето, и мутный поток талых вод снесет твое тело в какую-нибудь

расселину, которых в Андах тысячи. Ты это знал. Но знал и то, что в

пятидесяти метрах перед тобой торчит утес.

- Я подумал - если встану, может, и доберусь до него. Прижмусь покрепче

к камню, тогда летом тело найдут.

А поднявшись на ноги, ты шел еще две ночи и три дня.

Но ты вовсе не надеялся уйти далеко.

- По многим признакам я угадывал близкий конец. Вот пример. Каждые два

часа или около того мне приходилось останавливаться - то еще немного

разрезать башмак, то растереть опухшие ноги, то просто дать отдых сердцу. Но

в последние дни память стала мне изменять. Бывало, отойду довольно далеко от

места остановки, а потом спохватываюсь: опять я что-нибудь да забыл! Сперва

забыл перчатку, а в такой мороз это не шутка. Положил ее возле себя, а

уходя, не поднял. Потом забыл часы. Потом перочинный нож. Потом компас. Что

ни остановка, то потеря...

Спасенье в том, чтобы сделать первый шаг. Еще один шаг. С него-то все и

начинается заново...

- Ей-богу, я такое сумел, что ни одной скотине не под силу.

Опять мне приходят на память эти слова - я не знаю ничего благороднее,

эти слова определяют высокое место человека в мире, в них - его честь и

слава, его подлинное величие. Наконец ты засыпал, сознание угасало, но с

твоим пробуждением и оно тоже возрождалось и вновь обретало власть над

изломанным, измятым, обожженным телом. Так, значит, наше тело лишь послушное

орудие, лишь верный слуга. И ты гордишься им, Гийоме, и эту гордость ты тоже

сумел вложить в слова:

- Я ведь шел голодный, так что, сам понимаешь, на третий день сердце

начало сдавать... Ну и вот, ползу я по круче, подо мной - обрыв, пропасть,

пробиваю в снегу ямку, чтобы сунуть кулак, и на кулаках повисаю - и вдруг

сердце отказывает. То замрет, то опять работает. Да неуверенно, неровно.

Чувствую - помешкай оно лишнюю секунду, и я свалюсь. Застыл на месте,

прислушиваюсь - как оно там, внутри? Никогда, понимаешь, никогда в полете я

так всем нутром не слушал мотор, как в эти минуты - собственное сердце. Все

зависело от него. Я его уговариваю - а ну-ка, еще разок! Постарайся еще...

Но сердце оказалось первый сорт. Замрет - а потом все равно опять

работает... Знал бы ты, как я им гордился!

Задыхаясь, ты наконец засыпал. А я сидел там, в Мендосе, у твоей

постели и думал: если заговорить с Гийоме о его мужестве, он только пожмет

плечами. Но и восхвалять его скромность было бы ложью. Он выше этой

заурядной добродетели. А пожмет плечами потому, что умудрен опытом. Он знает

- люди, застигнутые катастрофой, уже не боятся. Пугает только неизвестность.

Но когда человек уже столкнулся с нею лицом к лицу, она перестает быть

неизвестностью. А особенно - если встречаешь ее вот так спокойно и серьезно.

Мужество Гийоме рождено прежде всего душевной прямотой.

Главное его достоинство не в этом. Его величие - в сознании

ответственности. Он в ответе за самого себя, за почту, за товарищей, которые

надеются на его возвращение. Их горе или радость у него в руках. Он в ответе

за все новое, что создается там, внизу, у живых, он должен участвовать в

созидании. Он в ответе за судьбы человечества - ведь они зависят и от его

труда.

Он из тех больших людей, что подобны большим оазисам, которые могут

многое вместить и укрыть в своей тени. Быть человеком - это и значит

чувствовать, что ты за все в ответе. Сгорать от стыда за нищету, хоть она

как будто существует и не по твоей вине. Гордиться победой, которую одержали

товарищи. И знать, что, укладывая камень, помогаешь строить мир.

И таких людей ставят на одну доску с тореадорами или с игроками!

Расхваливают их презрение к смерти. А мне плевать на презрение к смерти.

Если корни его не в сознании ответственности, оно - лишь свойство нищих

духом либо чересчур пылких юнцов. Мне вспоминается один молодой самоубийца.

Уж не знаю, какая несчастная любовь толкнула его на это, но он старательно

всадил себе пулю в сердце. Не знаю, какому литературному образцу он

следовал, натягивая перед этим белые перчатки, но помню - в этом жалком

театральном жесте я почувствовал не благородство, а убожество. Итак, за

приятными чертами лица, в голове, где должен бы обитать человеческий разум,

ничего не было, ровно ничего. Только образ какой-то глупой девчонки, каких

на свете великое множество.

Эта бессмысленная судьба напомнила мне другую смерть, поистине

достойную человека. То был садовник, он говорил мне:

- Бывало, знаете, рыхлю заступом землю, а сам обливаюсь потом...

Ревматизм мучит, ноги ноют, кляну, бывало, эту каторгу на чем свет стоит. А

вот нынче копался бы и копался в земле. Отличное это дело! Так вольно

дышится! И потом, кто теперь станет подстригать мои деревья?

Он оставлял возделанную землю. Возделанную планету. Узы любви соединяли

его со всеми полями и садами, со всеми деревьями нашей земли. Вот кто был ее

великодушным, щедрым хозяином и властелином. Вот кто, подобно Гийоме,

обладал истинным мужеством, ибо он боролся со смертью во имя Созидания.

**III. САМОЛЕТ**

Не в том суть, Гийоме, что твое ремесло заставляет тебя день и ночь

следить за приборами, выравниваться по гироскопам, вслушиваться в дыхание

моторов, опираться на пятнадцать тонн металла; задачи, встающие перед тобой,

в конечном счете - задачи общечеловеческие, и вот ты уже равен благородством

жителю гор. Не хуже поэта ты умеешь наслаждаться утренней зарей. Сколько

раз, затерянный в бездне тяжких ночей, ты жаждал, чтобы там, далеко на

востоке, над черной землей возник первый слабый проблеск, первый сноп света.

Случалось, ты уже готовился к смерти, но во мраке медленно пробивался этот

чудесный родник - и возвращал тебе жизнь.

Привычка к сложнейшим инструментам не сделала тебя бездушным техником.

Мне кажется, те, кого приводит в ужас развитие техники, не замечают разницы

между средством и целью. Да, верно, кто добивается лишь материального

благополучия, тот пожинает плоды, ради которых не стоит жить. Но ведь машина

не цель. Самолет - не цель, он всего лишь орудие. Такое же орудие, как плуг.

Нам кажется, будто машина губит человека, - но, быть может, просто

слишком стремительно меняется наша жизнь, и мы еще не можем посмотреть на

эти перемены со стороны. По сравнению с историей человечества, а ей двести

тысяч лет, сто лет истории машины - такая малость! Мы едва начинаем

осваиваться среди шахт и электростанций. Мы едва начинаем обживать этот

новый дом, мы его даже еще не достроили. Вокруг все так быстро изменилось:

взаимоотношения людей, условия труда, обычаи. Да и наш внутренний мир

потрясен до самого основания. Хоть и остались слова - разлука, отсутствие,

даль, возвращение, - но их смысл стал иным. Пытаясь охватить мир

сегодняшний, мы черпаем из словаря, сложившегося в мире вчерашнем. И нам

кажется, будто в прошлом жизнь была созвучнее человеческой природе, - но это

лишь потому, что она созвучнее нашему языку.

Мы едва успели обзавестись привычками, а каждый шаг по пути прогресса

уводил нас все дальше от них, и вот мы - скитальцы, мы еще не успели создать

себе отчизну.

Все мы - молодые дикари, мы не устали дивиться новым игрушкам. Ведь в

чем смысл наших авиационных рекордов? Вот он, победитель, он летит всех

выше, всех быстрей. Мы уже не помним, чего ради посылали его в полет. На

время гонка сама по себе становится важнее цели. Так бывает всегда. Солдат,

который покоряет земли для империи, видит смысл жизни в завоеваниях. И он

презирает колониста. Но ведь затем он и воевал, чтоб на захваченных землях

поселился колонист! Упиваясь своими успехами, мы служили прогрессу -

прокладывали железные дороги, строили заводы, бурили нефтяные скважины. И

как-то забыли, что все это для того и создавалось, чтобы служить людям. В

пору завоеваний мы рассуждали, как солдаты. Но теперь настал черед

поселенцев. Надо вдохнуть жизнь в новый дом, у которого еще нет своего лица.

Для одних истина заключалась в том, чтобы строить, для других она в том,

чтобы обживать.

Бесспорно, понемногу наш дом станет настоящим человеческим жилищем.

Даже машина, становясь совершеннее, делает свое дело все скромней и

незаметней. Кажется, будто все труды человека - создателя машин, все его

расчеты, все бессонные ночи над чертежами только и проявляются во внешней

простоте; словно нужен был опыт многих поколений, чтобы все стройней и

чеканней становились колонна, киль корабля или фюзеляж самолета, пока не

обрели наконец первозданную чистоту и плавность линий груди или плеча.

Кажется, будто работа инженеров, чертежников, конструкторов к тому и

сводится, чтобы шлифовать и сглаживать, чтобы облегчить и упростить механизм

крепления, уравновесить крыло, сделать его незаметным - уже не крыло,

прикрепленное к фюзеляжу, но некое совершенство форм, естественно

развившееся из почки, таинственно слитное и гармоническое единство, которое

сродни прекрасному стихотворению. Как видно, совершенство достигается не

тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять. Машина

на пределе своего развития - это уже почти не машина.

Итак, по изобретению, доведенному до совершенства, не видно, как оно

создавалось. У простейших орудий труда мало-помалу стирались видимые

признаки механизма, и в руках у нас оказывался предмет, будто созданный

самой природой, словно галька, обточенная морем; тем же примечательна и

машина - пользуясь ею, постепенно о ней забываешь.

Вначале мы приступали к ней, как к сложному заводу. Но сегодня мы уже

не помним, что там в моторе вращается. Оно обязано вращаться, как сердце

обязано биться, а мы ведь не прислушиваемся к биению своего сердца. Орудие

уже не поглощает нашего внимания без остатка. За орудием и через него мы

вновь обретаем все ту же вечную природу, которую издавна знают садовники,

мореходы и поэты.

В полете встречаешься с водой и с воздухом. Когда запущены моторы,

когда гидроплан берет разбег по морю, гондола его отзывается, точно гонг,

как удары волн, и пилот всем телом ощущает эту напряженную дрожь. Он

чувствует, как с каждой секундой машина набирает скорость и вместе с этим

нарастает ее мощь. Он чувствует, как в пятнадцатитонной громаде зреет та

сила, что позволит взлететь. Он сжимает ручку управления, и эта сила, точно

дар, переливается ему в ладони. Он овладевает этим даром, и металлические

рычаги становятся послушными исполнителями его воли. Наконец мощь его вполне

созрела - и тогда легким, неуловимым движением, словно срывая спелый плод,

летчик поднимает машину над водами и утверждает ее в воздухе.

**IV. САМОЛЕТ И ПЛАНЕТА**

1

Да, конечно, самолет - машина, но притом какое орудие познания! Это он

открыл нам истинное лицо Земли. В самом деле, дороги веками нас обманывали.

Мы были точно императрица, пожелавшая посетить своих подданных и посмотреть,

довольны ли они ее правлением. Чтобы провести ее, лукавые царедворцы

расставили вдоль дороги веселенькие декорации и наняли статистов водить

хороводы. Кроме этой тоненькой ниточки, государыня ничего не увидела в своих

владениях и не узнала, что на бескрайних равнинах люди умирают с голоду и

проклинают ее.

Так и мы брели по извилистым дорогам. Они обходят стороной бесплодные

земли, скалы и пески; верой и правдой служа человеку, они бегут от родника

до родника. Они ведут крестьянина от гумна к пшеничному полю, принимают у

хлева едва проснувшийся скот и на рассвете выплескивают его в люцерну. Они

соединяют деревню с деревней, потому что деревенские жители не прочь

породниться с соседями. А если какая-нибудь дорога и отважится пересечь

пустыню, то в поисках передышки будет без конца петлять от оазиса к оазису.

И мы обманывались их бесчисленными изгибами, словно утешительной ложью,

на пути нам то и дело попадались орошенные земли, плодовые сады, сочные

луга, и мы долго видели нашу тюрьму в розовом свете. Мы верили, что планета

наша - влажная и мягкая.

А потом наше зрение обострилось, и мы сделали жестокое открытие.

Самолет научил нас двигаться по прямой. Едва оторвавшись от земли, мы

покидаем дороги, что сворачивают к водоемам и хлевам или вьются от города к

городу. Отныне мы свободны от милого нам рабства, не зависим больше от

родников и берем курс на дальние цели. Только теперь, с высоты

прямолинейного полета, мы открываем истинную основу нашей земли, фундамент

из скал, песка и соли, на котором, пробиваясь там и сям, словно мох среди

развалин, зацветает жизнь.

И вот мы становимся физиками, биологами, мы рассматриваем поросль

цивилизаций - они украшают собою долины и кое-где чудом расцветают, словно

пышные сады в благодатном климате. Мы смотрим в иллюминатор, как ученый в

микроскоп, и судим человека по его месту во Вселенной. Мы заново

перечитываем свою историю.

2

Когда летишь к Магелланову проливу, немного южнее Рио-Гальегос видишь

внизу поток застывшей лавы. Эти остатки давно отбушевавших катаклизмов

двадцатиметровой толщей придавили равнину. Дальше пролетаешь над вторым

таким потоком, над третьим, а потом идут горушки, бугры высотой в двести

метров, и на каждом зияет кратер. Ничего похожего на гордый Везувий: прямо

на равнине разинуты жерла гаубиц.

Но сегодня здесь мир и тишина. Странным и неуместным кажется это

спокойствие вставшей дыбом земли, где когда-то тысячи вулканов, изрыгая

пламя, перекликались громовым рокотом подземного органа. А сейчас летишь над

безмолвной пустыней, повитой лентами черных ледников.

Дальше идут вулканы более древние, их уже одела золотая мурава. Порою в

кратере растет дерево, совсем как цветок в старом горшке. Окрашенная светом

догорающего дня, равнина больше похожа на великолепный парк с заботливо

подстриженным газоном и лишь слегка вздымается вокруг огромных разинутых

пастей. Улепетывает заяц, взлетает птица - жизнь завладела новой планетой,

небесным телом, которое наконец облеклось доброй плотью земли.

Незадолго до Пунта-Аренас последние кратеры сходят на нет. Горбы

вулканов почти незаметны под ровным покровом зелени, все изгибы спокойны и

плавны. Каждую щель затянула эта мягкая ткань. Почва ровная, склоны пологие,

и уже не помнишь об их происхождении. Зелень трав стирает с холмов мрачные

приметы.

И вот самый южный город на свете, он возник благодаря случайной горстке

грязи, что скопилась меж древней застывшей лавой и южными льдами. Здесь,

совсем рядом с этими черными потоками, особенно остро ощущаешь, какое это

чудо - человек. Редкостная удача! Бог весть как, бог весть почему этот

странник забрел в сады, которые словно только его и ждали, в сады, где жизнь

возможна лишь одну геологическую эпоху - краткий срок, мимолетный праздник

среди нескончаемых будней.

Я приземлился в тихий теплый вечер. Пунта-Аренас! Прислоняюсь к камням

фонтана и гляжу на девушек. Они прелестны, и в двух шагах от них еще острее

чувствуешь: непостижимое существо человек. В нашем мире все живое тяготеет к

себе подобному, даже цветы, клонясь под ветром, смешиваются с другими

цветами, лебедю знакомы все лебеди - и только люди замыкаются в одиночестве.

Как отдаляет нас друг от друга наш внутренний мир! Между мною и этой

девушкой стоят ее мечты - как одолеть такую преграду? Что могу я знать о

девушке, которая неспешно возвращается домой, опустив глаза и улыбаясь про

себя, поглощенная милыми выдумками и небылицами? Из невысказанных мыслей

возлюбленного, из его слов и его молчания она умудрилась создать собственное

королевство, и отныне для нее все другие люди - просто варвары. Я знаю, она

замкнулась в своей тайне, в своих привычках, в певучих отголосках

воспоминаний, она далека от меня, точно мы живем на разных планетах. Лишь

вчера рожденная вулканами, зелеными лужайками или соленой морской волной,

она уже почти божество.

Пунта-Аренас! Прислоняюсь к камням фонтана. Старухи приходят сюда

набрать воды; их удел - тяжелая работа, только это я и узнаю об их судьбе.

Откинувшись к стене, безмолвными слезами плачет ребенок; только это я о нем

и запомню: славный малыш, навеки безутешный. Я чужой. Я ничего о них не

знаю. Мне нет доступа в их владения.

До чего скупы декорации, среди которых развертывается многоликая игра

человеческой вражды, и дружбы, и радостей! Волей случая люди брошены на еще

не остывшую лаву, и уже надвигаются на них грозные пески и снега, - откуда

же у них эта тяга к вечности? Ведь их цивилизация - лишь хрупкая позолота:

заговорит вулкан, нахлынет море, дохнет песчаная буря - и они сгинут без

следа.

Этот город, видно, раскинулся на щедрой земле, полагают, что слой почвы

здесь глубокий, как в Бос. И люди забывают, что здесь, как и повсюду, жизнь

- это роскошь, что нет на планете такого места, где земля у нас под ногами и

впрямь лежала бы толстым слоем. Но в десяти километрах от Пунта-Аренас я

знаю пруд, который наглядно это показывает. Окаймленный чахлыми деревцами и

приземистыми домишками, он неказист, точно лужа посреди крестьянского двора,

но вот что непостижимо - в нем существуют приливы и отливы. Все вокруг так

мирно и обыденно, шуршат камыши, играют дети, а пруд подчиняется иным

законам, и ни днем ни ночью не замирает его медленное дыхание. Недвижная

сонная гладь, единственная ветхая лодка, а под всем этим - воды, покорные

влиянию луны. Их черные глуби живут одной жизнью с морем. Окрест, до самого

Магелланова пролива, под тонкой пленкой трав и цветов все причудливо

связано, все смешивается и переливается. И вот - город, кажется, он надежно

построен на обжитой земле, и здесь ты дома, - а у самого порога, в луже

шириной едва в сотню метров, бьется пульс моря.

3

Мы живем на планете-страннице. Порой благодаря самолету мы узнаем

что-то новое о ее прошлом: связь лужи с луной изобличает скрытое родство -

но я встречал и другие приметы.

Пролетая над побережьем Сахары, между Кап-Джуби и Сиснеросом, тут и там

видишь своеобразные плоскогорья от нескольких сот шагов до тридцати

километров в поперечнике, похожие на усеченные конусы. Примечательно, что

все они одной высоты - триста метров. Одинаковы их уровень, их окраска (они

состоят из тех же пород), одинаково круты их склоны. Точно колонны, которые,

возвышаясь над песками, еще очерчивают тень давно рухнувшего храма, эти

столбы свидетельствуют, что некогда здесь простиралось, соединяя их, одно

огромное плоскогорье.

Воздушное сообщение между Касабланкой и Дакаром только еще начиналось,

наши машины были в те годы хрупки и ненадежны - и, когда мы терпели аварию

или вылетали на поиски товарищей или на выручку, нередко нам приходилось

садиться в непокоренных районах. А песок обманчив: понадеешься на его

плотность - и увязнешь. Что до древних солончаков, с виду они тверды, как

асфальт, и гулко звенят под ногой, но зачастую не выдерживают тяжести колес.

Белая корка соли проламывается - и оказываешься в черной зловонной трясине.

Вот почему, когда было возможно, мы предпочитали гладкую поверхность этих

плоскогорий - здесь-то не скрывалось никакой западни.

Порукой тому был слежавшийся крупный и тяжелый песок - громадные залежи

мельчайших ракушек. На поверхности плоскогорий они сохранились в целости, а

дальше вглубь - это видно было по срезу - все больше дробились и

спрессовывались. В самых древних пластах, в основании массива, уже

образовался чистейший известняк.

И вот в ту пору, когда надо было выручать из плена наших товарищей Рена

и Серра, захваченных непокорными племенами, я доставил на такое плоскогорье

мавра, посланного для переговоров, и, прежде чем улететь, стал вместе с ним

искать, где бы ему сойти вниз. Но со всех сторон наша площадка отвесно

обрывалась в бездну круто ниспадающими складками, точно тяжелый каменный

занавес. Спуститься было немыслимо.

Надо было лететь, искать более подходящее место, но я замешкался. Быть

может, это ребячество, но так радостно ощущать под ногами землю, по которой

ни разу еще не ступали ни человек, ни животное. Ни один араб не взял бы

приступом эту твердыню. Ни один европейский исследователь еще не бывал

здесь. Я мерил шагами девственный, с начала времен не тронутый песок. Я

первый пересыпал в ладонях, как бесценное золото, раздробленные в пыль

ракушки. Первым я нарушил здесь молчание. На этой полярной льдине, которая

от века не взрастила ни единой былинки, я, словно занесенное ветрами семя,

оказался первым свидетельством жизни.

В небе уже мерцала звезда, я поднял к ней глаза. Сотни тысяч лет, думал

я, эта белая гладь открывалась только взорам светил. Незапятнанно чистая

скатерть, разостланная под чистыми небесами. И вдруг сердце у меня замерло,

словно на пороге необычайного открытия: на этой скатерти, в каких-нибудь

тридцати шагах от меня, чернел камень.

Под ногами лежала трехсотметровая толща спрессованных ракушек. Этот

сплошной гигантский пласт был как самый неопровержимый довод: здесь нет и не

может быть никаких камней. Если и дремлют там, глубоко под землей, кремни -

плод медленных превращений, совершающихся в недрах планеты, - каким чудом

один из них могло вынести на эту нетронутую поверхность? С бьющимся сердцем

я подобрал находку - плотный черный камень величиной с кулак, тяжелый, как

металл, и округлый, как слеза.

На скатерть, разостланную под яблоней, может упасть только яблоко, на

скатерть, разостланную под звездами, может падать только звездная пыль, -

никогда ни один метеорит не показывал так ясно, откуда он родом.

И естественно, подняв голову, я подумал, что небесная яблоня должна

была уронить и еще плоды. И я найду их там, где они упали, - ведь сотни и

тысячи лет ничто не могло их потревожить. И ведь не могли они раствориться в

этом песке. Я тотчас пустился на поиски, чтобы проверить догадку.

Она оказалась верна. Я подбирал камень за камнем, примерно по одному на

гектар. Все они были точно капли застывшей лавы. Все тверды, как черный

алмаз. И в краткие минуты, когда я замер на вершине своего звездного

дождемера, предо мною словно разом пролился этот длившийся тысячелетия

огненный ливень.

4

Но всего чудесней, что там, на выгнутой спине нашей планеты, между

намагниченной скатертью и звездами, поднялся человеческий разум, в котором

мог отразиться, как в зеркале, этот огненный дождь. Среди извечных

напластований мертвой материи человеческое раздумье - чудо. А они приходили,

раздумья...

Однажды авария забросила меня в сердце песчаной пустыни, и я дожидался

рассвета. Склоны дюн, обращенные к луне, сверкали золотом, а противоположные

склоны оставались темными до самого гребня, где тонкая, четкая линия

разделяла свет и тень. На этой пустынной верфи, исполосованной мраком и

луной, царила тишина прерванных на час работ, а быть может, безмолвие

капкана, - и в этой тишине я уснул.

Очнувшись, я увидел один лишь водоем ночного неба, потому что лежал я

на гребне дюны, раскинув руки, лицом к этому живозвездному садку. Я еще не

понимал, что за глубины мне открылись, между ними и мною не было ни корня,

за который можно бы ухватиться, ни крыши, ни ветви дерева, и уже во власти

головокружения я чувствовал, что неудержимо падаю, стремительно погружаюсь в

пучину.

Но нет, я не падал. Оказалось, весь я с головы до пят привязан к земле.

И, странно умиротворенный, я предавался ей всею своей тяжестью. Сила

тяготения показалась мне всемогущей, как любовь.

Всем телом я чувствовал - земля подпирает меня, поддерживает, несет

сквозь бескрайнюю ночь. Оказалось - моя собственная тяжесть прижимает меня к

планете, как на крутом вираже всей тяжестью вжимаешься в кабину, и я

наслаждался этой великолепной опорой, такой прочной, такой надежной, и

угадывал под собой выгнутую палубу моего корабля.

Я так ясно ощущал это движение в пространстве, что ничуть не удивился

бы, услыхав из недр земли жалобный голос вещества, мучимого непривычным

усилием, стон дряхлого парусника, входящего в гавань, пронзительный скрип

перегруженной баржи. Но земные толщи хранили безмолвие. Но плечами я ощущал

силу притяжения - все ту же, гармоничную, неизменную, данную на века. Да, я

неотделим от родной планеты - так гребцы затонувшей галеры, прикованные к

месту свинцовым грузом, навеки остаются на дне морском.

Затерянный в пустыне, окруженный опасностями, беззащитный среди песков

и звезд, отрезанный от магнитных полюсов моей жизни немыми далями,

раздумывал я над своей судьбой. Я знал: на то, чтоб возвратиться к этим

животворным полюсам, если только меня не разыщет какой-нибудь самолет и не

прикончат завтра мавры, уйдут долгие дни, недели и месяцы. Здесь у меня не

оставалось ничего. Всего лишь смертный, заблудившийся среди песков и звезд,

я сознавал, что обладаю только одной радостью - дышать...

Зато вдоволь было снов наяву.

Они прихлынули неслышно, как воды родника, и сперва я не понял, откуда

она, эта охватившая меня нега. Ни голосов, ни видений, только чувство, что

рядом кто-то есть, близкий и родной друг, и вот сейчас, сейчас я его узнаю.

А потом я понял - и, закрыв глаза, отдался колдовству памяти.

Был где-то парк, густо заросший темными елями и липами, и старый дом,

дорогой моему сердцу. Что за важность, близок он или далек, что за важность,

если он и не может ни укрыть меня, ни обогреть, ибо здесь он только греза:

он существует - и этого довольно, в ночи я ощущаю его достоверность. Я уже

не безымянное тело, выброшенное на берег, я обретаю себя - в этом доме я

родился, память моя полна его запахами, прохладой его прихожих, голосами,

что звучали в его стенах. Даже кваканье лягушек в лужах - и то донеслось до

меня. Мне так нужны были эти бесчисленные приметы, чтобы вновь узнать самого

себя, чтобы понять, откуда, из каких утрат возникает в пустыне чувство

одиночества, чтобы постичь смысл ее молчания, возникающего из бесчисленных

молчаний, когда не слышно даже лягушек.

Нет, я уже не витал меж песков и звезд. Эта застывшая декорация больше

ничего мне не говорила. И даже ощущение вечности, оказывается, исходило

совсем не от нее. Передо мною вновь предстали почтенные шкафы старого дома.

За приоткрытыми дверцами высились снеговые горы простынь. Там хранилась

снеговая прохлада. Старушка домоправительница семенила, как мышь, от шкафа к

шкафу, неутомимо проверяла выстиранное белье, раскладывала, складывала,

пересчитывала. "Вот несчастье!" - восклицала она, заметив малейший признак

обветшания, - ведь это грозило незыблемости всего дома! - и сейчас же

подсаживалась к лампе и, не жалея глаз, заботливо штопала и латала эти

алтарные покровы, эти трехмачтовые паруса, неутомимая в своем служении

чему-то великому - уж не знаю, какому богу или кораблю.

Да, конечно, я должен посвятить тебе страницу, мадемуазель. Возвращаясь

из первых своих путешествий, я всегда заставал тебя с иглой в руке, год от

года у тебя прибавлялось морщин и седин, но ты все так же утопала по колена

в белых покровах, все так же своими руками готовила простыни без складок для

наших постелей и скатерти без морщинки для нашего стола, для праздников

хрусталя и света. Я приходил в бельевую, усаживался напротив и пытался тебя

взволновать, открыть тебе глаза на огромный мир, пытался совратить тебя

рассказами о своих приключениях, о смертельных опасностях. А ты говорила,

что я ничуть не переменился. Ведь я и мальчуганом вечно приходил домой в

изорванной рубашке ("Вот несчастье!") и с ободранными коленками, и по

вечерам надо было меня утешать, совсем как сегодня. Да нет же, нет,

мадемуазель! Я возвращаюсь уже не из дальнего уголка парка, но с края света

и приношу с собой дыхание песчаных вихрей, терпкий запах нелюдимых далей,

ослепительное сияние тропической луны! Ну конечно, говорила ты, мальчики

всегда носятся как угорелые, ломают руки и ноги и еще воображают себя

героями. Да нет же, нет, мадемуазель, я заглянул далеко за пределы нашего

парка! Знала бы ты, как мала, как ничтожна его сень. Ее и не заметишь на

огромной планете, среди песков и скал, среди болот и девственных лесов. А

знаешь ли ты, что есть края, где люди при встрече мигом вскидывают ружье?

Знаешь ли ты, мадемуазель, что есть на свете пустыни, там ледяными ночами я

спал под открытым небом, без кровати, без простынь...

- Вот дикарь! - говорила ты.

Как я ни старался, она оставалась тверда и непоколебима в своей вере,

точно церковный служка. И мне грустно было, что жалкая участь делает ее

слепой и глухой...

Но в ту ночь в Сахаре, беззащитный среди песков и звезд, я оценил ее по

достоинству.

Не знаю, что со мной творится. В небе столько звезд-магнитов, а сила

тяготения привязывает меня к земле. И есть еще иное тяготение, оно

возвращает меня к самому себе. Я чувствую, ко многому притягивает меня моя

собственная тяжесть! Мои грезы куда реальнее, чем эти дюны, чем луна, чем

все эти достоверности. Да, не в том чудо, что дом укрывает нас и греет, что

эти стены - наши. Чудо в том, что незаметно он передает нам запасы нежности

- и она образует в сердце, в самой его глубине, неведомые пласты, где, точно

воды родника, рождаются грезы...

**Михайлов Владимир Дмитриевич**

**РУЧЕЙ НА ЯПЕТЕ**

Звезды процарапали по экрану белые дуги. Брег, грузнея, врастал в кресло. Розовый от прилившей крови свет застилал глаза, приглашая забыться, но пилот по-прежнему перетаскивал тяжелеющий взгляд от одной группы приборов к другой, выполняя главную свою обязанность: следить за автоматами посадки, чтобы, если они откажут, взять управление на себя. За его спиной Сивер впился взглядом в экран кормового локатора и от усердия шевелил губами, считая еще не пройденные сотни метров, которым, казалось, не будет конца. Звезды вращались все медленнее, наконец, вовсе остановились.

- Встали на пеленг, - сказал Брег.

- Встали на пеленг, - повторил Сивер.

Япет был теперь прямо под кормой, и серебряный гвоздь "Ладоги" собирался воткнуться в него раскаленным острием, завершив свое многодневное падение с высоты в миллиарды километров. Вдруг тяжесть исчезла. Сивер собрался облегченно вздохнуть, но забыл об этом, увидев, как помрачнело лицо Брега.

- Ммммм!.. - сказал Брег, бросая руки на пульт. - Не вовремя!

Тяжесть снова обрушилась.

- Тысяча! - громко сказал Брег, начиная обратный отсчет.

Он повернул регулятор главного двигателя. На экране прорастали черные скалы, между ними светился ровный "пятачок".

- Следи, мне некогда, - пробормотал Брег.

- Идем точно, - ответил Сивер.

- Кто там? - спросил Брег, не отрывая взгляда от управления.

- Похоже, какой-то грузовик. Видимо, рудовоз...

- Сел на самом пеленге, - сердито бросил Брег. - Провожу отклонение.

- Порядок, - сказал Сивер.

- Шестьсот, - считал Брег. - Триста. Убавляю...

Сивер предупредил:

- Закоптишь этого.

- Нет, - проговорил Брег, - сто семьдесят пять, уберу факел, сто двадцать пять, сто ровно, девяносто.

- А хотя бы, чего ж он так сел? - сказал Сивер.

Скалы поднялись выше головы.

- Самый паскудный спутник, - сказал Брег, - надо было именно ему оказаться на их трассе. Сорок. Тридцать пять. Упоры!

Зеленые лампочки замигали, потом загорелись ровным светом.

- Одиннадцать! - кричал Брег. - Семь, пять!..

Двигатель гремел.

- Ноль! - устало сказал Брег. - Выключено!

Грохот стих, лишь тонко и редко позванивала, остывая, обшивка кормы да ласково журчало в ушах утихомирившееся время. Сивер открыл глаза. Рубка освещалась зеленоватым светом, от него меньше устает зрение. Брег потянулся и зевнул. Они посмотрели друг на друга.

- Но ты здорово, - сказал Сивер. - И надо же: автомат скис на последних метрах.

- Я его подкарауливал, - ответил Брег. - Чувствовал, что вот-вот... С этой спешкой мы его перегрузили, как верблюда. Теперь придется менять.

- Я думал, ты мне поможешь.

- Ну, помогу, а потом займусь. Полагаю, времени хватит.

- Когда, ты считаешь, они придут? - спросил Сивер.

- Суток двое прозагораем, а то и меньше, - сказал Брег.

- Только? По расчету вроде бы выходило пять дней. Я хотел здесь оглядеться...

- Тут одного дня хватит. Камень и камень, тоскливое место. Вот если бы они возвращались месяцем позже, на их трассу вывернулся бы Титан, там садиться благодать, и вообще цивилизация.

- Вот тогда-то, - сказал Сивер, - мы и врезались бы. Скажи спасибо, что это Япет - всего-навсего пять квинтильонов тонн массы. Титан раз в тридцать массивнее...

- Чувствую, - улыбнулся Брег, - ты готовился. Только к Титану я и не подскочил бы, как лихач. Я его знаю вдоль и поперек. Так что не удивляй меня знаниями. Кстати, их ты, пожалуйста, тоже не удивляй.

- Ну, уж их-то мне и в голову бы не пришло, - сказал Сивер. - С героями надо осторожно...

- Правильно, - кивнул Брег. - Со мной-то стесняться нечего: раз дожил до седых волос на посыльном корабле - значит, явно не герой.

- Ну ладно, чего ты, - пробормотал Сивер.

- Я ничего, - спокойно сказал Брег. - Я и сам знаю, что не гений и не герой.

Они еще помолчали, отдыхая и поглядывая на шкалы внешних термометров, которые должны были показать, когда окружающие камни остынут, наконец, настолько, что можно будет выйти наружу. Потом Сивер сказал:

- Да, герои - это... - Он закончил протяжным жестом.

- Не знаю, - проговорил Брег, - я их не видел в те моменты, когда они становились героями, а если бы видел, то и сам бы, может, стал.

- А кто их видел? - спросил Сивер. - Герои - это рекордсмены; уложиться на сотке в девять секунд когда-то было рекордом, потом - нормой мастера, а теперь рекордсменом будет тот, кто не выйдет из восьми. Так и тут. Чтобы летать в системе, не надо быть героем; вот и мы с тобой путешествуем, да и все другие, сколько я их ни видел и ни показывал, - тоже вроде нас. А вот за пределы системы эти вылетели первыми.

- Ну не первыми, - сказал Брег, он собрался улыбнуться, но раздумал.

- Но те не вернулись, - проговорил Сивер. - Значит, первые - эти, и уж их-то мы встретим, будь уверен. У меня такое ощущение, что мне повезет, и я сделаю прима-репортаж.

- Ну, - сказал после паузы Брег, - можно выходить.

Они закрепили кресла, как и полагается на стоянке, неторопливо привели рубку в порядок, с удовольствием ощущая легкость, почти невесомость своих тел, естественную на планетке, в тысячу раз менее массивной, чем привычная Земля. Сивер взял саквояж и медленно, разглаживая ладонями, стал укладывать в него пижаму, халат, сверху положил бритву. Брег ждал, постукивая носком ботинка по полу.

- Пижамы там есть, - сказал он.

- А я не люблю те, - ответил Сивер, застегивая "молнию".

Лифт опустил их на грузовую палубу. Там было тесновато, хотя аппаратура Сивера и коробки с медикаментами и витаминами занимали немного места: "Ладога" не была грузовиком. Сивер долго проверял аппаратуру, потом, убедившись, что все в порядке, дал одну камеру Брегу, другую взял сам.

Вышли в предшлюзовую. Помогая друг другу, натянули скафандры и проверили связь. Люк отворялся медленно, словно отвыкнув за время полета.

Башмаки застучали по черному камню. Звук проходил внутрь скафандров, и от этого людям казалось, что они слышат ногами, как кузнечики. Вспыхнули нашлемные фары. Брег медленно закивал головой, освещая соседний корабль, занявший лучшее, центральное место на площадке. Машина на взгляд была раза в полтора ниже "Ладоги", но шире. Закопченная обшивка корабля сливалась с мраком; амортизаторы - не телескопические, как у "Ладоги", а шарнирные - вылезали в стороны, как локти подбоченившегося человека, и не вызывали ощущения надежности: частые утолщения показывали, что их уже не раз сваривали. Сивер покачал головой: зрелище было грустным.

- Да, - сказал он, - рудовоз класса "Прощай, мама". Что они делают в этих широтах? Погоди, возят трансурановые с той стороны на остальные станции группы Сатурна. Правильно?

- Давай дальше, эрудит, - проворчал Брег.

- Это срам, - сказал Сивер, - что энергетика станций зависит от таких вот гробов. Кстати, а что он вообще делает здесь? Рудник же на той стороне.

- Скорее всего, техобслуживание. Рудовозам разрешено заходить на станции, как эта, если они никому не мешают.

- Нам они как раз мешают, - сказал Сивер. - Боюсь, что "Синей птице" некуда будет сесть.

- Если она и впрямь зайдет, - проворчал Брег. - Они могли изменить маршрут.

- И в самом деле, - сказал Сивер, - им не сесть. Она же, пожалуй, раза в два больше нашего, "Птица"? А этот стоит - неудобнее нельзя, и растопырился.

Они снова обернулись, поводя лучами фар по кряжистому корпусу. На нем, почти на самой макушке, по рыхлой броне неторопливым жуком полз полировочный автомат, оставляя за собой тускло поблескивавшую полосу. Рудовоз прихорашивался. Сделать это ему, пожалуй, следовало бы уже давно.

- Ну и агрегат, - усмехнулся Сивер. - Корабль запущен дальше некуда. А между тем в этой зоне полагается быть инспектору. Готов поспорить, что он безвылазно сидит на Титане. Поэтому они и сели на автоматической станции, где нет людей, и их никто не увидит.

Он умолк, огибая вслед за Брегом глыбу, об острые края которой можно было порезать скафандр.

- И вообще космодром следовало строить там, где камней поменьше.

- Камни здесь появились, когда строили космодром, - сказал Брег. - Взрывали скалы. И потом, каждая посадка и старт добавляют их: скалы трескаются от наших выхлопов. В других местах камней вообще нет: ни тебе атмосферы, ни колебаний температуры...

- Все равно надо было строить на гладкой стороне.

- Фон, - сказал Брег. - Там уран и прочее. - Он взглянул на свой дозиметр. - Даже этот кораблик поднял фон. Видишь? - Он показал Сиверу прибор.

- Что ж удивительного, если он нагружен трансуранами по самую завязку. Но теперь потрясаешь, я вижу, ты меня, а не наоборот.

- Ну, - проворчал Брег, - я-то узнал это не из книг... Вот и пришли.

Они остановились возле небольшой, наглухо закрытой двери, ведущей в помещения станции, вырубленной в скале.

- Я зайду, расположусь, - сказал Сивер, - а ты принеси остальное. - После паузы он, спохватившись, прибавил: - Если тебе не трудно, конечно.

- Нет, - ответил Брег, - чего ж здесь трудного.

Обширная комната - кают-компания станции - была освещена тусклым светом, и поэтому углы ее казались не прямыми, а острыми, глубоко уходящими в скалу. Автоматы, как им и полагалось, экономили энергию. Сивер поискал взглядом выключатели, хозяйским движением включил большие светильники и огляделся.

Трое с рудовоза сидели в конце длинного стола. Перед ними стояли алюминиевые бокалы с соломинками. Примитивная посуда заставила Сивера чуть ли не растрогаться - словно он попал в музей или в лавку древностей. Возле стойки автомат-бармен, гудя и звякая, сбивал какую-то смесь. Автомат не внушал доверия. Сивер перевел взгляд на сидевших за столом и внутренне усмехнулся: трудно было бы придумать людей, более соответствующих своему кораблю. Трое были одеты кое-как, об установленной форме не приходилось и думать. Один из них спал, опустив голову на брошенные на стол кулаки, другие двое разговаривали вполголоса.

- Этот щелкунчик сидел не там, а километром дальше, - говорил сидевший третьим от Сивера, - а они, наверное, увидели вспышки. Так что тут в любом случае был крест. Кто знал только?

- Они пе-еретяжелились и ползли на брюхе, - яростно сказал другой, - вот в чем причина.

От яркого света он зажмурился, потом повернулся и внимательно осмотрел Сивера. Сивер подмигнул и кивнул на спящего.

- Готов?

- Не-ет, - медленно, как бы задумчиво сказал обернувшийся. - Он просто устал.

Слова, исходя из его уст, смешно растягивались, и Сивер едва удержался, чтобы не фыркнуть.

- Вы издалека?

- Да, с Земли, - небрежно ответил Сивер. - Только сели.

- Да-авно оттуда?

- Три недели.

- Ну что там, на Зе-емле?

- Все нормально, - сказал Сивер. - Земля есть Земля. Самая последняя новость: "Синяя птица" возвращается.

Заика кивнул.

- Их успели похоронить, - сказал Сивер, растолковывая, - а они возвращаются! "Синяя птица". Звездолет, который ушел к лиганту - помните, то ли звезда-лилипут, то ли планета-гигант, - лигант, разысканный гравиастрономами на полпути к системе альфа Центавра! - Он повысил голос, досадуя на равнодушие, с каким была встречена новость. - Первый звездолет, ушедший к ней, так и пропал. Думали, что и "Птица"...

- Зна-ачит, рано, - сказал заика. - Рано думали. Ну что, нашли они этот лигант?

- Ладно, - сказал сидевший третьим.

- Да уж наверное, - раздраженно проговорил Сивер. - И, надо полагать, покружились около него достаточно, пока все не разведали. Иначе с чего бы опаздывать на целый год?

- Это поня-ятно, - сказал заика. - Только с облета немногое увидишь, особенно че-ерез инфравизоры. Им следовало бы сесть.

- Ладно, - опять проговорил третий.

- Первый корабль именно оттого и не вернулся, - наставительно сказал Сивер, - что решил сесть. Они сообщили на Землю о своем решении при помощи ракеты-почтальона. Больше о них ничего не известно. Так что "Птица" не могла сесть.

- Ра-азве "Птица" не сообщила на Землю, каковы результаты?

- Их первые сообщения разобрали кое-как, процентов на тридцать. Большие помехи, - разъяснил Сивер. - Для хорошей передачи им надо бы иметь корабль вроде моего: летающий усилитель. Едва хватает места для двух человек, остальное - электроника и энергетика. У них таких устройств не было. Наверное, в последнее время они передавали что-то.

- На-аверное, передавали, - согласился заика и, держа соломинку между пальцами, принялся сосать из бокала.

- Пока мы поняли, что они возвращаются. И что-то насчет трех человек. Надо полагать, - Сивер приглушил голос, - эти трое погибли. А всего их было одиннадцать.

Заика поднял глаза на Сивера, но третий предупредил его.

- Ладно, - сказал он еще раз.

- А я ни-ичего, - пробормотал заика. - Просто я та-ак и думал. Не так уж плохо. Все-таки зна-ачительная часть дошла...

- Правильно, - кивнул Сивер. - Трое героев погибли, но остальные восемь человек возвращаются, и, вы сами понимаете, Земля собирается принять их как надо. По сути, встреча начнется здесь. Для этого я и прилетел.

- Это хорошо придумано, - сказал третий. - А кто прилетел? Много?

- Я и пилот. Думаю, хватит... Но перейдем к делу. Как я понимаю, это ваша машина? - Он кивнул куда-то вбок.

- По-охоже на то, - сказал заика.

- Серьезный ремонт?

- Да нет. Ни-ичего особенного.

- Значит, скоро уйдете.

Это был не вопрос, а утверждение.

- Хотели сутки отдохнуть, - сказал третий; в голосе его было сомнение.

Сивер доброжелательно улыбнулся. Размашистым движением отодвинув стул, он уселся у противоположного конца стола.

- Сутки, - весело сказал он. - А раньше?

- Ра-аньше? - спросил заика, выпуская соломинку.

- Скажем, через полсуток. Полировку вы закончите, а по вашим отсекам инспектор лазить не станет. - Он подмигнул и засмеялся, давая понять, что маленькие хитрости транспортников ему известны, и он в принципе ничего против них не имеет.

После паузы вновь прозвучал вопрос:

- Мы меша-аем?

Сивер улыбнулся еще шире.

- Так получается. "Синяя птица" остановится здесь на денек-другой - так сказать, побриться и начистить ботинки до блеска, прежде чем прибыть на старушку. Понимаете? Возвращаются герои, которые уже давным-давно не видали родных краев.

- Ну да, - сказал третий. - А мы мешаем.

- Да вы поймите, старики, - сказал Сивер. - Они герои! Я понимаю, вы, может быть, не меньшие герои в своем деле. Только разница все же есть. А вы растопырились так, что "Птице" и сесть некуда. Представляете, какой там кораблина? И потом, ну, честно говоря, посмотрят они на ваше чудо. Вот, значит, чем встретит их благодарное человечество: ржавым сундуком с экипажем, одетым не по форме. Я ведь тут специально для того, чтобы вести прямую передачу на Землю. Репортаж. И вы, правду говоря, как-то в репортаж не вписываетесь. Еще раз прошу - не обижайтесь, старики, у каждого свое дело, и не надо осложнять задачу другим...

Двое внимательно слушали его, а один все так же спал за столом. Потом третий сказал:

- Значит, большой корабль?

- А вы что, - спросил Сивер, - никогда не видали?

- А вы?

- Ну, когда они стартовали, я еще учился... Но у меня есть фотография, наша, архивная. - Он вытащил фотографию из кармана и протянул.

Заика взял ее, посмотрел и сказал:

- Да...

И передал третьему, и тот тоже посмотрел и тоже сказал:

- Да...

- И еще, - сказал Сивер. - Их восемь человек. Восемь человек в составе экипажа. А тут на станции всего десять комнат. Их восемь, я и мой пилот.

- А кто пилот?

- Брег, - сказал Сивер. - Пожилой уже.

- Встреча-ал?

- Нет, - сказал третий. - Может, слышал. Не помню. Значит, вас двое. А родные что же, друзья?

- Я же вам объясняю: настоящая встреча состоится на Земле. Там их и будут ждать все. А мое дело - передать репортаж.

- Ну что же, - сказал третий, глядя на заику, - мы, пожалуй, и впрямь поторопимся.

- Ты все-егда торопишься... - начал заика.

- Так что же, решили? - спросил Сивер.

- Ладно, - сказал третий. - Попытаемся уложиться в ваши сроки. Раз уж так повернулось...

- Правильно, старики, - сказал Сивер. - Там отоспитесь. Хотя коллега ваш, я вижу, и тут не теряет времени. - Он кивнул на спящего. - Как его зовут?

Он задал вопрос не случайно: не принято было интересоваться фамилиями людей, которые не сочли нужным назвать себя, но спящий представиться не мог, и спросить о нем казалось естественным.

- Его? Край, - помедлив, ответил третий; он произнес это негромко, чтобы спящий не проснулся, услышав свое имя, как это бывает с людьми, привыкшими к срочным пробуждениям.

- Край, - повторил Сивер, запечатлевая имя в памяти и одновременно проверяя ее; нет, такого человека не было в числе одиннадцати, составлявших экипаж "Синей птицы" в момент старта. - Ну, значит, договорились?

- Мешать мы не хотим, - сказал третий.

Считая разговор законченным, он взглянул на часы, замечая время, от которого теперь следовало вести отсчет.

- Кстати, - сказал он заике и, порывшись в кармане, вытащил коробочку с таблетками, дал одну заике, вторую, морщась, проглотил сам.

- Спорамин? - сочувственно спросил Сивер.

- Антирад, - неохотно ответил третий. - Машина слегка излучает.

Сивер кивнул, думая о том, что в трюме "Ладоги" стоит несколько коробок с медикаментами, и среди них - одна с антирадом. Несколько секунд он колебался.

- У вас много?

- Вам нужно?

- Вообще-то фон здесь действительно несколько повышен...

Третий, не удивляясь, кивнул и протянул Сиверу таблетку. Сивер проглотил ее и с облегчением подумал, что люди с "Синей птицы" получат свои лекарства в целости и сохранности.

- Береженый убережется, - сказал третий.

Он поднялся в странно замедленном темпе, тяжело ступая, словно нес на себе тяжесть планеты, вышел из-за стола и подошел к стене, на которой был намалеван стандартный земной пейзаж. Пластиковый пол возле стены образовывал неглубокий желоб, долженствовавший изображать продолжение нарисованного на стене ручья, "Ручей на Япете, - подумал Сивер, - надо же придумать такое! За этой переборкой наверняка ванная. А может, ванны нет, только душ". Человек с рудовоза ткнул пальцем в пейзаж.

- Ничего, а? - сказал он и взглянул на Сивера, словно ожидая подтверждения.

Пейзаж был тошнотворен, но Сивер кивнул: он был доволен тем, что разговор с "извозчиками" прошел без осложнений. Третий засмеялся, рот его оказался очень большим, растянулся от уха до уха, а взгляд веселым и пристальным. Сивер заметил это с удивлением: до последнего мига люди эти казались ему очень похожими друг на друга - быть может, потому, что главное внимание привлекали не их лица, а необычно потрепанная одежда. Поняв это, Сивер почувствовал легкое недовольство собой, но в это время прозвучал звонок, означавший, что кто-то входит в станцию, и, поскольку это мог быть только Брег с камерами, Сивер поднялся и вышел в коридор, чтобы встретить пилота.

Брег уже успел внести камеры и теперь стоял, откинув забрало шлема и успокаивая дыхание. Сивер осмотрел камеры и убедился, что они в порядке. Потом кивнул пилоту.

- Раздевайся, поужинаем.

- Нет, - сказал Брег. - Хочу сначала наладить автомат. Не могу отдыхать, пока на корабле что-то не в норме.

- Ну что же, это правильно, - сказал Сивер, подумав. - Наладишь, приходи.

- Само собой. Что за ребята?

Сивер пожал плечами:

- Ничего интересного. Неизвестные.

- Не герои, - усмехнулся Брег.

Сивер нахмурился:

- Определенно. Ты зря смеешься. Я было тоже подумал... Нет, просто труженики космоса. Я часто думаю об этом. Должно же все-таки быть что-то, что отличает героев с первого взгляда. Люди совершили подвиг - и у них особенный блеск в глазах, и такое учащенное дыхание, когда они начинают понимать всю величину того, что совершено ими. И вот человек становится другим...

- Теория, - сказал Брег. - Все потрясаешь?

- Брось, милый, - сказал Сивер, - логика! Да и корабль - типичный рудовоз. "Синяя птица" куда длиннее. Кстати, на фотонной тяге - это сказано во всех справочниках. А этот? У него и рефлектора-то нет.

Он проводил Брега и вернулся в кают-компанию. Двое снова сидели за столом, спящий шумно дышал. Сивер заказал ужин, взял тарелки и уселся.

- Где это вы так заездили машину? - спросил он.

- А что, заметно? - хмуро поинтересовался заика, даже не растягивая слов.

- Да ладно, - сказал большеротый.

Заика встал. Он сделал это неожиданно порывисто, так, что стул отлетел и бокалы на столе звякнули; он взглянул на большеротого, развел руками и смущенно засмеялся. Заика оказался неожиданно большого роста, длинноногий. Подойдя к автомату-бармену, он выцедил смесь в стаканы, поставил их на стол и слегка тронул спящего за плечо.

- Про-оспишь все на свете.

- Пускай спит, - сказал большеротый. - Ему хватило. Успеем.

- Ну, пусть, - согласился заика и, не садясь, отхлебнул из стакана. Соломинку он вынул.

Сивер поморщился: ко всему, брюки были чересчур коротки долговязому, а застежка одного из карманов кургузой куртки болталась полуоторванная. Сивер не любил нерях. Заика, должно быть, почувствовал его взгляд, он оглянулся на Сивера и сказал, чуть улыбаясь:

- Не по фо-орме, да? Но мы успеем переодеться.

Сивер пожал плечами. Заика поставил полупустой стакан, подошел к стене с пейзажем, завозился, нащупывая кнопки. Найдя, он нерешительно ткнул пальцем одну из них. В желобе, тонко журча, заструилась вода. Скрытая подсветка делала ее золотистой и теплой. Заика уселся на пол и снял башмаки. Сивер зажевал быстро-быстро, чтобы не расхохотаться. Заика опустил босые ступни в воду.

- Ух т-ты! - сказал он, блаженствуя.

- Вода, - пробормотал большеротый, отпивая из стакана.

Заика вскочил. Оставляя мокрые следы, он подбежал к столу и взял стакан. Усевшись и вновь свесив ноги, поднес стакан к губам.

- Со-овсем другое дело, - сказал он.

Сивер отодвинул тарелку.

- Пожалуй, пора, - проговорил он задумчиво.

Спустив тарелку в щель мойки, он прошел вдоль стен кают-компании, ища стенной контакт. Найдя его в углу, он вынул из сумки вольтметр и замерил напряжение.

- Вот еще новости, - пробормотал он.

- Тока нет? - сочувственно поинтересовался большеротый.

- Здесь двадцать вольт, а мне нужно двести.

- А на автоматических все сети низковольтные.

- Это я вижу, - проворчал Сивер. Он постоял около стены, раздумывая. - Ничего не поделаешь, придется тянуть силовой кабель от корабля. Хорошо, что есть резерв времени.

- Ду-умаете? - спросил заика, не оборачиваясь.

- Они придут не раньше чем через сутки.

- Они о-обещали?

- Да ладно тебе, - сказал большеротый, сердясь.

- В пределах системы, - сказал Сивер голосом лектора, - они вынуждены будут убавить скорость: концентрация свободного водорода здесь куда больше, чем в открытом пространстве.

- Это спра-аведливо, - согласился заика.

Сивер подошел к столу, взял камеру и походил по каюте, прицеливаясь.

- Передача будет что надо! - сказал он. - Земля таких и не видывала.

- Мы еще не мешаем? - спросил большеротый. Чувствовалось, что он борется со сном.

- Еще нет, - сказал Сивер. - Мало света. Включите, пожалуйста, настенные. Так. Пожалуй, подойдет. Вы не могли бы встать сюда? Я примерюсь.

- Это для кино? - спросил большеротый нерешительно.

- Теле. Попозируйте немного. Ну, представьте, что вы командир "Синей птицы".

- Трудно, - сказал большеротый, улыбаясь и окидывая Сивера тем же внимательным взглядом.

- Да нет, - с досадой сказал Сивер. - Очень легко. Семь с половиной лет вы были в полете. Теперь возвращаетесь. Могучие парни на великолепном, все перенесшем корабле...

- Попозируй, мо-огучий парень, - сказал заика. - Что тебе стоит?

Сивер строго поглядел в его спину.

- А вы не иронизируйте, - посоветовал он. - Итак, преодолено много препятствий, совершены подвиги - и теперь, когда у вас все в порядке...

- Стартовые не в порядке, - сказал заика, не оборачиваясь по-прежнему. - Бо-ольшой разброс.

- Это ведь не о вас... Хотя предположим, что стартовые немного не в порядке - это даже интереснее. Видите, у вас фантазия работает. Но вы их, конечно, уже исправили, прямо в пространстве, совершили еще один подвиг. Говорите об этом. Мне нужно видеть, как это будет выглядеть, надо выбрать лучшие точки, откуда можно передавать. Итак, вы капитан...

Большеротый покачал головой.

- Боюсь, не получится.

- Слу-ушай, - сказал заика; на этот раз он повернулся. - А ты представь, что ты - ко-пилот.

- Или ко-пилот, - сказал Сивер. - Все равно.

- Да нет, - сказал большеротый грустно. - Я лучше не буду.

Сивер вздохнул.

- М-да... - проговорил он выразительно, но все же взял себя в руки. - А ведь они заслужили, чтобы вы немного постарались ради них.

- Могучие парни, - пробормотал заика. - Со-овершавшие подвиги. Легенда...

Сивер недружелюбно взглянул на него.

- Это факты, - сказал он.

- Плюс вы-ымыслы, - проговорил заика, шевеля ногами в воде. - Плюс домыслы. Все берется в скобки и возводится в ква-адрат. Возникает легенда. Умирая, кто-то сказал что-то. А как он мог сказать, если...

- Прошу, - четко произнес Сивер, - не оскорблять память погибших!

Спящий поднял голову, просыпаясь.

- Кто? - спросил он.

- Нет, - сказал большеротый. - Отдыхай, спи. Все в порядке.

- Ага, - пробормотал проснувшийся. - Где мы сейчас? - Он пошарил рукой рядом со стулом. - Где?

- На станции. Вспомни. На вот. - Большеротый вложил стакан в пальцы проснувшегося. - Выпей.

- Тут красиво?

- Кра-асиво, - отозвался заика у ручья.

- Ага, - сказал проснувшийся. - И ты здесь. - Он выпил. - Ах, хорошо! Отлично!..

Он повернул голову к Сиверу, и Сивер понял, что человек еще не проснулся по-настоящему: веки его были плотно сомкнуты, очень плотно, как если бы человек боялся, что даже малейший лучик света просочится сквозь них и коснется глаз. Человек повел рукой с опустевшим стаканом, нащупывая стол, и по привычности этого движения Сивер вдруг понял, что под этими веками вообще нет глаз, есть лишь пустые глазницы, предназначенные природой для того, чтобы в них были глаза, но глаз не было, и веки были сморщены и опали. Сивер нечаянно сказал:

- Ой!..

- Здесь есть еще кто-то? - спросил слепой.

- С Земли, - сказал большеротый.

- Ага, - пробормотал слепой. - Ну да, станция. Отлично.

- Спи дальше.

- По-огоди, - сказал заика. - Нам надо сняться часов через десять. Иначе мы помешаем.

- Кому?

- Тут готовится встреча героям, могучим парням. С великой помпой. Прямая передача на Землю. Двое: репортер и пилот.

- Неудобно, - медленно сказал слепой.

- Ка-апитан будет произносить речь, - сказал заика. - Представляешь?

- Нет, - сказал слепой после паузы. Потом тряхнул головой и потянулся. - А я выспался, - сказал он весело.

- Третья и че-етвертая магнитные линзы совсем никуда, - пробормотал заика.

- А мы без стартовых, - решительно сказал слепой. - Оттолкнемся маршевым - и все. Нет, это безопасно.

- Пожа-алуй, да, - сказал заика.

- Ну, общий подъем, по-видимому? - проговорил большеротый.

- Раз так - общий подъем, - сказал заика и стал натягивать носки.

- Ты вытри, - сказал большеротый. - На.

Он кинул смятый носовой платок.

- А земляне нам не помогут? - спросил слепой, поворачивая лицо к Сиверу.

- Нам еще надо установить большие камеры на космодроме, - почти виновато сказал Сивер, - и прожекторы. Иначе мы не сможем передать момент посадки. А нас только двое.

- Зря вы родных не привезли, - сказал слепой, проводя руками по одежде.

- Собрались по тревоге. А у них, сами понимаете, постоянной медвизы в космос нет. И конечно, здоровье небогатое после всего.

- Ну, поня-атно, - сказал заика. - Пошли.

- Погоди, - сказал большеротый, кивнув на Сивера. - А может, они нам отсюда помогут связаться?

- Пренебрежем, - сказал слепой. - Отсюда мы и сами.

- Нет, - сказал Сивер, - если мы можем чем-то помочь, не нарушая своих планов, то, конечно...

- Спа-асибо, - сказал заика. - Не надо.

Они вышли, держа ладони на плечах слепого, направляя его. Было слышно, как в гардеробной они открывают шкафчики и натягивают скафандры; гладкая пластическая ткань омерзительно свистела, и звякал металл.

- Это вас на руднике так? - запоздало крикнул Сивер вдогонку, но они уже надели шлемы и не услышали его.

Тогда Сивер подошел к бармену и налил себе. Это был коктейль из фруктовых соков, обычный и не очень вкусный. Сивер пожал плечами и тоже пошел одеваться.

Брег открыл ремонтный люк, вывел через него кабель. Вышел сам, и кабель потянули к станции. Черная гладкая змея медленно извивалась между осколками камня. Брег, нагибаясь, тащил конец. Сивер подтягивал кабель к себе, чтобы облегчить труд пилота. В сероватом свете небольшого, но яркого Сатурна кабель отбрасывал тень, и тень эта, ползущая по камням, тоже казалась живым существом. Другая, более слабая тень ползла в стороне, потому что серебристый корпус "Ладоги" отражал лучи Сатурна. Они дотащили конец кабеля до входа в станцию. "Самое сложное осталось позади", - начал было Сивер, но Брег покачал головой: следовало еще каким-то образом ввести кабель внутрь, преодолев герметические двери и избежав утечки воздуха из помещений, где запас его был ограничен. Пришлось идти на корабль за инструментами.

На обратном пути Сивер остановился и спросил:

- А ты подключил кабель?

Брег ответил:

- Ясно, а то чем бы мы вертели дыры? - Он помахал плоским ящиком, взятым на корабле.

- Хорошо, а то я забыл, - признался Сивер.

Они долго возились у станции, пытаясь пробить узкий канал под дверью. Электроэрозионный бур рассыпал фонтаны голубых искр, трансформатор калился на пределе, но вязкая порода поддавалась с трудом.

- Так мы провозимся до утра, - проворчал Сивер. - Неужели нельзя придумать чего-нибудь?

- Здесь подошла бы обычная дрель. Со спиральным сверлом.

- Что же ты не взял?

- Взял. Только сверл такого диаметра у нас нет. У нас ведь набор для внутренних работ.

- Грустно, - сказал Сивер.

Брег приложил ладонь к трансформатору, чтобы услышать его гудение, и, не колеблясь, выключил ток.

- Что будем делать? - спросил Сивер.

- Погоди, - сказал Брег. - А у этих нет такого сверла? У них как раз может оказаться.

- Светлая мысль, - согласился Сивер. - Может, ты сходишь на их баржу?

- Сходи уж ты, - сказал Брег. - Я с ними незнаком.

Сивер разогнулся покряхтывая.

- Старость не радость, - сказал он. - Дай какое-нибудь сверлышко.

Порывшись в сумке, Брег вытащил плохо гнущимися в перчатках пальцами маленькое спиральное сверло и протянул его Сиверу. Зажав сверло в ладони, Сивер отправился к рудовозу.

Сатурн стоял уже почти в зените. Под его лучами холодно отблескивали грани скал. Обогнув высокую глыбу, Сивер увидел старый корабль - верхнюю половину его, которая, казалось, висела в пустоте, ни на что не опираясь. Сивер замер на миг, изумившись, потом усмехнулся. Все оказалось на месте; трудолюбивый автомат-полировщик, описывая виток за витком, успел пройти уже половину корпуса, и очищенная и отполированная часть обшивки голубовато светилась, отражая лучи, а нижняя, рыхловатая на поверхности и густо закопченная, поглощала свет и терялась в темноте. Вблизи она все же становилась видной, и можно было окинуть взглядом весь корпус корабля, нелепый, напоминающий старинный конический артиллерийский снаряд. Амортизаторы, числом шесть, все так же нависали над окружающими камнями, словно стрелы подъемных кранов.

Подойдя совсем близко, он остановился и посмотрел на дозиметр; корабль излучал, хотя и умеренно. Сивер подошел еще ближе, вплотную. Полировочный автомат снова вынырнул, сделав виток; он двигался теперь быстрее, и это понравилось Сиверу.

Люк оказался неожиданно высоко, не в нижней, самой широкой, а в средней части корабля, выше верхнего крепления амортизаторов. К нему вела странно массивная лесенка, кое-как сваренная из труб. Любопытствуя, Сивер поискал глазами название корабля - ему положено было находиться над люком, но эта часть была еще покрыта нагаром, и разглядеть ничего не удалось. Поднявшись, Сивер постучал в крышку люка сверлом, но кора, в которую превратился верхний слой обшивки, глушила звук. Удивляясь про себя тому, как такой давно уже созревший для переплавки корабль ухитряется еще проходить через контроль сверхбдительного космического регистра, Сивер несколькими скользящими ударами сбил корку нагара и постучал вновь.

Ждать пришлось долго; очевидно, люди были далеко, да к тому же требовалось время, чтобы один из них мог облачиться в скафандр. Наконец люк медленно распахнулся; на этой старой машине - а кораблю было наверняка больше десяти лет, век же космических машин не длиннее собачьего - люк не откидывался, образуя площадку, и не расходился створками в стороны, а отодвигался назад, влекомый сгибающимися в шарнирах рычагами. Когда-то такие конструкции существовали, и если напрячь память, можно было, пожалуй, даже вспомнить, когда именно и на каких кораблях. Но Сиверу сейчас было не до того, да и воспоминания были ни к чему: он был не на свободной охоте, у него было конкретное задание, и очень важное к тому же, а искусством не отвлекаться он овладел давно.

На фоне отступившей крышки показался человек в скафандре; судя по габаритам, это был долговязый заика. Вытянув левую руку, согнутую в кисти, он указательным пальцем правой постучал по окошку на запястье, где виднелись часы, и затем погрозил этим пальцем, показывая, очевидно, что условленный срок не кончился. Сивер тоже показал свои часы, затем несколько раз провел над ними ладонью, как бы говоря, что время сейчас не имеет значения. И что он пришел не для этого. Он протянул свое маленькое сверло и двумя пальцами обозначил требуемый диаметр - плюс-минус пять миллиметров. Долговязый помедлил, затем, наверное, сообразил. Он осторожно взял сверло, затем сделал движение, приглашавшее зайти в тамбур. Сивер решил было переступить порог, но взглянул на свой дозиметр и отказался от этой мысли: фон в корабле был наверняка выше, чем вне его, но и так он был достаточно велик, чтобы заставить считаться с собой. Сивер отрицательно поводил рукой, обратив ее ладонью к долговязому; тот сразу понял, отступил, и пластина люка выдвинулась, закрывая вход.

Ждать пришлось минут пятнадцать. Сивер провел это время, отойдя от корабля на несколько шагов, - все-таки фон был слабее.

Наконец люк открылся. Долговязый, появившись на пороге, подождал, пока Сивер поднялся к нему, и протянул корреспонденту маленькое сверло и еще одно - такое, какое было нужно. Сивер благодарно прижал руки к груди, долговязый поклонился в ответ; "луч света от маленькой лампочки, освещавшей порог и верхнюю ступеньку трапа при открытом люке, упал на верхнюю часть шлема, старомодного, почти шарообразного, и осветил полустершееся слово - от него остались лишь буквы "Сол...". Сивер знал, что на его собственном шлеме, под фарой, золотом было напылено слово "Ладога" - название корабля; так что рудовоз именовался, вернее всего, "Солнце" или как-нибудь в этом роде. Хорошо еще, что не "Галактика" - в старину обожали даже небольшим кораблям давать звучные имена. Сивер еще раз помахал рукой и двинулся в обратный путь, а долговязый остался стоять на пороге люка, глядя корреспонденту вслед.

Теперь работа пошла быстрее, несмотря на то, что сверло оказалось изрядно затупленным. Через час канал под дверью станции был высверлен, и кабель протянут. Сивер облегченно вздохнул и вытер пот.

- Заработали по коктейлю, - сказал он.

- Не откажусь, - согласился Брег.

- Принеси. Вообще-то, наверное, придется мобилизовать ресурсы "Ладоги": звездолетчики вряд ли станут утолять жажду тем, что пили эти трое с "Солнца".

- Почему с "Солнца"?

- Похоже, так называется их сундук, - засмеялся Сивер и принялся копаться в многочисленных жилах кабеля.

Он подключил пульт дистанционного управления телекамерами, монитор и сами камеры и принялся уже подключать дистанционный пульт радиостанции "Ладоги", когда Брег вынес стаканы с охлажденной смесью соков.

- Долгонько, - сказал Сивер, беря стакан.

- Вспоминал, - сказал Брег. - Но такого названия никак не разыщу в памяти. "Солнце" - нет, не помню, чтобы такое было.

- И все-таки "Солнце". Так написано. Гаснущее солнце. Или еще лучше: солнечное затмение. Корпус так оброс нагаром, что я боялся стучать в борт - опасался, что сверло пройдет насквозь. - Он допил и вытер губы. - Правда, там, где прошел полировщик, металл начинает блестеть. Так что, по-видимому, на сей раз они дойдут до Титана благополучно, а в следующий рейс, я убежден, сюрвейер их не выпустит. - Сивер осмотрел штекер фидера, предназначенного для питания пульта радиостанции. - Немного болтается. Я сейчас укреплю его, а ты отдыхай, потому что придется еще устанавливать камеры снаружи. Или лучше установи камеры, а потом отдыхай. - Сивер быстро действовал отверткой. - Ты ведь умеешь?

- Со Сказом я полетал немало, - проворчал Брег и снова стал натягивать скафандр.

Сивер помог ему одеться и снова взялся за работу. Брег захватил две камеры и скрылся в тамбуре. Сивер заизолировал соединение и минуту постоял, наблюдая, как мягкая лента схватывается и образует твердый футляр. Затем он подключил телепульт радиостанции и в последнюю очередь присоединил монитор к питанию и к антенному кабелю. "Теперь порядок", - сказал он сам себе, потер руки и включил монитор. Брег успел уже установить камеры и теперь появился в гардеробной и откинул шлем.

- Вот теперь отдыхай, - сказал Сивер.

- Если я не нужен, - сказал Брег, - я лучше пойду доделаю свой автомат.

- Погоди, - сказал Сивер, - сейчас испробуем радиостанцию, тогда пойдешь. Возьми еще коктейль и захвати для меня заодно.

Он включил радиостанцию "Ладоги". Механизмы сработали, неясный шум наполнил помещение. Сивер медленно пошарил в эфире, в районе той частоты, на которой работал передатчик "Синей птицы".

- Сейчас попробуем, - сказал он, - и вызовем Землю, сообщим, что у нас полный порядок. - Он смотрел на стрелку индикатора настройки, она покачивалась вправо-влево.

Внезапно Сивер вздрогнул: из помех вырвалось слово, оно было громким, но хриплым и трудноразличимым.

- Расстояние, - едва слышно повторил Сивер.

Снова послышался громкий шорох, но Сивер уже включил автоподстройку. "Произведем посадку, - так же хрипло сказал репродуктор. - Квитанции не жду, отключаюсь, сеанс через два часа, привет вам, Земля, милые, стоп". Шорох в динамике сделался сильнее, затем опал. Брег подбежал, расплескивая жидкость из стаканов; Сивер посмотрел на него счастливыми глазами и тихо проговорил:

- Это они.

- Где-то очень близко?

- Наверное, будут часа через два. Как стремятся! Я думаю, следующий сеанс они хотят провести отсюда. Но вместо них это сделаем мы! - Сивер затоптался, будто хотел тотчас же бежать куда-то. - А эти еще тут? Им пора бы убираться!

Он снова включил монитор, направил камеры на рудовоз. Обшивка корабля была чиста, люк закрыт. Полукруглая решетка антенны медленно поворачивалась наверху. Зажглись навигационные огни, затем разом погасли, загорелись снова и теперь уже не выключались.

- Смотри, - сказал Сивер, - кажется, уходят. Наверное, тоже приняли эту передачу и поняли. Торопить их не придется. - Он почувствовал, что начинает испытывать даже некоторую симпатию к людям с рудовоза, которые так хорошо все поняли. - Вызываю Землю!

Он повернулся к пульту, но Брег сказал:

- Погоди. Этот сейчас стартует, мы не пробьемся сквозь помехи.

- А ничего этот кораблик, если его оттереть, - сказал Сивер. - Даже жаль, что ему больше не придется летать.

- Об этом не нам судить.

- Уверен, что он вылетал уже все сроки.

- А вот посмотрим, - сказал Брег.

Он подошел к библиотечному шкафчику, который гостеприимно раскрылся перед ним и, порывшись, обнаружил "Справочник космического регистра" между томами Салтыкова-Щедрина и Стендаля. Полистав его, Брег пожал плечами и сказал:

- Такого названия все же нет. Ничего связанного с Солнцем. Впрочем, погоди-ка... - Он снова занялся справочником.

Сивер уселся поудобнее, подвигал пульт по столу, приноравливаясь.

- Попробуем свет... - пробормотал он и повернул выключатель. Сильные прожекторы "Ладоги" извергли потоки света.

Сивер немного подумал, промычал что-то и включил главный прожектор, укрепленный в поворотной оправе на самом носу. Обшивка рудовоза вспыхнула, словно холодное пламя охватило ее.

- Вот, - сказал Сивер. - То, что требовалось. А что это он? Погляди-ка...

Брег повернулся к экрану монитора. Было видно, как корабль замигал ходовыми огнями. "Благодарю", - вслух прочитал Брег. Сивер усмехнулся.

- Думают, что это в их честь иллюминация, - сказал он.

Огни все мигали. "Счастливо оставаться", - прочитал Брег.

- Слушай, - сказал он торопливо, - они и в самом деле стартуют! У них еще есть время, но они стартуют!

- И хорошо, - сказал Сивер.

- Ты отдал сверло?

- Нет, - сказал Сивер. - Забыл.

- Напрасно, - сказал Брег. - Так не делают.

Он, спеша, достал сверло из инструментальной сумки и стал ногтем счищать загустевшую, перемешанную с пылью смазку с хвостовика инструмента. Затем коротко выругался. Сивер недоуменно поднял брови. Через секунду он настиг Брега в гардеробной: пилот рвал скафандр из зажимов.

- Вызывай же их! Быстро! - прорычал Брег.

Сивер пожал плечами:

- Они уже втянули антенну. - Но все же стал влезать в скафандр, который Брег уже держал перед ним.

В тамбуре пилот танцевал на месте от нетерпения. Они выскочили из станции в тот миг, когда корабль трижды промигал: "Внимание!.. Внимание!.. Внимание!" Брег резко остановился, хватаясь за глыбы, чтобы не взлететь высоко.

- Смотри! - сказал он негромко.

Согнутые ноги амортизаторов стали медленно выпрямляться в коленях, словно присевший корабль хотел встать во весь рост, в то же время он еще и вставал на цыпочки, упираясь в грунт лишь концами пальцев, и дальше - становясь на пуанты, как балерина. Ровно обрезанный снизу корпус поднимался все выше, но не весь: нижняя, самая широкая часть его так и осталась на уровне приподнявшихся пяток, с которыми была намертво связана, а остальное уходило вверх, вверх... Брег опустился на колени и стал смотреть снизу вверх. Нос корабля поравнялся с вершиной "Ладоги" и продолжал расти.

Брег, наверное, увидел, что хотел, потому что быстро поднялся и ухватил Сивера за плечо.

- Немедленно назад! - прокричал он. - В станцию! Ну же!

Сивер возразил:

- Лучше посмотрим отсюда, мне не приходилось видеть...

- И не придется, кретин! - рявкнул Брег и толкнул Сивера ко входу.

В станции они, не снимая скафандров, кинулись к монитору. Корабль теперь стоял неподвижно. Брег повернулся к пульту и начал поворачивать внешние камеры так, чтобы они смотрели на корабль снизу вверх и давали самым крупным планом.

Сивер взглянул на экран, на Брега, опять на экран; объективы приблизили нижнюю часть корабля и взглянули на нее искоса вверх, и Сиверу показалось, что он увидел бездонное озеро с тяжелой, спокойной водой, знающей, что под нею нет дна.

- Понял? - крикнул Брег.

Сивер не успел ответить. Скалы дрогнули. Сивер ухватился за стол: планету качало. Миллионы фиолетовых стрел ударили в камень. Полетели осколки. Сивер замычал, мотая головой. Корабль висел над поверхностью Япета, выпрямившийся, стройный. Фиолетовый свет исчезал, растворялся, становился прозрачным и призрачным, но люди с "Ладоги" представляли, какой ураган гамма-квантов бушует теперь за стенами станции. Корабль поднимался все быстрее.

- Мои камеры! - закричал Сивер. - Черт бы его взял!

Он быстро переключил. Первая камера ослепла, дождь осколков еще сыпался сверху. Сивер вновь включил вторую. Корабль был уже высоко; он светился, как маленькая, но близкая планета.

- Красиво, - уныло сказал Сивер. - Он мне удружил. Все шло так хорошо - и под конец разбил камеру.

- Да зачем тебе камера?

Сивер покосился на пилота.

- Кто мог знать, что рудовоз окажется на фотонной тяге?

- Да почему рудовоз? - с досадой спросил Брег. - Кто сказал, что это рудовоз?

Несколько секунд они молчали, глядя друг на друга.

- Да нет, брось! - сказал Сивер. - Не может быть.

- На, - сказал Брег.

Он толкнул толстое сверло, и оно покатилось по столу, рокоча.

Сивер взял сверло и прочитал выбитую на хвостовике, едва заметную теперь надпись: "Синяя птица". И следующей строчкой: "Солнечная система".

- Их так и делали, первые субзвездолеты, - сказал Брег. - При посадке они складывались, корпус почти садился на зеркало. Если на планете плотная атмосфера и ураганные ветры, им иначе бы и не выстоять. Ждали, что такие планеты будут. Гордились, что впервые в истории вышли за пределы солнечной системы. Эта надпись под названием - от такой гордости. Она, конечно, не для тех, кто мог с ними встретиться: они все равно бы не поняли ее. Она - для самих себя. Для тех, кто летел и кто оставался. Солнечная система! Как сразу милее становится свой дом, когда смотришь на него со стороны!

- Ага, - без выражения сказал Сивер. - Вот как. - Он сидел на стуле и глядел на земной пейзаж на стене. Вода все еще булькала в желобе, в единственном ручье на Япете. Сивер поднялся и выключил воду. - Мы его не догоним? - спросил он равнодушно.

- Нет, - ответил Брег, - у нас же автомат разобран.

- Ну да, - сказал Сивер, - вот и автомат разобран. - Он умолк.

Брег включил камеру, потом начал отсоединять кабель от пульта.

- Погоди, - сказал Сивер.

Брег взглянул на него.

- Чего ждать? - спросил он. - Больше ничего не будет. - Он надел на кабель изолирующий наконечник и тщательно завинтил его.

- Ну да, - повторил за ним Сивер. - Больше ничего не будет.

- Что будем делать с кабелем? - спросил Брег.

- Оставим, - сказал Сивер. - Кому-нибудь пригодится. Только не мне... Почему они не сказали? А я даже не подумал. Вернее, подумал, но не понял. Я - дурак!

Брег сказал:

- Наверное. Ничего, ты еще молод, а они не последние герои на Земле и в космосе.

- Молчи, не надо, - сказал Сивер.

- А я и молчу, - сказал Брег.

Они вышли из станции и потащились к кораблю. Сивер сказал:

- И все же, почему?..

Брег ответил:

- Наверное, они не хотели легенд. Они хотели просто выспаться или посидеть, опустив ноги в воду. У них на корабле нет ручья.

Кончив закреплять груз, оба поднялись наверх и сняли скафандры.

- Да, - сказал Сивер, - а на Япете они нашли ручей. А пейзаж был плохой.

- Им было все равно, - проговорил Брег. - Им была нужна Земля. - Он подошел к автомату. - Займемся-ка трудотерапией: замени вот эту группу блоков.

- Давай, - торопливо согласился Сивер и стал вынимать блоки и устанавливать новые. Потом, вынув очередной сгоревший, он швырнул его на пол. - Нет, - сказал он, - все не так! Это не они! Там не было человека с фамилией Край. Совершенно точно! Ну, проверь по справочнику! - Он вытащил корабельный справочник из ящика с наставлениями и техническими паспортами. – Ну, посмотри!

- Да нет, - ответил Брег, прозванивая блоки, - я тебе и так верю.

- Нет! - сказал Сивер. - Нету! Понятно?

- Тогда посмотри, нет ли такой фамилии в другом месте, - сказал Брег, задумчиво глядя мимо Сивера. - Поищи, нет ли такого в экипаже "Летучей рыбы".

- "Летучей рыбы"?

- Той самой, что не вернулась оттуда.

Пожав плечами, Сивер перелистал справочник. Он нашел "Летучую рыбу", прочитал и долго молчал.

- Кем он там был? - спросил Брег после паузы.

- Штурманом, - сказал Сивер, едва шевеля губами.

Они снова помолчали.

- Они садились там, - тихо сказал Брег. - Садились, чтобы спасти его - единственного уцелевшего. Да, так оно и должно быть.

- Садились на лиганте - и смогли подняться?

- Выходит, так, - сказал Брег. - Не сразу, наверное...

Он снова нагнулся за очередным блоком и стал срывать с него предохранительную упаковку.

- Выходит, их осталось всего трое, считая со спасенным? И они смогли привести корабль?

- Да, - сказал Брег. - Спать им было, пожалуй, некогда.

- Но ведь, - нахмурился Сивер, - в живых должно остаться восемь!

Брег грустно взглянул на Сивера.

- Просто мы оптимисты, - сказал он. - И если слышим число "три", то предпочитаем думать, что это погибшие, а вернутся восемь. Но иногда бывает наоборот. - Он взял у Сивера блок и аккуратно поставил его на место.

- По-твоему, лучше быть пессимистом? - спросил Сивер обиженно.

- Нет. Но оптимизм в этом случае - в том, что трое вернулись оттуда, откуда, по всем законам, не мог возвратиться вообще никто. - Брег установил на место фальшпанель автомата. - Ну, можно лететь.

Сивер уселся в кресло.

- Жаль, - сказал он, - что нельзя махнуть куда-нибудь подальше от Земли.

- Нельзя, - согласился Брег и включил реактор.

Замерцали глаза приборов, пульт стал похож на звездное небо.

- Он слепой, Край, - сказал Сивер, - он больше не видит звезд. Я думал, он потерял глаза на рудниках.

- Нет, - Брег покачал головой, - на рудниках пилоты даже не выходят из рубки, там вообще нет людей - автоматика.

Сивер только зажмурился.

- Слушай, - спросил он, - а если бы ты был все время со мной, ты разобрался бы?

Брег ответил, помедлив:

- Думаю, что да. Для меня каждый пилот - герой, если даже он и не был на лиганте, а просто возит руду с Япета на Титан. Потому что и в системе бывает всякое.

Сивер опустил голову и не поднял ее.

- Что мне скажут на Земле? - пробормотал он. - Меня теперь никуда больше не пошлют?

- Нет, отчего же, - утешил Брег, - пошлют со временем. Но вот они - они никогда уже не будут возвращаться в солнечную систему и останавливаться на Япете. Это бывает раз в жизни и, наверное, могло получиться иначе. - Он несколько раз зажег и погасил навигационные огни, затем трижды промигал слово "внимание", хотя внизу не осталось никого, кто нуждался бы в предупреждении.

- Я хотел... - отчаянно сказал Сивер.

- Да что ты мне объясняешь! - сказал Брег.

Он положил руку на стартер, автоматически включилась страхующая система.

- Действует, - слабо улыбнулся Сивер.

- Теперь его хватит надолго, - ответил Брег. - Наблюдай за кормой.

Сивер кивнул; он и без того смотрел на экран, на котором виднелась поверхность Япета, маленькой планетки, на которой нет атмосферы, но есть ручей с чистой водой, необходимой героям больше, чем торжества.

**Сулейменов Олжас**

**ЗЕМЛЯ, ПОКЛОНИСЬ ЧЕЛОВЕКУ**

(фрагменты поэмы)

*Посвящается Ю.А. Гагарину*

|  |  |
| --- | --- |
| …Разгадай:  Почему люди тянутся к звездам?  Почему в наших песнях  Герой – это сокол?  Почему все прекрасное,  Что он создал,  Человек, помолчав,  Называет – Высоким?  Реки вспаивают поля,  Города над рекой –  В заре,  И, как сердце, летит Земля,  Перевитая жилами рек.  Нелегко проложить пути | До вчерашних туманных звезд,  Но трудней на земле найти  Путь,  Что в сердце своем пронес,  Что рекою прошел по земле,  Что навеки связал города,  Что лучом бушевал во мгле,  Освещая твои года.  Нелегко,  Но ты должен найти  Путь, что в сердце до звезд  Донес,  Путь земной – продолженье пути  До сегодняшних ярких звезд… |
|  |  |
| \*\*\*  Что за путь?  Это долгий стремительный путь,  Это жизнь, молодая. Горячая –  Наша!  Я прошу:  Человечество, не забудь,  Что ты стало сегодня  Значительно старше.  Мир,  Земля,  Шар земной –  Сочетание слов,  Сочетанье народов,  Мечей  И судеб,  Сколько твердых копыт  Над тобой пронеслось!  Все пустыни твои  Нас, безжалостных, судят.  Мы – железные карлы, топтали тебя,  Мы – батыри Чингиза, дошли до Двуречья,  Мы – великие воины, шли по степям  И с тобой говорили на страшном наречье. | Мы разрушили Рим,  Мы убили Тараз,  Мы бесчестили белых и желтых красавиц.  Мы смотрели на мир  Сквозь бойницы глаз,  Наши руки при встречах –  В ударах касались.  Гунны, монголы!  Кипчаки и персы!  Лязг крестоносцев!  Столетние войны!  Падали флаги  древних культур.  Волны – с Востока,  С Запада – волны,  Что океаны в сравнении  с этим потоком!  Танками Запада  Хлеб на Востоке потоптан.  Трупы арийцев  на тучных восточных полях,  братской могилой  служила Земля… |
|  |  |
| \*\*\*  Люди!  Граждане всей вселенной!  Гости галактик!  Хозяева Шара!  Вы не хотите  пропасть бесследно?  Живите,  Живите,  Живите с жаром!  Живите, люди!  Живите, люди.  Вы совершили свой первый подвиг,  Преодолели земную тягость, | Чтобы потомки это запомнили –  Преодолейте земные тяжбы!  Реки, вспаивайте поля!  Города,  вставайте в заре!  Пусть, как сердце, летит Земля,  Перевитая жилами рек!  Мы найдем,  Мы должны найти  Все ответы на тот вопрос,  Путь земной –  Продолженье пути  До сегодняшних  Взятых звезд. … |

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПИСАТЕЛЯХ И ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

**Андреев**, Леонид Николаевич (1871 - 1919) – прозаик, драматург, публицист. Начинал как представитель реалистического направления в литературе, затем сознательно предпочел символизм.

**Баратынский**, Евгений Абрамович (1800 - 1844) – русский поэт, автор элегий, посланий, философской лирики.

**Блок**, Александр Александрович (1880 -1921) –поэт, драматург, публицист.

**Бунин**, Иван Алексеевич (870 – 1953) – прозаик и поэт «серебряного века», наиболее известный и талантливый продолжатель традиций русской реалистической литературы XIX века. С 1920 года жил во Франции.

**Грин** /Гриневский/, Александр Степанович (1880 - 1932) – представитель неоромантизма начала XX века, автор сказочной феерии «Алые паруса», романов «Блистающий мир», «Бегущая по волнам», «Золотая цепь», «Дорога никуда», а также многочисленных рассказов об обитателях вымышленных стран и городов, придуманных автором. Его романтические персонажи могут многое сделать, но «в такой стране и среди таких людей, каких, может быть, нет». И все-таки почти всем героям Грина доступно счастье делать чудеса «своими руками».

**Есенин**, Сергей Александрович (1895 - 1925) – начинал как «крестьянский поэт», но в итоге оказался намного талантливее очень многих своих современников. Есенин является автор поэм и лирических стихотворений, многие из которых были положены на музыку и стали романсами и песнями, волнующими слушателей и в наши дни.

**Маяковский**, Владимир Владимирович (1893 - 1930) – поэт-футурист, затем официальный «лучший пролетарский поэт» советской эпохи.

**Михайлов**, Владимир Дмитриевич (1929 - 2008) – юрист по образованию, долгие годы работал следователем. Начал печататься с середины 1950-х годов. В 1980-е года был редактором журнала «Даугава». Михайлов - автор сатирических, юмористических и фантастических произведений. «Ручей на Япете» - один из лучших рассказов советской фантастики.

**Некрасова,**  Ксения Александровна (1912 -1958) – поэтесса.

**Пушкин**, Александр Сергеевич (1799 - 1837) – великий поэт, которого называют «солнцем русской поэзии». В истории русской литературы XIX века сам период его жизни и творчества получил название «пушкинской поры». Кроме поэтических произведений А.С. Пушкин создал несколько прозаических романов и повестей, а также драму «Борис Годунов». Повесть «Барышня-крестьянка» входит в состав цикла «Повести Белкина», написанные в знаменитую «болдинскую осень» 1830 года.

**Салтыков-Щедрин**, Михаил Евграфович (1826 - 1889) – величайший русский сатирик XIX века. Автор циклов очерков, сказок для взрослых и семейных хроник, в том числе «Господ Головлевых». В этом произведении писатель использует популярную в русской литературе тему «дворянского гнезда», совершенно переосмысливая ее. Салтыков-Щедрин предлагает читателям историю нравственной и физической деградации нескольких поколений рода Головлевых, что, в конечном счете, ведет его к вымиранию.

**Толстой**, Лев Николаевич (1828 - 1910)- всемирно признанный гений русский прозы XIX века, автор рассказов, повестей и романов. В поздний период творчества Л.Н. Толстой также обратился к драматургии.

**Тургенев**, Иван Сергеевич (1818 - 1883) – родоначальник русского классического романа. Он является авторам шести романов и многочисленных повестей. Но первую славу и признание Тургеневу принесли «Записки охотника» - цикл рассказов и очерков, публиковавшихся в журнале «Современник» в течение пяти лет, начиная с 1847 года. Рассказ «Певцы» относится к этому циклу.

**Тютчев**, Федор Иванович (1803 - 1873) – поэт, переводчик, дипломат, ведущий представитель философской лирики XIX века. Отдавал предпочтение малым лирическим жанрам.

**Фет**, Афанасий Афанасьевич (1820 - 1892) – поэт, прозаик, публицист, переводчик. Все, изданные при жизни Фета поэтические сборники, носили общее название – «Вечерние огни». В поэзии сознательно избегал так называемых «гражданских» тем, служа только «чистому искусству». Считается одним из лучших пейзажных лириков XIX века.

**Чижевский,** Алексей Леонидович (1897 - 1964) – ученый, основоположник космической биологии, художник-пейзажист и поэт. Придерживался идеи о мощном влиянии космоса не только на природные явления на нашей планете, но и на события и поступки людей.

**Барышев,** Лев – поэт ХХ века.

**Айтматов**, Чингиз Торекулович (1928 - 2008) киргизский писатель, общественный деятель, дипломат. Мировая известность пришла к Айтматову вскоре после публикации в «Новом мире» повести «Джамиля» (1958). Кроме повестей им написано несколько романов, в том числе, «Плаха» и «Белый пароход». Писал Айтматов на киргизском и русском языках.

**Мадзигон**, Тамара Михайловна (1940 - 1982) – поэтесса.

**Симашко /**настоящее -Шамис**/**, Морис Давидович (1924 -2000) – прозаик, автор исторических и философских романов и повестей.

**Сулейменов**, Олжас Омарович (1936 - ) – писатель, литературовед, общественный деятель, дипломат. Пишет на русском языке.

**Бернс,** Роберт (1759 - 1796) – известный шотландский поэт. Начал писать стихи в очень раннем возрасте, когда посещал школу. Первый же сборник стихов на шотландском языке, вышедший в 1786 году, сделал его знаменитым, но не богатым. Средства на жизнь поэт добывал фермерским трудом. Внутренняя красота и самобытность поэзии Бернса объясняются его умением поддерживать простоту, открытость души, непосредственность там, где для других это было почти невозможно. Тематика стихов и поэм Бернса довольно ограничена - это любовь и дружба, свобода, шотландская природа и история. Музыкальность стихов Бернса поразительна: вышедшая из народной песни, поэзия Бернса снова ею стала. Творчество Бернса оказало сильное влияние на таких английских поэтов, как В. Скотт, Байрон, Шелли.

**Гёте,** Иоганн Вольфганг (1749 - 1832) – гениальный немецкий поэт, прозаик, драматург, философ и государственный деятель. Начало творческого пути Гете связано с литературным движением, представители которого выступали под девизом «Буря и натиск!». Роман «Страдания юного Вертера» (1774) сделал его знаменитым не только в Германии, но и во всей читающей Европе. Самое известное произведение Гете – поэтическая трагедия «Фауст», возникшая из «подражания» народной книге.

**Дефо,** Даниель (1660 - 1731) – английский писатель, журналист, коммерсант. Основоположник европейского реалистического романа нового времени. Дефо явился зачинателем таких жанровых разновидностей романа, как роман приключенческий, биографический, исторический, психологический, роман воспитания. «Робинзон Крузо» - роман о моряке, проведшем 28 лет на необитаемом острове, принес автору не только успех на родине, но и всемирное признание. История Робинзона перерастает в аллегорическое изображение человеческой жизни как таковой: на примере своего героя писатель прослеживает путь от первобытной примитивности к достижениям цивилизации 18 века. Просветительская концепция человека, вера в его возможности, обращение к теме созидательного труда, увлекательность и простота повествования – все это не оставляет равнодушными людей разных эпох, возрастов и интересов. Французский просветитель Жан Жак Руссо считал эту книгу единственной нужной для детского чтения, кроме Библии.

**Киплинг,** Редьярд(1865 - 1936) - английский поэт и прозаик, лауреат Нобелевской премии (1907). Киплинг отдавал предпочтение малым жанрам. Он населил свои рассказы и баллады героями, которых никогда прежде не было на страницах известных романов. Это туземцы, чьи обычаи и жизненная философия так далеки от английских, которые подкупают простодушием, доверчивостью, душевным благородством, преданностью. Симпатии Киплинга отданы простым людям – солдатам, терпеливо сносящим все тяготы жизни, несущим свою службу вдали от дома. Сборник стихов, который положил начало его славе «народного поэта» он так и назвал «Казарменные баллады» (1892).

**О. Генри /**настоящее имяУильям Сидней Портер **(**1862 - 1910)/ – американский писатель, автор многочисленных новелл, в которых с одинаковой легкостью повествуется о ковбоях Дикого Запада, провинциальных фермерах и продавщицах Нью-Йорка. Автор называл своих персонажей типами: его интересовал не их внутренний облик, а ситуации, в которые они попадают. Вершиной творчества писателя считаются новеллы о Нью-Йорке, среди которых «Дары волхвов», «Горящий светильник», «Третий Ингредиент», «Последний лист» и другие.

**Петрарка**, Франческо (1304- 1374) – итальянский поэт эпохи раннего Возрождения. Петрарка чаще всего писал на латыни, он в совершенстве владел этим языком древности и умел оживить его. Он разрабатывал жанры античной лирики: вслед за Горацием писал сатиры, подражая Вергилию, - эклоги и буколики, у Цицерона заимствовал форму послания в прозе. Произведением Петрарки, принесшим ему бессмертие, является его «Канцоньере» - «Книга песен», которая состоит из двух частей: "На жизнь Мадонны Лауры" (263 стиха) и "На смерть Мадонны Лауры" (103 стиха). В образе Лауры есть известная аллегоричность: недаром ее имя напоминает о «лавре», т.е. столь желанной для поэта Славе. Ее имя так же созвучно и итальянскому слову «лаура» ( воздух), что напоминает о неземном, возвышенном в самом облике прекрасной дамы. Концепция любви у Петрарки полностью гуманистическая, потому что это земное чувство приносит человеку и радость, и муку в отличие от «любви небесной», не предполагающей страдания.

**Сэлинджер,** Джером Давид (1919 - 2010) – американский прозаик, автор новелл и романов. Опубликованный в 1951 году, роман «Над пропастью во ржи» сделал его известным не только в США, но и во всем мире. Герой романа противопоставляет себя фальшивому миру «взрослых», где все напоказ и нет места искренним чувствам и доброте. Отсюда его очень бережное и нежное отношение к детям и, в первую очередь, к младшей сестренке. С 1965 года писатель не опубликовал ни строчки, не давал интервью и жил затворником.

**Сент-Экзюпери,** Антуан-Мари-Роже де (1900 - 1944) – выдающийся французский писатель, публицист, профессиональный летчик. Владел даром живописца, сочинял стихи, играл на скрипке. Писательская биография началась с рассказа «Летчик», опубликованного в 1926 году. В последующие годы пишет и публикует несколько романов: «Южный почтовый», «Ночной полет», «Планета людей», «Военный летчик». В 1942 году Сент-Экзюпери создает философскую сказку для детей и взрослых «Маленький принц», в которой напоминает о полузабытых истинах: «Светильники надо беречь: порыв ветра может их погасит»; «А все дороги ведут к людям»; **«…** зорко одно лишь сердце**».** Военный летчик – майор Сент-Экзюпери погиб в бою с фашизмом, не дожив всего три недели до освобождения Франции.

**Шекспир** (1564 - 1616) – английский драматург и поэт; автор 154 сонетов, трагедий («Ромео и Джульетта», «Король Лир», «Отелло», «Гамлет» и др.) и комедий («Двенадцатая ночь», «Много шума из ничего», «Сон в летнюю ночь» и др.). Известность и мировое признание приходят к Шекспиру уже в XVIII – XIX веках после того, как его произведения были переведены на современные европейские языки, в том числе и на русский язык.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

РАЗДЕЛ 1

1. Дополните предложенный цикл «Времена года» стихами, которые вам нравятся.
2. Обратите внимание на фразу «Мы в ответе за тех, кого приручаем»? Как вы ее понимаете?
3. Почему дачники не взяли с собой в город Кусаку?
4. Найдите в Интернете и послушайте песню Леонида Мартынова на стихи Андрея Дементьева «Лебединая верность». Какие чувства пробуждает в вас она?
5. Имеет ли право человек так решать судьбу животных, живущих на одной с ним земле?
6. Какие еще произведения о животных вы знаете и можете привести примеры?

РАЗДЕЛ 2

1. Какие чувства объединяют людей в произведениях А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого?
2. Вспомните и сравните внутреннее состояние Пьера Безухова в первом браке с Элен Курагиной и во втором с Наташей Ростовой?
3. Для автора Наташа Ростова была не только музой, но и идеальной женой и матерью. Разделяете ли вы взгляды Л.Н. Толстого на роль женщины в обществе?
4. Прокомментируйте слова Николай Ростов, сказанные жене: «…Не по хорошему мил, а по милу хорош. Это только Malvina и других любят за то, что они красивы; а жену разве я люблю? Я не люблю, а так, не знаю, как тебе сказать. Без тебя и когда вот так у нас какая-то кошка пробежит, я как будто пропал и ничего не могу. Ну, что я люблю палец свой? Я не люблю, а попробуй отрежь его…»?
5. Стоит ли создавать такую семью, какую показал М.Е. Салтыков-Щедрин в своей семейной хронике? В чем вы видите причины нравственной деградации и последующего вымирания рода Головлевых?
6. Почему Женя Волчанинова все-таки уходит из дома? Можно ли, на ваш взгляд, по своему вкусу и разумению устраивать счастье близких людей?
7. Какое чувство способно возродить разочарованного и страдающего человека? Почему жизненный итог героев А. Грина можно назвать сказочным?
8. Герои новеллы О. Генри жертвуют своими единственными ценностями ради того, чтобы порадовать друг друга. Их жертвы оказались бессмысленными, но проиграли ли молодые супруги от этого?

9. Конечно, мы должны помнить и бережно хранить традиции наших предков. Но все ли традиции достойны этого?

1. Почему рассказчик не осуждает свою первую любовь – Джамилю, а, напротив, понимает и одобряет ее?

РАЗДЕЛ 3

1. Жизнь Робинзона Крузо на необитаемом острове можно сравнить с историей мировой цивилизации. Докажите это. А что бы вы смогли сделать своими руки, окажись вы на месте Робинзона?
2. Какую песню исполнил Яшка Турок и какое искусство находит путь к сердцу человека?

3. Как вы понимает название романа Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»? Почему герой-рассказчик любит детей, а не взрослых? Что, на его взгляд, характеризует мир взрослых, и от чего он хотел бы защитить детей?

РАЗДЕЛ 4

1. Какие чувства и поступки придают смысл жизни человека?
2. Давайте представим, что на всем земном шаре отменили деньги. Чего будут стоить люди, не обладающие ни умом, ни талантом, ни добротой без своих банковских счетов? Действительно ли, деньги – высшая ценность, придуманная человеком?
3. Что помешало журналисту увидеть в обычных усталых людях подлинных героев?
4. Как можно, на ваш взгляд, преодолеть «земные тяжбы»? Какие чувства все-таки могут объединить людей?

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Раздел 1. Человек и окружающий мир: |  |
| Времена года. | 2 |
| А. де Сент-Экзюпери. Маленький принц (фрагменты). (Перевод Н. Галь) | 5 |
| Андреев Л.Н. Кусака. | 17 |
| Есенин С.А. Песнь о собаке. Я обманывать себя не стану… | 21 |
| Сулейменов О. Ты собаку ударил. | 22 |
|  |  |
| Раздел 2. Человек и общество: |  |
| Пушкин А.С. Барышня-крестьянка. | 23 |
| Толстой Л.Н. Война и мир (фрагменты). | 32 |
| Салтыков-Щедрин М.Е. Господа Головлевы (фрагмент). | 48 |
| Чехов А.П. Дом с мезонином. | 59 |
| О. Генри. Дары волхвов. (Перевод Е. Калашниковой) | 68 |
| Грин А.С. Сто верст по реке. | 72 |
| Симашко М.Д. Искушение Фраги (в сокращении). | 92 |
| Айтматов Ч.Т. Джамиля. | 104 |
| Стихи о любви и дружбе. | 128 |
|  |  |
| Раздел 3. Духовный опыт человечества: |  |
| Дефо Д. Робинзон Крузо (фрагменты). (Перевод М. Шишмаревой) | 135 |
| Тургенев И.С. Певцы (в сокращении). | 170 |
| Сэлинджер Джером Д. Над пропастью во ржи (фрагмент). (Перевод Р. Райт-Ковалевой) | 176 |
|  |  |
| Раздел 4. Познание человеком самого себя |  |
| О. Генри Последний лист. (Перевод Н. Дарузес) | 195 |
| Грин А.С. Зеленая лампа. | 199 |
| А. де Сент-Экзюпери. Планета людей (фрагменты). (Перевод Н. Галь) | 206 |
| Михайлов В.Д. Ручей на Япете. | 216 |
| Сулейменов О. Земля, поклонись человеку (фрагменты поэмы). | 232 |
|  |  |
| Краткие сведения об авторах и произведениях. | 234 |
| Вопросы и задания | 239 |